

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2021 * Том 20 * № 1

RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW

2021 * Volume 20 * Issue 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2021
Том 20. № 1

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманская, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Максим Сергеевич Фетисов

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Никола Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александр (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожье (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присыпать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнometодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2021
Volume 20. Issue 1

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Maxim Fetisov

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Saveliyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshtayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

National Research University Higher School of

Economics

Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ГЛОБАЛЬНЫЙ ВОСТОК: ПОЛИТИКИ НАИМЕНОВАНИЯ И ПРОДУЦИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ

- Восток — дело тонкое 9
Мартин Мюллер

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

- От Кьеркегора к Шмитту: к политико-теологической актуальности повторения 25
Владимир Башков
- Политическая теология международного права: грани и границы метода 50
Вячеслав Кондуров

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Social Networks and Systems Theory 72
Santiago Gabriel Calise
- Событие как объект: к плоской теории событий 89
Оксана Головашина

СТАТЬИ И ЭССЕ

- The Power of Corruption: Xenophon on the Upbringing of a Good Citizen in Sparta 107
Aleksandr Mishurin
- Мигранты и пространственная маргинальность в городских цифровых медиа (на примере Иркутска) 124
Дмитрий Тимошкин

ОБЗОРЫ

- Цивилизационное измерение структурирования обществ 148
Руслан Браславский, Владимир Козловский
- Международное право и Православная церковь: идеи М. В. Зызыкина в 1930-е годы 176
Ирина Борщ

- The Biographical Method as a Methodological Tradition in Russia:
A Review of Projects and Publications 202
Natalia Veselkova

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Подлинный реакционер: творчество Николаса Гомеса Давилы 229
Елена Косилова

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Семидесятилетняя «Новая наука политики» 244
Александр Павлов
- Пульс недемократии? 262
Алексей Титков

РЕЦЕНЗИИ

- All Power to the Experts? Contradictions of the Information Society as Both
Depending on and Devaluating Expertise 290
Irina Trotsuk
- Прощание с иллюзиями: анализ общества позднего модерна
Андреаса Реквица 305
Александр Сувалко

IN MEMORIAM

- Анатолий Вишневский — ученый, созидатель, человек твердых убеждений . . 324
Ален Блюм
- Памяти Натальи Самутиной 335
Борис Степанов

Contents

GLOBAL EAST: POLITICS OF NAMING AND OF KNOWLEDGE PRODUCTION

- The East is a Delicate Matter 9
Martin Müller

POLITICAL THEOLOGY

- From Kierkegaard to Schmitt: Towards the Political-Theological Relevance of Repetition 25
Vladimir Bashkov
- Political Theology of International Law: Methodological Facets and Borders. 50
Viacheslav E. Kondurov

SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

- Social Networks and Systems Theory 72
Santiago Gabriel Calise
- Event as Object: Towards a Flat-Event Theory 89
Oksana V. Golovashina

ARTICLES AND ESSAYS

- The Power of Corruption: Xenophon on the Upbringing of a Good Citizen in Sparta 107
Aleksandr Mishurin
- Migrants and Spatial Marginality in Urban Digital Media (The Case of Irkutsk) . . . 124
Dmitriy Timoshkin

REVIEWS

- The Civilizational Dimension of the Structuring of Societies 148
Ruslan Braslavskiy, Vladimir Kozlovskiy
- International Law and the Orthodox Church: Ideas of M. V. Zzykin in the 1930s . . 176
Irina Borsch
- The Biographical Method as a Methodological Tradition in Russia:
A Review of Projects and Publications 202
Natalia Veselkova

SOCIOLOGICAL EDUCATION

- Genuine Reactionary: The Works of Nicholás Gómez Dávila 229
Elena Kosilova

REFLECTIONS ON THE BOOK

- The 70-Year-Old *The New Science of Politics* 244
Alexander Pavlov

- The Pulse of Non-Democracy? 262
Alexey Titkov

BOOK REVIEWS

- All Power to the Experts? Contradictions of the Information Society as Both
Depending on and Devaluating Expertise 290
Irina Trotsuk

- Farewell to Illusions: An Analysis of Late Modern Society by Andreas Reckwitz . . . 305
Alexander Suvalko

IN MEMORIAM

- Anatoly Vishnevsky — Scholar, Creator, Man of Settled Convictions 324
Alain Blum

- In Memory of Natalia Samutina 335
Boris Stepanov

Восток — дело тонкое^{*}

Мартин Мюллер

Профессор, департамент географии и устойчивого развития, Университет Лозанны
Сооснователь и научный руководитель Центра глобального урбанизма,

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина

Адрес: Géopolis 3514, 1015 Lausanne, Switzerland

E-mail: martin.muller@unil.ch

Данная статья представляет собой ответ Мартина Мюллера на эссе и реплики, в которых критически разбирался перевод на русский язык его работы «Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом» (Социологическое обозрение. Т. 19. № 3). Материалом для анализа были тексты, опубликованные в тематическом блоке «Глобальный Восток: политики именования и продуцирования знания» (тот же номер). В статье они проанализированы в соответствии с принципом местоположенности автора, т. е. в соответствии со стремлением выйти за пределы доминирующей социальной конструкции реальности, чтобы понять маргинализированные группы и регионы, дав им возможность высказаться. Он обращает внимание на то, как его аргументация была обусловлена его авторской позицией, в частности его местоположенностью между несколькими языковыми традициями, его дисциплиной (географией) и тем, что он принадлежит к более молодому поколению исследователей. Приведены примеры конкретных реплик и позиций критиков. Автор осветил следующие стороны проблематики, сопряженной с популяризацией понятия «Глобальный Восток»: нетождественность этого понятия постсоциализму, важность «глобально-го» в этом понятии, плюсы и минусы понимания Глобального Востока сквозь призму стратегического эссециализма, сложную темпоральность этого понятия («будущее для прошлого»).

Ключевые слова: Глобальный Восток, критика, поколение, местоположенность, территориальность, глобализация, стратегический эссециализм, доминирование и подчиненность в глобальной академической системе

Тексты подобны детям — они начинают ускользать от наших представлений о них сразу же после появления на свет. «Разыскивая глобальный Восток» (Müller, 2020a) не стал в этом смысле исключением. Я написал эту статью для публики, которой, как мне казалось, еще только предстояло познакомиться с Востоком. Я писал для коллег, работающих на Глобальном Севере и Глобальном Юге; для тех, кто стремится к деколонизации и децентрализации академических исследований в разных дисциплинах, для тех, кто выступает за более «глобальную» теорию, выходящую за границы своего западноевропейского и североамериканского «ядра» (в качестве примера среди многих упомяну только Anzaldúa, 1987; Comaroff, Comaroff, 2011;

* An English version of this article is available at www.martin-muller.net in the «Publications» section.

Пер. с англ. Максима Фетисова.

Mignolo, 2012; Sousa Santos, 2014; Tuhiwai Smith, 1999). Мне симпатичен этот проект, но ту часть мира, что я называю «Глобальным Востоком», он не видит. Именно поэтому я опубликовал английскую версию статьи в журнале «Геополитика», не имеющем региональной специализации. Короче говоря, я совсем не стремился обратиться, по крайней мере в первую очередь, к аудитории, обладающей соответствующими экспертными навыками в том, что касается Глобального Востока. Тем не менее к худу или к добру, но наши тексты живут своей собственной жизнью. Выяснилось, что именно студенты и ученые, выходцы с того самого Востока, а также те, кто на этом Востоке работает, оказались основной аудиторией этого текста¹.

Все же, наверное, это к лучшему — в конце концов, я выступаю за перестройку геополитики знания и мышления не только о Востоке, но и вместе с Востоком, отталкиваясь от Востока, или же при помощи Востока. Возможно, однако, что и к худшему. Во-первых, потому, что статья будет выглядеть совершенно поверхностной для аудитории, которая хорошо разбирается во многих дебатах, которых я каюсь лишь отчасти или же вообще игнорирую. Во-вторых, потому, что концептуальный словарь отличается. Елена Трубина (Трубина, 2020) указывает на это, когда пишет, что «Глобальный Север» и «Глобальный Юг» не являются устоявшимися категориями в российском академическом дискурсе. Это может привести к недоразумениям.

Поэтому я должен поблагодарить коллег, чьи комментарии были собраны в номере журнала, за потраченное ими время и великодушие, проявленное ими при работе с моим текстом, тем более на работу, которая изначально не предназначалась им как основным читателями. Вы помогли мне углубить мои размышления — и осознать их пределы. Далее я свел двенадцать опубликованных комментариев в пять основных линий вопросов.

Глобальный Восток с моей точки зрения

Всякому знанию присущи свои геополитика и политика тела. Иными словами, всякое знание занимает определенное место и воплощено в конкретном субъекте, как, среди прочих, напоминают нам Донна Харауэй (Haraway, 1988) и Валтер Миньоло (Mignolo, 2002). Не иначе обстоит дело и с проектом Глобального Востока. Статью, о которой идет речь, я написал как человек, живущий в Швейцарии, одной ногой стоящий в англоязычной исследовательской традиции, а другой — твердо опирающийся на немецкую и французскую, потому что это мои другие рабочие языки наряду с русским. Тексты читаются по-разному в разных национальных и региональных контекстах (об этом см.: Цикинделеану, 2020). При этом «Восток» и вправду — «дело тонкое». Он всегда стремится быть где-нибудь еще, всегда восточнее того места, где вы находитесь прямо сейчас: это нечто, что

1. Настолько, что грузинский перевод (Müller, 2020b) появился еще до того, как была опубликована оригинальная статья в номере журнала «Геополитика». Вслед за русским на подходе уже польский и французский переводы (Müller, 2021a, 2021c).

всегда должно смещаться все дальше и дальше. Мои собеседники в этом журнале имеют самое разное, зачастую интернациональное происхождение и образование, и у каждого из них свой собственный Восток (об этом см.: Безуглов, 2020). Это Россия, Казахстан, Румыния, Соединенные Штаты, Швеция, Эстония, Латвия, Беларусь/Литва, Франция (если называть только нынешнюю их принадлежность, не считая стоящих за ними гораздо более богатых интернациональных историй). Каждый из нас представляет различные языковые традиции — русскую, английскую, французскую, каждой из которых присущи особый стиль письма и построения аргументации.

Я также излагал свои мысли с точки зрения определенных дисциплин — как географ и ученый-урбанист. Это дисциплины, где интерес к Востоку далеко не гарантирован. Моим коллегам трудно найти на карте Екатеринбург или Сочи, не говоря уже о возможности осмысленной исследовательской работы над столь экзотическими для них местами. В этом социологическом журнале вместе со мной выступают со своими откликами не только историки, антропологи, политологи и философы, но также архитекторы, кураторы, писатели, переводчики. Одни со общества, которые эти авторы представляют, могут разделять озабоченность миграционностью, которая вызвала к жизни обсуждаемую здесь статью, другие — нет (см., например: Роджерс, 2020; Голубев, 2020; Соколовская, 2020; Левкин, 2020).

Наконец, я писал как человек, принадлежащий к поколению, не обладающему активной памятью о холодной войне и соревновании двух систем. Я вижу, как последствия этого соревнования вписаны в том числе в материальную и нарративную ткань изучаемых и посещаемых мною городов, но мне не довелось его пережить и прочувствовать. Я вырос в эпоху, которую ученые называют эпохой ускоренной глобализации 1990-х годов (эпоха, вероятно, близящаяся к своему закату, пока мы пишем эти строки). Как отмечает Усманова (2020), это сформировало мое мировоззрение. Мне было легче сказать «прощай» постсоциализму, и, пожалуй, показательно, что по-русски моя статья «Прощай, постсоциализм!» (Müller, 2019) впервые появилась в студенческом журнале DOXA, о чем я не знал (Мюллер, 2019). Похоже, что наибольший резонанс она получила как раз у молодых студентов.

Я упоминаю здесь о своем становлении, потому что, как справедливо отмечает Трубина (2020), оно сформировало как сам проект Глобального Востока, так и собранные здесь ответы. Каждый из них отражает собственную связь автора с местом, гендером, социальными сетями, культурами, его дисциплиной, языками и так далее — каждый из них по-своему пристрастен и находится в каких-то обстоятельствах. В таком случае данный форум — это еще и эксперимент над тем, насколько далеко может уйти некий текст от своих места происхождения и эпистемического сообщества, и какие он тем самым поднимает вопросы. Этот эксперимент по чтению в разных регионах мира, дисциплинах, профессиях и поколени-

ях можно считать успешным, поскольку моя статья, кажется, обращается ко всем коллегам — хотя и по-разному и с разной настойчивостью².

Почему Глобальный Восток не совпадает с границами постсоциалистических обществ

В статье я настаивал, что Глобальный Восток это не место, а эпистемологический проект, нацеленный на ревизию геополитики знания. Тем не менее, как замечает Усманова (2020), невозможно избежать территориализации, если вы прибегаете к помощи географических метафор вроде «Востока», «Юга» или «Севера». Это верно, и этот диагноз в некотором смысле является как сильной, так и слабой стороной термина «Глобальный Юг», поскольку он одновременно указывает и на отношение, и на место. В этом незапланированном приглашении к территориализации многие участники дискуссии стремились указать на то место, где для меня должен начинаться и заканчиваться «Глобальный Восток». Шелекпаев и Чокбаева (2020) справедливо отмечают, что я определяю Восток лишь негативно, как то, что остается невидимым в промежутке между Севером и Югом.

С момента написания обсуждаемой статьи в 2016 году (потребовалось много времени, чтобы она появилась в печати), мои мысли о том, что такое Глобальный Восток, эволюционировали. Продолжая подчеркивать в первую очередь эпистемологический характер этого проекта (остерегаясь, таким образом, территориализации *prima facie*), я начал говорить о Глобальном Востоке во множественном числе. Почему? Потому что я начал понимать, что эта конкретная эпистемологическая позиция, установленная мной для постсоциалистических обществ, применима не только к ним. Китайские, иранские, турецкие и тайваньские коллеги подходили ко мне и признавались, что мой диагноз — не совсем Север и не вполне Юг — также подходит и для «их» стран. Это заставило меня уточнить мое определение Востока. Для меня теперь Восток говорит о более общем отношении: это еще и отношение (бывших) неевропейских империй и их колоний с миром³. Ведь хотя такие термины, как Глобальный Север и Глобальный Юг, охватывают и проблематизируют в первую очередь европейский колониализм, им также не удается выйти особенно далеко за границы этого отношения.

2. Следует также отметить, что некоторые критические замечания, которые я мог бы адресовать сам себе, либо вообще не возникали в комментариях, либо их было совсем немного. К ним относятся: потенциальные границы артикуляции проекта эманципации исходя из моей конкретной позиции, или, иными словами, от чьего имени и с опорой на чей авторитет я могу говорить; ограниченное использование в моих аргументах выполненных на Востоке исследований, а также текстов, опубликованных не по-английски; риск внести вклад в популистские дискурсы исключительности, национализма и «восточного» поворота (Ginelli, 2020; Kudaibergenova, 2016; Snochowska-Gonzalez, 2012; Уфельманн, 2020). Я обсуджу эти проблемы в будущем.

3. Я имею в виду Российскую/Советскую, Османскую, Китайскую, Японскую и Персидскую империи вместе с их колониями, государствами-сателлитами и протекторатами. Кстати, сюда относится и Япония, которую часто относят к Глобальному Северу.

Это отношение (бывших) неевропейских империй и их колоний к миру, конечно же, укоренено в конкретных местах. Невозможно избежать множественных проявлений Глобального Востока в тех или иных локациях. Но я настаиваю на том, что множество Глобальных Востоков это не регионы (см., например: Левкин, 2020; Соколовская, 2020), не цивилизационные сущности и не политические акторы (Макарычев, 2020). Это не только отличает их от понятий вроде «Евразии» (Hann, 2016; Choi, Mi, 2019), популярных в современном академическом и политическом дискурсе, но и защищает от отождествления с «постсоциалистическим пространством». Это множество перекликается с понятиями Глобального Востока, используемыми другими авторами (см.: Bach, Murawski, 2020; Shin, Lees, López-Morales, 2016), также указывающими за пределы границ Евразии и постсоциалистического пространства. Таким образом, это представление о Глобальном Востоке во множественном числе подходит для анализа переплетений, возникающих на границах различных имперских пространств, таких как сложный орнамент из постосманских и постсоциалистических отношений на Балканах, или существующее в Средней Азии запутанное хитросплетение постсоциализма и влияния современного Китая⁴.

Почему в «Глобальном Востоке» важно «глобальное»

Пока многие участники дискуссии пытались выяснить свои отношения с «Востоком», для меня, вероятно, куда большее значение имеет понятие «Глобального». «Глобальный Восток» указывает на глобальную дискуссию — с Югом, Севером и прочими глобальными частями — а также на децентрализацию: как тех, кто «заказывает музыку» в глобальных академических кругах, так и самих источников теоретического вдохновения.

Встречаясь с коллегами, не работающими на Востоке, я иногда прошу их назвать хотя бы одного исследователя оттуда. Любого. Многим не удается вспомнить ни одного имени. Кто-то после некоторых раздумий вспоминает про Славоя Жижека. Как пишет Жужа Гиль: «Дорожный указатель, ведущий от глобального мира к Восточной Европе, остается направленным в одну сторону. Всегда от Запада или глобального как причины, к Восточной Европе как следствию» (Gille, 2010: 15). Цикинделеану (2020: 134) очень удачно подытоживает мое предположение: «Общий смысл здесь в том, что „Восток остался непознаваемым“ еще и потому, что западные научные круги не смогли разглядеть эти институции и социальные процессы, их акторов и их наработки». И это совсем не обогатило построение глобальной теории.

Я считаю в этом отношении весьма важным текст Поля Волькенштейна (2020). Он, по-видимому, предполагает, что постсталинская архитектура — это такая связующая нить, которая могла бы очертировать региональные границы Глобального Вос-

4. Употребляя в дальнейшем единственное число, я ограничиваюсь одним из тех Востоков, что эмпирически относится к обществам, возникшим после распада социализма между 1989 и 1992 годами.

тока (с чем я бы не согласился, см. выше). Я же, однако, полагаю, что в самом конце его реплики звучит более сильная мысль: о необыкновенном богатстве урбанистических и архитектурных экспериментов, которым зачастую уделяется недостаточно внимания в западных исследованиях. Можно ли действительно преподавать городское планирование, не ссылаясь на советский или китайский опыт? Можно ли понять предпочтение, отдаваемое американцами односемейным частным домам, не обращаясь к советской жилищной политике? Можно ли изучать динамику современных городов, не полагаясь на опыт Душанбе, Вильнюса или Москвы? Иными словами, разве не оказалось бы образование в сфере урбанистики и городского планирования куда богаче, если бы оно обращало внимание не только на динамику Севера и Юга?

Для меня Глобальный Восток — это эпистемологический проект, создающий в первую очередь пространство для размышлений и признания того, что уже есть. В конце концов, «оригинальность доводов не является прерогативой западных исследователей» (Шелекпаев, Чокобаева, 2020). Моя идея заключается именно в том, что на Глобальном Востоке уже есть масса превосходных исследований, заслуживающих куда большего признания, чем то, что они получают; а также в том, что если Восток выглядит черной дырой в глобальных академических дебатах, это вовсе не означает, что он ею и является (и я вовсе этого не утверждаю, как, по-видимому, склонны полагать Роджерс и Голубев) (2020). Если Роджерс (2020) прав, и я сильно недооценил степень влияния и глобальной интеграции делающихся на Востоке исследований, то я буду только рад ошибиться. Хотя у меня на этот счет имеется скепсис, подтвержденный рядом недавних штудий, как количественных, так и качественных. Они отчетливо указывают не только на отсутствие Востока в глобальных дебатах, но и на нехватку у него собственной субъектной позиции, исходя из которой можно было бы строить дискуссию (Demeter, 2018b, 2018a; Gentile, 2018; Koobak, Marling, 2014; Kuzhabekova, 2020; Tlostanova, 2015; Trubina et al., 2020).

Аргумент, однако, состоит не в том, чтобы подчиниться западной архитектуре знания, а в том, чтобы изменить ее. Это необходимый шаг, хотя и весьма рискованный, как не стесняются отмечать мои комментаторы. Самая суть проблемы сводится к вопросу, заданному некоторое время назад чернокожей активисткой и писательницей Одри Лорд (1984): способны ли инструменты Хозяина разобрать дом Хозяина? Иными словами, сможет ли критика Хозяина на его языке (английском) и в его изданиях (международных журналах) многое поменять в архитектуре западного знания? Или это просто еще одно полупериферийное движение к полуревантности? Безуглов (2020) указывает вполне реальную возможность оказаться не поставщиком тем для дискуссий, а подвергнуться эксплуатации, то есть быть дешево купленным и присвоенным. Тем не менее значительная часть этой эксплуатации, вызванной неравным соотношением сил между Востоком и Севером, имеет место уже сегодня (см.: Timár, 2004). Тот факт, что восточные исследователи остаются незамеченными, тогда как их западные коллеги, начав за-

давать схожие вопросы, присваивают себе большую часть заслуг, — явление не новое. Как и попытки деколонизации (Karkov, 2015; Kušić, Lottholz, Manolova, 2019; Țichindeleanu, 2013; Тлостанова, 2020), проект Глобального Востока направлен на борьбу с подобным структурным неравенством. Нет никаких сомнений в том, что их устранение будет непростой задачей.

Почему Глобальный Восток как стратегический эсценциализм имеет не только сильные, но и слабые стороны

Задача стратегического эсценциализма, заключенного в концепте «Глобального Востока», состоит в стратегическом устранении различий, которое поможет обрести голос в более широких дискуссиях и даст возможность раздвинуть объяснятельные рамки. Вместе мы справимся. Стратегические эсценциализмы смягчают методологический и региональный национализм, когда основными ориентирами научных исследований становятся страны или регионы. Действительно, как отмечает Усманова (2020), в постсоциалистических государствах нет недостатка в методологическом национализме.

Однако у стратегического эсценциализма имеются и свои издержки: к таковым относится затушевывание внутренних различий и дифференциаций. Ценой вопроса о месте Востока в мире и взгляда, направленного вовне, оказывается пренебрежение не только внутренним богатством, но и внутренними конфликтами. Именно так я понимаю ответы Левкина, Соколовской, Голубева (2020). «Восток не является невидимым для себя самого», — пишет Цикинделеану (2020). И действительно, есть «Восток на Востоке», есть внутренняя колониальная дифференциация, например, между Россией и Средней Азией, о чем напоминают нам Шелекпав и Чокобаева (2020)⁵.

Я ценю эту позицию за ее скептическое отношение к погоне за химерой глобальности и решительное стремление сначала понять и оценить то, что находится рядом с домом. Возможно, это позволит обрести большую автономию в деле производства знаний и культуры, вместо того чтобы следовать прихотям последней моды. Но в этом есть и риск, выражаящийся в установке «нам и так хорошо», ее на Востоке в настоящее время, увы, тоже хватает. На глобальном уровне это чревато риском редуцировать Восток до уровня потребителя, а не производителя знаний. Цель стратегического эсценциализма Глобального Востока как раз и состоит в том, чтобы создать пространство безупречной работы и разнообразия знаний, уже существующих, чтобы привнести новое качество в глобальные дискуссии. Стратегическая природа эсценциализма заключается в том, чтобы на некоторое время отложить в сторону различия и, не игнорируя и не отрицая их, достичь политической цели.

5. Советский фильм «Белое солнце пустыни», откуда я позаимствовал заголовок для своей реплики, представляет собой герметичное воплощение подобного колониального различия и колониального взгляда.

Почему Глобальный Восток соединяет будущее с прошлым

Я рассматриваю «Глобальный Восток» как эпистемологический проект, вмешивающийся сейчас в геополитику знания для того, чтобы изменить его в будущем. В своей ориентации на потенциальности, на то, что, возможно, его можно назвать, как делает это Трубина (2020), «когнитивной утопией». Это не означает, что этот проект упускает из виду прошлое или пренебрегает важностью историзации. Как я продемонстрировал в обсуждаемом тексте, для понимания нынешней эпистемологической ситуации Востока, нужно, с эпистемологической же точки зрения, отдать себе отчет в том, как он оказался там, где находится сейчас.

Проект Глобального Востока направлен на восстановление будущего для прошлого (Sousa Santos, 1998). Я считаю это тем более важным, что общепринятая позиция по отношению к постсоциалистическому Востоку напоминает знаменитый комментарий Вальтера Беньямина к картине Пауля Кlee «Angelus Novus»: ангел, беспомощно уносимый ветром в будущее, но повернувшийся к нему спиной, парализованный, в ужасе смотрит на обломки истории. Регулярные упоминания об «эффектах колеи», «социалистическом наследии», «разбитых утопиях», «догоняющей модернизации» или даже «восточной ментальности» вынуждают нас оглядываться назад пугающе сходным образом. Иногда мы, как мне кажется, слишком зачарованы прошлым Востока, чтобы представить себе поворот к будущему, в которое нас тем не менее несет с неумолимой силой. Это не означает, что мы должны игнорировать или отбрасывать прошлое (оно рано или поздно настигнет нас, как замечает Роджерс [2020]), а говорит скорее о том, что мы должны научиться его историзации, чтобы «вернуть» прошлому «возможность вспышки, взрыва, искупления» (Sousa Santos, 1998: 98).

Важно отметить, что существует множество исследований, историзирующих и опыт социализма, и появление постсоциализма (в качестве крайне специфического примера см.: Sîrbu и Polgár, 2009). Тем не менее историзация в моем понимании должна решать задачу воображения множества альтернативных будущих. Это одна из причин, по которой я критически отношусь к понятию постсоциализма, поскольку до сих пор его употреблению, как правило, не хватало именно возвращения к «возможности вспышки, взрыва, искупления» (Sousa Santos, 1998: 98; см. также: Kurtović, Sargsyan, 2019). «Большинство исследований постсоциализма, помещая его в гомогенное и пустое время-пространство, составленное из обломков Стены и распада Советского Союза в 1991 году, воспроизводят неизбежность капиталистического „сейчас“» (Atanasoski, Vora, 2018: 140). Я думаю, что подобный постсоциализм ограничивает то, как мы мыслим разнообразие будущего и потенциальные возможности постсоциалистических обществ (и, на самом деле, их прошлое) (см. аналогичную критику в: Kurtović, Sargsyan, 2019: 8). Тем не менее нет необходимости сбрасывать со счетов сам термин «постсоциализм», чтобы соответствовать той повестке, что предлагаю я, вводя термин «Глобальный Восток». Если этого можно достичь, сплотившись вокруг «постсоциализма» и переос-

мыслив его (см. новаторские работы на этот счет в: Atanasoski, Vora, 2018; Kangas, Salmenniemi, 2016; Kurtović, Sargsyan, 2019; Tuvikene, 2016) так, что мое прощание с ним окажется преждевременным, я буду только рад.

Почему «Глобальный Восток» — это начало, а не конец эпистемологического путешествия

На протяжении всего этого текста я называл Глобальный Восток «проектом». Проекты — это временные предприятия, задуманные с особой целью, и я хотел бы придать особое значение слову «временный». Для меня Глобальный Восток — это средство создания пространства и формулировки субъектной позиции, при помощи которых можно было бы бросить вызов бинарной оппозиции Север — Юг (Müller, 2021b), сместив исследовательский центр тяжести с ограниченного числа англоговорящих и западноевропейских стран. Этот концепт окажется максимальным результирующим тогда, когда в нем отпадет необходимость, в этот момент его миссия будет выполнена. Поэтому цель не в том, чтобы установить новый способ деления мира на части, как, кажется, предполагают некоторые комментаторы (Левкин, Соколовская, 2020). Я согласен с Голубевым (2020) и Градской (2020), что Север и Юг (если уж на то пошло, и Восток) — это не те категории, в которых стоит строить дискуссию о глобальной теории. Но именно в этих рамках многие ученые ведут подобные дебаты прямо сейчас, нравится нам это или нет. Категория Глобального Востока как раз и призвана показать границы этих рамок.

Мне близка реакция тех коллег и студентов, кто говорит, что понятие Глобального Востока помогает артикулировать именно то затруднение, с которым они сталкиваются, когда, оказавшись зажаты между Севером и Югом как доминирующими полушариями, чувствуют, будто их лишили голоса. Возражу Макарычеву (2020) и скажу, что те, кто отождествляет себя с подобной позицией, существуют на самом деле. В отличие от опасений по поводу термина «Восток» (Макарычев, 2020) и тех комментариев, где поднимается вопрос о риске ориентализации (см.: Градская, 2020), я уверен, что последний как термин и как эмансипаторный проект может быть (вновь) востребован. Судьба его на протяжении веков была переменчива, от «ex oriente lux» до Франкенштейна (иные точки зрения на Восток см. в: Mahbubani, 2008; Neumann, 1999; Osterhammel, 2018). Пришло время отвоевать его у патернистских и нагнетающих страхов языков geopolитики и полуинаковости, реактивировав скрытые в нем возможности вдохновения.

Позвольте мне завершить этот текст рассказом об одной инициативе, отражающей всю широту опыта участников дискуссии, от искусства до академической науки. Это публикующийся каждые полгода журнал под провокационным названием «Юг как состояние сознания». Редакция располагается в Афинах. Выше я уже ссылался на статью, взятую из одного его недавнего номера (Choi, Mi, 2019). В миссии этого издания записано следующее:

Одержаные духом абсурдного авторитета, мы пытаемся заразить господствующую культуру идеями, происходящими из южных мифологий, такими как «идеальный климат», «легкая жизнь», «хаос», «коррупция» и «бурный темперамент». Через наше искаженное — то есть «южное» — отношение, выраженное в критических очерках, проектах художников, интервью и статьях, мы хотели бы сформировать концепт Юга как «состояния сознания», а не набора фиксированных мест на карте. <...> Открывая неожиданный диалог между соседями, городами, регионами и подходами, «Юг как состояние сознания» является одновременно изданием и местом интенсивных встреч для общей работы.

Независимо от того, принимаете ли вы идею Юга как состояния сознания, эта отважная и ироничная попытка переприсвоить значение «Юга» изымает его из сферы территориализации («Юг это там») и, превращая его в силу творческого исследования наших самых заветных убеждений, открывает «неожиданный диалог между соседями, городами, регионами и подходами». Не прекрасно ли было бы, если бы проект Глобального Востока обернулся чем-то подобным?

Литература

- Безуглов Д. (2020). Костры на опушке: замечания к реляционности «Глобального Востока» // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 156–160.
- Волькенштейн П. (2020). Постсталинская архитектура, общий знаменатель «Глобального Востока»? // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 148–154.
- Голубев А. (2020) Перепроизводство Востоков // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 144–148.
- Градская Ю. (2020). Новый ориентализм? // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 140–142.
- Левкин А. (2020). Согласился бы Коперник? // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 138–140.
- Макарычев А. (2020). Глобальный Восток: «голос без субъекта» // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 154–159.
- Мюллер М. (2019). Прощай, Постсоциализм! // DOXA online. URL: https://doxajournal.ru/stadis/goodbye_postsocialism (дата доступа: 01.01.21).
- Роджерс Д. (2020). Постсоциализм и «Глобальный Восток» // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 135–138.
- Соколовская М. (2020). О невидимости кому я должна сожалеть? // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 142–144.
- Тлостанова М. (2020). Постколониальный удел и деколониальный выбор: постсоциалистическая медиация // Новое литературное обозрение. № 1. URL: http://nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21972/ (дата доступа: 01.01.21).
- Трубина Е. 2020. Глобальный Восток и Глобус // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 102–129.

- Усманова А. (2020). Дебаты о постсоциализме и политики знания в пространстве множественных «post-» // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 44–69.
- Уфельманн Д. (2020). Постколониальная теория как постколониальный национализм // Новое литературное обозрение. № 1. URL: http://nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21973/ (дата доступа: 01.01.21).
- Цикинделеану О. (2020). Отвечая на призыв «глобальных Востоков»: органическая культура и транспериферийная ориентация // Социологическое обозрение. Т.19. № 3. С. 131–135.
- Шелекнаев Н., Чокобаева А. (2020). Восток внутри «Востока»? Центральная Азия между «стратегическим эссенциализмом» глобальных символов и тактическим эссенциализмом национальных нарративов // Социологическое обозрение. Т.19. № 3. С. 70–101.
- Anzaldúa G. (1987). *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*. San Francisco: Aunt Lute Books.
- Atanasoski N., Kalindi V. (2018). Postsocialist Politics and the Ends of Revolution // Social Identities. Vol. 24. № 2. P. 139–154.
- Bach J., Murawski M. (eds.). (2020). *Re-centring the City: Global Mutations of Socialist Modernity*. L.: UCL Press.
- Benjamin W. (1968). *Illuminations*. N.Y.: Schocken.
- Choi B., Mi Y. (2019). Eurasia Underground Library: Notes on Its Formation // South as a State of Mind. Vol. 11. P. 84–95.
- Comaroff J. L., Comaroff J. (2011). *Theory from the South; Or, How Euro-America is Evolving toward Africa*. Boulder: Paradigm.
- Demeter M. (2018a). Nobody Notices It? Qualitative Inequalities of Leading Publications in Communication and Media Research // International Journal of Communication. Vol. 12. P. 1001–1031.
- Demeter M. (2018b). The Global South's Participation in the International Community of Communication Scholars: From an Eastern European Point of View // Publishing Research Quarterly. Vol. 34. № 2. P. 238–255.
- EEP (2020). East European Photography: About EEP. URL: <https://eepberlin.org/pages/about-us> (дата доступа: 01.01.21).
- Gentile M. (2018). Three Metals and the 'Post-Socialist City': Reclaiming the Peripheries of Urban Knowledge // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 42. № 6. P. 1140–1151.
- Gille Z. (2010). Is There a Global Postsocialist Condition? // Global Society. Vol. 24. № 1. P. 9–30.
- Ginelli Z. (2020). Postcolonial Hungary: Eastern European Semiperipheral Positioning in Global Colonialism // *Kritikai földrajz* (blog). April 2. URL: <https://kritikaifoldrajz.hu/2020/04/02/postcolonial-hungary-eastern-european-semiperipheral-positioning-in-global-colonialism/> (дата доступа: 01.01.21).
- Hann C. (2016). A Concept of Eurasia // Current Anthropology. Vol. 57. № 1. P. 1–10.

- Haraway D.* (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective // *Feminist Studies*. Vol. 14. № 3. P. 575–599.
- Kangas A., Salmenniemi S.* (2016). Decolonizing Knowledge: Neoliberalism beyond the Three Worlds // *Distinktion: Journal of Social Theory*. Vol. 17. № 2. P. 210–227.
- Karkov N.* (2015). Decolonizing Praxis in Eastern Europe: Toward a South-to-South Dialogue // *Comparative and Continental Philosophy*. Vol. 7. № 2. P. 180–200.
- Koobak R., Marling R.* (2014). The Decolonial Challenge: Framing Post-Socialist Central and Eastern Europe within Transnational Feminist Studies // *European Journal of Women's Studies*, Vol. 21. № 4. P. 330–343.
- Kudaibergenova D. T.* (2016). The Use and Abuse of Postcolonial Discourses in Post-Independent Kazakhstan // *Europe-Asia Studies*. Vol. 68. № 5. P. 917–935.
- Kurtović L., Sargsyan N.* (2019). After Utopia: Leftist Imaginaries and Activist Politics in the Postsocialist World // *History and Anthropology*. Vol. 30 № 1. P. 1–19.
- Kušić K., Lottholz P., Manolova P.* (eds.). (2019). *Diversia*. Vol. 19. № 3. Special Issue: Decolonial Theory and Practice in Southeast Europe.
- Kuzhabekova A.* (2020). Invisibilizing Eurasia: How North–South Dichotomization Marginalizes Post-Soviet Scholars in International Research Collaborations // *Journal of Studies in International Education*. Vol. 24. № 1. P. 113–130.
- Lorde A.* (1984). The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House // *Lorde A. Sister Outsider: Essays and Speeches*. Berkeley: Crossing Press. P. 110–114.
- Mahbubani K.* (2008). The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East. New York: Public Affairs.
- Mignolo W. D.* (2002). The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference // *South Atlantic Quarterly*. Vol. 101. № 1. P. 57–96.
- Mignolo W. D.* (2012). The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Durham: Duke University Press.
- Müller M.* (2019). Goodbye, Postsocialism! // *Europe-Asia Studies*. Vol. 71. № 4. P. 533–550.
- Müller M.* (2020a). In Search of the Global East: Thinking between North and South // *Geopolitics*. Vol. 25. № 3. P. 734–755.
- Müller M.* (2020b). გვობადეური აღმოსავარეთის ძიებაში: ფიქრი გვობადურ ჩრდილოეთსა და სამხრეთს შორის // Human Rights Education and Monitoring Center (EMC). June.
- Müller M.* (2020c). W Poszukiwaniu Globalnego Wschodu: Myślenie Między Północą a Południem // *Praktyka Teoretyczna*. Vol. 37. № 3. P. 157–186.
- Müller M.* (2021a). À la recherche des Ests: Les villes en notes de bas de page // *L'Information Géographique*. Forthcoming.
- Müller M.* (2021b). Thinking Cities beyond North and South // Working Paper.
- Neumann I. B.* (1999). *Uses of the Other: «The East» in European Identity Formation*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Osterhammel J.* (2018). *Unfabling the East: The Enlightenment's Encounter with Asia*. Princeton: Princeton University Press.

- Shin H. B., Lees L., López-Morales E.* (2016). Introduction: Locating Gentrification in the Global East // *Urban Studies*. Vol. 5 № 3. P. 455–470.
- Sîrbu A. T., Polgár A.* (eds.). (2009). *Genealogies of Post-Communism*. Cluj: Idea Design & Print.
- Snochowska-Gonzalez C.* (2012). Post-Colonial Poland: On an Unavoidable Misuse // *East European Politics and Societies*. Vol. 26 № 4. P. 708–723.
- Sousa Santos B. de* (1998). The Fall of the Angelus Novus: Beyond the Modern Game of Roots and Options // *Current Sociology*. Vol. 46. № 2. P. 81–118.
- Sousa Santos B. de* (2014). *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*. L.: Routledge.
- South as a State of Mind (2020). South as a State of Mind: About. URL: <https://southasstateofmind.com/about/> (дата доступа: 01.01.21).
- Tichindeleanu O.* (2013). Decolonial AestheSis in Eastern Europe: Potential Paths of Liberation // *Social Text Online*. URL: https://socialtextjournal.org/periscope_article/decolonial-aesthesia-in-eastern-europe-potential-paths-of-liberation/ (дата доступа: 01.01.21).
- Timár J.* (2004). More than «Anglo-American», It is «Western»: Hegemony in Geography from a Hungarian Perspective // *Geoforum*. Vol. 35. № 5. P. 533–538.
- Tlostanova M.* (2015). Can the Post-Soviet Think? // *Intersections. East European Journal of Society and Politics*. Vol. 1. № 2. P. 38–58.
- Trubina E., Gogishvili D., Imhof N., Müller M.* (2020). A Part of the World or Apart from the World? The Postsocialist Global East in the Geopolitics of Knowledge // *Eurasian Geography and Economics*. Vol. 61. № 6. P. 636–662.
- Tuhiwai Smith L.* (1999). *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. L.: Zed Books.
- Tuvikene T.* (2016). Strategies for Comparative Urbanism: Post-Socialism as a De-Territorialized Concept // *International Journal of Urban and Regional Research*. Vol. 40. № 1. P. 132–146.

The East is a Delicate Matter

Martin Müller

Professor of Human Geography, Department of Geography and Sustainability, University of Lausanne
 Center for Global Urbanism, Ural Federal University
 Address: Géopolis 3514, 1015 Lausanne, Switzerland
 E-mail: martin@martin-muller.net

This article is Martin Müller's response to essays and remarks that critically examined the Russian translation of his article "In Search of the Global East: Thinking between North and South" (Russian Sociological Review. Vol. 19. № 3). The material for the analysis were texts published in the thematic block "The Global East: The Politics of Naming and Knowledge Production" (found in the same

issue). The article analyzes these texts according to the standpoint principle, that is, in keeping with the desire to go beyond the dominant social construction of reality in order to understand marginalized groups and regions by giving them a voice. The focus is on the generational differences between the author and his critics, as well as the inevitability of the differences in reactions to the author's proposal to pay more attention to a region traditionally referred to as post-socialist. Examples of the specific reactions and positions of the critics are given. The author has highlighted the following aspects of the problems associated with the popularization of the concept of the Global East: the non-identity of this concept to post-socialism, the importance of "global" in this concept, the pros and cons of understanding the Global East through the prism of strategic essentialism, and the complex temporality of this concept ("future for the past").

Keywords: Global East, critique, generation, location, territoriality, globalization, strategic essentialism, dominance and subordination in the global academic system

References

- Anzaldúa G. (1987) *Borderlands/La Frontera: The New Mestiza*, San Francisco: Aunt Lute Books.
- Atanasoski N., Kalindi V. (2018) Postsocialist Politics and the Ends of Revolution. *Social Identities*, vol. 24, no 2, pp. 139–154.
- Bach J., Murawski M. (eds.) (2020) *Re-Centring the City: Global Mutations of Socialist Modernity*, London: UCL Press.
- Benjamin W. (1968) *Illuminations*, New York: Schocken.
- Bezuglov D. (2020) Kostry na opushke: zamechanija k reljacionnosti "Global'nogo Vostoka" [Bonfires at the Edge: Remarks on the Relativity of the "Global East"]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 156–160.
- Choi B., Mi Y. (2019) Eurasia Underground Library: Notes on Its Formation. *South as a State of Mind*, vol. 11, Fall/Winter, pp. 84–95.
- Cikindeleanu O. (2020) Otvechaja na prizvyy "global'nyh Vostokov": organiceskaja kul'tura i transperiferijnaja orientacija [Responding to the Call of the "Global Easts": Organic Culture and Trans-peripheral Orientation]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 131–135.
- Comaroff J. L., Comaroff J. (2011) *Theory from the South; Or, How Euro-America is Evolving toward Africa*, Boulder: Paradigm.
- Demeter M. (2018) Nobody Notices It? Qualitative Inequalities of Leading Publications in Communication and Media Research. *International Journal of Communication*, vol. 12, pp. 1001–1031.
- Demeter M. (2018) The Global South's Participation in the International Community of Communication Scholars: From an Eastern European Point of View. *Publishing Research Quarterly*, vol. 34, no 2, pp. 238–255.
- EEP (2020) East European Photography: About EEP. Available at: <https://eepberlin.org/pages/about-us> (accessed 1 January 2021).
- Gentile M. (2018) Three Metals and the 'Post-Socialist City': Reclaiming the Peripheries of Urban Knowledge. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 42, no 6, pp. 1140–1151.
- Gille Z. (2010) Is There a Global Postsocialist Condition? *Global Society*, vol. 24, no 1, pp. 9–30.
- Ginelli Z. (2020) Postcolonial Hungary: Eastern European Semiperipheral Positioning in Global Colonialism. Available at: <https://kritikaifoldrajz.hu/2020/04/02/postcolonial-hungary-eastern-european-semiperipheral-positioning-in-global-colonialism/> (accessed 1 January 2021).
- Golubev A. (2020) Pereproizvodstvo Vostokov [Overproduction of the Easts]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 144–148.
- Gradskova Y. (2020) Novyy orientalizm? [New Orientalism?]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 140–142.
- Hann C. (2016) A Concept of Eurasia. *Current Anthropology*, vol. 57, no 1, pp. 1–10.
- Haraway D. (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. *Feminist Studies*, vol. 14, no 3, pp. 575–599.
- Kangas A., Salmenniemi S. (2016) Decolonizing Knowledge: Neoliberalism beyond the Three Worlds. *Distinktion: Journal of Social Theory*, vol. 17, no 2, pp. 210–227.

- Karkov N. (2015) Decolonizing Praxis in Eastern Europe: Toward a South-to-South Dialogue. *Comparative and Continental Philosophy*, vol. 7, no 2, pp. 180–200.
- Koobak R., Marling R. (2014) The Decolonial Challenge: Framing Post-Socialist Central and Eastern Europe within Transnational Feminist Studies. *European Journal of Women's Studies*, vol. 21, no 4, pp. 330–343.
- Kudaibergenova D. T. (2016) The Use and Abuse of Postcolonial Discourses in Post-Independent Kazakhstan. *Europe-Asia Studies*, vol. 68, no 5, pp. 917–935.
- Kurtović L., Sargsyan N. (2019) After Utopia: Leftist Imaginaries and Activist Politics in the Postsocialist World. *History and Anthropology*, vol. 30, no 1, pp. 1–19.
- Kušić K., Lottholz P., Manolova P. (eds.) (2019) *Diversia*, vol. 19, no 3, Special Issue: Decolonial Theory and Practice in Southeast Europe.
- Kuzhabekova A. (2020) Invisibilizing Eurasia: How North–South Dichotomization Marginalizes Post-Soviet Scholars in International Research Collaborations. *Journal of Studies in International Education*, vol. 24, no 1, pp. 113–130.
- Levkin A. (2020) Soglasilsja by Kopernik? [Would Copernicus Agree?]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 138–140.
- Lorde A. (1984) *The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. Sister Outsider: Essays and Speeches*, Berkeley: Crossing Press, pp. 110–114.
- Mahbubani K. (2008) *The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East*, New York: Public Affairs.
- Makarychev A. (2020) Global'nyj Vostok: "golos bez sub'ekta" [Global East: "A Voice without a Subject"]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 154–159.
- Mignolo W. D. (2002) The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference. *South Atlantic Quarterly*, vol. 101, no 1, pp. 57–96.
- Mignolo W. D. (2012) *The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options*, Durham: Duke University Press.
- Müller M. (2019) Proshhaj, Postsocializm! [Goodbye, Postsocialism!]. Available at: https://doxajournal.ru/stadis/goodbye_postsocialism (accessed 1 January 2021)
- Müller M. (2019) Goodbye, Postsocialism! *Europe-Asia Studies*, vol. 71, no 4, pp. 533–550.
- Müller M. (2020) In Search of the Global East: Thinking between North and South. *Geopolitics*, vol. 25, no 3, pp. 734–755.
- Müller M. (2020) Globaluri aghmosavletis dziebashi: pikri globalur chrdiloetsa da samkhrets shoris [In Search of a Global East: Thinking Between a Global North and a South]. Available at: <https://emc.org.ge/ka/products/globaluri-aghmosavletis-dziebashi-fikri-%20globalur-chrdiloetsa-da-samkhrets-shoris> (accessed 1 January 2021).
- Müller M. (2020) W Poszukiwaniu Globalnego Wschodu: Myślenie Między Północą a Południem. *Praktyka Teoretyczna*, vol. 37, no 3, pp. 157–186.
- Müller M. (2021) À la recherche des Ests: Les villes en notes de bas de page. *L'information Géographique* (forthcoming).
- Müller M. (2021) Thinking Cities beyond North and South (Working Paper).
- Neumann I. B. (1999) *Uses of the Other: "The East" in European Identity Formation*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Osterhammel J. (2018) *Unfabling the East: The Enlightenment's Encounter with Asia*, Princeton: Princeton University Press.
- Rogers D. (2020) Postsocializm i "Global'nyj Vostok" [Post-socialism and the "Global East"]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 135–138.
- Shelekpaev N., Chokobaeva A. (2020) Vostok vnutri "Vostoka"? Central'naja Azija mezhdunarodnym "strategicheskim jessencializmom" global'nyh simvolov i takticheskim jessencializmom nacional'nyh narrativov [East within the "East"? Central Asia between the "Strategic Essentialism" of Global Symbols and the Tactical Essentialism of National Narratives]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 70–101.
- Shin H. B., Lees L., López-Morales E. (2016) Introduction: Locating Gentrification in the Global East. *Urban Studies*, vol. 5, no 3, pp. 455–470.
- Sirbu A. T., Polgár A. (eds.) (2009) *Genealogies of Post-Communism*, Cluj: Idea Design & Print.

- Snochowska-Gonzalez C. (2012) Post-Colonial Poland: On an Unavoidable Misuse. *East European Politics and Societies*, vol. 26, no 4, pp. 708–723.
- Sokolovskaya M. (2020) O nevidimosti komu ja dolzhna sozhalet' [About Invisibility to Whom Should I Regret]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 142–144.
- Sousa Santos B. de (1998) The Fall of the Angelus Novus: Beyond the Modern Game of Roots and Options. *Current Sociology*, vol. 46, no 2, pp. 81–118.
- Sousa Santos B. de (2014) *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*, London: Routledge.
- South as a State of Mind (2020) South as a State of Mind: About. Available at: <https://southasastateofmind.com/about/> (accessed 1 January 2021).
- Tichindeleanu O. (2013) Decolonial AestheSis in Eastern Europe: Potential Paths of Liberation. Available at: https://socialtextjournal.org/periscope_article/decolonial-aesthesia-in-eastern-europe-potential-paths-of-liberation/ (accessed 1 January 2021).
- Timár J. (2004) More than "Anglo-American", It Is "Western": Hegemony in Geography from a Hungarian Perspective. *Geoforum*, vol. 35, no 5, pp. 533–538.
- Tlostanova M. (2015) Can the Post-Soviet Think? *Intersections: East European Journal of Society and Politics*, vol. 1, no 2, pp. 38–58.
- Tlostanova M. (2020) Postkolonial'nyj udel i dekolonial'nyj vybor: postsocialisticheskaja mediacija [Postcolonial Destiny and Decolonial Choice: Post-socialist Mediation]. *New Literary Observer*, no 1. Available at: http://nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21972/ (accessed 1 January 2021).
- Trubina E. (2020) Global'nyj Vostok i Globus [Global East and Globe]. *Russian Sociological Review*, vol.19, no 3, pp. 102–129.
- Trubina E., Gogishvili D., Imhof N., Müller M. (2020) A Part of the World or Apart from the World? The Postsocialist Global East in the Geopolitics of Knowledge. *Eurasian Geography and Economics*, vol. 61, no 6, pp. 636–662.
- Tuhaiwai Smith L. (1999) *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*, London: Zed Books.
- Tuvikene T. (2016) Strategies for Comparative Urbanism: Post-Socialism as a De-Territorialized Concept. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 40, no 1, pp. 132–146.
- Uffelmann D. (2020) Postkolonial'naja teorija kak postkolonial'nyj nacionalizm [Postcolonial theory as postcolonial nationalism]. *New Literary Observer*, no 1. Available at: http://nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_obozrenie/161_nlo_1_2020/article/21973/ (accessed 1 January 2021).
- Usmanova A. (2020) Debaty o postsocializme i politiki znanija v prostranstve mnozhestvennyh "post-" [Debate about Post-socialism and the Politics of Knowledge in the Space of Multiple "post-"]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 44–69.
- Volkenshtein P. (2020) Poststalinskaja arhitektura, obshhij znamenatel' "Global'nogo Vostoka"? [Post-Stalinist Architecture, the Common Denominator of the "Global East"]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 148–154.

От Кьеркегора к Шмитту: к политico-теологической актуальности повторения*

Владимир Башков

Стажер-исследователь Центра фундаментальной социологии,
аспирант аспирантской школы по философским наукам,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: untrusting51@rambler.ru

В статье предпринимается попытка рассмотрения политической теологии Карла Шмитта с привлечением философско-литературного наследия Серена Кьеркегора. Для большинства современных исследователей существование этой идейной связи уже не является чем-то новым и подлежащим сомнению. В ключевых формулировках политической теологии обнаруживается диалектика исключения и всеобщего, которая предстает в том самом виде, в каком она была сформулирована Кьеркегором. Чаще всего именно исключение привлекает внимание специалистов. Однако, помимо исключения, Кьеркегор также рассуждал о повторении, и именно одноименное произведение датского философа стало источником цитаты, с помощью которой Шмитт иллюстрирует значение суверенного решения для систематического учения о государстве. В данной статье происходит переопределение основных идей Шмитта с помощью понятия повторения и демонстрируется теоретическая новизна и продуктивность такого подхода к изучению наследия одного из ключевых политических мыслителей XX века.

Ключевые слова: повторение, исключение, политическая теология, Карл Шмитт, Серен Кьеркегор

Знаменитого немецкого юриста и политического мыслителя Карла Шмитта нередко причисляют, со ссылкой на исследование Армина Молера, к движению «Консервативной революции» (Молер, 2017). Сегодня можно констатировать, что данное соотнесение вне зависимости от его исторической оправданности не дает надежного основания для понимания мысли Шмитта и заложенного в ней потенциала. Это связано с крайней идеологической неоднородностью самого движения, что затрудняет сколь-нибудь внятное обобщение, которое было бы желательно для понимания конкретного случая. Молер подчеркивает, что, несмотря на очевидное влияние Шмитта на идеи консервативной революции, его, наряду с другими значительными фигурами, невозможно отнести к какому-то конкретному

* Статья опубликована в рамках исследовательского проекта «Этика солидарности и биополитика карантина: теоретические проблемы культурно-политических трансформаций в эпоху пандемий», реализуемого ЦФС в 2021 году в соответствии с Программой фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

идейному течению и подверстать этот «мятежный ум» под общую линию интерпретации (Там же: 112–113, 258). Однако сам парадокс, содержащийся в названии упомянутого движения, представляет определенную ценность и может послужить отправной точкой для размышления о соотношении «консервативного» и «революционного» в идейном наследии Шмитта.

Если консерватизм делает упор на сохранении действующего порядка, а в экстремальной ситуации отстаивает необходимость *status quo*, то революционный (радикальный) консерватизм идет значительно дальше, требуя не просто восстановления нормального правового состояния, но реактуализации неких глубинных оснований политического сообщества, что зачастую может приводить к конфликту между действующими нормами и неписанным правом. На интересующем нас этапе творчества Шмитт стоял на позициях децизионизма. Вот как он впоследствии определял суть этой теоретической установки:

Конечное основание всякой правовой значимости и ценности можно юридически обнаружить в волевом процессе, в решении, которое в качестве решения вообще впервые создает «право», и его «правовая сила» не может выводиться из правовой силы правил, касающихся решения. Ибо право возникает даже в результате решения, не соответствующего правилу. Эта правовая сила противоречащих норме решений присутствует в любом «правопорядке». (Шмитт, 2013: 323)

В исключительных случаях решение «обосновывается от правовой нормы» и авторитет государства доказывает, что «ему, чтобы создать право, нет нужды иметь право» (Шмитт, 2016в: 16). Если не знать, что стоит за решением, помимо чистого волюнтаризма, и какова его конечная цель, отождествить решение с консервативным или революционным действием оказывается не так просто. Мартин Хайдеггер, рассуждая об историчности *Dasein*, связывает решение с принятием своей судьбы, наследия, в конечном счете — с осознанием себя частью исторического пути общности, народа (Хайдеггер, 2011: 382–387). Связь с прошлым устанавливается через «возобновление преемственной возможности экзистенции», которая обнаруживает и присваивает «возможности сбывающегося присутствия» (Там же: 385). Это и не простое повторение прошлого, но и не выражение стремления к прогрессу, историчность присутствия конкретна в своей фактичности, укоренена в ней. «Консервативная псевдореволюция» — так называет решение о добровольном принятии своей судьбы философ Славой Жижек (Жижек, 2007: 140). Согласно его трактовке, Хайдеггер обращает внимание лишь на одну возможность повторения, состоящую в обращении к прошлому как способу легитимации господства. Но в повторении содержится антагонизм, обусловленный наличием второй возможности: реактуализации ранее упущенных [проигравшей стороной] шансов (Там же: 141). Если принять во внимание, что децизионистскому типу юридического мышления свойственно такое понимание суверенного решения, которое творит порядок *ex nihilo*, т. е. «из ничего», то можно увидеть в устанавливающемся порядке

ке обе названные возможности. Новый порядок может стать как продолжением предыдущего, так и чем-то совершенно иным, а решение может утвердить право уже имеющейся общности или наделить правом новую общность, возникающую в момент исключительного случая. Интересно, однако, не само наличие двух возможностей, не перспектива выбора одной из них с последующей интенсификацией исходного антагонизма, но их парадоксальная слитность в рамках повторения, позволяющая говорить о шансе возникновения нового в ходе воспроизведения уже бывшего, раскрытия индивидуального в привычном.

Исключение и повторение

«Исключение — это то, что не может повториться», — так начинается пересказ «Политической теологии» Карла Шмитта в книге известного итальянского философа Джорджа Агамбена, который продолжает далее: «оно не подпадает под общую гипотезу, но в то же время делает абсолютно явным особый юридический формальный элемент: решение» (Агамбен, 2011а: 23). Внимание Агамбена сосредоточено на отношении правовой нормы и нормальной ситуации вообще к чрезвычайному положению и особой роли суверена. Философ пересказывает фрагмент, в котором юрист Карл Шмитт говорит о том, что для того, чтобы закон имел силу и правовая рутинा могла регулировать отношения между людьми, необходимо сначала создать такую ситуацию нормальности, где норма имела бы «имманентную значимость». Чистое правовое мышление склонно придавать нормам слишком большое значение, не обращая внимания на роль исключения. Но именно в исключении следует искать основу и гарантию права как системы норм и правопорядка как особого состояния общества. Поскольку исключительная ситуация не вписывается в нормальный порядок вещей, где работают привычные каузальные отношения, она делает видимым скрытое основание права — решение. Но помимо решения, которое предшествовало бы восстановлению порядка, принимается также решение о том, что ситуация не является нормальной, закон не работает должным образом и необходимо вмешательство (Шмитт, 2016в: 15–17). Таким образом, в фигуре суверена соседствуют две возможности: перевести ситуацию из разряда нормальной, квалифицировав ее как чрезвычайную, и отреагировать на чрезвычайную ситуацию, применив особые полномочия или наделив ими своего порученца. Агамбен особенно большое значение придает первой возможности, поскольку именно с объявления ситуации чрезвычайной и требующей неординарных мер вступают в силу особые полномочия исполнительной власти. Стоит на секунду отвлечься от мысли, что такие ситуации могут возникать по объективным причинам, и у нас сложится впечатление, что чрезвычайное положение всегда основывается на чистом произволе и может вводиться без каких-либо дополнительных оснований, а будучи введенным, продлеваться сколь угодно долго — и это уже серьезный повод для беспокойства.

Свое рассуждение Шмитт начинает знаменитым определением суверенитета: «Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении» (Там же: 8), — а завершает пространной цитатой, подкрепляющей тезис о необходимости уделять основное внимание исключению, а не норме:

Исключение объясняет всеобщее и самое себя. И если хотят правильно исследовать всеобщее, нужно лишь познакомиться с настоящим исключением. Исключение сделает все куда более ясным, чем само всеобщее. А поскольку есть исключения, вечная болтовня о всеобщем надолго станет утомительно-скучной. Если нельзя объяснять исключения, то невозможно объяснить и всеобщее. Обычно этой трудности не замечают, поскольку мыслят всеобщее не со страстью, но так, как удобнее — поверхностно. Исключение же, напротив, мыслят всеобщее с энергической страстью. (Там же: 17)

Подробное изложение аргументов Шмитта, как и то, каким образом они интерпретируются Агамбеном, можно опустить по причине их и без того широкой известности и исчерпывающей представленности в различных источниках. Интерес вызывает лишь одна маленькая деталь — Агамбен обращает внимание читателя на происхождение цитаты, которой Шмитт завершает свое рассуждение об исключении: «это не кто иной, как Кьеркегор» (Агамбен, 2011а: 24)¹. Действительно, закавыченный текст представляет собой несколько скомканный пересказ более объемной цитаты из «Повторения» Кьеркегора (Керкегор, 2008: 148–149). Но в своих дальнейших рассуждениях Агамбен прекрасно обходится без указанной находки; знание о происхождении одной из ключевых цитат «Политической теологии» ничего не добавляет к его интерпретации как данного текста, так и учения Шмитта в целом. Нет, понятие исключения действительно играет в проекте *Homo Sacer* важную роль, и диалог со Шмиттом строится, в том числе вокруг этого понятия. Но ведь не только об исключении говорится в указанном сочинении Кьеркегора: исключение присутствует едва ли не во всех его текстах, тогда как «Повторение» задумывалось как исследование именно понятия повторения, и лишь в этой связи затрагивало тему исключения. В тексте Шмитта повторение как отдельное специальное понятие не тематизируется вовсе, о чем необходимо помнить в дальнейшем рассуждении. Речь у него идет о том, что исключение нельзя подвести под общее правило, оно не схватывается никакой абстрактной категорией. Тем не менее

1. На источник цитаты, как и на существование идейно-философской связи между Шмиттом и Кьеркегором, указывалось неоднократно (Лёвит, 2012; Taubes, 1987; Kramme, 1989; Kennedy, 2004; Ryan, 2014; Mehring, 2017), но интерпретации этого факта сильно разнятся между собой как в общих выводах, так и по своей интонации. Так, Лёвит и Райан указывают на то, каким образом Шмитт исказил оригинальную мысль Кьеркегора, подчинив ее своим интересам в качестве политической риторики. Таубес, Крамме и Кеннеди ищут сходства между идеями двух мыслителей, выявляют особую кьеркегоровскую логику в стиле изложения и аргументах Шмитта, не для последующего разоблачения, но, чтобы лучше понять его и дать адекватную интерпретацию его идеям. Меринга больше всего интересует, в какой мере Кьеркегор способствовал шмиттеанскому преодолению неокантианства и как он встраивается в диалог и последующую размолвку Шмитта с Эриком Петерсоном. Но, в действительности, подобных исследований гораздо больше, их рассмотрение не входит в задачу данной статьи.

мы предпримем попытку, отталкиваясь от знаковой цитаты Кьеркегора, отыскать в политической теологии дополнительный смысл, связанный с понятием повторения, начав с рассуждения о суверенитете и чрезвычайном положении так, будто вопрос поставлен не только в юридической, но и философско-экзистенциальной плоскости. В отсутствие прямых формулировок, связанных с понятием повторения, мы попытаемся проследить логику повторения там, где она могла бы быть. Основной вопрос выглядит так: «Как исключительность суверенного решения связана с возможностью повторения и может ли повторение объяснить механизм восстановления нормального политico-правового состояния?»

Мы могли бы удовлетвориться констатацией того, что этот конкретный случай обращения к Кьеркегору является лишь частью общей тенденции в немецкой философской мысли первой половины XX века, а наличие в арсенале Шмитта специфических понятий экзистенц-философии (исключение, экзистенция, решение и решимость, энергичность и интенсивность) разоблачить как «жаргон подлинности» (Адорно, 2011). В таком случае проблема оказывается исчерпанной еще до ее предъявления, а дальнейшие обсуждения по большей части представляются излишними. Но стоит лишь присмотреться внимательней, вернуться к началу — и мы едва ли приедем в ту же самую точку, где, по мнению критиков, оказывается экзистенциальная мысль в XX веке. Сегодня обращение к политической теологии становится все более распространенной исследовательской стратегией, но многое в этом проекте остается все еще недостаточно ясным и мало изученным. Попытка сближения одной из ключевых фигур политico-теологического проекта с предтечей экзистенциальной философии может пролить свет на базовые понятия и формулировки, открыть возможность по-новому взглянуть на привычные аргументы, проложить новый маршрут к давно ставшим самоочевидными идеям.

Невозможность повторения?

Для начала нужно сделать важную оговорку: когда речь идет о Кьеркегоре и его текстах, огромное значение имеют персонажи-псевдонимы², от имени которых эти тексты написаны. Не стоит удивляться, если в одном тексте мы читаем, что повторение трансцендентно (Кьеркегор, 2008), а в другом — что оно является выражением имманентного (Кьеркегор, 2012), что действительность важнее возможности (Кьеркегор, 2012) или, наоборот, — возможность выше действительности (Кьеркегор, 2010б). Одни персонажи (как, например, эстет «А» из «Или — или») будут обосновывать значение единичного индивида и противопоставлять его всеобщему, другие (скажем, асессор Вильгельм из того же произведения) — наставлять на примате этического, важности истории и объективного положения дел (Кьеркегор, 2014). Соответственно, если предпринимать «пересадку» этого философского разноцветья с выработанной почвы экзистенциализма на еще не полно-

2. Только основных псевдонимов насчитывают порядка двенадцати (Гайденко, 1997: 45), хотя в действительности их еще больше (Nun, Stewart, 2015).

стью освоенную и потому все еще крайне плодовитую почву политической теологии, то вместе с самим автором мы перенесем и сопутствующую многозначность. Но пусть это никого не смущает: пока двусмысленные понятия будут встраиваться в общий контекст, ученых будет больше поводов для размышлений и дискуссий.

«Диалектика повторения несложна, ведь то, что повторяется, имело место, иначе нельзя было бы и повторить, но именно то обстоятельство, что это уже было, придает повторению новизну», — так определяет повторение Константин Констанций (далее — К.К.), от лица которого ведется повествование (Керкегор, 2008: 48). Определение дано в форме парадокса, и с этим нам придется иметь дело на протяжении всего рассуждения, поскольку этот парадокс кое-что проясняет в специфике суверенной власти. Здесь придется «обрести единство через различие», осознать различенное как «одно и то же», задействовав большой теоретический потенциал, который есть у парадокса (Луман, 2007: 101–102).

Итак, по замыслу К.К., повторение должно было каким-то образом сочетать в себе становление и припоминание, вытеснив с философской сцены опосредование. То, что уже было, должно произойти вновь, но в силу того, что оно происходит второй, третий, какой угодно раз подряд, на деле оно каждый раз оказывается чем-то новым. Автор вроде бы догадывается, что при таком подходе субъективное намерение стать свидетелем повторения может потерпеть неудачу, ведь для наблюдателя, не способного выйти за пределы пространства и времени, будет не просто отличить повторяющееся от становящегося и удостовериться в том, что происходит именно повторение, а не возникновение нового. Одно дело — осуществить повторяемый эксперимент в лабораторных условиях, совсем другое — повторить событие своей собственной жизни. Тем не менее К.К. полон решимости проделать именно такой эксперимент над собой, чтобы доказать на собственном опыте, что повторение возможно.

К.К. вознамерился повторить опыт своего пребывания в Берлине и пережить те же самые ощущения, испытать те же эмоции (Керкегор, 2008: 50–87). Он селится в той же комнате, отправляется в тот самый театр, прогуливается знакомыми улицами, посещает тот самый ресторан и заходит в кондитерскую за тем самым кофе, даже пытается в той же самой манере наблюдать за девушками, давая волю воображению. Но ничего не приносит ему искомого повторения, все впечатления оказываются какими-то не такими. Однажды по возвращении домой он обнаруживает, что все в комнате перевернуто — там в его отсутствие затеяли уборку, и это окончательно подкашивает К.К.: мало того что от былых впечатлений не осталось и следа, так еще и единственное убежище, где все находилось на своем месте, перестало быть оплотом постоянства. Здесь уместно будет сделать отступление. Герман Преображенский пишет про повторение:

Возвращение к предыдущему опыту и его вторичное проживание соединяет обогащение чувств с этическим измерением человеческого опыта. Важно, куда я возвращаюсь. Герой «Повторения» возвращается в регион желаемого, подходящего (в эпикурейской терминологии) события, взаимодействие

с которым было связано с удовольствием и, следовательно, с подходящими ансамблевыми взаимодействиями. Герой возвращается за тем, чтобы пополнить свою чувственность, рассеянную и растряченную последующими нежелательными взаимодействиями. Возвращается в то место, где был подходящий контакт с миром. (Преображенский, 2019: 62)

Но по поводу так понятого повторения³ К.К. приходит к неутешительному выводу: «повторения вообще не бывает» (Керкегор, 2008: 88). Единственное, что остается К.К. — добиться в своей повседневности максимально возможного однобразия, чтобы, будучи одурманенным постоянным повторением одних и тех же мелочей, перестать даже думать о приключениях чувственности и о самой возможности повторения эксклюзивного чувственного опыта. Это не значит, что буквальная трактовка повторения является ошибочной, но приходится каждый раз напоминать себе о том, что, во-первых, она принадлежит не самому Кьеркегору, а одному из его персонажей-псевдонимов, а во-вторых, что его же собственный пример опровергает саму возможность такого повторения. Поэтому всякий раз, когда мы решаемся прибегнуть к повторению в этом конкретном смысле, стоит иметь в виду, что мы знаем только о его невозможности.

Если принять во внимание тот факт, что за введение в философский дискурс понятия повторения ответственен персонаж-эстет, многое прояснится и в политической интерпретации. Политический порядок может быть презентирован эстетическими средствами, ему могут придаваться черты идеального, что позволит эстетическому субъекту реализовать присущее ему понимание свободы. Возврат к нормальному правовому состоянию понимается здесь как установление и удержание внешней рамки для свободного и вариативного потребления, сохранения привычного образа жизни, для создания привлекательного образа государства и его тиражирования. Ближайшим образом суверен нужен для того, чтобы, выражаясь метафорически, навести порядок в комнате К.К. после того, как привычное расположение вещей было досадным образом нарушено, а также для создания комфортных и безопасных условий, которые необходимы для творчества, вариативного и утонченного культурного досуга, доверительного общения. Намного сложнее будет показать релевантность суверенного решения для повторения в этическом и религиозном аспектах.

3. Кьеркегор трактует повторение множеством различных способов в зависимости от избранного псевдонима. Это и повторение прожитого чувственного опыта, подражание грехам собственного отца, надежда на счастливое воссоединение с любимой женщиной вопреки всем обстоятельствам разрыва и общественному порицанию; это также стремление разделить крестные муки в индивидуальном мученичестве писателя-изгоя, и попытка пройти по стопам великих праведников и сискать прощения, принятие на себя апостольской миссии через встречу с Христом в моменте выбора (вопреки исторической пропасти, делающей личное свидетельство предельно трудной или даже невозможной задачей), и реактуализация догматического учения о первородном грехе в надежде обосновать необходимость «второй философии», способной заменить «первую» — метафизику. Неудача К.К., как и любовная неудача самого Кьеркегора, наводит на мысль о том, что повторение очень чувствительно к целям, которые преследует взыскивающий его индивид. Для К.К. повторение, как оказалось, — «слишком трансцендентно» (Там же: 99).

К.К. уже практически разочаровался в своей философско-практической затее, но в последний момент получил весточку от друга: «Да здравствует почтовый рожок! Вот мой любимый инструмент <...> Это мой символ» (Там же: 86), — и это спасает положение: есть надежда, что повторение все же может осуществиться. По наущению К.К. — старшего друга, эстета и философа-самоучки, юный поэт-меланхолик ввязывается в сомнительную историю, состоящую из соблазнения девушки, разрыва отношений и создания видимости новой интрижки. Причина была все та же: утрата поэтом романтического чувства, которое он никак не хотел разменять на что-то, по его мнению, не столь прекрасное. Все бы получилось согласно плану, не передумай юноша в последний момент. Тогда он вознамерился вернуть себе расположение возлюбленной, о чем и решил сообщить в письме К.К., который увидел в этом еще один шанс доказать возможность повторения. Но ничего не вышло: вместо того, чтобы возобновить отношения, девушка обвенчалась с другим, а поэт остался наедине со своей меланхолией, принявшей угрожающую его ментальному здоровью форму. Этот юноша и был тем самым исключением, которое должно было продумать всеобщее со страстью и объяснить его.

Итак, что же изменится, если мы вернемся с этим знанием к теме суверенитета? Первое, что напрашивается, — вывод о том, что чрезвычайное положение не способно восстановить порядок в том самом виде, который предшествовал решению о том, что ситуация является чрезвычайной. Это касается как непосредственно предшествовавшего порядка, так и любого другого, существовавшего ранее. Здесь уместно вспомнить упрек Шмитта политическим романтикам: эстетизация старого режима, слова о традиционном политическом укладе и сопутствующих духовных ценностях не имеют реального отношения к политике и не создают жизнеспособной политической формы (Шмитт, 2015: 129–134); монархическая легитимность осталась в прошлом, уступив место демократии и диктатуре (Шмитт, 2016в: 59). Но мы помним, что повторение также не тождественно становлению: новое не возникает само собой, но зарождается в процессе повторения уже бывшего, на чем и основана сама возможность новизны, — и это второй упрек политическим романтикам. Ставка на реформу или революцию, «естественную» доброту человека и спонтанное обновление еще не гарантируют успеха. Невозможно воплотить в жизнь некую политическую программу лишь на том основании, что она близка к абстрактному идеалу. Ни кажущаяся рациональность, ни справедливость, ни апелляция к народу, ни эстетическая привлекательность, ни воодушевленное созерцание идей не добавляют ничего к возможности реализации задуманного, если за всем этим не стоит систематически-организованного мотивированного действия, опирающегося на реально существующие институты (Шмитт, 2015: 70–73, 178–181, 276). Если этого нет, если игнорируются причинно-следственные связи, формирующие объективное положение дел и обуславливающие заложенные в нем возможности — тогда иллюзорное многообразие путей развития не подталкивают к решению, но, наоборот, парализуют волю и делают выбор невозможным (Там же: 151–152).

Повторение совмещает в себе консервативный и революционный элементы, объединяя старое и новое в одном моменте пересмотра всеобщего исключением. Тем не менее речь идет не только о рутине политической деятельности, ведь когда в нормальную ситуацию вторгается суверенное решение, привычные причинно-следственные связи оказываются поставлены под вопрос. Для внутренней логики «Политического романтизма» этот ход представляется избыточным, как и попытка рассмотрения систематического значения исключения⁴. Здесь доминирует «этический» способ аргументации, укорененный в идее правоты всеобщего и его безусловной ценности в сравнении с единичным. Эта интуиция сохраняется и в «Диктатуре», где различие между комиссарской и суверенной диктатурами проводится не в пользу последней. Ограниченные формы диктатуры [комиссарская диктатура — диктатура порученца] замкнуты в пределах, заранее очерченных конституцией или указом действующей власти. Исключение здесь просто не играет роли, оно вписано в правило и имеет заранее определенные функции. Комиссарская диктатура действует от имени существующего в данный момент порядка, на основе конституции, упраздняемой на определенное время, и не может преодолеть эти ограничения (Шмитт, 2005: 157–158). Здесь исключение подведено под норму и не достигает такой интенсивности, при которой противоречие между безвластным правом и бесправной властью обостряется и становится возможным помыслить государство отдельно от права (Там же: 150).

Но уже в «Политической теологии» способ рассуждения меняется, вобрав в себя характерные для экзистенциального философствования элементы аргументации со всей присущей парадоксальностью. Именно поэтому предложенные здесь рассуждения уязвимы перед подозрением в романтизации политики и попытке риторического сглаживания противоречий (Лёвит, 2012; Conrad, 2009). Если суверенитет берется как предельное понятие (Шмитт, 2016в: 8), соответствующая ему суверенная диктатура оказывается способной не только приостанавливать действие закона, но и размывать границы нормы, вторгаться в сферы жизни, традиционно рассматриваемые как не имеющие отношения к политике. В отличие от комиссарской, суверенная диктатура не имеет ограничений, она опирается на учредительную власть и ссылается не на действующий порядок и конституцию, но на представления о должном и будущем — то есть на порядок, который еще предстоит учредить, для чего и необходима суверенная диктатура (Шмитт, 2005: 160–164). Ее принципиально невозможно чем-либо ограничить, поскольку не существует закона, под который ее можно было бы подвести, как нет и устоявшейся конфигурации власти, которой было бы по силам прервать череду суверенных решений. Для описания данного типа диктатуры Шмитт прибегает к терминам экзистенциальной философии, акцентируя внимание на выходящем за пределы

4. Символом исключения в «Политическом романтизме» служит образ Дон Кихота — «романтического политика» (Шмитт, 2015: 257–258), но задача провести уверенное различение между ним и политическим романтиком представляется не такой простой, как может показаться при первом прочтении.

чисто юридической проблематики смысле суверенного решения: «Именно философия конкретной жизни не должна отступать перед исключением и экстремальным случаем, но должна в высшей степени интересоваться ими» (Шмитт, 2016в: 17). Чувствуя, что вступает на зыбкую почву, Шмитт тут же оговаривается, что его интерес не имеет ничего общего с «романтической иронией парадокса». Особое внимание к исключению является следствием «совершенно серьезного взгляда», который не может довольствоваться «ясными обобщениями усредненных повторений». Итак, продвигаться дальше следует без романтической иронии, но и не без определенной парадоксальности; без усредненного повторения одного и того же, но с исключением, способным объяснить всеобщее.

Суверенность исключения: Авраам или Иов?

В «Политической теологии» есть примечательное рассуждение: для того, чтобы добраться до глубинных основ правопорядка, необходима «социология юридических понятий» (Там же: 39–40). Суть этого метода сводится к выявлению «последовательной радикальной идеологии» конкретной эпохи. Если мы знаем, как соотносятся между собой понятия теологии, господствующей в данный период, мы можем сделать вывод и о том, как структурированы юридические понятия и представления о праве или как они должны быть структурированы, чтобы соответствовать духу времени. На первый взгляд это представляется не самой трудной задачей, но, если попробовать продумать этот метод и применить на живом материале, выяснится, что не так просто определить, какие именно теологические идеи, в чьей конкретно интерпретации и в какой мере определяют мировоззрение людей в конкретный момент. Одной лишь аналогии между чудом и чрезвычайным положением совершенно недостаточно для понимания, равно как и утверждения о том, что «все точные понятия современного учения о государстве представляют собой секуляризованные теологические понятия» (Там же: 34). Мы попробуем исходить из того, что Кьеркегор, этот «действительно великий человек» (Шмитт, 2015: 125) и «протестантский теолог, доказавший, на какую витальную интенсивность способна теологическая рефлексия также и в XIX веке» (Шмитт, 2016в: 17), поможет хотя бы отчасти пролить свет на учение Шмитта о суверенитете, в котором право и теология образуют нераздельное единство.

В 1843 году, одновременно с «Повторением», Кьеркегор публикует «Страх и трепет» — текст, который получил наибольшую известность и по сей день автора чаще всего связывают именно с ним. Но и здесь не обошлось без псевдонима: если о повторении размышлял Константин Констанций — персонаж, чье имя со всей очевидностью указывало на его приверженность постоянству, чему-то стабильному и неизменному, то автор второго сочинения сигнализировал читателю о том, что есть нечто, о чем невозможно говорить и потому приходится молчать. Йоханнес де Силенцио взялся пересказать историю ветхозаветного праведника Авраама, обращая особое внимание на присутствие в этом сюжете того, что

не поддается рациональному осмыслению и оказывается недосягаемым для этики. При этом сам рассказчик не имеет претензий религиозного толка, выходя за пределы этического рассмотрения и полагаясь на эстетическое воздействие, что делает его послание как минимум двусмысленным (Гайденко, 1997: 202). Хотя на эту неоднозначность указывал и сам Кьеркегор под псевдонимом Йоханнеса Клима-макуса (Кьеркегор, 2012: 256).

Автор «Страха и трепета» честно признается в своей неспособности объяснить феномен абсолютной веры: «Я не могу понять Авраама, в некотором смысле я не могу ничего о нем узнать, — разве что прийти в изумление» (Кьеркегор, 2010в: 33). Он на множестве примеров показывает, чем не является вера Авраама, чтобы сделать более очевидной ее парадоксальность: любить единственного сына, но быть готовым принести его в жертву; повинуясь воле Бога, верить в то, что Он может отказаться от жертвы и вернуть отцу его сына; отказаться от любви ради самой любви; отдать, но в тот же миг обрести (Там же: 31, 42, 45, 70). Автор предостерегает читателя: не стоит спешить со словом «испытание», лучше забыть про то, чем кончается история, чтобы ее смысл не был преждевременно сведен к некоторому общему представлению (Там же: 48). Суждение возможно там, где есть язык, но язык принадлежит всеобщему — то есть этике. Поэтому, если ставится цель что-то узнать про единичное, нужно отсрочить суждение, дать единичному шанс показать себя. Аврааму потребовалось намного больше времени, чем нужно тому, кто решил узнать о нем, и Йоханнес де Силенцио пытается занять читателя насколько это возможно, чтобы повторение истории действительно имело место хотя бы в форме «диалектической лирики».

Когда Шмитт подходит к вопросу об отношении суверена к праву, он всякий раз подчеркивает, и об этом очень важно помнить, что суверенное решение именно приостанавливает действие закона, чтобы создать для него подходящие условия. «Норма нуждается в гомогенной среде <...> Должен быть установлен порядок, чтобы имел смысл правопорядок» (Шмитт, 2016в: 15). При этом полномочия, которые могут потребоваться в экстремальном случае, не поддаются полному юридическому описанию (Там же: 14). Если совместить это понятие юридического с этикой, суверен окажется функциональным эквивалентом единичного у Кьеркегора. Авраам осуществляет «телеологическое устранение этического», равно как суверен устраняет действующую конституцию. Применительно к «телеологическому устранению» переводчик дает комментарий: *Suspension* может быть переведено также как «зависание», «прекращение действия» — то есть ровно то, что происходит с правом в момент чрезвычайного положения (Кьеркегор, 2010в: 50). Единичное становится выше всеобщего, поэтому его положение не схватывается в категориях этики, но может быть косвенно обозначено эстетическими средствами. Шмитт настроен более решительно: хотя речь идет об исключении, юридическое мышление все же должно осмыслить его, насколько это возможно, а не просто отказаться от рефлексии, препоручив исключение социологии.

Решение и исключение неразрывно связаны. Но не только в том смысле, что чье-то суверенное решение придает некоторому индивиду статус исключения — у Кьеркегора нет этого удвоения, привнесенного новейшей философией. Решиться — значит самому поставить себя в положение исключения, а быть исключением — значит решиться и взять на себя ответственность за свое положение; исключение становится самим собой вследствие свободного выбора, оно не может быть просто пассивным объектом чьих-то действий.

Если исходить из того, что проблема суверенитета целиком и полностью сводится к исключению, можно прийти к выводу, что Авраам подходит в качестве метафоры суверенного решения гораздо больше, нежели К.К., Иов или юноша-поэт, о которых идет речь в «Повторении» (Löschenkohl, 2019: 90). В то же время здесь намечается серьезная проблема: про Авраама сказано, что он приносит жертву «ради Господа и — что совершенно то же самое — ради себя самого» (Кьеркегор, 2010в: 56). Аврааму нет никакого дела до этики, народа, закона (Там же: 55). Он абсолютно суверен и абсолютно аполитичен, его самопозиционирование вне всеобщего слишком радикально. У него можно поучиться скорее личной суверенности «рыцаря веры», нежели пониманию природы политического суверенитета. Его жест устранения этического не имеет продолжения в политике, но, наоборот, полностью порывает со всем, что касается общества и его законов. Если же рискнуть и продумать это в политическом контексте, Авраам окажется символом не-примиримого «метафизического анархизма» и предельного индивидуализма.

Суверенное решение ориентировано на область конечного, оно восстанавливает или учреждает порядок ради самого порядка — во всяком случае, так оно манифестирует себя, и так об этом пишет Шмитт. Авраам осуществлял телеологическое устранение этического не ради этики, но ради себя самого и своей веры, чем и отличается от трагического героя. Для героя трагедии нет ничего выше всеобщего, он жертвует собой во имя высшей цели, но эта цель всегда находится в области этики. «Трагический герой отнюдь не вступает в какое-то личное отношение с божеством, но само этическое является божественным, а потому парадокс в этом божественном может быть опосредован во всеобщем» (Там же: 56). Теперь, казалось бы, со Шмиттом все ясно: его политическая теология — выражение языческого отношения к политике, а суверена можно было бы сравнить с трагическим героем, но только жертвует он зачастую не самим собой, а другими людьми. Однако все ли мы учили? Здесь упущено самое важное: Шмитт не отождествляет политику с всеобщим в том смысле, в каком всеобщее совпадает с этикой и правовой нормой (Шмитт, 2016б: 325).

Шмитт стремится разрушить тождество государства и общества, где именно это тождество предстает как тотальность всеобщего, из-за чего политика утрачивает свои специфические, только ей присущие признаки. Он выносит политическое за пределы публичной дискуссии, поскольку для подлинной политики необходима тайна, *arcana* (Шмитт, 2016г: 88–89). Политическое не может полностью совпадать с общественно-гуманитарным, поэтому у государства обнаруживается

своеобразное измерение глубины, область затемнения. Шмитт противопоставляет понятие политического различным культурным сферам, указывая на совершенно особое свойство политики: она лишена собственного предметного содержания, но может возникать там и тогда, где есть интенсивное противостояние, где на почве некоторого противоречия возникает конфликт и начинают складываться противоборствующие группы (Шмитт, 2016б: 312–314). Всеобщее определяется экономикой, моралью, религией, эстетикой, но политике принадлежит то, что выходит за очерченные культурой пределы. «Понятие государства предполагает понятие политического» (Там же: 293), и это означает, во-первых, что политическое существует до всякого государства, и во-вторых, что в предельных случаях целью политики является она сама, а не что-то конечное. Ухватившись за понятие исключения, Шмитт выводит политику на такой уровень, где она перестает быть тем рутинным и рациональным предприятием, каким она представлялась в работе о политическом романтизме, и потому она больше несовместима с этикой, а значит — не замыкается на всеобщее. Если в практическом аспекте суверенное решение ориентировано на восстановление порядка, то как предельное понятие оно решает совсем иную задачу: поставить под вопрос отождествление государства и права, преодолеть тотальность общества, и (возможно) совершенно в духе Кьеркегора «стяжать такое место, чтобы Бог мог на него сойти» (Лунгина, 2019: 142)⁵.

Но возникают новые вопросы: если политическое в момент своей максимальной интенсивности выходит за пределы конечного — как вообще можно рассуждать о политическом интересе, о партиях и программах, как возможна бюрократия и управление, чем должна руководствоваться дипломатия? Не получается ли, что предложенные Шмиттом дефиниции попросту неприменимы на практике? Это возражение верно лишь отчасти, поскольку сам Шмитт подчеркивает, что его рассуждения касаются экстремального случая, особой ситуации, и не относятся к нормальной рутине. И все же неясно, как в таком случае суверенное решение определяет право? Если исключительный случай действительно «открывает сердцевину вещей» (Шмитт, 2016б: 310) — как совместить это утверждение с тем, что лежит на поверхности в нормальной ситуации? Иначе говоря, если внимание исследователя оказывается приковано только к исключению, совершенно закономерным будет вопрос о том, прекращается ли, в действительности, чрезвычайное положение или «становится правилом», и есть ли из него выход в нормальное состояние или чрезвычайное положение может только продлевать само себя (Агамбен, 2011б: 91–94)? Чтобы выбраться из этой затруднительной ситуации, нам не хватает понятия повторения и связанного с ним способа рассуждения.

В случае интерпретации политической теологии с опорой на повторение, приходится проделывать дополнительную работу, осуществляя приращение смысла там, где, как может показаться, уже нечего сказать. Это своего рода движение в об-

5. Именно на предположении о скрытой религиозной подоплеке понятия политического выстроена одна из самых оригинальных и провокативных интерпретаций Шмитта, принадлежащая Хайнриху Майеру (Майер, 2012: 89–107).

ход, поэтому оно требует дополнительных усилий. Задача усложняется еще и тем, что повторение плохо подтверждается на практике, оно всегда остается в области надежд и ожиданий, но, когда дело доходит до конкретного воплощения, повторение зачастую оказывается невозможным (Ryan, 2014: 92). Применительно к проблеме суверенитета это будет означать, что мы перестаем жестко следовать логической связке «суверен — чрезвычайное положение», понимая под этим именно введенное чрезвычайное положение, и допускаем, что сама возможность такого оборота дел способна определенным образом влиять на действительность. Данное Шмиттом определение вполне допускает, что, поскольку чрезвычайное положение относится к суверенитету только как к предельному понятию, а реализация этой возможности на практике не является обязательной задачей суверенной власти, образуется зазор между возможностью и действительностью, внутри которого формируется основа для осмысленного социального действия. Переход от имманентной трактовки повторения, как и отказ от буквального понимания чрезвычайного положения как фактически происходящего события, может кое-что прояснить в устройстве нормальной правовой ситуации и дать ключ к пониманию ее устойчивости.

Молодой поэт, о котором повествует К.К., раскрыл смысл повторения через обращение к истории ветхозаветного праведника Иова. В своих многочисленных письмах к другу поэт делится своими переживаниями по поводу неудачно сложившихся любовных отношений: он в полном отчаянии и не знает, кого винить и что делать дальше. В какой-то момент он вдохновляется примером Иова: «Иов был благословен от Бога, и все было возмещено ему вдвойне. Это называется повторением» (Кьеркегор, 2008: 131). Он интерпретирует повторение как чудесное вознаграждение за веру и упорство: если стоять на своем с особой интенсивностью, не признавать вины и требовать возмещения утраченного, то сама история отступит перед силой повторения, каузальные связи будут разрушены и произойдет чудо. Такая претензия делает человека исключением перед лицом всеобщего: этика настаивает на личной ответственности человека, она дает объективную оценку действиям, исключение же требует пересмотреть эту оценку в индивидуальном порядке, ссылаясь на нечто превышающее этику. «Так Иов оказался неправым? Да! Навеки. Ибо нет судилища выше того, которое осудило его. Оправдан ли Иов? Да! Навеки. В силу того, что оказался неправ перед Богом» (Там же: 139).

В отличие от Авраама, готового отречься от себя и своего сына во имя веры, Иов как раз не собирается ни от чего отрекаться, он не хочет поступиться своим, потому что верит, что для Бога все возможно, а стало быть, возможно вернуть то, что принадлежало Иову по праву. Он также уверен в собственной невиновности, но и обвинять Бога в собственных невзгодах Иов не намерен. Его собственность оказывается тем, от чего невозможно просто отказаться, не отказавшись при этом от самого себя. Здесь вера не противопоставлена конечному, но как раз через конечное она раскрывается. Следуя этой интерпретации, мы освобождаемся от ранее намеченного противоречия, согласно которому суверенное решение, если оно

претендует на какое-либо теологическое содержание, должно было бы отречься от конечного и замкнуться в себе самом на эскапистский манер. Такое толкование могло бы привести нас к наихудшим примерам «стерильно возбужденных» политиков, готовых ради собственных убеждений обрушить инфраструктуру государства и уничтожить весь существующий аппарат управления. Однако учение о суверенитете было направлено как раз против такого типа политики и должно было защитить государство от принесения в жертву абстрактным ценностям. Защита порядка, таким образом, не является тем, что противоречит теологической подоплеке в политической практике. Иов демонстрирует образ политика, способного в критической ситуации оказать сопротивление божественному насилию, не отказываясь от убеждений, но все же настоять на своем. Здесь уместно будет вспомнить слова, которыми Макс Вебер завершает свою знаменитую лекцию: «Лишь тот, кто уверен, что он не дрогнет, если, с его точки зрения, мир окажется слишком глуп или слишком подл для того, что он хочет ему предложить; лишь тот, кто во-преки всему способен сказать „и все-таки!“, — лишь тот имеет „профессиональное призвание“ к политике» (Вебер, 2017: 326).

Но всегда ли понятие исключения должно упираться в решение? Пример из «Повторения» говорит об обратном: это Авраам решается и действует, тогда как поэт, вдохновившись примером Иова, не предпринимает никаких внешних движений. Он лишь пишет письма своему поверенному да размышляет над Книгой Иова, выжидая благоприятного случая. Это своего рода «решение не решать» (Löschenkohl, 2019: 94), хотя данная формулировка не вполне удачна. Решение особого рода все же имело место — внутреннее решение, вера и настроенность на божественное вмешательство, упертая сосредоточенность на своем. Это позиция отсрочкиания радикальных мер, убежденность в том, что всеобщее может быть пересмотрено без насилия. Здесь появляется новый мотив, проясняющий отношение исключения и всеобщего. Именно в том отрывке, который цитирует Шмитт, упуская очень важный смысловой оттенок (Лёвит, 2012: 121), сказано, что, несмотря на то что исключение борется с всеобщим, оно «является его же отпрыском» (Керкегор, 2008: 148). Всеобщее «в основе своей настроено полемически по отношению к исключению» (Там же: 148), оно испытывает его, но втайне готово к примирению. Исключение, наоборот, должно показать все, на что способно, оно существует только до тех пор, пока в нем есть энергия для действия и полемики. Это не столько суверенная, сколько гражданская прерогатива исключения, которая реализуется через несогласие с принятыми нормами и навязанной официальной позицией. Но будет ли всеобщее также расположено к единичному там, где оно не ограничено суверенным решением? Если в экстремальных случаях чрезвычайные меры могут упразднить права индивида и представлять угрозу для его жизни, значит ли это, что там, где суверенная власть как таковая отсутствует, жизни и свободе индивида ничего не будет угрожать? Что мотивирует всеобщее прислушаться к мнению исключения вместо того, чтобы, назвав чужаком, изгнать его или убить?

С этого вопроса в определенном смысле началась политическая философия — так может ли политическая теология уйти от ответа на него и пойти дальше?

Повторение между революцией и реакцией

Шмитт полагал, что Кьеркегор, несмотря на присутствие в его мировоззрении характерных для романтизма установок, завершил романтизм и вывел субъективность на новый религиозный уровень (Шмитт, 2015: 125). Однако не стоит делать слишком поспешных выводов из данной оценки: судя по дальнейшему рассуждению, Шмитт во многом отождествил Кьеркегора с его «этическими» псевдонаимами: судьей Вильгельмом и Йоханнесом Климанкусом. Для этих персонажей характерна убежденность в том, что этика устраниет эстетическую установку, а преодоление романтизма происходит здесь не столько за счет религиозной интуиции, сколько с опорой на действительность. Этический пафос требует конкретизации эмпирической личности, предельной сосредоточенности субъекта на себе и своих делах. Если, по версии судьи Вильгельма, сознание долга и собственного места в истории не противоречит этической установке (Кьеркегор, 2014: 665, 683, 688, 695), то Йоханнес Климанкус предлагает намного более радикальную трактовку субъективности, порывающую с объективно-историческим и целиком сосредотачивающуюся на действиях отдельного человека, выборе им себя самого (Кьеркегор, 2012: 297). Выражением этики является энергичное решение, а момент становится точкой наиболее интенсивной сосредоточенности и одновременно отрицания субъектом какого-либо значения истории (Там же: 125, 135, 143). Здесь повторение рассматривается в пределах имманентного и означает стремление субъекта к обретению себя, достичь которой за счет внутреннего усилия и контроля, принятия на себя ответственности, перехода от созерцания к действию и признания вины.

Мотив самоопределения неоднократно звучит в текстах Шмитта. Мы обнаруживаем точно такую же логику момента: если некоторая общность людей претендует на статус свободного политического народа, она должна быть готова к противостоянию с другими, к различию друга и врага (Шмитт, 2016б: 326). Это противостояние не обязательно наличествует в своей активной фазе, но потенциально оно всегда возможно, и только народ определяет, когда настал тот самый момент «крайнего случая». Иначе говоря, в своем предельном выражении, понятие политического допускает, что не только объективные исторические предпосылки и не наличие явной внешней угрозы приводят к мобилизации и конфликту, но, помимо этого и прежде всего — экзистенциальный выбор народа, решившего существовать политически. Такой народ оказывается в исключительной ситуации как единое целое, отрицающее всеобщее в лице гуманно-гуманистической идеологии, глобального и универсального представления о неких общечеловеческих нормах и ценностях (Там же: 351–356). Характерно, что вопрос о политической ответственности касается только момента принятия решения и ближайшей перспективы воз-

можных действий, но проходит мимо необходимости признания вины. Поскольку Шмитт не допускает существования такой политической инстанции, которая была бы способна занять позицию над суверенитетом отдельных государств, тем самым он отвергает и возможность юридического или этического вмешения в отношении суверенного решения. Вопрос о существовании высшей моральной инстанции получает неоднозначный ответ: в качестве таковой может допускаться католическая церковь (Шмитт, 2016г: 84–86) или же, в духе Гоббса, он может быть возвращен в форме обезоруживающего *«quis interpretabitur?»*.

Возможность этической трактовки повторения была продумана и в «эстетических» произведениях Кьеркегора, но оказалась вытеснена эстетически-религиозным пафосом исключения: «Как только единичный индивид пытается сделать себя значимым в своей единичности перед лицом всеобщего, он согрешает и может лишь, признав это, снова примириться со всеобщим. Но всякий раз, когда единичный индивид, войдя во всеобщее, ощущает стремление утвердиться в качестве единичного, он оказывается в состоянии искушения, из которого может выбраться, лишь с раскаянием, отдавая себя как единичного всеобщему» (Кьеркегор, 2010в: 50).

Главный герой «Повторения» не ограничивается размышлениеми об истории Иова. В конечном счете он все же отказывается от своих притязаний, предпочтя повторению любое свидетельство высшей силы, отвечающей на обращенный к ней призыв: «Я жду удара грома и повторения. Но даже если бы только грянул гром, я и тому был бы невыразимо рад — пусть даже приговор гласил бы, что повторение невозможно» (Кьеркегор, 2008: 133). В конечном счете он раскаивается, признает свою ответственность за произошедшее и смиряется с тем, что исправить уже ничего не получится. И вот теперь повторение осуществляется, к поэту возвращается самообладание и чувство реальности: «Я снова стал самим собою, вот и повторение» (Там же: 140).

Этическая трактовка повторения значительно расходится с тем, что предлагалось изначально: исключение не останавливается на энергичном стремлении определять всеобщее, рано или поздно оно раскаивается, и только тогда наступает примирение. Это позволяет внести в концепцию чрезвычайного положения некоторые корректизы: если происходит нормализация жизни и порядок восстанавливается, это свидетельствует о примирении исключения и всеобщего, а это невозможно без тех, кто примет на себя ответственность за чрезвычайные меры и признает вину за их последствия. С другой стороны, это рассуждение может быть применено не только к политикам: нормализация социальной жизни возможна там и тогда, где индивиды, подобно герою «Повторения», «снова стали самими собой», примирившись с действительностью и подчинив свои действия осмысленному порядку. Здесь как минимум две возможности: или исключение раскаивается и всеобщее примиряется с ним на этом основании, или исключению все же удалось totally переопределить всеобщее, и теперь примирение обходится без какого-либо раскаяния из-за невозможности сформулировать основа-

ния вменения вины, т. е. вследствие радикальной трансформации представлений о норме.

В отличие от Кьеркегора, Шмитт доводит пафос этического сознания до той степени интенсивности, когда выражением настоящего и ключом к пониманию возможности действия оказывается уже не сама действительность, но политический миф (Сорель, 2013: 50, 128–129; Шмитт, 2016а: 161–170). В этой части Шмитт не до конца внятен: он рассуждает о мифе пролетарской революции, о фашистском движении, о попытке реактуализации понятия нации с опорой на иррациональную философию. Говоря о Сореле, Шмитт уделяет все внимание идее всеобщей стачки, тогда как у Сореля мы читаем также про католический миф о воинствующей церкви (Сорель, 2013: 43). Чего хочет Шмитт, на какой миф он предлагает опереться? «Когда анархисты, враждебные авторитету и единству, открывали в своих работах значение мифического, то они, сами того не желая, участвовали в созидании основ нового авторитета, нового чувства порядка, дисциплины и иерархии» (Шмитт, 2016а: 169). И все же взгляд теоретика, вооруженного политико-теологической оптикой обнаруживает в борьбе мифов политизм. Игнорировать данную тенденцию невозможно, но и о том, чтобы найти свой собственный миф и противопоставить его всем остальным речи пока не идет. На данном этапе Шмитт ограничивался тревожными предостережениями, сохраняя надежду осуществить мобилизацию и отстоять правопорядок на иных, не мифологических основаниях.

Повторение по своей сути реактивно — оно не возникает на пустом месте, но является ответом в изменившихся обстоятельствах. Отчетливо видна нехватка: нечто было, но перестало существовать, утратило смысл, лишилось жизненных сил. Только когда что-то перестало быть, высвобождается весь потенциал повторения, и теперь исключение может утвердить себя с упорством и энергией. Повторение создает событие, вторгаясь в естественный ход вещей. Диктатуре предшествует выход из нормального состояния: на основе некой экстремальной ситуации формируется предельно конкретное требование по возврату к нормальности. В этом состоит двойственность суверенной диктатуры: даже если речь идет об установлении полностью нового порядка, элемент реакции оказывается неустраним. В определенный момент диктатор может оборвать связь с учредительной властью, добившись фактической независимости и консолидировав в своих руках достаточно сил, заставить общую волю замолчать на основании собственной конкретной интерпретации ее смысла и применив насилие к революционной массе (Шмитт, 2005: 149–150, 165–167). Без этой возможности нельзя было бы понять, каким образом из учредительной власти, которая не может собственными силами прекратить процесс законотворчества, т. е. упразднить саму себя, возникает устойчивый порядок со своей рутиной, полицией и бюрократией. Данное уточнение позволяет отождествить восстановление порядка и его учреждение. Это тождество достигается в моменте, когда суверен квалифицирует ситуацию как «экстремальный случай крайней необходимости» (Шмитт, 2016в: 10) и вводит чрезвычайное

положение для выхода из этой опасной ситуации, даже если он сам в той или иной мере стоял у ее истоков.

В своем предельном выражении — революционной диктатуре, чрезвычайное положение обнаруживает еще более глубокую связь с повторением. Чтобы утвердить нечто принципиально новое, необходимо столь же радикально устремиться в прошлое, отыскав в нем знаковый образ удавшейся революции (Шмитт, 2016а: 165). В основу может быть положено все что угодно: естественный человек, благородный дикарь, гражданин греческого полиса или римлянин, героический предок с его верой в старых богов.

Нет фактов повторения в истории, но повторение — историческое условие, при котором действительно возникает нечто новое. Подобие Лютера и Павла, Революции 1789 года и Римской республики и т. д. проявляется не в мышлении историка. Революционеры прежде всего решили для себя, что будут жить как «воскресшие римляне», прежде чем обрести способность к действию, которое они начали с повторения по образу собственно прошлого, то есть в условиях необходимой самоидентификации с образом исторического прошлого. Повторение — прежде всего условие действия, а потом уже понятие рефлексии. (Делёз, 1998: 120)

В качестве реакции на конкретный вызов повторение не завершается отказом от утвердившихся основ социальной жизни, но только способствует их уточнению по мере необходимости. Диктатура в пределах конкретного порядка не ставит под вопрос основы жизни, привычки и склонности людей, простые ценности. Этическое здесь именно приостанавливается, но не устраняется полностью. Когда же дело доходит до радикальной переоценки, само человеческое оказывается в опасности, поскольку границы того, кого следует считать человеком, могут быть пересмотрены самым непредсказуемым образом.

В религиозном аспекте повторение достигает субъективного максимума и в этом качестве способно выдвинуть самые серьезные притязания. Что может быть радикальнее требования занять место Сократа, стать изгоем или умереть, поверить без дополнительных оснований, принять муки и пройти крестным путем? Но итогом кьеркегоровского проекта явилось нечто иное: признание того факта, что современность полностью погружена в отчаяние, из которого нет выхода ни в публичной религиозности, ни в доверительных личных беседах, ни в философии (Кьеркегор, 2010а). Даже искренняя личная вера сталкивается с непреодолимыми препятствиями, постоянно балансируя между различными экзистенциальными возможностями, и, следовательно, никогда не может быть уверенной в себе самой. Осознав веру как абсолютную возможность, Кьеркегор навсегда отказался от идеи поиска божественных проявлений в действительности. Воскресение Лазаря не повторится, чуда не произойдет, к поэту не вернется его возлюбленная. Казалось бы, в этом апофатическом жесте мы находим основание для полной самоотдачи политику имманентного прогрессивного движения навстречу самотождественности

в мире без трансцендентных иллюзий и ложных надежд. Но именно в этой ситуации звучит призыв Анти-Климауса, обращенный не то к государству, авторитет и власть которого на тот момент поставлены под вопрос, не то к публике, не то к теологам, но вернее всего, просто в пустоту: «сделать из каждого человека отдельного, единственного» (Там же: 391)⁶. Хорошо известно, с какой неприязнью Кьеркегор относился к общественному мнению, к суждениям журналистов и любимцев публики (Подорога, 1995: 104–108; Лунгина, 2019: 139–141). Вопреки желанию датской оппозиции записать Кьеркегора себе в единомышленники, сам Кьеркегор предпочел оставаться на позициях конформизма, защищая монархию, но допуская политическую критику в форме строго индивидуальной частной речи, лишь бы никто не присваивал его идеи и не ставил под сомнение репутацию не-примиримого одиночки (Stocker, 2014: 25–26).

Проходя через этическую стадию, экзистирующий субъект снова порывает с всеобщим, подобно ироничному эстету, но делает это на принципиально других основаниях. В этом, как ни странно, он снова оказывается созвучен идее суверенного решения: чтобы у единичного был шанс высвободиться из тотальности всеобщего, ему не хватает политического исключения, некой внешней позиции по отношению к обществу, этике, закону, экономике. На этот раз уже не само решение и не осуществленное чрезвычайное положение, но одна лишь возможность оказывается достаточной, чтобы внутри каузальных отношений, скрепляющих социальное единство под знаками безопасности, предсказуемости, калькулируемости образовалась точка, открытая для трансценденции (Шмитт, 2016б: 402–405). «Теряя сознание, люди восклицают: воды! одеколона! гофманских капель! Однако тому, кто отчаявается, надобно кричать: возможного, возможного!» (Кьеркегор, 2010а: 315).

Единичный индивид и суверенная власть совпадают друг с другом в позиции исключения, различие состоит в силе и актуальной возможности; поскольку суверенное диктатура интегрирует волю народа и ссылается на нее как целое, эта всеобщность оказывается настолько превосходящей любую конкретную общность, что вместо производства социальной тотальности, удержание которой в долгосрочной перспективе представляется невозможной задачей, она рассыпает всеобщее, создавая множество индивидов. Суверен и единичный индивид составляют взаимное условие своего существования, и любая попытка преодоления самого понятия суверенного решения означает преодоление субъективности. В зависимости от того, как расценивают субъективность, это преодоление можно понимать как задачу или угрозу. Единичность субъекта формируется и существует в горизонте возможного суверенного решения, но она же может быть поставлена под

6. Необходимо помнить, что Единичный Серена Кьеркегора и Единственный Макса Штирнера — не тождественные понятия. Для Кьеркегора чувство единичности только обостряется, когда над ним стоит высшее существо (Бог); именно нахождение перед лицом вечности создает единичного, тогда как для Штирнера дело обстоит прямо противоположным образом: единственный чувствует всю полноту своей мони, лишь отвергнув любую иерархию, поставив на ничто.

вопрос в моменте этого решения. Даже их взаимное отрицание не отменяет определяющего в обоих случаях отношения исключения к всеобщему — закону или обществу; и именно принуждение со стороны всеобщего имеет систематический, планомерный, институализированный характер, но что важнее: оно абсолютно этично. Последнее каждый раз приходится оспаривать отдельно, чему и служит понятие исключения, а возможность реформирования зиждется на повторении.

Не претендуя на оригинальность, мы предлагаем уточнить и расширить исходную формулировку парадокса суверенной власти⁷ с учетом понятия повторения. В момент чрезвычайного положения суверенное решение имеет целью восстановление порядка в ситуации прямой угрозы или актуального состояния беспорядка, но поскольку нормализация происходит после утраты ранее существовавшего состояния правовой нормальности и рутины, тем самым фактически устанавливается новый порядок. Двигателем происходящих изменений оказывается повторение, постепенно накапливающее различия и трансформирующее изнанку существующего порядка (Делёз, 1998: 13–29)⁸. В повторении внешнего, механического всегда содержится что-то еще, повторение скрывает в себе дополнительное содержание, которое оказывается в различии между тем, что должно было повториться, и тем, что фактически повторилось.

Нет ничего удивительного в том, что теоретический вклад Карла Шмитта привлекает не только тех, кто относит себя к политическим реалистам, но и тех, кто по собственной классификации Шмитта близок к политическим романтикам. Да и сам Шмитт, как оказалось, не так уж далек от романтизма — во всяком случае, он критиковал то, с чем был прекрасно знаком на собственном опыте (Филиппов, 2010). Рано или поздно история, этот «консервативный бог» (Шмитт, 2015: 117), наталкивается в политической теологии на повторение, составляющее, наряду с решением, цель и меру движения экзистирующего индивида (Кьеркегор, 2012: 305). Если отбросить риторические обращения к традиции, народу и ценностям, равно как и полемические выпады против либерального индивидуализма, останется радикальный субъективизм, зачастую выражавшийся в отрицании публичной политики, неприятии дискуссии и оправдании диктатуры, которая понимается как изнанка демократического мировоззрения (Шмитт, 2005: 252–253) и один из возможных путей демократизации. Чтобы показать этот парадокс, мы обратились к понятию повторения и сопутствующим примерам, помогающим раскрыть внутренне противоречивую мотивацию консервативного субъекта.

7. «Суверен в одно и то же время находится внутри и за пределами правовой системы» (Агамбен, 2011: 22). «Суверен стоит вне нормально действующего правопорядка и все же принадлежит ему, ибо он компетентен решать, может ли быть *in toto* приостановлено действие конституции» (Шмитт, 2016b: 10).

8. Мы подходим к Делёзу, начиная непосредственно с Кьеркегора через его актуализацию у Шмитта. О современных дискуссиях вокруг понятия повторения см.: Капельчук, 2019: 382–386.

Литература

- Агамбен Дж. (2011а). *Homo sacer: суверенная власть и голая жизнь* / Пер. с ит. М. Велижева, О. Дубицкой, С. Козлова, И. Левиной, П. Соколова. М.: Европа.
- Агамбен Дж. (2011б). *Homo sacer: чрезвычайное положение* / Пер. с ит. М. Велижева, О. Дубицкой, И. Левиной, П. Соколова. М.: Европа.
- Адорно Т. (2011). *Жаргон подлинности: о немецкой идеологии* / Пер. с нем. Е. В. Борисова. М.: Канон+, Реабилитация.
- Вебер М. (2017). Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Вебер М. *Власть и политика*. М.: РИПОЛ-классик. С. 252–326.
- Гайденко П. П. (1997). Трагедия эстетизма: о мировоззрении Серена Кьеркегора // Гайденко П. П. *Прорыв к трансцендентному: новая онтология XX века*. М.: Республика. С. 11–207.
- Делёз Ж. (1998). *Различие и повторение* / Пер. с фр. Н. Б. Маньковской и Э. П. Юровской. СПб.: Петрополис.
- Жижек С. (2007). Тупик трансцендентального воображения, или Мартин Хайдеггер читает Канта / Пер. с англ. А. Доманских и Д. Доманских // Топос. Т. 17. № 3. С. 130–143.
- Капельчук К. (2019). Делёз и (анти)диалектика // *Stasis*. Т. 7. № 1. С. 340–362.
- Керкегор С. (2008). *Повторение* / Пер. с дат. Д. А. Лунгиной. М.: Лабиринт.
- Керкегор С. (2010а). *Болезнь к смерти* / Пер. с дат. С. А. Исаева // Керкегор С. *Страх и трепет*. М.: Культурная революция. С. 285–404.
- Керкегор С. (2010б). *Страх и трепет* / Пер. с дат. Н. В. Исаевой и С. А. Исаева // Керкегор С. *Страх и трепет*. М.: Культурная революция. С. 5–119.
- Керкегор С. (2012). Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / Пер. с дат. Н. В. Исаевой и С. А. Исаева. М.: Академический проект.
- Керкегор С. (2014). Или — или. Фрагмент из жизни / Пер. с дат. Н. В. Исаевой и С. А. Исаева. М.: Академический проект.
- Лёвиг К. (2012). Политический децизионизм / Пер. с нем. О. Кильдюшова // Логос. № 5. С. 115–142.
- Луман Н. (2007). «Что происходит?» и «что за этим кроется?»: две социологии и теория общества / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Социологическое обозрение Т. 6. № 3. С. 100–117.
- Лунгина Д. (2019). Кьеркегор // Философская антропология. Т. 5. № 1. С. 122–158.
- Майер Х. (2012). Карл Шмитт, Лео Штраус и «Понятие политического»: о диалоге отсутствующих / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. М.: Скименъ.
- Молер А. (2017). Консервативная революция в Германии 1918–1932 / Пер. с нем. А. В. Васильченко. М.: Тотенбург.
- Подорога В. (1995). Авраам в земле Мориа. Серен Киркегор // Подорога В. Выражение и смысл. М.: Ad Marginem. С. 39–140.
- Преображенский Г. (2019). К вопросу об антиномиях марксизма: на примере рукописей раннего Маркса // *Stasis*. Т. 8. № 2. С. 46–75.

- Сорель Ж. (2013). Размышление о насилии / Пер. с фр. Б. Скуратова и В. Фриче под ред. В. Акулова. М.: Фаланстер.
- Филиппов А. Ф. (2010). Политический романтизм Карла Шmitta // Социологическое обозрение. Т. 9. № 1. С. 66–74.
- Хайдеггер М. (2011). Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Академический проект.
- Шmitt K. (2005). Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца под ред. Д. В. Кузницына. СПб.: Наука.
- Шmitt K. (2013). О трех видах юридического мышления // Шmitt K. Государство: право и политика / Пер. с нем. О. Кильдюшова. М.: Территория будущего. С. 307–355.
- Шmitt K. (2015). Политический романтизм / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца под ред. Б. М. Скуратова. М.: Практис.
- Шmitt K. (2016а). Духовно-историческое состояние современного парламентаризма / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца // Шmitt K. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 93–170.
- Шmitt K. (2016б). Понятие политического формата / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Шmitt K. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 280–408.
- Шmitt K. (2016в). Политическая теология: четыре главы к учению о суверенитете / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца // Шmitt K. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 5–59.
- Шmitt K. (2016г). Римский католицизм и политическая форма / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Шmitt K. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 60–92.
- Conrad B. (2009). Kierkegaard's Moment: Carl Schmitt and His Rhetorical Concept of Decision // Redescriptions: Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory. Vol. 12. P. 145–171.
- Kennedy E. (2004). Constitutional Failure: Carl Schmitt in Weimar. Durham: Duke University Press.
- Kramme R. (1989). Helmuth Plessner und Carl Schmitt: Eine historische Fallstudie zum Verhältnis von Anthropologie und Politik in der deutschen Philosophie der zwanziger Jahre. Berlin: Duncker & Humblot.
- Löschenkohl B. (2019). Occasional Decisiveness: Exception, Decision and Resistance in Kierkegaard and Schmitt // European Journal of Political Theory. Vol. 18. № 1. P. 89–107.
- Mehring R. (2017). Carl Schmitt: Denker im Widerstreit. Freiburg: Karl Alber.
- Nun K., Stewart J. (eds.). (2015). Kierkegaard's Pseudonyms. L.: Routledge.
- Ryan B. (2014). Kierkegaard's Indirect Politics: Interludes with Lukács, Schmitt, Benjamin and Adorno. N.Y.: Rodopi.
- Stocker B. (2014). Kierkegaard on Politics. L.: Palgrave Macmillan.
- Taubes J. (1987). Ad Carl Schmitt: Gegenstrebige Fügung. B.: Merve.

From Kierkegaard to Schmitt: Towards the Political-Theological Relevance of Repetition

Vladimir Bashkov

Student Researcher, Centre of Fundamental Sociology; Postgraduate Student, Doctoral School of Philosophy, National Research University — Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya Str, 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: untrusting51@rambler.ru

This article attempts to explore Carl Schmitt's political theology with reference to the philosophical and literature heritage of Søren Kierkegaard. For most modern scholars, the presence of this ideological connection is no longer something unknown or to be doubted. In the key statements of political theology, the dialectic of exception and of the universal is found, appearing in the same way as it was formulated by Kierkegaard. More often, the exception is the one that attracts the attention of specialists. However, in addition to the exception, Kierkegaard also speculated on repetition; it was the Danish philosopher's work of the same name that was the source of the quotation with which Schmitt illustrated the significance of the sovereign decision for the systematic doctrine of the state. This paper redefines Schmitt's main ideas through the notion of repetition, and demonstrates the theoretical novelty and productivity of this approach to the study of the heritage of one of the key political thinkers of the twentieth century.

Keywords: repetition, exception, political theology, Carl Schmitt, Søren Kierkegaard

References

- Adorno T. (2011) *Zhargon podlinnosti: o nemeckoj ideologii* [Jargon of Authenticity: On the German Ideology], Moscow: Kanon+, Reabilitatsia.
- Agamben G. (2011) *Homo sacer: suverennaja vlast' i golaja zhizn'* [Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life], Moscow: Evropa.
- Agamben G. (2011) *Homo sacer: chrezvychajnoe polozhenie* [Homo Sacer: State of Exception], Moscow: Evropa.
- Conrad B. (2009) Kierkegaard's Moment: Carl Schmitt and His Rhetorical Concept of Decision. *Redescriptions: Yearbook of Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory*, vol. 18, pp. 145–171.
- Deleuze G. (1998) *Razlichie i povtorenie* [Difference and Repetition], Saint Petersburg: Petropolis.
- Filippov A. (2010) Politicheskiy romantizm Karla Shmitta [Carl Schmitt's Political Romanticism]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 1, pp. 66–74.
- Gaidenko P. (1997) Tragedija jestetizma: o mirovozzrenii Serena Kirkegora [The Tragedy of Aestheticism: On the Worldview of Søren Kirkegaard. Proryv k transcendentnomu: novaja ontologija XX veka [Breaking Through to the Transcendent: A New Ontology of the Twentieth Century], Moscow: Respublika, pp. 11–207.
- Heidegger M. (2011) *Bytie i vremja* [Being and Time], Moscow: Akademichesky proekt.
- Kapelchuk K. (2019) Deleuze i (anti)dialektika [Deleuze and (Anti-)Dialectics]. *Stasis*, vol. 7, no 1, pp. 340–362.
- Kennedy E. (2004) *Constitutional Failure: Carl Schmitt in Weimar*, Durham: Duke University Press.
- Kierkegaard S. (2008) *Povtorenie* [Repetition], Moscow: Labirint.
- Kierkegaard S. (2010) *Bolezn' k smerti* [The Sickness unto Death]. *Strah i trepet* [Fear and Trembling], Moscow: Kulturnaja revolutsia, pp. 285–404.
- Kierkegaard S. (2010) *Strah i trepet* [Fear and Trembling]. *Strah i trepet* [Fear and Trembling], Moscow: Kulturnaja revolutsia, pp. 5–119.
- Kierkegaard S. (2012) *Zakluchitel'noe nenauchnoe posleslovie k «Filosofskim kroham»* [Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments], Moscow: Akademichesky proekt.

- Kierkegaard S. (2014) *Ili — ili. Fragment iz zhizni* [Either/Or: A Fragment of Life], Moscow: Akademichesky proekt.
- Kramme R. (1989) *Helmut Plessner und Carl Schmitt: Eine historische Fallstudie zum Verhältnis von Anthropologie und Politik in der deutschen Philosophie der zwanziger Jahre*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Löschenkohl B. (2019) Occasional Decisiveness: Exception, Decision and Resistance in Kierkegaard and Schmitt. *European Journal of Political Theory*, vol. 89, no 1, pp. 89–107.
- Löwith K. (2012) Politicheskij decizionizm [Political Decisionism]. *Logos*, no 5, pp. 115–142.
- Luhmann N. (2007) «Chto proiskhodit?» i «Chto za etim kroetsya?»: dve sotsiologii i teoriya obshchestva [“What is the case?” and “What is hidden behind it?”: Two Sociologies and the Theory of Society]. *Russian Sociological Review*, vol. 6, no 3, pp. 100–117.
- Lungina D. (2019) Kierkegaard. *Filosofskaja antropologija* [Philosophical Anthropology], vol. 5, no 1, pp. 122–158.
- Mehring R. (2017) *Carl Schmitt: Denker im Widerstreit*, Freiburg: Karl Alber.
- Meier H. (2012) *Karl Shmitt, Leo Shtraus i «Ponjatie politicheskogo»: o dialoge otsutstvujushhih* [Carl Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue], Moscow: Skimen.
- Mohler A. (2017) *Konservativnaja revoljucija v Germanii 1918–1932* [The Conservative Revolution in Germany, 1918–1932], Moscow: Totenburg.
- Nun K., Stewart J. (eds.) (2015) *Kierkegaard's Pseudonyms*, London: Routledge.
- Podoroga V. (1995) Avraam v zemle Moria. Seren Kirkegor [Abraham in the land of Moriah. Søren Kierkegaard]. *Vyrazhenie i smysl* [Expression and Meaning], Moscow: Ad Marginem, pp. 39–140.
- Preobrazhensky G. (2019) K voprosu ob antinomijah marksizma: na primere rukopisej rannego Marks'a [On the Question of the Antinomies of Marxism: Using the Example of the Manuscripts of Early Marx]. *Stasis*, vol. 8, no 2, pp. 46–75.
- Ryan B. (2014) *Kierkegaard's Indirect Politics. Interludes with Lukács, Schmitt, Benjamin and Adorno*, New York: Rodopi.
- Schmitt C. (2005) *Diktatura: ot istokov sovremennoj idei suvereniteta do proletarskoj klassovoj bor'by* [Dictatorship: From the Origin of the Modern Concept of Sovereignty to Proletarian Class Struggle], Saint Petersburg: Nauka.
- Schmitt C. (2013) O treh vidah juridicheskogo myshlenija [On the Three Types of Juristic Thought]. *Gosudarstvo: pravo i politika* [State: Law and Politics], Moscow: Territoria budushhego, pp. 307–355.
- Schmitt C. (2015) *Politicheskij romantizm* [Political romanticism], Moscow: Praxis.
- Schmitt C. (2016) Duhovno-istoricheskoe sostojanie sovremennoogo parlamentarizma [The Historical and Spiritual State of Modern Parliamentarism]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 93–170.
- Schmitt C. (2016) Ponjatie politicheskogo [The Concept of the Political]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 280–408.
- Schmitt C. (2016) Rimskij katolicizm i politicheskaja forma [Roman Catholicism and political form]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 60–92.
- Schmitt C. (2016) Politicheskaja teologija. Chetyre glavy k ucheniju o suverenitete [Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 5–59.
- Sorel G. (2013) *Razmyshlenie o nasiliu* [Reflections on Violence], Moscow: Falanster.
- Stocker B. (2014) *Kierkegaard on Politics*, London: Palgrave Macmillan.
- Taubes J. (1987) *Ad Carl Schmitt: Gegenstrebige Fügung*, Berlin: Merve.
- Weber M. (2017) Politika kak prizvanie i professija [Politics as a Vocation]. *Vlast' i politika* [Power and Politics], Moscow: RIPOL-klassik, pp. 252–326.
- Žižek S. (2007) *Tupik transcedental'nogo voobrazhenija, ili Martin Hajdegger chitaet Kanta* [The Deadlock of Transcendental Imagination, or Martin Heidegger as a Reader of Kant]. *Topos*, no 3, pp. 130–143.

Политическая теология международного права: границы и границы метода^{*}

Вячеслав Кондуров

Преподаватель-исследователь, преподаватель кафедры теории и истории государства и права,
Санкт-Петербургский государственный университет

Адрес: Университетская наб., д. 7-9, г. Санкт-Петербург, Российской Федерации 199034
E-mail: viacheslav.kondurov@gmail.com

В статье исследуется возможность применения к международному праву политической теологии, понимаемой как специфический методологический подход. В указанном смысле ключевые тезисы политической теологии первоначально формулировались К. Шмиттом в контексте национального права, действующего в гомогенной среде. Сообразно этому в современной философии международного права политико-теологический дискурс преимущественно связан с универсалистскими проектами глобального права, основанными на аналогии с правом внутринациональным. Первая из таких стратегий — фаллоцентристическая — предполагает построение глобального правопорядка мировым гегемоном. Вторая же стратегия — «Не-Всё» — исходит из того, что международное право может быть выстроено лишь на основании непрекращающегося процесса обсуждения оснований глобального порядка максимально широким кругом субъектов. При всех различиях обе эти стратегии чают «вечного мира» и питаются общим мессианским духом, а стало быть — утопичны. В противовес им международно-правовое наследие К. Шмитта предлагает нетипичный не-универсалистский и антимессианский взгляд на международное право как на гетерогенный глобальный правопорядок, обоснованный пространственными представлениями. Применение политической теологии к такого рода порядку затруднено, поскольку он не обоснован ясными общими представлениями и не строится по аналогии с внутринациональным правом. Тем не менее применение к гетерогенным порядкам политической теологии не исключается. Плюралистическая структура гетерогенного правопорядка может быть рассмотрена в качестве катехона, сдерживающего наступление конца истории. Кроме того, политическая теология международного права может быть применена для анализа исторических трансформаций представлений о международном правопорядке.

Ключевые слова: политическая теология, международное право, Карл Шмитт, юридическая методология, легитимность, действительность права

В этой статье мы будем отталкиваться от узкого понимания политической теологии как метода, в основе которого лежит аналогия между составляющими государственно-правовую картину мира понятиями общего учения о государстве и теологическими понятиями, образующими метафизическую картину мира конкретной эпохи (Шмитт, 2016б: 34, 39–43, etc.; Schmitt, 2008: 79). С философско-

* Статья подготовлена в рамках поддержанного Российской фондом фундаментальных исследований научного проекта № 18-011-01195 «Действительность и действенность права: теоретические модели и стратегии судебной аргументации».

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

правовых позиций такой метод означает установление связи системы юридических представлений с господствующим в конкретном обществе метафизическим (теологическим) мировоззрением (картиной мира) и исследование их в этой перспективе. При этом такое исследование возможно в двух аспектах: в синхронном и диахронном. В синхронном аспекте политическая теология предполагает рассмотрение аналогии между существующими одновременно метафизической и государственно-правовой картинами мира и соответствующими им понятиями. Диахронический же аспект политической теологии представляет собой исследование аналогического развития метафизической и государственно-правовой картин мира, взятых в исторической динамике (Marulewska, 2014).

Эпистемологический потенциал политической теологии неоднократно отмечался в литературе (Ball, 1983: 112; Ottmann, 1990: 170; Филиппов, 2019: 71). При этом проблемой остается вопрос о границах данного подхода. К примеру, формулировка «политическая теология международного права» может вызвать законное недоумение, поскольку К. Шмитт формулировал тезисы политической теологии применительно к государственному праву. Можно возразить, что под учением о государстве К. Шмитт понимал не просто теорию конституционного права, но теорию социального порядка, выраженную в политико-юридических представлениях (Филиппов, 2019: 71). Однако это утверждение еще не снимает сомнений в применимости политической теологии к международному праву, в том числе потому, что остается актуальным вопрос о том, в какой степени и при каких условиях последнее является подлинно упорядоченным. Данная статья представляет собой исследование границ политической теологии как метода применительно к проблемам философии международного права.

В брошюре «Политическая теология» (1922 г.) Карл Шмитт, помимо разработки принципов политической теологии, касается и проблемы правовой действительности (значимости, *Geltung*) порядков. В частности, он указывает на то, что одним из внутренних ее условий является фактическая нормальность и гомогенная среда, в которой существует норма права (Шмитт, 2016б: 15). Следовательно, исследуя политическую теологию, мы неизбежно столкнемся с тем, что она неразрывно связана с ситуацией гомогенного порядка и фактической нормальностью. При этом следует понимать, что не всякий *status quo* является нормальным и должен быть гарантирован, но лишь тот, который соответствует общему, господствующему представлению о нормальном и распознается как таковой (Schmitt, 2005а: 10; Шмитт, 2015: 281).

Предъявляемое к порядку требование гомогенности касается общности правовых представлений, впоследствии распознанных Шмиттом как основополагающий элемент мышления о праве как о конкретном порядке и форме (Шмитт, 2013б: 311, 319), а также общего способа интерпретации ключевых понятий («мир», «война», «агрессия», «военная операция» и т. д.), которые в гетерогенной среде представлений утрачивают какой-либо ясный смысл. С учетом же методологического смысла политической теологии как аналогии государственно-правовой и мета-

физической картине мира, вполне ясно, что ее применение в гетерогенной среде, исключающей единство картины мира, становится проблематичным. Соответственно, применение политической теологии к международному праву вызывает сложности в силу того, что она формулировалась в контексте проблем национального права, то есть гомогенного с точки зрения понятий и представлений порядка.

Несмотря на указанную сложность, в современной философии международного права существует автономный политico-теологический дискурс, а Карл Шмитт не ограничивал политическую теологию одним лишь национальным правом, что ясно видно, к примеру, из отдельных фрагментов «Ex Captivitate Salus», где немецкий юрист касается истории становления *jus publicum Europaeum* (Schmitt, 2015: 68–75). Следовательно, проблемой, требующей разрешения в первую очередь, является вопрос о том, как существует такая политическая теология международного права и чем она обосновывается. Ввиду сказанного необходимо последовательно исследовать политico-теологический в современной философии международного права, а также международно-правовые работы Карла Шмитта в связи с ранним, методологическим, пониманием политической теологии.

Современная политическая теология международного права

В современной философии международного права политico-теологический дискурс стал ответом на так называемую проблему «фрагментации» международного порядка, следствием которой стали утрата глобальным правом конкретного образа и неопределенность международно-правовых понятий. Начиная с конца 1980-х годов теоретиками международного права все чаще начали высказываться опасения, связанные с рассогласованностью системы глобального права под эгидой ООН (Koskenniemi, Leino, 2002: 557; Peters, 2017: 672–673, 679). Противостояние Востока и Запада сменилось не мировым единством, но «калейдоскопической» (Koskenniemi, Leino, 2002: 559) реальностью конкурирующих правопорядков, в том числе наднациональных, которая неизбежно породила и противоречивую практику разрешения споров и толкования норм (Нешатаева, 2015: 5; Исполинов, 2017: 65, 70; Флек, 2011: 12–13).

В философии международного права разрешение этих проблем было достигнуто благодаря отказу от питаемой идеалами Просвещения (Koskenniemi, 2004c: 61; Koskenniemi, 1990: 4–5) идеи построения космополитического универсального порядка и признанию «политичности» международного права (Peters, 2017: 702), становящегося внешним стандартом, который служит предметом постоянной демократической дискуссии (Peters, 2017: 703).

В перспективе же политической теологии проблема фрагментации, осмысленная по аналогии с метафизической «смертью Бога» (Haskell, 2018: 25–26), привела к возникновению двух стратегий построения глобального права (Haskell, 2018: 23): 1) «фаллическая», или «фаллоцентристическая», стратегия, ассоциируемая с европоцентризмом, диктатурой и колониализмом прошлого, а также с гегемонистскими

и глобализационными тенденциями настоящего (Haskell, 2018: 29–30), стремлением сделать международное право стабильным, централизованным и определенным (Haskell, 2018: 44). Дж. Хаскелл вполне прозрачно связывает данную стратегию с учением Карла Шмитта о суверене, гарантирующем порядок своим решением (Haskell, 2018: 27, 32). Тем самым, в перспективе глобального правопорядка, такая стратегия неизбежно приводит к идеи мирового суверена, который заполняет пустоту в основании международного права; 2) космополитическая стратегия «Не-Всё» (*not-All*)¹, предполагающая включение неограниченного числа субъектов в делиберативные процедуры обсуждения проблемы легитимности и справедливости наличного порядка. Данная стратегия предполагает, что пустота в основании современного права может быть рассмотрена как его «открытость», которая делает возможными свободное творческое изменение порядка в пользу большей справедливости и сохранение единого международного права, которое, будучи поставлено под вопрос, избегает всякой содержательной фиксации (Orford, 2004: 41)². При этом в качестве одного из способов достижения такого рода «открытости» пустоты сторонникам данной стратегии видится изменение теологических понятий и представлений, которое должно привести к трансформации правовой картины мира (Orford, 2004: 41; Slotte, 2010: 41–43).

1. Выбрав такие наименования стратегий, Дж. Хаскелл отсылает к психоанализу, согласно которому, как утверждает автор, отсутствие фаллоса ассоциировано с кастрацией, неполнотой и утратой, т. е. пустым местом; сам же фаллос, напротив, ассоциируется с наличием и полнотой, т. е. со «всем» (Haskell, 2018: 28–29). Патриархальная забота суверена о порядке, а также принадлежащее ему право наказывать, в этом контексте ассоциировано с ролью отца как «символического фаллоса», а также ролью Бога Ветхого и Нового Завета как трансцендентного Отца (Haskell, 2018: 29). Название второй стратегии («Не-Всё») тем самым отсылает как раз к пустоте, неполноте, которая избегает иерархии, не заполняется «всем», т. е. «фаллосом», сувереном.

Такая интерпретация и, соответственно, словоупотребление не являются бесспорными. Однако наименование стратегии «Не-Всё» видится удачным по той причине, что подчеркивает вовлечение в пространство порядка элементов, которые были прежде из него исключены, о чем речь пойдет далее.

2. Данная статья Э. Орфорд существует в трех редакциях. Впервые она появилась в 2004 году под заглавием «Торговля, права человека и экономика жертвоприношения» (*Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice*), и именно на эту редакцию мы здесь опираемся. Впоследствии, в 2005 году, статья вышла в Лейденском журнале международного права под названием «За пределами гармонизации: торговля, права человека и экономика жертвоприношения» (*Beyond Harmonization: Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice*) (Orford, 2005). Наконец, в 2006 году она стала частью сборника под редакцией самой Э. Орфорд «Международное право и его Другие» (*International law and its Others*) под первоначальным заголовком (Orford, 2006: 156–196).

С точки зрения политической теологии во всех трех версиях статьи Э. Орфорд защищает аналогичные тезисы: она пишет об имманентизации теологии, трансформации отношения «Отец–Сын» в отношение «Мать — Сын», сосредоточении на божественном «под рукой» (*divine «near at hand»*) и т. д. (Orford, 2005: 212; Orford, 2006: 194). Вместе с тем в последующих версиях статьи был сокращен четвертый раздел «Память плоти» (*A memory of the flesh*), в связи с чем оказались исключенными рассуждения исследовательницы о мессианизме и будущем образе «остающегося открытым» международного права (Orford, 2004: 41), которые чрезвычайно ценные для настоящего изложения. Иными словами, в определенной части первая версия статьи была более подробной, чем последующие редакции. С учетом того, что Э. Орфорд в новых версиях статьи сама ссылается на первоначальную редакцию (Orford, 2005: 211; 2006: 194) и прямо не отказывается от прежде выдвинутых и интересующих нас тезисов, ссылка на самую раннюю версию статьи представляется обоснованной.

Обе названные стратегии нацелены на построение универсального глобального порядка и связаны с конкретным теологическим (и метафизическим) представлением о «смерти» трансцендентной реальности, берут ее в расчет и работают в ее условиях: либо выстраивают порядок как аналог названного метафизического представления (стратегия «Не-Всё»), либо закладывают в него возможность заполнения через грядущее спасение (фаллоцентристическая стратегия).

Вместе с тем необходимо убедиться, что представленные стратегии — это способы построения именно правового порядка. Иными словами, у предлагаемого ими образа глобального права должно присутствовать основание действительности (значимости), исток специфической юридической обязывающей силы. Применительно к международному праву наиболее часто встречаются три следующие вариации: 1) *партикулярный децизионизм* (международный порядок плюралистичен, основные субъекты — государства-нации и/или иные публичные субъекты, согласие или воля которых придают действительность (значимость) международным правовым нормам); 2) *универсалистский децизионизм* (основанием значимости (*Geltungsgrund*) международного порядка служит воля глобального гегемона); 3) *универсалистский нормативизм* (международный порядок основан на норме).

Фаллоцентристическая стратегия, обосновывая порядок волей гегемона, относится, очевидно, ко второму варианту. Что же касается стратегии «Не-Всё», то она, напротив, не является волюнтаристской: ни воля большинства, ни воля отдельного субъекта не имеют решающего значения, поскольку названная стратегия стремится избежать как любой гегемонии, так и окончательного разрешения вопроса о содержании международного права. В силу последнего не может быть основанием действительности (значимости) права и сиюминутный компромисс, поскольку в центре всегда должна оставаться пустота, позволяющая держать под вопросом ключевые правовые понятия. По этой причине принципиальным становится не результат обсуждения, но сам процесс обсуждения, т. е. процедура.

Тем самым стратегия «Не-Всё» представляет собой перенос некоторых известных принципов либерального парламентаризма внутри государства³ на международный уровень, а с точки зрения предполагаемого основания значимости правопорядка — является универсалистским нормативизмом, т. е. в ее основании лежит норма, понятная, однако, в процедурном ключе. Данная стратегия — это уже известный парламентаризм, стремящийся превратить «вечный разговор» (Шмитт, 2015: 107; Шмитт, 2016: 129, 142) в интеграционный механизм и снять тем самым политическую вражду. К той же цели устранения войны стремится, конечно же, и другая форма универсализма — фаллоцентристическая стратегия.

Действительно, обе универсалистские стратегии объединены тем, что стремятся к окончательному умиротворению глобального пространства. Фаллоцентри-

3. «Все специфические парламентские установления и нормы обретают смысл лишь благодаря дискуссии и публичности» (Шмитт, 2016а: 95); «...парламент — это прежде всего место говорения <...> Парламент остается собой, пока в нем происходит открытое говорение, без которого учреждению парламентом не быть...» (Арановский, Князев, 2016: 9).

ческая стратегия — посредством гарантии мира со стороны глобального гегемона, а стратегия «Не-Всё» — через вовлечение субъектов в процесс бесконечного обсуждения легитимности международного права. Из сказанного можно сделать по крайней мере три вывода: 1) обе рассматриваемые стратегии отталкиваются от государственного, национального права, которое генетически было связано с внутренним умиротворением и исключением гражданской войны (Шмитт, 2016в: 321); 2) поскольку обе стратегии стремятся к построению идеальной справедливой системы в «отдаленном, но достижимом будущем» (Шмитт, 2013а: 55), они имеют в виду Утопию в качестве центра своих чаяний. Последняя, хотя и принадлежит «земному» пространству, избегает при этом любой связи с конкретным топосом (Шмитт, 2008а: 227), а потому в политико-теологическом осмыслении утопичность всегда предполагает отсечение трансцендентности (Шмитт, 2013а: 55), что, в частности, может проявляться в идее построения идеального мира на земле усилиями человека; 3) поскольку обе стратегии стремятся к Утопии, они являются формами мессианизма.

Напомним, что всякий мессианизм исходит из грядущего осуществления спасения, установления мира, справедливости, гармонии и т. д. В перспективе международного права он превращается в стремление к исключению самой возможности войны. Фаллоцентристическая стратегия является формой мессианизма, поскольку предполагает посюстороннее спасение (установление вечного мира), обеспечиваемое глобальным гегемоном. Стратегия «Не-Всё» также является мессианской (Orford, 2004: 41), поскольку и она видит своей целью «вечный мир» (Koskenniemi, 2004б: 504), обеспечиваемый максимальной вовлеченностью субъектов в процесс обсуждения легитимности международного права. «Мессианизм» как «оглашение чего-то, что постоянно откладывается» (Orford, 2004: 41) в такой форме лишь усиливается, поскольку превращается в апорию вечного «отложения» обещанного наступления справедливости.

Итак, обеим мессианским, универсалистским стратегиям свойственен перенос внутригосударственных представлений на международный уровень, они движутся в пространстве известной альтернативы, свойственной национальному порядку: личное решение или безличная норма. Обнаруженная ориентация двух рассмотренных стратегий на внутригосударственное право и порождает возможность их политико-теологического обоснования: образ национального порядка предполагает гомогенность и генетически связан с теологией. Тем самым рассмотрение универсалистских проектов глобального порядка не позволяет ответить на вопрос о том, как возможна политическая теология гетерогенных порядков.

Из сказанного также ясно, почему политико-теологический дискурс не заинтересован в партикулярных, «реалистических» доктринах. Такой взгляд на международное право скептичен по отношению к возможности глобального порядка. Термин «право» здесь употребляется с известной долей условности (Guilhot, 2010: 225). Однако, попытки политико-теологического осмысления «реалистических» проектов осуществляются и, как правило, сводятся к утверждению «теологии ба-

ланса» (Каракулян, 2019: 22), т. е. порядка как взаимного сдерживания государств или иных, более крупных публичных субъектов. В связи с этим апеллируют к аналогии с катехоном, сдерживающим, согласно Посланию ап. Павла, наступление беззакония (2 Фес. 2:7).

Вместе с тем концепция катехона предполагает противостояние абсолютно-му злу, а в системе взаимного сдерживания противники не являются таковыми, из-за чего рассмотрение взаимного сдерживания как варианта «катехонизма» не имеет смысла (Каракулян, 2019: 21–22). Соответственно, чистый партикуляризм, часто сводящий международное право к неупорядоченной сумме отношений, не разрешает первоначальный вопрос о применении политической теологии к гетерогенным международным порядкам, поскольку в рассматриваемом случае юридический порядок и вовсе отсутствует. Теперь, в поисках ответа, обратимся к международно-правовым работам Карла Шмитта.

Теория международного права Карла Шмитта

Ведущие теоретики международного права относят К. Шмитта к представителям «партикуляризма» (Bogdandy von, Dellavalle, 2008: 31), т. е. «партикулярного децизионаизма», который предлагает плюралистический образ международного права, значимость которого обосновывается *ad hoc* волей отдельных политических субъектов. Но такой взгляд не является верным и может быть оспорен.

В работах по международному праву 1920-х годов Карл Шмитт формулирует понятие «принцип легитимности» (*Legitimitätsprinzip*), обозначающее общий интеллектуальный образ, представления об устройстве международного права (*Darstellungen des Völkerrechts*) (Schmitt, 2005g: 350), т. е. не только фундамент, но и содержание, структуру такого порядка. Принцип легитимности включает в себя требование «минимума гомогенности» представлений (Schmitt, 2005a: 23; Schmitt, 2005b: 115, 118), определяет и внутреннюю структуру международного порядка (включая гарантии, права субъектов и т. д.), и возможные способы, пределы ее изменения. Проще говоря, принцип легитимности — это целостное представление о структуре и системе международного правопорядка, об иерархии/равенстве входящих в него субъектов, их естественных правах и т. д. (Schmitt, 2005d: 392, 393, 400).

Карл Шмитт формулирует данное понятие в работах, преимущественно посвященных анализу Лиги Наций (*Völkerbund*) как союза (*Bund*) государств. В этом контексте принцип легитимности служит критерием различия международно-правового союза (*Bund*) как общности и простого альянса (*Bündnis*) (Schmitt, 2005a: 4; 2005b: 115) или межгосударственной административной общности (*Verwaltungsgemeinschaft*), как, например, Всемирный почтовый союз. Ни альянс, ни административные общности не требуют внутренней гомогенности (Schmitt, 2005a: 4, 9, 22), но представляют собой «практически-полезное, административно-техническое мероприятие (*praktisch-nützliche, administrativ-technische Veranstaltung*)

которым участники пользуются к своей выгоде, столь хорошо и долго, сколь это возможно...» (Schmitt, 2005b: 118). Такие организации имеют целью не возникновение единого, устойчивого и стабильного правового порядка, но скорее направлены на администрирование партикулярных отношений, равно как и различные дипломатические конференции, необходимость которых сводится к их пользе в обеспечении более удобной коммуникации представителей государств.

С гомогенностью тесно связано понятие вмешательства. Если необходимо внутреннее единство международной общности по ключевым представлениям о нормальном устройстве союза, его структуре, правах членов и т. д., то само существование союза во многом зависит от нормального состояния внутри государств — членов союза: «Всякий международно-правовой принцип приводит к вмешательству, и всякий союз должен обладать известными принципами, способными определить, что для него легитимно. Из необходимости поддержания гомогенности союза, само собой, неизбежно проистекает вмешательство» (Schmitt, 2005b: 119; Schmitt, 2005a: 20). Столь тесная связь между гарантуемой союзом нормальной ситуацией и нормальной ситуацией внутри каждого члена союза приводит к возможности вмешательства со стороны союза во внутренние дела конкретного государства для обеспечения нормальности *status quo*.

Требование гомогенности справедливо и для случаев международной общности гегемонистского, а не союзного толка, где нормальность ситуации в государствах ареала «великой державы» гарантирует сама «великая держава». Эта ситуация актуализируется в работах К. Шмитта в связи с констатацией им изменения форм империализма в конце XIX — начале XX века (Schmitt, 2005c: 28–30). «Великая держава» здесь осуществляет гегемонию с помощью договоров о вмешательстве в ряд ключевых сфер ведомых государств, а ее власть основывается на авторитете в вопросе интерпретации неопределенных понятий (Ibid.: 30–31). Самостоятельное же определение смысла понятий, в соответствии с собственными представлениями о нормальном, является, следовательно, подлинным основанием суверенного существования (Schmitt, 2005g: 365–366).

Как в случае с общностью союзного типа, так и в применительно к общности гегемонистского типа мы вновь сталкиваемся с уже известным требованием гомогенности представлений и способов интерпретации ключевых понятий, предъявляемым к юридическому порядку и делающим возможным применение политической теологии. Это означает также и то, что первоначально принцип легитимности формулировался именно для ситуации международно-правовой общности достаточно высокой степени интеграции, близкой к национально-государственной. В связи с этим данное понятие применимо и к универсалистским проектам глобального порядка, рассмотренным нами ранее, поскольку ими предполагается именно высокая степень интеграции⁴.

4. Как замечает Карл Шмитт, даже такие «универсалистские» по своему существу модели глобального порядка, как, к примеру, кантианский «вечный мир», предполагают внутреннюю гомогенность в форме республиканского строя (Schmitt, 2005a: 20). Или, иначе говоря, «межгосударственная демократия требует внутригосударственной демократии» (Ibid.).

Однако применительно к шмиттовскому видению международного права данного принципа недостаточно, поскольку немецкий юрист фактически формирует два пласта международного права: 1) гомогенное международное право внутри союзов и иных международных общностей; 2) гетерогенное международное право, опосредующее отношения таких союзов друг с другом. Наличие последнего Карл Шмитт прямо утверждает, отмечая, что в его пределах политические общности существуют в «высокополитическом», естественном состоянии (Schmitt, 2005h: 265). При этом использование формулы «естественное состояние» интерпретируется немецким юристом как особенность, юридическая специфика такого «гетерогенного» международного права, обладающего плюралистической природой (*Ibid.*).

Соответственно, мы имеем дело с двумя видами международного права: опосредующим отношения между 1) публичными субъектами, входящими в общность, обладающую принципом легитимности, и 2) между публичными субъектами, которые в такую общность не входят. И если в первом случае общий международный порядок обладает ясным основанием значимости (поскольку у него есть конкретный принцип легитимности), то во втором нахождение такового вызывает проблемы.

Если отношения между гомогенными порядками все-таки опосредуются правом, то, исходя из общих посылок юридического мышления К. Шмитта, такие отношения сами должны быть элементом некоего юридически значимого конкретного порядка. Последний же должен обладать принципом легитимности и основанием действительности (значимости), иначе такой порядок не был бы юридическим порядком. Значимость международного правопорядка, регулирующего отношения между гомогенными порядками (т. е. гетерогенного международного порядка), чрезвычайно важна для понимания международно-правового наследия К. Шмитта, поскольку фактически речь идет об утверждении глобального правового принципа, т. е. того, что прямо противоречит любой «партикулярной» парадигме. Мы попытаемся продемонстрировать особенности этого принципа, рассматривая «Порядок больших пространств», разработанный Карлом Шмиттом в качестве возможного образа грядущего глобального правопорядка.

Мы избираем порядок больших пространств в качестве предмета анализа не потому, что Карл Шмитт был неизменно верен этому «идеалу» от начала и до конца. Порядок больших пространств вообще никогда не был идеалом, но скорее обусловленным историей возможным прогнозом на будущее. Даже если отказ от образа глобального порядка именно в таком виде имел место⁵, Карл Шмитт неизменно защищал идею плюрализма в международном праве, которая предполагала включение упорядоченной войны (и самой возможности войны) в представление о нормальном состоянии (Шмитт, 2016b: 308) и сосуществование гомогенных по-

5. В литературе такого рода идею можно встретить достаточно часто (Меринг, 2018: 35; Koskeniemi, 2017: 601). Одновременно нельзя не задаться вопросом, насколько такой отказ действительно имел место, с учетом того, что о больших пространствах Карл Шмитт пишет и позже, например, в 1960-е годы (Schmitt, 1995a: 598–607).

рядков в рамках гетерогенного правового пространства. Более того, идея плюрализма защищалась Карлом Шмиттом как до возникновения идеи Порядка больших пространств (Schmitt, 2005e: 425), так и после (Шмитт, 2004: 88; Schmitt, 1995a: 603–605, 607). Но в то же время на более ранних этапах в построениях Шмитта мы не находим пространственного аспекта, столь важного для его поздних работ по международному праву. В этом отношении теория порядка больших пространств удачно расположена на пересечении интеллектуальных линий наследия Шмитта. Порядок больших пространств релевантен для нашего анализа еще и тем, что в данной теории оказались связанные две важные проблемы: внутренний принцип легитимности гомогенных международных общностей (принцип легитимности большого пространства) и принцип легитимности глобального международного права, предполагающего сосуществование различных гомогенных порядков (больших пространств).

Напомним, что порядок больших пространств структурно представлял собой сосуществование в рамках глобальной картины мира нескольких крупных и замкнутых политических единств — гомогенных порядков с так называемыми рейхами в качестве определяющего начала и гаранта нормальной ситуации внутри больших пространств. Большое пространство здесь выступает ареалом распространения политической идеи рейха⁶, пространством, в которое она «излучается» (Шмитт, 2008a: 527). Каждое из этих больших пространств замкнуто, поскольку не допускает интервенции чуждых сил (гарантом здесь опять же выступает рейх) (Там же). Тем самым Порядок больших пространств — это попытка сконструировать плюралистический глобальный порядок, аналогичный (поскольку допускает войну и плюрализм) классическому европейскому международному праву⁷, но в условиях новых представлений (Там же: 544), предполагающих неустранимость иерархии субъектов международного права и утрату государством ключевой роли в международном праве (Там же: 534–535, 540).

Шмитт выделяет четыре варианта международных отношений (или четыре смысла данного термина) в условиях Порядка больших пространств: 1) отношения между большими пространствами; 2) отношения между рейхами больших пространств; 3) отношения между народами внутри большого пространства; 4) отношения между народами различных больших пространств (Там же: 545).

Отношения (1), (2) и (4) разворачиваются в пространстве между гомогенными порядками, являются по необходимости гетерогенными. Лишь отношения (3) существуют в гомогенной среде, а потому их юридическая значимость и правовой характер не ставятся нами под сомнение. Отношения же (1), (2) и (4) прямо называются Шмиттом международно-правовыми отношениями (Там же: 545). Более

6. Речь, разумеется, идет не о конкретном Третьем рейхе, а о рейхе как политической форме, которая придет (пришла) на смену государствам Нового времени.

7. Так, О. Симонс указывал, что классическое *jus publicum europaeum*, с его упорядоченной войной, служило для К. Шмитта «критерием мирового порядка» (Simons, 2017: 791). На аналогию между порядком больших пространств и *jus publicum europaeum* указывает и сам К. Шмитт (Шмитт, 2004: 83).

того, немецкий юрист утверждал, что отношения между большими пространствами разворачиваются внутри конкретного порядка, а сам этот конкретный порядок является иным видом правового порядка по отношению к тому, который опосредует отношения между народами внутри большого пространства (Schmitt, 1995b: 234–235). Из этого можно вывести два следствия: во-первых, им допускалось существование конкретного юридически значимого порядка, опосредующего гетерогенные отношения между гомогенными порядками — большими пространствами, и, во-вторых, этот конкретный порядок отличен и несводим в своей значимости к порядку внутри больших пространств. Иными словами, в условиях постсовременного краха глобального порядка международного права, основанного на принципах Вестфальской системы, Карл Шмитт предлагает модель глобального правового порядка, обладающего автономным основанием действительности (значимости) и собственным образом, который существенно отличается от образа больших пространств как международных общинностей. В условиях трагедии отсутствия планетарного правопорядка К. Шмитт создает возможную модель такого порядка, которая пытается вобрать в себя положительные, с точки зрения немецкого юриста, черты Вестфальского устройства (структурный плюрализм, правовая регламентация войны и т. д.), но учитывает при этом утрату государством Нового времени той ключевой роли, которую оно играло прежде.

Поскольку это так, возникает вопрос о возможности политической теологии такого гетерогенного глобального порядка, ведь применение политической теологии к анализу гомогенных порядков (больших пространств, союзов и т. д.) не составляет методологической проблемы. Так как политическая теология предполагает аналогию между понятиями, составляющими структуру юридико-политической и метафизической (теологической) картины мира, для ее применения необходимо, чтобы таковые имели место в ситуации гетерогенного международного права. Поскольку последнее, как мы показали ранее, является правовым порядком, то у него наличествует образ и основание действительности (значимости).

В связи со сказанным мы выдвигаем два тезиса. 1) Принцип легитимности международного права, опосредующего отношения между гомогенными порядками, является пространственным. 2) Если принцип легитимности глобального правопорядка является пространственным, то входящие в него представления и понятия также должны быть пространственными. Первичным подтверждением такой интерпретации служит утверждение Карла Шмитта о том, что структура международного права основана на пространственных понятиях (Schmitt, 2005f: 652).

Вместе с тем такого первичного подтверждения недостаточно для доказательства наших суждений. Для того чтобы убедиться в их справедливости, необходимо, пусть и кратко, проследить ход мыслей немецкого юриста об исторической трансформации соответствующих планетарных порядков⁸. Это обоснованно хотя бы потому, что в работе «Земля и Море» Карл Шмитт прямо проводит взаимос-

8. Зависимость каждой «всемирно-исторической» эпохи от способа восприятия мира прежде отмечалась в соответствующей литературе (Simons, 2017: 781).

вязь между изменением структуры представлений о пространстве и сменой исторических эпох (Шмитт, 2008б: 605).

Так, предельно европоцентричный порядок Средних веков, хотя и не был глобальным в современном понимании, предполагал деление известного пространства по остаточному признаку, на земли христианских и не-христианских народов (Шмитт, 2008в: 32). Такой принцип разделения пространств не столько лишал нехристианские земли какого-либо статуса, но скорее предполагал последние открытыми для миссионерской деятельности (Там же: 105) и захвата, а также предопределял иную регламентацию войны, что вполне вписывалось в общую парадигму империи как пространства порядка, противостоящего окружающему хаосу и стремящегося упорядочить последний.

В глобальную эпоху Нового времени (XVI–XIX) складывается классическое международное право, *jus publicum europeum*, ключевыми пространственными представлениями которого становятся (1) разделение на Старый и Новый свет (линия дружбы), колонии и метрополию (Там же: 86, 93, 296); (2) представление о государственной территории как замкнутой для иностранного влияния (Schmitt, 1995б: 240; Шмитт, 2008в: 147). Это изменение представлений исключает свойственную Средним векам концепцию войны, понятие Священной империи (Шмитт, 2008в: 143) и папский мандат в качестве правового основания для захвата земли (Там же: 145) — таковым становится «открытие» (Там же: 149–151). Одновременно утрачивает значение теологическая аргументация (Там же: 151). Война становится упорядоченной (Schmitt, 1995а: 598; Шмитт, 2008в: 165, 241), «кабинетной войной» между равными суверенами (Шмитт, 2008в: 167, 169, 185 и др.), представление о справедливой войне связывается с понятием *justus hostis*, а не *justa causa* (Там же: 170–171, 187–188 и др.), а также происходит разделение правовых режимов земли (государственная территория, колонии, протектораты, экзотические страны; земли, свободные для оккупации) (Там же: 237) — с одной стороны, и режимов земли и моря — с другой стороны (Шмитт, 2008б: 579). В этом порядке, как замечает Шмитт, «можно увидеть анархию, но никак не отсутствие права» (Шмитт, 2008в: 177).

Глобальный пространственный порядок Нового времени представлял собой равновесие сил (Там же: 245), ставшее возможным благодаря открытию Нового света и неограниченной экспансии, захвату этого пространства «великими державами» (Там же: 250). Данное утверждение не означает, что основанием деятельности (значимости) самого порядка служила власть этих «великих держав», которые сами получали юридический смысл и значение лишь из принадлежности к пространственному порядку (Там же), из общего ощущения пространственной системы равновесия (Там же: 207). Акт признания в качестве «великой державы» служил основанием включения в пространственный порядок (Там же: 248), но не придавал ему значимость.

В конце XIX — начале XX века происходит распад классического международного права. Отныне колонии были уравнены с государственной территорией (Там

же: 319); произошла фрагментация глобального порядка (Там же: 316–318), изоляция на основании Доктрины Монро и рост могущества США (Там же: 308); включение в правопорядок на равных основаниях не-европейских держав (Там же: 325) и т. д. Процесс этот завершился полным крахом старого порядка — Первой мировой войны и попыткой выстроить универсальное право человечества в рамках женевской Лиги Наций (Там же: 308, 334, 335). Применительно к данному этапу невозможно говорить о конкретном правовом порядке, в том числе и в пространственном смысле (Там же: 334), а потому не имеет смысла и постановка вопроса ни о его принципе легитимности, ни об основании его действительности (значимости). Поскольку же здесь отсутствовал ясный правовой порядок, было невозможно правовое ограничение войны, ставшей в результате войны на уничтожение — тотальной, дискриминационной войной (Там же: 339, 556). Кроме того, поскольку Лига Наций не смогла предложить никакого пространственного *status quo* (Там же: 336–337, 339–340), нормального состояния, единого принципа распределения пространства, границы между войной и миром вовсе оказались стерты.

Порядок больших пространств, напротив, был задуман как форма построения глобального пространственного порядка с четким разделением режимов войны и мира, т. е. с ясной регламентацией войны и подчинением ее праву. Такой плюралистический глобальный порядок, предполагающий возможность войны как части нормального состояния, может быть назван «агональным» (от греч. ἀγών) (Шмитт, 2011: 111–112). Только включение войны в представления о нормальном состоянии позволяет подчинить ее общим правилам в регулятивном смысле, поскольку невозможно создать правила для противоправного поведения, можно лишь создать нормы, которые позволяют карать за него. Пространственный характер принципа легитимности и составляющих его представлений имеет ключевое значение для допущения войны: упорядоченная война предполагает единство пространства борьбы сторон — замкнутый круг, цепь воинов, опоясывающая сражающихся.

Именно представления о распределении пространства являются собой подлинное основание глобального правопорядка, а не взаимное сдерживание в равновесии сил, как порой утверждается (Ulmen, 1993: 49). Само по себе пространственное равновесие возможно только в том случае, если оно воспринимается как нормальное состояние. Такое восприятие, в свою очередь, возможно лишь с учетом представлений о нормальном распределении пространства. Таким образом, даже утверждая важную роль факта равновесия, мы не можем определить некое состояние в качестве равновесного без соответствующих представлений. Без четкого представления о пространственном номосе невозможно существование глобального порядка (Шмитт, 2008в: 334). Следовательно, невозможно ни взаимное признание (которое имеет смысл лишь в рамках единого порядка), ни ограничение войны, ни равновесие.

Политическая теология гетерогенного глобального порядка

Обладая собственным принципом легитимности (образом), будучи обоснованным общими пространственными понятиями и представлениями, глобальный правопорядок как будто не исключает применение к нему политической теологии. Более того, в «*Ex Captivitate Salus*» Карл Шмитт достаточно подробно и ярко описывает процесс секуляризации, приведший юристов-международников на место, прежде принадлежащее теологам (Schmitt, 2015: 70–71)⁹. Эта «тайна происхождения» европейского международного права, его роль и локус, несомненно, создают почву для применения политической теологии в ее диахронном аспекте с учетом того, что речь идет о последовательной динамической смене образов международного права: от опосредованного теологией к классическому европоцентричному международному праву, а от него — к нейтрализованному механистическому позитивизму, опосредованному «технически-индустриальным мировоззрением», т. е., в терминах политической теологии немецкого юриста, «антирелигией технизма» (Шмитт, 2016г: 358).

В синхронном же аспекте политической теологии доступна, к примеру, завершающая, техническая стадия развития указанного движения, предполагающая становление проектов построения единого универсального глобального правопорядка. Пример тому — две универсалистские стратегии, рассмотренные нами ранее. Однако как синхронно осмыслить с точки зрения политической теологии плюралистичное правовое пространство с неизбывной борьбой порядков? С какой системой теологических/метафизических представлений можно здесь провести аналогию в рамках разработанной Шмиттом теории международного права?

В литературе встречаются утверждения, что взаимное сдерживание больших пространств соответствует идее катехона (Каракулян, 2019: 21–22). Указывалось также (Grossheutschi, 1996: 68), что дуализм «земля-море» соответствует диаде «католицизм-кальвинизм» (Шмитт, 2008б: 624). Мы не можем с этим полностью согласиться.

Что касается взаимного сдерживания, то оно действительно могло бы рассматриваться как «теология баланса» и идея в целом «катехоническая». Однако здесь нужна некоторая поправка. В качестве катехона выступает не каждый гомогенный порядок в отношении другого, но скорее сама плюралистическая структура международного порядка, сам баланс, который продлевает ход истории и не дает наступить постисторической и постполитической реальности. В статье «Единство Мира» (Die Einheit der Welt, 1951) Карл Шмитт указывает на амбивалентность единства: единый мир, лишенный плюралистической борьбы, в равной мере может быть и наступлением Царствия Божия, и царства сатаны (Шмитт, 2004: 80). Напомним, что катехон, сдерживая «тайну беззакония», одновременно сдержи-

9. Следует также вспомнить и еще одно указание на генетическую связь между теологией и правом, а именно утверждение К. Шмитта о том, что отцом правоведения является возрожденное римское право, а матерью — римская церковь (Schmitt, 2015: 69).

вает и наступление Царствия Божия, которое неизбежно должно сменить царствование Антихриста. В этом смысле аналогия катехона более удачно применима к тому, что сдерживает наступление универсального, монистического, тотального единства и продлевает ход истории, т. е. к самой плюралистической структуре, к самому образу, принципу легитимности гетерогенного глобального правопорядка.

Политическая теология Карла Шмитта рождена историей, пусть и понятой в теологическом ключе¹⁰, как историей сдерживания окончательного торжества «тайны беззакония», т. е. она возможна лишь в пространстве катехонического времени, она рождена историей скрытого участия Бога в земных делах. В этом аспекте Карл Шмитт противостоит утопизму любой из универсалистских стратегий. Юридико-теологическое измерение мышления К. Шмитта заключается как раз в разорванности земного порядка и Царствия Небесного, в невозможности отождествления, низведения небесного к земному. В отличие от универсалистских стратегий, мышление Карла Шмитта принципиально отвергает любой мессианизм и, соответственно, является антиутопическим.

Как мы отмечали ранее, Утопия предполагает возможность построения в земной юдоли идеальной общности, Царствия Небесного без участия Бога. В этом смысле она является собой возможность «выпрыгнуть из истории» (Smeltzer, 2020: 115). Утопия — это статика, конец всякой истории как смены мировоззренческих парадигм, распределения пространства и борьбы. Плюрализм структуры глобального права, наоборот, наряду с прочим означает неустранимость борьбы и, следовательно, предполагает «сдерживание» конца истории. Что же касается дуализма «земли и моря» как аналогии диады «католицизм-кальвинизм», отметим, что этот тезис отвечает лишь на вопрос о понятийной структуре гомогенных порядков, но ничего не говорит о системе представлений гетерогенного международного права. «Пространственный» характер фундирующих международный порядок представлений и его плюралистичность создают трудности в буквальном применении политico-теологической аналогии в синхронном аспекте. Здесь политическая теология теснится чем-то куда более фундаментальным и могущественным: силой мифа и образа, рождаемых чистыми стихийными силами.

В ходе развития идей Шмитта представление о пространстве как будто становится центральным, основополагающим началом для всей системы представлений. Так, овладев морем, англичане «были больше не в состоянии представить себе какую-то иную экономическую науку и иное международное право. Здесь ты имеешь возможность убедиться в том, что огромный Левиафан обладает властью также над умами и душами людей» (Шмитт, 2008б: 627). То же самое можно сказать и о теологических/метафизических представлениях, которые стали лишь элементами стихийных сил, перераспределяющих пространства¹¹.

10. В этом смысле можно согласиться с М. Коскениеми, утверждающим, что К. Шмитт стремится «интерпретировать настоящее в свете христианской концепции истории» (Koskenniemi, 2004а: 501).

11. «Религиозные войны и теологические лозунги этой эпохи также содержат в своем существе столкновение стихийных сил, повлиявших на перенос всемирно-исторической экзистенции с земли на море» (Шмитт, 2008б: 624).

Если это так, то тогда возможно, что в основании принципа пространства и, следовательно, в метафизическом основании политической теологии международного права лежит нечто более архаичное, чем теологические представления. То, что интерпретируется стратегией «Не-Всё» как «пустота» в центре международного права, может совсем не являться таковой. С точки зрения политической теологии даже «пустота», «смерть Бога» обладают собственной метафизикой и теологией (в этом смысле названная стратегия упускает ключевой тезис дискурса, в котором разворачивается).

Заключение

Отталкиваясь от методологического понимания политической теологии, мы пытались понять, как возможна политическая теология международного права. Во-первых, мы исследовали политico-теологический дискурс внутри современной философии международного права и установили, что он возник в качестве ответа на проблему утраты глобальным правом легитимного основания и образа.

Существующие в рамках политico-теологического дискурса универсалистские стратегии преодоления этой проблемы (фаллоцентрическая стратегия и стратегия «Не-Всё»), пусть и разными путями, но предполагают построение международного права на манер гомогенного внутринационального порядка, а также питаемы мессианским духом, поскольку стремятся к устранению всякой возможности войны и установлению вечного мира. С юридической точки зрения они также не выходят за пределы давно известной альтернативы между решением (фаллоцентрическая стратегия) и нормой (стратегия «Не-Всё») как основания действительности (значимости) порядка. В связи с этим применение политической теологии в их случае не вызывает трудностей.

Во-вторых, мы проанализировали в перспективе политической теологии международно-правовые работы Карла Шмитта. В отличие от универсалистских стратегий, немецкий юрист предлагает плюралистический проект глобального международного права как гетерогенного порядка, обоснованного общими представлениями о пространственном распределении и не исключающего возможность войны.

Хотя применение политической теологии к гетерогенным порядкам вызывает известные трудности, оно не может быть отвергнуто полностью. Так, уже сама плюралистическая, гетерогенная структура выстраиваемого К. Шмиттом проекта международного права может быть рассмотрена в политico-теологическом ключе как катехон, сдерживающий конец истории. Кроме того, нельзя исключать и применения политической теологии для анализа изменения представлений о международном порядке в историческом ключе. Что же касается пространственного аспекта мышления К. Шмитта, то он, вероятно, отсылает нас за пределы христианской теологии, к куда более архаичным образам и представлениям.

Литература

- Арановский К. В., Князев С. Д. (2016). Правление права и правовое государство в соотношении знаков и значений. М.: Проспект.
- Исполинов А. С. (2017). Эволюция и пути развития современного международного правосудия // *Lex Russica*. № 10. С. 58–87.
- Каракулян Э. А. (2019). Метафизика международного права (от обзора к альтернативе) // *Российский журнал правовых исследований*. № 4. С. 16–26.
- Меринг Р. (2018). Работа Карла Шмитта «Состояние европейской юриспруденции» / Пер. с нем. О. Кильдюшова // *Социологическое обозрение*. Т. 17. № 1. С. 30–58.
- Нешатаева Т. (2015). Европейская конвенция по правам человека и интеграция интеграций: пути преодоления фрагментации международного права // *Международное правосудие*. № 4. С. 3–10.
- Филиппов А. Ф. (2019). В ожидании чуда: социология репликантов как политическая теология («Бегущий по лезвию 2049») // *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*. № 3. С. 69–101.
- Флек Д. (2011). Международное право между фрагментацией и интеграцией: вызовы теории и практики / Пер. с англ. И. С. Бедрина, Е. С. Швалева // *Российский юридический журнал*. № 6. С. 7–22.
- Шмитт К. (2004). Единство мира // *Космополис*. № 3. С. 80–88.
- Шмитт К. (2008а). Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил // Шмитт К. *Номос земли в праве народов jus publicum europeum* / Пер. с нем. К. Лощевского и Ю. Коринца под ред. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль. С. 479–572.
- Шмитт К. (2008б). Земля и Море // Шмитт К. *Номос земли в праве народов jus publicum europeum* / Пер. с нем. К. Лощевского и Ю. Коринца под ред. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль. С. 573–639.
- Шмитт К. (2008в). Номос земли в праве народов *jus publicum europeum* // Шмитт К. *Номос земли в праве народов jus publicum europeum* / Пер. с нем. К. Лощевского и Ю. Коринца под ред. Д. Кузницына. СПб.: Владимир Даль. С. 5–478.
- Шмитт К. (2013а). Глоссарий / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца под ред. А. Ф. Филиппова // *Социологическое обозрение*. Т. 12. № 2. С. 55–65.
- Шмитт К. (2013б). О трех видах юридического мышления // Шмитт К. *Государство: право и политика* / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. М.: Территория будущего. С. 307–355.
- Шмитт К. (2015). Политический романтизм / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца. М.: Практис.
- Шмитт К. (2016а). Духовно-историческое состояние современного парламентаризма / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца // Шмитт К. *Понятие политического*. СПб.: Наука. С. 93–170.

- Шмитт К. (2016б). Политическая теология / Пер. с нем. Ю. Ю. Коринца // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 5–59.
- Шмитт К. (2016в). Понятие политического / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 281–356.
- Шмитт К. (2016г). Эпоха нейтрализаций и деполитизаций / Пер. с нем. А.Ф. Филиппова // Шмитт К. Понятие политического. СПб.: Наука. С. 357–372.
- Ball H. (1983). Carl Schmitts politische Theologie // Taubes J. (Hg.). Religionstheorie und Politische Theologie: Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen Bd. 1. München: Wilhelm Fink. S. 100–116.
- Grossheutschi F. (1996). Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon. Berlin: Duncker & Humblot.
- Haskell J. D. (2018). Political Theology and International Law // Brill Research Perspectives in International Legal Theory and Practice. Vol. 1. № 2. P. 1–89.
- Koskenniemi M. (1990). The Politics of International Law // European Journal of International Law. № 4. P. 4–32.
- Koskenniemi M. (2004a). International Law as Political Theology: How to Read *Nomos der Erde*? // Constellations. Vol. 11. № 4. P. 492–511.
- Koskenniemi M. (2004b). The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koskenniemi M. (2004c). Why History of International Law Today? // Rechtsgeschichte. № 4. P. 61–66.
- Koskenniemi M. (2017). Carl Schmitt and International Law // Meierhenrich J., Simons O. (eds.). The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press. P. 592–611.
- Simons O. (2017). Carl Schmitt's Spatial Rhetoric // Meierhenrich J., Simons O. (eds.). The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press. P. 776–802.
- Koskenniemi M., Leino P. (2002). Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties // Leiden Journal of International Law. Vol. 15. № 3. P. 553–579.
- Orford A. (2004). Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice // Jean Monnet Working Paper June 2004. New York: NYU School of Law. URL: <https://jeanmonnet-program.org/archive/papers/04/040301.pdf> (дата доступа: 05.07.2020).
- Orford A. (2005). Beyond Harmonization: Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice // Leiden Journal of International Law. Vol. 18. № 3. P. 179–213.
- Orford A. (2006). Trade, Human Tights and the Economy of Sacrifice // Orford A. (ed.). International Law and its Others. Cambridge: Cambridge University Press. P. 156–196.
- Ottmann H. (1990). Politische Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man politische Begriffe der Neuzeit politisch-theologisch erklären kann // Gerhardt V. (Hg.). Der Begriff der Politik: Bedingungen und Gründe politischen Handelns. Stuttgart: J. B. Metzlersche. S. 169–188.
- Marulewska K. (2014). Schmitt's Political Theology as a Methodological Approach. URL: <http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/schmitts-political-theology/> (дата доступа: 05.07.2020).

- Peters A. (2017). The Refinement of International Law: From Fragmentation to Regime Interaction and Politicization // International Journal of Constitutional Law. Vol. 15. № 3. P. 671–704.*
- Schmitt C. (1995a). Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg // Schmitt C. Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin: Duncker & Humblot. S. 592–618.*
- Schmitt C. (1995b). Raum und Großraum im Völkerrecht // Schmitt C. Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin: Duncker & Humblot. S. 234–268.*
- Schmitt C. (2005a). Die Kernfrage des Vökerbundes [1924] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 1–25.*
- Schmitt C. (2005b). Die Kernfrage des Vökerbundes [1926] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 73–193.*
- Schmitt C. (2005c). Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik [1925] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 26–50.*
- Schmitt C. (2005d). Nationalsozialismus und Völkerrecht [1934] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 391–423.*
- Schmitt C. (2005e). Sowjet-Union und Genfer Völkerbund [1934] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 424–435.*
- Schmitt C. (2005f). Strukturwandel des Internationalen Rechts [1943] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 652–700.*
- Schmitt C. (2005g). USA und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus [1932/33] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 349–377.*
- Schmitt C. (2005h). Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet [1928] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin: Duncker & Humblot. S. 255–273.*
- Schmitt C. (2008). Politische Theologie II: Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. Berlin: Duncker & Humblot.*
- Schmitt C. (2015). Ex Captivitate Salus: Erfahrungen der Zeit 1945/47. Berlin: Duncker & Humblot.*
- Slotte P. (2010). Political Theology within International Law and Protestant Theology // Studia Theologica: Nordic Journal of Theology. Vol. 64. № 1. P. 22–58.*
- Smeltzer J. (2020). Technology, Law, and Annihilation: Carl Schmitt's Critique of Utopianism // Journal of the History of Ideas. Vol. 81. № 1. P. 107–129.*
- Ulmen G. (1993). The Concept of Nomos: Introduction to Schmitt's 'Appropriation/Distribution/Production' // Telos. № 95. P. 39–51.*

Political Theology of International Law: Methodological Facets and Borders

Viacheslav E. Kondurov

Teacher-Researcher, Lecturer, Department of Theory and History of State and Law, Saint Petersburg State University

Address: Universitetskaya Nab., 7/9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034
E-mail: viacheslav.kondurov@gmail.com

The article investigates the possibility of applying political theology as a specific methodological approach to international law. As the key theses of political theology were originally formulated by C. Schmitt in the context of national law acting in a homogeneous environment, political theology discourse in the modern philosophy of international law is mainly related to the universalist projects of global law based on an analogy with national law. The first of such strategies, the expansionist strategy, presupposes the construction of global order by the world hegemon. The second, the cosmopolitan strategy, assumes that international law can be built on the basis of an ongoing process of discussion of the global order foundations by the widest possible range of actors. Both of these strategies charm "eternal peace" and are nourished by a common messianic spirit and, therefore, are utopian. However, Schmitt's international law legacy offers an atypical non-universalist and anti-messianic view on international law as a heterogeneous global legal order based on spatial concepts. Despite the fact that the application of political theology to this kind of order is difficult, it shall not be excluded for several reasons. The pluralistic structure of the heterogeneous order can be seen as a *katechon* that holds back the end of history. Finally, the political theology of international law can be applied to analyze the historical transformations of the international legal order.

Keywords: political theology, international law, Carl Schmitt, legal methodology, legitimacy, the validity of law

References

- Aranovsky K., Kniazev S. (2016) *Pravlenie prava i pravovoe gosudarstvo v sootnoshenii znakov i znachenij* [Rule of Law and Legal State in the Ratio of Signs and Meanings], Moscow: Prospekt.

Ball H. (1983) Carl Schmitts politische Theologie. *Religionstheorie und Politische Theologie: Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen Bd. 1* (ed. J. Taubes), München: Wilhelm Fink, pp. 100–116.

Filippov A. (2019) V ozhidanii chuda: sociologija replikantov kak politicheskaja teologija (“Begushhij po lezviju 2049”) [Waiting for a Miracle: The Sociology of Replicants as Political Theology (Blade Runner 2049)]. *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*, no 3, pp. 69–101.

Fleck D. (2011) Mezhdunarodnoe pravo mezhdu fragmentacij i integracij: vyzovy teorii i praktiki [International Law Between Fragmentation and Integration: Challenges for Legal Theory And Practice]. *Russian Juridical Journal*, no 6, pp. 7–22.

Grossheutschi F. (1996) *Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon*, Berlin: Duncker & Humblot.

Haskell J. (2018) Political Theology and International Law. *Brill Research Perspectives in International Legal Theory and Practice*, vol. 1, no 2, pp. 1–89.

Ispolinov A. (2017) Jevoljucija i puti razvitija sovremennoj mezhdunarodnoj pravosudija [Evolution and Ways of Development of Contemporary International Justice]. *Lex Russica*, no 10, pp. 58–87.

Karakulian E. (2019) Metafizika mezhdunarodnogo prava (ot obzora k al’ternative) [Metaphysics of International Law (From a Review to an Alternative)]. *Russian Journal of Legal Studies*, no 4, pp. 16–26.

Koskenniemi M. (1990) The Politics of International Law. *European Journal of International Law*, no 4, pp. 4–32.

- Koskenniemi M. (2004) International Law as Political Theology: How to Read *Nomos der Erde?* *Constellations*, vol. 11, no 4, pp. 492–511.
- Koskenniemi M. (2004) *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Koskenniemi M. (2004) Why History of International Law Today? *Rechtsgeschichte*, no 4, pp. 61–66.
- Koskenniemi M. (2017) Carl Schmitt and International Law. *The Oxford Handbook of Carl Schmitt* (eds. J. Meierhenrich, O. Simons), Oxford: Oxford University Press, pp. 592–611.
- Koskenniemi M., Leino P. (2002) Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties. *Leiden Journal of International Law*, vol. 15, no 3, pp. 553–579.
- Marulewska K. (2014) Schmitt's Political Theology as a Methodological Approach. Available at: <http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/schmitts-political-theology/> (accessed 5 July 2020).
- Mehring R. (2018) Rabota Karla Shmitta «Sostojanie evropejskoj jurisprudencii» [“The State of European Jurisprudence” by Carl Schmitt]. *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 1, pp. 30–58.
- Neshataeva T. (2015) Evropejskaja konvencija po pravam cheloveka i integracija integracij: puti preodolenija fragmentacii mezhdunarodnogo prava [The European Convention on Human Rights and Integration of Integrations: Overcoming the Fragmentation of International Law]. *International Justice*, no 4, pp. 3–10.
- Orford A. (2004) Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. Jean Monnet Working Paper June 2004, New York: NYU School of Law. Available at: <https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf> (accessed 5 July 2020).
- Orford A. (2005) Beyond Harmonization: Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. *Leiden Journal of International Law*, vol. 18, no 3, pp. 179–213.
- Orford A. (2006) Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. *International Law and its Others* (ed. A. Orford), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 156–196.
- Ottmann H. (1990) Politische Theologie als Begriffsgeschichte Oder: Wie man politische Begriffe der Neuzeit politisch-theologisch erklären kann. *Der Begriff der Politik: Bedingungen und Gründe politischen Handelns* (ed. V. Gerhardt), Stuttgart: J. B. Metzlersche, pp. 169–188.
- Peters A. (2017) The Refinement of International law: From Fragmentation to Regime Interaction and Politicization. *International Journal of Constitutional Law*, vol. 15, no 3, pp. 671–704.
- Schmitt C. (1995) Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. *Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916–1969* (ed. G. Maschke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 592–618.
- Schmitt C. (1995) Raum und Großraum im Völkerrecht. *Staat, Großraum, Nomos: Arbeiten aus den Jahren 1916–1969* (ed. G. Maschke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 234–268.
- Schmitt C. (2004) Edinstvo mira [The Unity of the World]. *Kosmopolis*, no 3, pp. 80–88.
- Schmitt C. (2005) Die Kernfrage des Vökerbundes [1924]. *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 1–25.
- Schmitt C. (2005) Die Kernfrage des Vökerbundes [1926]. *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 73–193.
- Schmitt C. (2005) Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik [1925]. *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 26–50.
- Schmitt C. (2005) Nationalsozialismus und Völkerrecht [1934]. *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 391–423.
- Schmitt C. (2005) Sowjet-Union und Genfer Völkerbund [1934]. *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 424–435.
- Schmitt C. (2005) Strukturwandel des Internationalen Rechts [1943]. *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 652–700.

- Schmitt C. (2005) USA und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus [1932/33]. *Frieden oder Pazifismus: Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 349–377.
- Schmitt C. (2005) Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet [1928]. *Frieden oder Pazifismus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978* (ed. G. Mashke), Berlin: Duncker & Humblot, pp. 255–273.
- Schmitt C. (2008) *Politische Theologie II: Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2008a) Porjadok bol'shih prostranstv v prave narodov, s zapretom na intervenciju dlja chuzhdyh prostranstv sil [The Order of Great Spaces in the International law, with a Ban on Intervention for Forces Alien to the Space]. *Nomos zemli v prave narodov jus publicum europaeum* [The Nomos of the Earth in the International law of the Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir Dahl, pp. 479–572.
- Schmitt C. (2008) Zemlja i More [Land and Sea]. *Nomos zemli v prave narodov jus publicum europaeum* [The Nomos of the Earth in the International law of the Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir Dahl, pp. 573–639.
- Schmitt C. (2008) *Nomos zemli v prave narodov jus publicum europaeum* [The Nomos of the Earth in the International law of the Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir Dahl.
- Schmitt C. (2013) Glossarij [Glossarium]. *Russian Sociological Review*, vol. 12, no 2, pp. 55–65.
- Schmitt C. (2013) O treh vidah juridicheskogo myshlenija [On the Three Types of Juristic Thought]. *Gosudarstvo: pravo i politika* [State: Law and Policy], Moscow: Territoria budushhego, pp. 307–355.
- Schmitt C. (2015) *Ex Captivitate Salus: Erfahrungen der Zeit 1945/47*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2015) *Politicheskij romantizm* [Political Romanticism], Moscow: Praxis.
- Schmitt C. (2016) Duhovno-istoricheskoe sostojanie sovremennoj parlamentarizma [The Spiritual and Historical State of Modern Parliamentarism]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 93–170.
- Schmitt C. (2016) Politicheskaja teologija [Political Theology]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 5–59.
- Schmitt C. (2016) *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka.
- Schmitt C. (2016) Jepoha depolitizacij i nejtralizacij [The Age of Neutralizations and Depoliticizations]. *Ponjatie politicheskogo* [The Concept of the Political], Saint Petersburg: Nauka, pp. 357–372.
- Simons O. (2017) Carl Schmitt's Spatial Rhetoric. *The Oxford Handbook of Carl Schmitt* (eds. J. Meierhenrich, O. Simons), Oxford: Oxford University Press, pp. 776–802.
- Slotte P. (2010) Political Theology within International Law and Protestant Theology. *Studia Theologica: Nordic Journal of Theology*, no 1, pp. 22–58.
- Smeltzer J. (2020) Technology, Law, and Annihilation: Carl Schmitt's Critique of Utopianism. *Journal of the History of Ideas*, vol. 81, no 1, pp. 107–129.
- Ulmen G. (1993) The Concept of Nomos: Introduction to Schmitt's 'Appropriation/Distribution/Production'. *Telos*, no 95, pp. 35–51.

Social Networks and Systems Theory^{*}

Santiago Gabriel Calise

Researcher, CONICET (National Scientific and Technical Research Council),
University of Buenos Aires, Faculty of Social Sciences, Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)
Address: Uriburu 950 6^o Floor, Ciudad de Buenos Aires, Argentina C114AAD
E-mail: c_santiago_g2000@yahoo.com.ar

This paper provides a critical assessment of the conceptions of social networks in systems theory. There are two main solutions to the problem: treating networks as systems, or denying them that status. The last group conceives networks as structural couplings (Kämper and Schmidt) or as forms (Fuhse). Among the first group, Luhmann has used the concept to describe the particularities of the societal structure of underdeveloped regions, but he did not delve into a theoretical characterization of the concept. Teubner's version also remained associated with a particular episode, providing no general network theory. Bommes and Tacke establish reciprocity as the central mechanism, which relates different addresses (persons or organizations) through a non-specific future promise of a service in return for a favor. The analysis shows that this account provides the most complete version of the concept, remaining fully compatible with systems theory.

Keywords: reciprocity, structural coupling, address, social relationships, organizations, parasite

This paper aims to assess the utilization of the social network concept in systems theory. This notion has a long tradition in the social sciences. Its origin dates back to the sociometric small-group research of the 1940s and 1950s (Alba, 1981). The aim of these inquiries was the study of the group structure of affective relationships. Simultaneously, it also appeared in anthropological research. Radcliffe-Brown (1940: 2) indicated that "human beings are connected by a complex network of social relations. I use the term social structure to denote this network of actually existing relations". Here, the concept assumed a highly-abstract and descriptive form. Barnes (1954) makes the category slightly more specific, designating the social field made up by the relationships that a person has with other people (some of whom are or are not in touch with each other) as a network. Bott (1955, 2001) employs the concept to describe the structural constitution of families. In contrast to networks, organized groups have "common aims, interdependent roles, and a distinctive subculture" (1955: 247). Networks have no common boundary, and their members do not need to have social relations with one another. The second aspect introduces a central feature of Bott's concept, that of connectedness. Connectedness shows the extent to which the acquaintances of a family know and meet one another independently

* This work was supported by a Georg Forster Research Fellowship of the Alexander von Humboldt Foundation (3.2 — ARG/1162640).

of the family. As a result, “close-knit” networks have many relationships among the component units, while “loose-knit” ones describe the opposite situation.

In his critical revision of these early developments, Mitchell points out that there is no formal network theory behind those analyses; rather, they derive from commonsense knowledge (1974). For Mitchell, there are three different ways of using this category. First, the pattern of links in a social network explains the behavior of an actor. Second, social networks would comprise of transactions or exchanges between people. Third, network linkages have some normative content. This denotes the actor’s understanding of a relationship to the other person’s expectation of his behavior. Ultimately, there is only a shift from structural-functional to network terminology, but no alternative data collection or research results.

During the 1970s, the concept attracted the attention of sociologists. In his influential paper called “The Strength of Weak Ties” (1973), Mark Granovetter conceives interpersonal networks as the bridge to relate micro-level interactions to macro-level patterns. Centering the focus of analysis on weak ties, Granovetter considers that weak ties, which act as bridges between network segments, increase social cohesion, while strong ties can lead to overall fragmentation (1983). Another important quality of networks is density. Commonly identified with cohesion, it is “the ratio of the number of ties actually observed to the number theoretically possible” (1976: 1288). Despite the importance attributed to the concept, Granovetter avoided any definition. Thus, its meaning remained highly metaphorical, and devoid of any theoretical depth.

Harrison White started his research on social networks in the 1960s, and he arrived at his concept of “netdom” in the 1990s, combining the notions of networks and domains. Domains are “the perceived array of such signals -including story sets, symbols, idioms, registers, grammatical patternings, and accompanying corporeal markers- that characterize a particular specialized field of interaction. Such domains are jointly perceived and produced by (at least some subset of) actors, who sustain those domains across the flow of social settings in more or less routinized or self-reflective ways” (Mische & White, 1998: 702). Networks are “sets of actors jointly positioned in relation to a given array of ties (for example, friendship, advice, cowork, church membership, political alliance, business transactions, information exchange, and so on). Each type of tie is accompanied by a set of stories (along with associated discursive signals) that are held in play over longer or shorter periods of time, usually not limited to single setting or episode” (703). White distinguishes between networks and ties, considering that networks shape and connect ties. Networks work as a broader temporal-relational social space, which can be abstracted from cumulated interactions. White considers that both ties and networks are theoretical abstractions, that is, an observer’s coding of relationships between pairs of people (Azarian, 2005). As Azarian suggests, a problem related to these concepts, which is common to most social networks theories, is the criterion followed to distinguish “a relationship from the sheer encounters and unrepeated interactions among strangers. That is, we are not told whether a certain minimum degree of durability, intensity, frequency,

regularity or reciprocity of interaction is necessary to decide whether there exists a relationship between any given pair of actors" (37).

Another important aspect of White's theory is that both networks and ties are dynamic constructions rather than ossified canals between nodes which would remain invariable, as in old-fashioned network conceptions (Azarian, 2005). Furthermore, White incorporates the cultural dimension that is completely absent in previous versions. The category of "story" integrates the perceptions and interpretations developed by actors about their ties.

In the actor-network theory (ANT), the network concept is also of central importance. Despite its significance, Latour and other ANT supporters were quite reluctant to provide a definition. It was only in the late 1990s that Latour voiced criticism against this notion. The common technical sense of network related to urban transport or computer systems, characterized by a set of rigorous paths, by a few nodes of strategic meaning, and by an instantaneous access to information would be the opposite of what Latour and his colleagues meant by "network" (1996; 1999). As Latour says, "[a]n actor-network may lack all the characteristics of a technical network — it may be local, it may have no compulsory paths, no strategically positioned nodes" (1996: 369). Latour also tried to distance himself from the traditional social network research, understood as the study of the social relations of individual human actors. In contrast, Latour claims ANT is a change of topology which asks the researcher "to think in terms of nodes that have as many dimensions as they have connections" (370). The French philosopher identifies three properties of networks. The first one is that the network concept allows the researcher to "get rid of 'the tyranny of distance' or proximity" (371). The second one is that this category dissolves the micro-macro distinction of social theory, replacing the metaphor of scales with that of connections. The third one is that networks have no inside and outside, since they are all boundaries. In a similar vein, John Law considers that networks are forms of spatiality, which impose "strong restrictions on the conditions of topological possibility" (1999: 7). As a result, a network "tends to limit and homogenize the character of links, the character of invariant connection, the character of possible relations, and so the character of possible entities" (Ibid.).

As this quick review shows, the concept has a large semantic field. The most important notions in this landscape are those of "relationship" and "tie", which also can imply that of "exchange". At a second level, we can find the ideas of "connectedness", "density", and "cohesion", which are less neutral as they entail a certain conception of sociality in terms of "integration", sometimes associated with a Durkheimian interpretation of society. Most recent authors, like Latour or White, explicitly avoided these implications. From a societal perspective, some researchers use this concept to account for particular social phenomena—like kinship—which the categories of "organization" or "group" cannot grasp. A central aspect is the lack of boundaries of those networks. In contrast to this, Latour finds a peculiarity of modernity in networks: "As a first approximation, ANT claims that modern societies cannot be described without recognizing them as having a fibrous, thread-like, wiry, stringy, ropy, capillary character that is never captured by

the notions of levels, layers, territories, spheres, categories, structures, systems" (1996: 370). This could be a criticism of approaches like Luhmann's systems theory. Therefore, a network concept in systems theory can incorporate some of these elements, such as the notion of "exchange" or that of a network as a *sui generis* phenomenon. On the contrary, the idea of a system without boundaries would be unacceptable.

In the next section, we will start with the analysis of Luhmann's sparse references to this concept, references which turn up in his attempt to characterize the societal organization of non-central forms of functional differentiation (as in the cases of Brazil and southern Italy). The dissatisfaction provoked by this state of affairs leads us to look for alternate conceptions: Teubner interprets networks as third-order autopoietic systems; Bommes and Tacke put reciprocity at the core of their reflections; Kämper and Schmidt understand networks as a special form of structural coupling; and Fuhse conceives social networks as social relationships. Finally, we will examine the interpretation of networks as parasites.

Luhmann's Network Concept

As Bommes and Tacke (2007) show, Luhmann uses the network concept in two different ways. The first is mainly descriptive and designates the form of the operative mode of communication. This means that systems are not networks, but their operations have a network-shape. The second defines social networks as a specific social formation. According to the authors, this concept is absent in Luhmann's theorization. Nevertheless, Luhmann also resorted to the network concept to describe the particularity of the societal condition of the non-developed regions of world society (1992, 1995a, 1995b). In these papers, he talks about networks of favors, of patronage, of patron/client relationships, of corruption; networks of help, of assistance and expectable gratitude; networks of postponement of benefits (*Vorteilsverschiebungen*), and of chains of reciprocity or of fair-weather friendships (*Nutzfreundschaften*). This enumeration shows the heteroclite nature of the phenomenon (or phenomena) under analysis. Here we can find networks, which imply legal and illegal, moral and immoral, and public and secret behavior. There is no reason to reduce this set of phenomena just to networks of favors and corruption, as Fuhse does (2014).

The most important point of these considerations is that Luhmann, at least in one text (1995a: 254), designates them as systems. Luhmann specifies two conditions under which these systems work. The first one is that families alone cannot safeguard and foster life management. The second is that organizations do not function, or they just function as an allocation of positions under which one has something to offer. Therefore, one has to resort to dyadic relationships managed by a broker. These two circumstances situate us in a societal form where families have already lost their centrality, but where organizations do not work, or their performances do not satisfy the needs of that segment of world society. A new system appears in between families and organizations, which takes advantage of the positions provided by organizations. Someone who has a position in

an organization (an address) has something to offer to a broker, with whom one can interchange something. The broker and the position in an organization are two structural forms of this system. The form that these relationships assume is oral communication (in high amounts) (1995a, 1995b).

Another characteristic of networks as systems is the nature of the exchanges. Luhmann argues that neither these systems work with a universal medium of exchange, nor they reduce themselves to a *quid pro quo* rationality of the immediate exchange. This implies the possibility of confronting and exchanging performance equivalents. For Luhmann, this is highly unlikely in modernity. The necessary precondition for this phenomenon is the self-created incapacity of the official order. Without this, the information system of addresses and performance possibilities would collapse.

After these general remarks, Luhmann (1995a: 255) states that networks of reciprocal favors cannot build institutions. They operate *ad hoc*, based on dyadic relationships, and often with brokers. According to the German sociologist, this makes networks ungraspable. The weak institutionalization of the system is also its strength. As a result, it is not possible to reform, organize, or centralize it. Its reality lies in autonomous forms of inclusion/exclusion (take part or dropout).

These reflections leave some open questions. The first question is if all the characteristics of networks we have reported concern all the networks previously enumerated or just the networks of favors. We can also doubt if Luhmann subsumes all these networks under the networks of favors. There is no reason to equal, for example, the networks of help and the clientelistic networks. This conceptual synecdoche would reduce all these sorts of phenomena under one model, which has nothing of the archetypical.

Another more theoretical question concerns the sort of operation that networks would perform. Regarding this point, there are just vague clues in the texts. If we discard the possibility that networks are organizations, there would be two possibilities: that networks are interaction systems, or that they are a new sort of system. In both interactions and networks predominates orality, but networks, with their complex structures of addresses and mediators, are not reducible to a collection of interactive interchanges. The second possibility implies finding the particular operation that these systems perform. At least in *Inklusion und Exklusion*, Luhmann considers that the basal resource of these networks is that somebody knows someone, and so forth. In this way, the requests and favors propagate so that, when somebody can help, they cannot refuse it without the risk of being excluded from the net of reciprocal services. This net of reciprocal services generates its mechanisms of exclusion so that someone can become a non-person, that is, someone that no one knows. As a result, even if a person possesses the formal entitlements, they will not get access to the functional system. This description of the “basal resource” gives us an idea of what Luhmann means by “network”, but it does not answer the question of the operation of the “network” system. The idea of reciprocity overflies continuously, but it is not possible to identify it with the operation of the system.

Regarding the societal context of the emergence of these networks, Luhmann (1995a) suggests that they can be the remnants of previous societal formations. In stratified so-

cieties, brokers worked between fixed status positions. With the primacy of functional differentiation and organizational implementation, every position performs intermediary services. In addition, the distinction of property/family will no longer be the spring of resources, and the legal/illegal opportunities of influence offered by the positions in organizations will take that place. This also implies that inclusion and exclusion will no longer differentiate through the family household, but the network of contacts. In this context, Luhmann also points out that, in these networks, one can find the explanation of the phenomena described as corruption in the modern world. Besides, the networks of favors and the postponement of benefits differentiate and operate parasitically. Luhmann states that the allocation of those positions falls, to a large extent, in the sphere of influence of political parties, which are directly and indirectly involved in the networks and upholds them.

From these remarks, it is possible to state that the emergence of networks as systems results from a particular evolutionary way that the functionally-differentiated society took in some regions. There, networks become the key elements in understanding their societal constitution, as it administers the inclusion and exclusion in functional systems. If we go into detail, parasitism seems to describe the relationship that networks establish with both functional systems and organizations. As we have previously seen, organizations provide positions, but they do not work. Regarding functional differentiation, Luhmann points out that resources from functional systems are “alienated” for the cross-connection and maintenance of networks. Nevertheless, the remark concerning the political parties makes the relationship between functional systems and organizations more interesting and complex. Political parties are not just zombie organizations exploited by networks. They have an active role in securing and holding positions, and in the general maintenance of their networks. Parties take part in networks, which could mean that networks are social phenomena that, presumably, encompass organizations and interactions. As a result, they would hold a position in the *Ebenendifferenzierung* between functional systems and organizations. If this interpretation is correct, the maintenance that political parties exert over the networks does not imply any sort of control over the operations of the networks. They would participate in networks as psychic systems take part in communication, namely, their operativity would be completely divorced.

This use of the network concept was not very innovative. Luhmann's analysis refers to some traditional connotations displayed in classic literature. One of these is the centrality of exchange as the primary interest to participate in a network. In connection with this, networks seem to comprise central nodes (positions in organizations), and some peripheral nodes (people asking for favors). In this regard, networks appear as quite stable structures.

Networks as Third-Order Autopoietic Systems

Gunther Teubner (1992, 1993b, 1999) was probably the first to conceive networks as autopoietic systems. He describes networks as third-order autopoietic systems, which re-

sult from the re-entry of the distinction between market and hierarchy into itself (1992). Networks would be genuine emergent phenomena beyond contracts and organizations, which one cannot reduce to relationships between several autonomous corporate actors. Instead, they must be conceived as corporate actors of a special nature. Teubner identifies two sorts of networks; organization networks (conglomerates, joint ventures), and market networks (supply systems, franchising, bank transactions). Networks solve the problems of variety and redundancy of contracts and organizations. Market-based contracts are very flexible, changeable, and innovative (high variety), but “they develop little long-term orientation, forcefulness, coherence, and accumulated experience” (low redundancy) (1993b: 48). On the contrary, organizations enjoy high redundancy at the expense of variety. Unfortunately, Teubner does not specify which sort of operation these systems perform. He states that they are reducible neither to market transactions nor to organizational decisions:

The dual constitution found in its elementary acts is repeated in the network structure. Every network operation must simultaneously meet the structural requirements of both the contract between the individual actors and of the network organization as a whole. The resulting dual structure governing individual operations constitutes the specific feature of the ‘network system’. By contrast with contract and organization, networks are higher-order autopoietic systems, to the extent that they set up emergent elementary acts (‘network operations’) through dual attribution, and link these up in a circular fashion into an operational system. (1993b: 50)

Thus, networks comprise an emergent phenomenon, performing a specific operation. This attempt to incorporate the network concept into systems theory found no resonance. A cause for this situation could be that Teubner does not provide a general network concept. He criticizes traditional interpretations, which conceive networks “as loose forms of co-operation, as decentralized co-ordination of autonomous actors, or as transitional forms between contract and organization” (53). Teubner continues noting that “[t]he term should be used if and only if an institutional arrangement is constituted simultaneously as a formal organization and as a contractual relation among autonomous actors” (Ibid.). This means that economic organizations and contracts should be the only appropriate context to employ the network concept, neglecting the long history of this category. Furthermore, it is impossible to deduce a general network theory from Teubner’s analysis. Nevertheless, he presents some features of networks which are worth mentioning. Networks are forms of collective action which have their agency fragmented into decentralized sub-units. This means that networks accomplish their collective actions in all nodes, not through a single action center. In this sense, Teubner’s network conception is highly traditional. He keeps the image of fixed nodes connected to the central one, with rigid bridges between them.

Elsewhere (1993b; 1999), Teubner suggests that “the ‘state’ now is being transformed into the self-description of a loose network of private and public actors” (1993a: 570). This formula completes Luhmann’s formula (“Der Staat, das ist die Formel für die Selb-

stbeschreibung des politischen Systems der Gesellschaft” [1984: 102]). However, Teubner does not explain here how this network works, and if it is a social system with its operativity, as in the previous case.

Networks and Reciprocity

After a decade of work on the network concept, Bommes and Tacke (2000, 2011a, 2011b; Tacke 2007, 2011) provide the most complete version of this category. Tacke (2000) started with the analysis of the relationship between addresses and networks. Here, Tacke resorts to Fuchs’ 1997 concept of addressability, which designates the re-entry of the distinction of communication/consciousness into communication. It implies the application of the scheme inclusion/exclusion, the distinguishing between who or what is worthy of consideration and who or what is not in every communicative process. Tacke shows that the activation of addresses builds networks. In communication, it is possible to address only to individuals as persons or to organizations, which means that functional systems or interactions are not addressable and cannot take part in a network. It is also important to point out that the construction of networks presupposes the structures of functional differentiation.

In their subsequent work, Bommes and Tacke (2007) consider that social networks stay oblique to functional differentiation and organizations, as it is the factual and not the social dimension that defines the communicative possibilities of connection. Against the primacy of the factual problematization, networks oppose the primacy of social addresses (Bommes, Tacke, 2011). Nevertheless, it is important to stress that the mere reference from address to address does not create a network. The starting point of networks is, in principle, a free combinability of addresses (Bommes, Tacke, 2007). Neither formal role relationships nor materially functional ones protect this process. They depart from proposing reciprocity as their reproductive mechanism, which is a non-specific future promise of a service in return for a favor. So, the system lives with the insecurity of the acceptance of that offer. Bommes and Tacke understand that reciprocal performance expectations (*reziproker Leistungserwartungen*) denote the operative modus of networks (2007, 2011). This concept expresses the performance of services in view of prospective and indeterminate further performances. Each performance supposes a “credit” of a not-already specified counter-performance in the future. Reciprocity makes the stabilization of structures and their operational perpetuation in time possible. Nevertheless, the construction of a network cannot simply rest upon reciprocity as the general reproductive modus.

Each performance experiences its counter-performance in the future. This implies the possibility of an expansive communication of further performance expectations. A certain redundancy is likely as a condition of the increase of variations in the network. The actual generation of a counter-performance enables the formation of trust, and the observation of addresses under the viewpoint of its trustworthiness. Growth allows an accretion of the possibilities of combination, although the increase in the number and

variation of addresses is linked to the risk of the attenuation of trust mechanisms. The closure and the limitation of participation in the network raise the mutual construction and the exclusiveness of participation, but it reduces the possible combinatory earnings. As a result, the particularity of networks is that they enable the linkage of available heterogeneous performances through reciprocity, and the constitution of a network-specific spectrum of performances.

Another important trait of networks is that they are built in a particularistic way (Tacke 2011b). Networks refer to certain persons who are mobilized as addresses to open access and possibilities. At the same time, Tacke views networks as highly precarious social processes which tend to a rapid disaggregation before they arrive at stabilization.

In most aspects, Tacke (2008) characterizes networks in contrast to organizations. The latter has no membership roles, no job postings, and no formal rules which orient the selection procedures of personnel. Networks, settled down in organizations, presuppose the inclusion in organizational membership roles, which is the mechanism that opens access to the system. Networks not only use access to organizations and functional specific performances and careers for their reproduction, they also produce exclusion. In principle, they profit from the gaps left by the inclusion universalism of organizations regarding persons. Organizations know only their selection criteria and show complete indifference concerning the individuality of persons. As a result, the particularistic orientation of networks provoke a relief from the symmetry of personal alternativity and, in this way, contributes to the absorption of insecurity in organizations.

From the beginning, Bommes and Tacke took a step back from Luhmann's idea that networks are a particularity of underdeveloped regions or remnants of ancient societal forms. Even if networks have a particularistic character, they are widespread in the entirety of world society. Moreover, reciprocity does not imply criminal, deviant, or corrupt behavior. It can lead to illegal practices, but that is not a specific trait of networks. Another fundamental aspect is that both persons and organizations can take part in them. Likewise, Bommes and Tacke eliminate the role of the mediator (*Vermittler*), who plays a fundamental part in Luhmann's description. This means that there is no need to think that reciprocity expectations must be managed by a broker. Mediators are particular structures which ease the stabilization of the system, making the satisfaction of the reciprocity expectations more likely, but they are not a universal trait of networks.

Alongside their theoretical formulations, Bommes and Tacke provided some examples of possible empirical applications of their new concept. One of these is Bommes' (2011) analysis of migrant networks. These networks organize transportation, lend money, provide housing and access to work, etc. Thus, networks allow migrants with a poor education and low qualifications to overcome the state inclusion barriers and work as a functional equivalent of the welfare State. In turn, Tacke (2008) analyzes the relationship between gender and networks with two empirical cases. On the one hand, she presents the networks of male university professors. Tacke argues that weekly meetings of professors to play soccer are typical occasions for social networking. As a result, this legitimate gender segregation produced by playing soccer opens the possibility of

gender-exclusive networking, avoiding gender bias. On the other hand, Tacke inspects the case of the “Women Research Network of North Rhine-Westphalia”. In this situation, the social network makes use of the functional and organizational context to obtain legitimacy and visibility. This sort of network does not contribute to the coordination or accomplishment of a research program, but it can mobilize resources from a formal organization which are not available for the network. Additionally, Tacke (2011a) provides some insight into network formation in science, art, politics, and economics.

Networks as Structural Coupling

Kämper and Schmidt (2000) understand networks as a form of structural coupling between organizations. Here, it is important to highlight that networks are the embodiment of the internal structures of an organization, and not as a relationship between different systems. The construction of networks is a reaction to the incapacity of the programs of an organization to determine the decisions of the system. However, other decision premises or the direct contact between members of different organizations can compensate for this lack. In the last case, the emerging interaction system allows that irritations will not disrupt the structures of the organization. Besides, the organizational link of expectations called “person” limits structural change. This means that there must be an agreement from other structural elements present in the organization to accomplish the change of decision premises.

Compared to Bommes and Tacke’s suggestion or the history of this concept in the social sciences, this interesting contribution restricts the network concept to a very particular phenomenon. The authors do not explain why this form of structural coupling establishes a network or why the network concept should only describe a specific system-environment relationship between organizations. In fact, one can accept the authors’ analysis regarding the change of programs in an organization and reject calling it a “network”.

Networks and Social Relationships

Jan Fuhse has tried to contribute with a different conception of social networks (2003; 2009a; 2009b; 2011; 2014) which explicitly relies on Harrison White’s theory. Initially, Fuhse (2003) understood that the basal elements of networks were edges or dyads. Behind a node (which can be a person or an organization), one could find a system. Here, networks could not tie on these nodes. Networks were structures of interaction which involved a multiplicity of nodes, and they comprised ties (edges). These edges were auto-poietic systems, so networks were just the connection between those systems. As a result, networks were not systems as their structures were more like interrelations, which rarely have sharp limits. Fuhse’s thesis supposed that the identities of persons and collectives develop in networks.

In subsequent papers, Fuhse (2009a) radicalizes his outline, suggesting some adjustments to Luhmann's concept of communication. Communication, as a self-referential process, leads to the emergence of social systems such as interactions, organizations, functional systems, and meaningful constructions of actors and networks. Communication is always observed on the components of the utterance (*Mitteilung*) as the inter-related action of actors. In this way, connected expectations appear in social relations and networks. Fuhse considers social relationships as self-referential communication systems. The knotting of social relationships in the communicatively-constructed identities composes networks. Social relationships would be the basic units of networks, that is to say, the expectations formed in the communication between *alter* and *ego*. In communication, narratives develop in the relation between *alter* and *ego*, and these narratives affect the connectivity of future communication. As social systems, social relationships establish the difference between we/the rest of the environment. They are closely associated with interaction systems as they mostly arise out of interaction, and they reactivate and change in interaction. Nevertheless, social relationships extend beyond single interactive episodes. Examples of social relationships are friendship, love relationships, or enmity.

Regarding social networks, their edges are dyadic relationship systems while knots are the identities of individual, collective, and corporate actors. As a result, Fuhse defines networks as the forms which distinguish the identities in communication, and relate them. Social networks would remain oblique to interactions, organizations, social movements, functional systems, and society. Within and between these systems, identity-related structures of expectations find a place to develop. All of these types of systems, not only interactions, can construct social networks.

This second version of the concept increases the level of complexity; at the same time, it makes some radical adjustments in Luhmann's communication theory. Examples of this are the reintroduction of action and actors into the theory, or the manipulation of the concept of utterance (*Mitteilung*). A crucial problem of Fuhse's scheme is that he never explains what the operative modus of social relationships is. They simply seem to be conglomerates of structures.

The place of structures is another problem. The concept of social relationships seems to be redundant. Social relationships are the expectations formed in communication between *alter* and *ego*. This concept is redundant because the expectations that would shape social relationships are the structures of the emerging system. The emerging system develops its structures and does not need any structural deposit which would preserve its structures. Whether friendship, love relationships, or enmity were social systems and not reducible to interaction systems, this would be another debate, which Fuhse does not address.

No less problematic is his network concept. In Fuhse's definition of networks as the form that distinguishes and relates the identities in communication, it is not clear how networks do this. Moreover, there is no need for such a concept to account for this phenomenon. In Luhmann's theory (1990), a twofold process handles the construction of identities: the condensation of a plurality of operations, and the confirmation of a second

operation, which requires another situation. Identities are distinctions or forms in the Spencer-Brownian sense. This means that this concept of identity does not account for what is normally understood as the identity of a system, an actor, etc., that is, a more-or-less coherent narrative regarding some fundamental traits of the subject of that discourse. This interpretation of identity would correspond, in systems theory, to the self- or hetero-descriptions of a system. In this theory, the most appropriate place to "locate" identities is social memory, or the memory of each social system. For Luhmann (1995c), culture is the name that social memory assumes in the modern world. Social memory is neither a collection of psychic memories nor a conglomerate of narratives. In contrast, it is the capacity of a system to remember which side of a distinction the marked state indicated in the previous operation is on (Spencer Brown, 1972: 61). The form that assumes this process of remembrance is the utilization of a distinction. This means that social systems remember by using a distinction in an operation. As identities are a particular sort of distinctions which have experienced a certain process of condensation and confirmation, it is possible to think that they also integrate the social memory. Such a conception of identity does not match with Fuhse's idea that networks distinguish and relate identities. Identities are meaningful for the system which has generated them, but not for other systems. Likewise, it is completely obscure what relating identities would mean if they were only distinctions. As a result, if we reject Fuhse's utilization of the concept of identity, his category of social network loses its meaning.

Networks as Parasites

Different authors consider that networks are parasites. Luhmann (1995a) employs this concept to describe the relationship between networks and organizations. In Tacke's first text on the topic (2000), she concludes one should not understand networks as social systems, but as parasitic forms of structure construction. Tacke suggests that networks feed on and become stable by virtue of structures of functional differentiation. In subsequent papers, Bommes and Tacke (2007, 2011) mention this concept sporadically, even though Tacke (2011b) argues that they tried to conceive social networks as a specific, particularistic, and parasitic social form. They can trespass meaning contexts and system limits, and selectively link heterogeneous performances based on self-generated reciprocities. Despite that this notion of parasitism was apparently so central in their approach, they dedicated only several sentences to it, and never explained their mechanisms.

This conception of parasitism is also present in Japp's (2011) interpretation of the problem. He does not conceive of networks as systems, but as particular forms of order construction with diffuse limits and without definite rules of membership. They access a variety of function-specific performance contexts, even if they do not belong to any of these contexts. In conclusion, they parasitize in the background of functional differentiation.

Regarding the problem of parasites, Schneider and Kusche (2011) provide a more detailed explanation. The point of departure are function systems which continuously

transform irritations into information. These systems process communication, classifying it according to their two-sided codes. In some contexts, this attribution is not immediately possible, which entails processing communication with different codes. This leads to the production of noise in the system which can turn into conflicts if no one solves the growing contradictions. These conflicts can turn into permanent sources of noise, and assume the form of a social system.

At this point, the authors distinguish two types of parasites, the unilateral type, and the reciprocal type. Parasites use noise (the waste of the production of information) as their reproductive substrate. Unilateral parasites intensify the noise and are harmful to the system, while reciprocal parasites reduce the noise and can be useful for the system. Regarding noise, Schneider and Kusche differentiate between the two modes of production of noise. There is noise coming from the non-absorbable insecurity of value attribution produced by the code, and from the rejection of the intra-system criteria of attribution in favor of criteria, which the system defines as external. Parasites of the first type are endoparasites, while the second type are ectoparasites.

The authors argue that organizations, interactions, and networks can operate as parasites. They conceive networks as interconnections of persons, organizations, and/or interaction systems. They studied the case of scientific schools as endoparasitic networks, and para-scientific networks as ectoparasites. Networks can work as parasites, but it is not clear if all networks operate in the same way.

Conclusions

In Luhmann's systems theory, the network concept appears in descriptions of the "dysfunctional" structuration of non-developed regions. The central trait of these regions is that, there, organizations do not work or they simply function as an allocation of positions. The basic structure of networks entails that those who possess a position have something to offer to a broker with whom one can interchange something. This sketchy model has found some echo among Latin American system theorists, but it has not inspired German ones who have followed distinct lines of research. In the case of Teubner, Kämper, and Schmidt, the network category was used to explain very specific phenomena, thus avoiding its insertion into the general theory. As a result, these attempts faded away in the particularity of the cases under analysis.

In contrast to these strategies, Fuhse approaches the problem from an abstract point of view, providing two solutions. The first solution turns to be highly formal and devoid of any substantial content, as he conceives networks as connections between autopoietic systems. The second solution implies substantial modifications of Luhmann's communication theory, although the consequences for the social and the general systems theory are not pondered. He re-introduces the concepts of actor, which implies re-starting the controversy over action and systems theory, as well as identity, which has a different meaning in Luhmann's theory.

The question about networks and parasitism has been useful to shed light on a insufficiently-explored relationship. Nevertheless, this research concentrates only on one aspect of networks, and loses its meaning without a full characterization of networks as a special social system. It is only in Tacke's and Bommes' writings that we can find a complete description of networks as systems. They depart from the concept of address, which can be embodied by persons and organizations. The key mechanism of the system is reciprocity, understood as a promise of a non-specific future service in return for a favor. In this way, reciprocity links to heterogeneous performances, which allows the constitution of a network-specific spectrum of performances. Networks remain a particularistic and precarious sort of system because they refer to certain persons, and because they tend to disaggregate quickly. Moreover, networks would not be a specificity of underdeveloped regions, and are not necessarily associated with criminal behavior. In conclusion, Bommes and Tacke's network conception is the only complete and compatible account which can provide an adequate base for empirical research.

References

- Alba R. (1981) From Small Groups to Social Networks. Mathematical Approaches to the Study of Group Structure. *American Behavioral Scientist*, vol. 24, no 5, pp. 681–694.
- Azarian G. R. (2005) *The General Sociology of Harrison C. White: Chaos and Order in Networks*, New York: Palgrave Macmillan.
- Barnes J. (1954) Class and Committees in a Norwegian Island Parish. *Human Relations*, vol. 7, no 1, pp. 39–58.
- Bommes M. (2011) Migrantennetzwerke in der funktional differenzierten Gesellschaft. *Netzwerke in der funktional differenzierten Gesellschaft* (eds. M. Bommes, V. Tacke), Wiesbaden: VS, pp. 241–260.
- Bommes M., Tacke V. (2007) Netzwerke in der „Gesellschaft der Gesellschaft“: Funktionen und Folgen einer doppelten Begriffsverwendung. *Soziale Systeme*, vol. 13, no 1–2, pp. 9–20.
- Bommes M., Tacke V. (2011) Das Allgemeine und das Besondere des Netzwerkes. *Netzwerke in der funktional differenzierten Gesellschaft* (eds. M. Bommes, V. Tacke), Wiesbaden: VS, pp. 25–50.
- Bott E. (1955) Urban Families: Conjugal Roles and Social Networks. *Human Relations*, vol. 8, no 4, pp. 345–384.
- Bott E. (2001) *Family and Social Network: Roles, Norms and External Relationships in Ordinary Urban Families*, London: Routledge.
- Foerster H. von (2003) What is Memory that it May Have Hindsight and Foresight as Well? *Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition*, New York: Springer, pp. 101–131.
- Fuchs P. (1997) Adressabilität als Grundbegriff der soziologischen Systemtheorie. *Soziale Systeme*, vol. 3, pp. 57–79.

- Fuhse J. (2003) *Systeme, Netzwerke, Identitäten die Konstitution sozialer Grenzziehungen am Beispiel amerikanischer Straßengangs*, Stuttgart: Universität Stuttgart.
- Fuhse J. (2009a) Die kommunikative Konstruktion von Akteuren in Netzwerken. *Soziale Systeme*, vol. 15, no 2, pp. 288–316.
- Fuhse J. (2009b) The Meaning Structure of Social Networks. *Sociological Theory*, vol. 27, no 1, pp. 51–73.
- Fuhse J. (2011) Kommunikation und Handeln in Netzwerken. *Systemische Soziale Arbeit*, vol. 2–3, pp. 25–39.
- Fuhse J. (2014) Verbindungen und Grenzen. *Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung* (ed. J. Weyer), Oldenbourg: De Gruyter, pp. 291–313.
- Granovetter M. (1973) The Strength of Weak Ties. *American Journal of Sociology*, vol. 78, no 6, pp. 1360–1380.
- Granovetter M. (1976) Network Sampling: Some First Steps. *American Journal of Sociology*, vol. 81, no 6, pp. 1287–1303.
- Granovetter M. (1983) The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. *Sociological Theory*, vol. 1, pp. 201–233.
- Japp K. (2011) Zur Bedeutung von Vertrauensnetzwerken für die Ausdifferenzierung politischer Kommunikation. *Netzwerke in der funktional differenzierten Gesellschaft* (eds. M. Bommes, V. Tacke), Wiesbaden: VS, pp. 261–286.
- Kämper E., Schmidt J. (2000) Netzwerke als strukturelle Kopplung; Systemtheoretische Überlegungen zum Netzwerkbegriff. *Soziale Netzwerke: Konzepte und Methoden der sozialwissenschaftlichen Netzwerkforschung* (ed. J. Weyer), Oldenbourg: Oldenbourg Wissenschaftsverlag, pp. 211–235.
- Latour B. (1996) On Actor-Network Theory: A Few Clarifications. *Soziale Welt*, vol. 47, no 4, pp. 369–381.
- Latour B. (1999) On Recalling ANT. *Sociological Review*, vol. 47, no S1, pp. 15–25.
- Law J. (1999) After ANT: Complexity, Naming and Topology. *Sociological Review*, vol. 47, no S1, pp. 1–14.
- Luhmann N. (1984) Staat und Politik: Zur Semantik der Selbstbeschreibung politischer Systeme. *Politische Theoriengeschichte: Probleme einer Teildisziplin der Politischen Wissenschaft* (ed. U. Bermbach), Wiesbaden: VS, pp. 99–125.
- Luhmann N. (1990) Identität — was oder wie? *Soziologische Aufklärung 5: Konstruktivistische Perspektiven*, Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 14–30.
- Luhmann N. (1992) Zur Einführung. Neves M., *Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne: Eine theoretische Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasilien*, Berlin: Duncker & Humblot, pp. 1–4.
- Luhmann N. (1995a) Inklusion und Exklusion. *Soziologische Aufklärung 6: Die Soziologie und der Mensch*, Opladen: Westdeutscher Verlag, pp. 237–264.
- Luhmann N. (1995b) Kausalität im Süden. *Soziale Systeme*, vol. 1, pp. 7–28.

- Luhmann N. (1995c) Kultur als historischer Begriff. *Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, Band 4*, Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 31–54.
- Luhmann N. (2012) *Theory of Society*, Stanford: Stanford University Press.
- Mische A., White H. (1998) Between Conversation and Situation: Public Switching Dynamics across Network Domains. *Social Research*, vol. 65, no 3, pp. 695–724.
- Mitchell J.C. (1974) Social Networks. *Annual Review of Anthropology*, vol. 3, pp. 279–299.
- Radcliffe-Brown A. (1940) On Social Structure. *Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, vol. 70, no 1, pp. 1–12.
- Schneider W. L., Kusche I. (2011) Parasitäre Netzwerke in Wissenschaft und Politik. *Netzwerke in der funktional differenzierten Gesellschaft* (eds. M. Bommes, V. Tacke), Wiesbaden: VS, pp. 173–210.
- Spencer Brown G. (1972) *Laws of Form*, New York: The Julian Press.
- Tacke V. (2000) Netzwerk und Adresse. *Soziale Systeme*, vol. 6, pp. 291–320.
- Tacke V. (2008) Neutralisierung, Aktualisierung, Invisibilisierung: Zur Relevanz von Geschlecht in Systemen und Netzwerken. *Geschlechterdifferenzen — Geschlechterdifferenzierungen* (ed. S. Wilz), Wiesbaden: VS, pp. 253–290.
- Tacke V. (2011a) Soziale Netzwerkbildung in Funktionssystemen der Gesellschaft: Vergleichende Perspektiven. *Netzwerke in der funktional differenzierten Gesellschaft* (eds. M. Bommes, V. Tacke), Wiesbaden: VS, pp. 89–117.
- Tacke V. (2011b) Systeme und Netzwerke — oder: Was man an sozialen Netzwerken zu sehen bekommt, wenn man sie systemtheoretisch beschreibt. *Systemische Soziale Arbeit*, vol. 2–3, pp. 6–24.
- Teubner G. (1992) Die vielköpfige Hydra: Netzwerke als kollektive Akteure höherer Ordnung. *Emergenz: Die Entstehung von Ordnung, Organisation und Bedeutung* (eds. W. Krohn, G. Küppers), Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 189–216.
- Teubner G. (1993a) The “State” of Private Networks: The Emerging Legal Regime of Poly-corporatism in Germany. *Brigham Young University Law Review*, vol. 2, pp. 553–575.
- Teubner G. (1993b) The Many-Headed Hydra: Networks as Higher-Order Collective Actors. *Corporate Control and Accountability: Changing Structures and the Dynamics of Regulation* (eds. J. McCahery, S. Picciotto, C. Scott), Oxford: Oxford University Press, pp. 41–60.
- Teubner G. (1999) Polykorporatismus: Der Staat als Netzwerk öffentlicher und privater Kollektivakteure. *Das Recht der Republik* (eds. H. Brunkhorst, P. Niesen), Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 346–372.

Социальные сети и теория систем

Сантьяго Габриэль Кализе

Исследователь, CONICET (National Scientific and Technical Research Council), Университет Буэнос-Айреса, факультет социальных наук, Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG)

Адрес: Uriberu 950 6º Floor, Ciudad de Buenos Aires, Argentina C1114AAD

E-mail: c_santiago_g2000@yahoo.com.ar

Статья критически рассматривает концепции социальных сетей в рамках теории систем. Предполагается, что либо социальные сети могут трактоваться как системы, либо подобное видение невозможно. Во втором случае сети понимаются как структурные сопряженности (Кампер и Шмидт) или как формы (Фухс). Среди тех, кто разделяет первый подход, — Луман, использовавший понятие «социальных сетей» для описания особенности социетальной структуры в неразвитых регионах, но он не погружался в теоретическую разработку понятия. Трактовка Тёбнера также связана с частным случаем без попыток сформулировать общую сетевую теорию. Для Боммса и Таке центральным механизмом, который связывает различные сетевые адреса (личности или организаций) через неспецифическое ожидание возможного вознаграждения за услугу, является реципрокность. Анализ показывает, что данное описание дает самое полное представление о понятии, оставаясь полностью совместимым с системной теорией.

Ключевые слова: реципрокность, структурные сопряженности, сетевой адрес, социальные отношения, организации, паразит

Событие как объект: К плоской теории событий^{*}

Оксана Головашина

Кандидат исторических наук, научный сотрудник, Томский государственный университет
Доцент кафедры философии и методологии науки,
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
Адрес: пр. Ленина, д. 36, Томск, Российская Федерация 634050
E-mail: ovgolovashina@mail.ru

В статье автор предлагает оригинальную версию разрешения проблемы атомарности социальных событий. Актуальность темы обусловлена тем, что именно неделимость позволяет различить события от других социальных феноменов/процессов. Событие, с точки зрения автора, должно иметь определенную длительность, которая является атомарной. На первом шаге автор, опираясь на широкий круг источников, включающих взгляды различных теоретиков, рассматривает проблему неделимости социальных событий в сложившейся теории событий. Автор отмечает, что логико-семантические трактовки неделимости событий получили большее распространение, чем утверждение онтологической атомарности. Далее автор подробно останавливается на трактовках атомарности по наблюдению. Анализируя взгляды Д. Дэвидсона, А. Ф. Филиппова и др., автор доказывает, что в случае атомарности по наблюдению: 1) довольно размытыми выглядят критерии этой атомарности; 2) событие оказывается следствием не только фигуры наблюдателя, но также его системы различения и мотивов; 3) сложности могут быть связаны с пространственным фактором; 4) само событие смешивается с фактом. Также автор считает не соответствующим современным тенденциям ограничение социальных событий только тем, что доступно взгляду человека. Далее автор показывает продуктивность осмысления события в качестве объекта. В отличие от участников дискуссий, направленных на различение события и объекта, автор использует концептуализацию объекта, предлагаемую объектно-ориентированной онтологией. События как объекты способны к изменениям, но сохраняют свою неделимость и стабильность, могут быть связаны не только с материальной, но и идеальной сферой, обладают системой различий. Предлагаемая схема позволяет утверждать невозможность негативных событий, дает основание не только говорить об атомарности события, но и подчеркивать онтологические основы этой атомарности, а также предлагает возможности мышления о социальном за пределами наблюдаемого.

Ключевые слова: событие, теория событий, социальное событие, атомарность события, онтология событий, объектно-ориентированная онтология

В предлагаемой статье мы будем исходить из того, что осмысление социального события обязательно предполагает констатацию его неделимости. Исходное напряжение, которое позволило проблематизировать этот вопрос, мы нашли в тексте «Проблема исторического времени» Г. Зиммеля. С одной стороны, Зиммель подчеркивает неделимость («атомарность») исторического события (Зиммель,

* Статья написана по результатам работ, поддержанных грантом Российского научного фонда № 19-18-00421.

1996: 524), однако пишет или о «сцепленности» событий, образующих тотальное единство (Зиммель, 1996: 524), или о том, что событие разбивается на части (Зиммель, 1996: 525). «Всякий признает, что произошедшее в 1758 году было непрерывным, что лишь привнесенные понятия — сражение, победа, поражение, соединение войск — разбивают это событие на части. Но швы между частями тут по-прежнему сохраняются, хотя они и менее заметны, чем на другом уровне» (Зиммель, 1996: 525). То есть произошедшее в 1758 году — это неделимое событие, и используемая для исследовательских (или еще каких) целей терминология не мешает единству события, или оно представляет собой совокупность отдельных частей? Может, непрерывность связана с нашими убеждениями, с особенностью восприятия истории, а также, как заметил неокантианец на тот момент Зиммель, «плавающим над этими атомами априорным знанием» (Зиммель, 1996: 526), но не с тем, что представляет собой событие как неразложимый элемент истории? Всегда битва 1758 года является событием, или событие — это отдельное сражение, победа, поражение, соединение войск, или вообще — пробежавший военачальник, упавший камень?

Если теория социальных событий «утверждает, что именно событие оказывается мельчайшим элементом социальности» (Филиппов, 2011: 7), нам представляется важным анализ представления о неделимости события. В противном случае мы должны будем говорить не о событии, а о социальных фактах, действиях и так далее. Однако что позволяет нам мыслить социальное событие как неделимое? Условно мы можем выделить два направления в осмыслиении неделимости события: с одной стороны, социальное событие воспринимается наблюдателем в качестве неделимого (мы будем условно называть это логической атомарностью), с другой — событие, в том числе социальное, выступает в качестве неделимого на сущностном уровне (онтологическая атомарность). Это различие пересекается с логическими и онтологическими интерпретациями события вообще, но не тождественно им. Изучение существующих трактовок события позволяет сделать вывод, что констатация логической атомарности события более авторитетна, так как эту точку зрения отстаивают как представители лингвистики и аналитической философии, которые внесли свой вклад в теорию события, так и некоторые социальные теоретики, однако, на наш взгляд, признание логической атомарности связано с рядом трудностей, разрешение которых заставляет нас обратиться к современным онтологическим теориям, прежде всего к объектно-ориентированной онтологии.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрим два разных основания (логическое и онтологическое) атомарности социального события. Под атомарностью мы имеем в виду констатацию неделимости социального события. Для реализации поставленной задачи мы на первом этапе рассмотрим, какие существуют трактовки неделимости события в теории событий и насколько эти интуиции применимы для анализа конкретного социального события, далее проанализируем возникающие трудности в интерпретации атомарности события по наблюдению и онтологи-

гической атомарности, и в заключение покажем преимущества представления об онтологической неделимости события и возможности ее переосмысления.

Проблема неделимости в контексте теории событий

Теория событий в настоящее время настолько обширна и разнообразна, что тяжело даже кратко охарактеризовать основные ее направления (Casati, Varzi, 1997). Можно констатировать существование целого исследовательского поля, охватывающего такие не всегда смежные области, как теория действия, философия сознания, когнитивные науки, философия пространства и времени и т. д., поэтому уже вполне корректно говорить о существовании *event studies* по образцу уже известных *memory studies*, *gender studies* и т. д.

Осмысление атомарности события и специфики фундамента этой атомарности не относится к числу самых дискуссионных в теории событий, в отличие, например, от проблемы идентичности событий (Brand, 1977; Davidson, 1986; Horgan, 1980; Туе, 1979) или вопросов каузальности (Swain, 1981; Needham, 1994). Однако рассматриваемая нами тема затрагивалась в рамках ряда дискуссий, в частности: 1) о мелкозернистой и крупнозернистой (Bratman, 1978; Lombard, 1978; Macdonald, 1979; Menzies, 1988), а также «промежуточных» (Audi, 1986; Thalberg, 1971) концепций события; 2) исследованиях возможности онтологии события (Davidson, 1980; Hacker, 1982a; Horgan, 1978); 3) обоснованности семантических трактовок (Horgan, 1978; Talmy, 1991); 4) различении события и объекта (Cresswell, 1986; Goodman, 1951; Hacker, 1981, 1982a, 1982b; Mellor, 1980; Simons, 2000). Далее мы будем обращаться к некоторым выводам, полученным в результате этих дискуссий. Отметим, однако, что противопоставление онтологической и логической интерпретации события в рамках решения задач, поставленных в этой статье, приведет к определенному упрощению, так как мы будем акцентировать внимание на противопоставлении логической и онтологической атомарности, а не события как такового вообще.

Как правило, теоретики связывают событие с какими-либо изменениями, которые претерпевают участвующие в событии объекты, вещи, то есть событие предполагает какую-то динамику (в начале события участвующие вещи или занимают другое место, или произошли изменения внутри самих вещей (Lombard, 1979, 1986; von Wright, 1963), однако ряд авторов допускает возможность события без изменений (Mellor, 1998; Simons, 2000). Вне зависимости от признания необходимости изменений или нет событие предполагает определенную длительность, так как объект (вещь, предмет — в данном контексте термин не имеет значения) сам по себе не может одновременно быть одним и каким-либо другим, при этом длительность обязательно должна быть неделима сама по себе, иначе мы будем вести разговор о серии эпизодов, моментов, действий, но не событий. Представление о событии как атомарном оказывается, таким образом, условием, позволяющим мыслить произошедшее как событие.

В теории событий попытки решения проблемы атомарности события были связаны: 1) с различиями неопределенного события (которое способно к делению) и события самого по себе, которое непрерывно и неделимо, или 2) структура событий определяется исключительно логико-семантическими правилами. И в первом, и более распространном втором случае речь идет о каком-либо субъекте (наблюдателе), который, обладая определенной системой различий, с позиции этой системы высказывает суждения на тему возможности делимости или неделимости события. Ниже мы покажем некоторые трудности, связанные с этой позицией.

Для анализа социального события в теории событий нам важна линия авторов, которые рассматривают событие в контексте теории действия, идущей от М. Вебера, и событие само по себе их интересует только в том смысле, становится ли какое-либо событие действием или нет. Соответственно, действие в этой трактовке оказывается определенным видом события, которое расположено в мире каузальных связей, а мир, в свою очередь, представляется состоящим из событий, имеющих онтологическое значение для социальной жизни. Идея мышления о действии в качестве события принадлежит Т. Парсонсу. В работе «О теории и метатеории» (Парсонс, 2002) он обращает внимание на специфику смысла социальных действий. Если, в соответствии с идеями Вебера, смысл не является субъективным, но только полагается субъектом, то можно утверждать существование какой-либо группы действий. Однако вместо смысла Парсонс говорит о значении, что позволяет ему каталогизировать различные типы действий. Необходимо отметить, что анализ этих событий также может быть в большей степени связан с языком, на котором мы говорим, а не онтологией вообще. Атомарность события представляется как категория, позволяющая осмыслить специфику социального действия.

Можно рассматривать социальную жизнь как последовательность событий, не анализируя при этом, что такое событие само по себе (Allison, 1982: 61; Box-Steffensmeier, Zorn, 2002), но это оказывается источником методологических сложностей. Если ограничиваться констатацией качественного перехода, которое всегда должно сопровождать событие (Allison, 1984: 9), то событие оказывается довольно редким явлением, поэтому обращение к нему применимо только в отдельных сферах, а не для анализа социального вообще.

Таким образом, в рамках event studies событие связывается с какими-либо изменениями, имеет определенную длительность, которую мы считаем атомарной. Логико-семантические интерпретации события вообще и его неделимости в частности более распространены и авторитетны, чем констатация онтологической атомарности. Социальное событие происходит в поле социального и конституирует это поле.

Атомарность по наблюдению: субъект против события

Тезис о том, что «онтология лучше всего понимается как замаскированная семантика» (Martin, 1981: 259), довольно распространен в теории событий, поэтому осмысление атомарности социального события зачастую происходит через изучение возможностей системы различий наблюдающего субъекта.

Еще Зиммель в цитируемом выше тексте пишет о непрерывности события, связывая ее с особенностью формы нашего существования (Зиммель, 1996: 527), однако он отмечает, что нашему пониманию доступна не действительность, которой имманентно свойственна непрерывность, а только идеальное (здесь мы будем признавать эту выделяемую Зиммелем дилемму без ее дополнительного анализа). История только кажется нам непрерывной, но для понимающегося сознания она дискретна, состоит из ряда прерывающихся событий. Поэтому, вне зависимости от того, сколько длилось событие, оно может быть «историческим атомом» (или не быть; различить эти варианты — одна из задач, которую Зиммель не решает).

Становление представлений об атомарности событий по наблюдению, как и теории событий вообще, не было бы возможно без идей Д. Дэвидсона. Опираясь на структуру языка и особенности языковых конструкций, он рассматривает мир как состоящий из событий (ранее это делал А. Уайтхед, но на других основаниях). Событие Дэвидсона определяет как эпизод, находящийся в причинно-следственных связях с другими эпизодами, соответственно, если нет этой связи, то события также быть не может. Однако, констатируя событие, даже описывая онтологию событий, Дэвидсон говорит не о том, что происходит в мире «на самом деле», а только о том, что мы можем об этом сказать, используя сложившиеся языковые конструкции. Таким образом, события Дэвидсона происходят не в мире, а в наших объяснениях этого мира. Границы объяснения событий оказываются совпадающими с границами языка, какие-либо другие референции перестают иметь смысл. Одно и то же событие может быть описано разным образом, то есть Дэвидсон говорит не о множественности событий, а множественности описаний события. Атомарность события для Дэвидсона является аксиоматичной, он ее не объясняет, но опирается на атомарную природу события, описывая встроенность события в causalные цепочки, что, в свою очередь, выступает для него основой идентичности событий (Davidson, 1985). Трансценденталистское объяснение социальных действий, характерное также для теории событий Дэвидсона, позволяет строить осмысленные объяснения событий вообще и действий в частности. Однако остается непонятным, как субъект выбирает то или иное объяснение для произошедшего, то есть почему из практически бесконечного множества объяснений какое-либо одно признается валидным? Этот вопрос, на наш взгляд, показывает слабость логической трактовки события. В дальнейшем мы вернемся к нему.

Проблема объяснения события также оказывается актуальной в теории социальных событий А. Ф. Филиппова. В своей статье «К теории социальных событий», а также в ряде других работ (Филиппов, 2004, 2006, 2011) Филиппов делает

несколько шагов, которые важны для нашей темы. Во-первых, он вводит категорию наблюдателя. Для понимания события нужен еще один участник, без которого любое осмысление событий невозможно. В соответствии с этой трактовкой само событие Филиппов переопределяет как «смысловой комплекс, означающий соотносительное акту наблюдения единство» (Филиппов, 2004: 7). Событие произошло тогда и только тогда, когда есть (был) кто-то, кто видел это произошедшее и сообщил о нем другим людям. Можно предположить, что под «единством» Филиппов понимает то, что Зиммель называет атомарностью, которая, таким образом, оказывается функцией от взгляда наблюдателя. Зиммель не говорит о наблюдателе, однако пишет о «времени царствования или войны, самой битвы или ее эпизода — в зависимости от того, что мы знаем или хотим знать» (Зиммель, 1996: 524). Это «мы» можно интерпретировать как наблюдателя. Причем правильнее будет говорить не об одном наблюдателе, а сообществе наблюдателей, поэтому важным оказывается согласование наблюдателей насчет объекта наблюдений, что само по себе делает теорию событий социальной. Наблюдатель фиксирует события, «другой наблюдатель событий может не только иметь иной интерес, заставляющий его по-другому фиксировать „что“ события, но и само событие его наблюдения может быть рассогласовано с тем событием наблюдения, из которого мы исходили» (Филиппов, 2004: 13). Если вслед за Филипповым рассматривать событие как «смысловое единство», то его атомарность оказывается логической, а не онтологической категорией. Такие свершения, как революции, изобретение лифта, в соответствии с определенными эпистемологическими задачами оказываются такими же элементами в системе, как падение камня или включение света.

В теории Филиппова наблюдатель выступает в качестве конститутивного субъекта, от которого зависит смена перспектив (Филиппов, 2004: 12). Будет ли «атомом» опричнина, или камень, упавший на голову одному из опричников (изобретение лифта или модернизация), зависит, таким образом, от взгляда наблюдателя, определяющего выбранную оптику. Если в теории Дэвидсона событие определяется возможностью существующего языка, то у Филиппова оно зависит от позиции наблюдателя. Анализируя опричнину как «неразложимое событие», наблюдатель может рассматривать отдельные эпизоды, однако «швы останутся видны», как сказал бы Зиммель, но «как только мы переносим внимание на элементы события, само событие утрачивает характер элементности, оно становится для нас системой или процессом, образованным связью элементов» (Филиппов, 2004: 20). При этом важно не путать исследование логического устройства атомарного события, с одной стороны (также термин Филиппова), анализ отдельных событий, составляющих процесс, с другой (например, опричнина как событие, которое помогает проанализировать царствование Ивана Грозного как процесс), с исследованием событий, имеющих логическую структуру (начало, завершение), но сохраняющих атомарность, то есть, как заметил Филиппов, нельзя превращать «аспекты событий в некое подобие событий» (Филиппов, 2004: 24). Событие «как бы членится на квазиэлементы», но при этом оказывается элементарным. Однако остается непо-

нятным, как отличить логическую структуру атомарного события от, например, процесса, образованного серией событий.

Таким образом, в теории Филиппова именно наблюдатель решает, какие эпизоды являются неделимым событием, а какие — только частью атомарного события. Событие в его системе не существует само по себе, а тождественно событию наблюдения. Возможность события обусловлена возможностью различных описаний, предлагаемых сообществом наблюдателей. Это позволяет Филиппову сохранить базовую интуицию теории событий Дэвидсона, однако не расширять ее возможности за пределы логической структуры языка.

Далее мы рассмотрим некоторые сложности признания логической атомарности в модели, предложенной Филипповым. Мы считаем, что часть из этих сложностей характерна для логической атомарности вообще.

Опишем их подробнее. Первое. Если согласиться с определением, что «события — это лингвистические конструкции. Опыт — это непрерывный фильм, который люди режут на управляемые кусочки, используя их язык» (van Benthem, 1983: 13), то каковы будут критерии атомарности? Почему бы не поделить событие на еще меньшие составляющие, если так нужно для управляемости и позволяет язык? Поэтому осмысление сторонниками лингвистических трактовок события происходит через представления о неполных событиях, которые выступают частью полных (Ter Meulen, 1985, 1986), выстраивание иерархии событий (Kautz, 1991), обоснование того, что части события также являются событиями (Thalberg, 1971). Таким образом, разговор о событии оказывается разговором о разговоре о событии, что снижает эвристический потенциал полученных выводов.

Второе. Сама фигура наблюдателя является довольно проблематичной. Это было замечено, в частности, Дж. Корнманом, который критично оценивал способность наблюдателя быть агентом события (Cornman, 1971).

Мы выделяем несколько трудностей, связанных с наблюдателем. Во-первых, если событие вообще или какие-либо его аспекты зависят от наблюдателя («нет события без наблюдения» (Филиппов, 2011: 8)), то необходимо описать, кто такой наблюдатель и как он влияет на оценку наблюдаемого. Однако это будет дополнительным событием наблюдения, которое требует отдельного наблюдателя, фигуру которого также необходимо описать. Если добавить к этому, что необходима проблематизация самого наблюдения, то выйти из замкнутого круга наблюдения за наблюдателем не представляется возможным без серьезных логических потерь для теории событий. Сложности возникают и с осмыслением системы различений, без которой не может быть наблюдения, следовательно, события. Таким образом, событие оказывается следствием не только фигуры наблюдателя, но также его системы различения и мотивов, выступая в качестве скорее объясняемого, чем объясняющего понятия, использование которого может не представляться обязательным при опоре на уже существующие теории.

Во-вторых, необходимо упомянуть о том, что констатация свершения события после его завершения, необходимая для восприятия события наблюдателем,

может привести к смешению событий и фактов, которое вообще характерно для многих логических трактовок события. Различие события и факта, проведенное, например, Дж. Мартином, по мнению Р. Дж. Батлера, не улавливает всех важных нюансов разговоров о том и о другом (Butler, 1969). Одного утверждения, что каждое событие соответствует факту (Bennett, 1988; ассоциацию этих категорий также допускают Wilson, 1974; Tegtmeier, 2000), для прояснения будет недостаточно. «Я разбила свою машину» и «Я разбила чужую машину» — это два разных факта, но соответствуют ли эти два разных факта двум разным событиям? Дж. Ким (Kim, 1976) предлагает обратить внимание на разные последствия. Разбить свою машину — не то же самое, что чужую, или, например, смерть на войне или героическая гибель акцентирует внимание на разных аспектах произошедшего, что позволяет говорить о разных событиях. Но если мы примем эту точку зрения, то можем прийти к умножению событий, что было адекватно критикуемо различными теоретиками. В контексте теории действий Р. Доулинг сравнивал возможность различных описаний действий и вещей, подчеркивая, что существует сравнительно мало описаний, которые являются истинными для материальных предметов (Dowling, 1967). Можно дальше пойти вслед за Дэвидсоном, доказывая, что различные описания могут соответствовать одному событию (Davidson, 1969), но тогда мы опять столкнемся с тем, что событие определяется системой различия наблюдателя, а на следующем шаге — со сложностью самой фигуры наблюдателя, о чем уже писали выше.

В-третьих, сложности связаны с тем, что Филиппов определяет событие как «пространственно-временное единство», поэтому наблюдатель у него должен занимать какое-то место в пространстве, и от этого места во многом зависит то, как он определит событие, представляющее собой обязательно событие в определенном пространстве. Однако, во-первых, как мы определяем позицию наблюдателя? Во-вторых, не понятно, с чем связано подобное ограничение. Зиммель, которого Филиппов берет во временные союзники, в цитате, которая также приводится в работе Филиппова, писал о месте во времени, скорее как хронологическом, чем пространственном обозначении, определить «место» для него — это «сцепить» событие с другими событиями. К тому же многие события невозможно ограничить каким-либо пространством. Например, в каком месте происходит финансовый кризис или опричнина?

Также отметим, что признание атомарности по наблюдению приводит к тому, что социальная реальность оказывается отождествлена только с тем, что доступно взгляду наблюдателя, что приводит к упрощению представления о социальной реальности вообще и делает практически невозможными объективные суждения о причинах действий. Мы подчеркиваем, что не только наблюдатель делает событие социальным, наоборот, возможно мышление о социальной реальности без наблюдателя. Несмотря на то что теория Филиппова дает больше возможностей для исследования ненаблюдаемого, чем, например, идеи Дэвидсона (за счет разных

позиций и образования сообщества наблюдателей), эта проблема также сохраняет актуальность.

Таким образом, идея наблюдателя позволяет нам мыслить событие как «смысловое единство», однако связывать только с наблюдателем разложимость/неразложимость события не представляется эвристически продуктивным, так как сама фигура наблюдателя оказывается довольно проблематичной, а также усложняется различие события и факта, события и описания события. Дискредитация фигуры наблюдателя приведет к сложностям в осмысливании события как атомарного, а следовательно, вообще произошедшего как события.

Онтологическая атомарность: что в имени тебе моем?

Истоки онтологической атомарности мы связываем с идеями А. Уайтхеда, который называл события первичными естественными сущностями реальности (Whitehead, 1919). По мнению некоторых исследователей, Уайтхед заменяет категорию «вещество», распространенную в философии природы Джона Локка, на событие (Lawrence, 1950). Онтологическая трактовка события получила определенное распространение, в соответствии с ней исследователи называют событием прежде всего свойства времени (Lewis, 1986) или изменения в свойстве объекта (Humphreys, 1989). События, как отмечает Хакер, доказывая их онтологичность, не могут быть «введены» или «устранены» философскими дискуссиями. Более того, сам вопрос «существуют ли события?» является подозрительным, если смотреть на него с позиции онтологии (Hacker, 1982а: 479).

Если в случае логической атомарности, на наш взгляд, дискредитация фигуры наблюдателя приведет к необходимости отказа от идеи атомарности социального события вообще, то переосмысливание онтологической атомарности возможно, но для этого нам потребуются другие основания. По нашему мнению, осмысливанию события как атомарного помогает мышление о нем как об объекте. Ранее в теории событий было сделано несколько ценных замечаний, направленных как на сближение события и объекта, так и на их различие. Далее мы рассмотрим основные, на наш взгляд, замечания. Главную их слабость мы видим в той концептуализации объекта, которую использовали теоретики. Мы считаем, что пересмотр того, что мы считаем объектом, произведенный в объектно-ориентированной философии, позволяет нам пересмотреть возможности мышления о неделимости события как об объекте. Мы понимаем, что концептуализация объекта в объектно-ориентированной онтологии также носит дискуссионный характер (Wolfendale, 2014), однако в данной работе мы постараемся, не акцентируя внимания на некоторых проблемных моментах, рассмотреть те ресурсы, которые предлагают работы прежде всего Г. Хармана и Л. Брайанта. Наши замечания будет удобно рассмотреть по нескольким пунктам.

Событие и изменение

Б. Рассел и А. Уайтхед (Whitehead, 1919), отстаивая первенство события над объектом, отмечали, что событие остается неизменным, в отличие от объекта, но, с другой стороны, некоторые авторы (Mellor, 1980; Simons, 2000) оставляют устойчивость объектам, отмечая, что они полностью присутствуют (или отсутствуют) в какой-либо момент времени, тогда как событие, обладая длительностью, развивается постепенно. С замечаниями этих теоретиков стоит согласиться, если мы рассматриваем в качестве объекта стул или стол, но не, например, строящееся здание или молодой саженец. Хакер справедливо замечает, что наше понятие об объекте — это не то же самое, что понятие изменения объекта (Hacker, 1981: 243). П. Вагнер-Пасифити для обоснования своей точки зрения ссылается на Эндрю Эббота, который называет события картезианскими объектами (Wagner-Pacifici, 2017). По мнению Н. Гудмена (Goodman, 1951), событие может рассматриваться как «неустойчивый объект». Учитывая эти замечания, здесь и далее мы будем опираться на мнение Г. Хармана, который считал, что объект «обозначает любую единую реальность — будь то атомы, овощи, нации или песни, — подвергающуюся изменениям или поддерживающую множество представлений, оставаясь при этом все той же» (Харман, 2017: 3–4). Событие может быть и реальным, и чувственным объектом, зависит от того, о каком событии мы говорим, но в данном контексте для нас важно, что событие является атомарным.

Таким образом, мы настаиваем, что событие и объект способны к изменениям, однако сохраняют при этом свою стабильность и неделимость.

Материальность

Большинство теоретиков подчеркивают материальность объекта, в отличие от события (Hacker, 1982a; Cresswell, 1986). Также, отмечая отличия объекта от события, исследователи обращают внимание на то, что объект должен иметь размерность и форму (Hacker, 1982b). Однако почему под объектом мы должны понимать только что-то материальное?

Современные «объектные» метафизики можно трактовать как попытку переосмыслить, созданную философией Ж. Делеза и Ф. Гваттари, реальность, в которой неустойчивость, в том числе материальных объектов, оказывается основой онтологии. Материя не существует как стабильная сущность, а свободно проявляется в виде конфигураций, соединений. Стабильная сущность возможна, однако она есть результат такого движения производства и распределения материи. Эта же нестабильность оказывается характерна для идеальных объектов, разница между которыми, как правило, не становится предметом для обсуждения. В соответствии с идеями Г. Хармана, Л. Брайанта, а также Б. Латура, М. Деланда объектами оказываются не только существующие «реально» природные предметы (солнце, планета, дерево), но и созданные или «искусственные» вещи. Этот тезис вполне

логичен в условиях, когда количество «искусственных» вещей постоянно увеличивается. Например, известный футбольный клуб, хит какой-нибудь рок-группы так же реальны, как атом, стол и так далее (Латур, Харман, Деланда по-разному объясняют этот реализм и иногда называют разными терминами объекты в зависимости от их происхождения, но в рамках поставленных в данной статье задач достаточно констатации), и так же являются объектами. Плутоний был получен в лабораторных условиях, но это не значит, что он менее реален, чем золото. Поэтому атомы, банки, футбольные клубы, человек и т. д. у Хармана одинаковым образом реальны и целостны, то есть находятся на одном уровне (Харман, 2013). Первичной, как мы подчеркиваем, оказывается не материя или идея, а объекты, а материальны они или идеальны — это уже не так важно, так как каждый объект несет последствия, и только это имеет значение.

Система различий

Мы считаем ценным идею, высказанную Филипповым, о том, что событие зависит от системы различия, которой обладает наблюдатель. Однако мы считаем, опираясь на Л. Брайанта (Bryant, 2011), что объект сам по себе обладает этой системой. Так как событие мы видим как объект, мы можем констатировать, что событие само по себе может различать. Это необходимое дополнение, потому что мир состоит из объектов, следовательно, все, что есть, может быть описано как объект. Нет наблюдателя, с позиции которого можно говорить о реальности, поэтому, чтобы описать сам объект, он должен быть способен к самореференции. Следовательно, объект обладает системой различия, позволяющей осуществлять операцию дискриминации, то есть определять, что является объектом, а что нет. Таким образом, объект может различать другие объекты — это не только про то, как пчела находит цветущие растения, но и как ломается крючок, на который вы повесили слишком тяжелое пальто. Объект, различая другие объекты, определяет свое место среди них и место других объектов рядом (или не рядом, между, над и т. д.) с собой. Таким образом, объекты оказываются наблюдателями, при этом сохраняется тезис «плоской онтологии», потому что ни один наблюдатель не обладает более привилегированным доступом, чем остальные.

Заключение

Далее мы рассмотрим, в чем преимущества предлагаемых нами замечаний.

Мы старались дать максимально четкую трактовку объекта, нивелируя дискуссии вокруг этого термина среди объектно-ориентированных философов и теоретиков, осмысляющих этот вопрос.

Во-первых, констатация события в качестве объекта позволяет утверждать невозможность негативных событий. По мнению ряда теоретиков (Bernard, Champollion, 2018; Lee, 1978; Mossel, 2009; Silver, 2018; Vermazen, 1985), значимым

оказывается не только то, что произошло, но и то, что не произошло, однако признание не произошедшего в качестве события, опять же, приведет к умножению событий. Я должна буду рассматривать в качестве события несостоявшуюся встречу с человеком, который мог бы изменить мою жизнь, или то, что на мою голову не упал кирпич. Такого рода события могут, на наш взгляд, рассматриваться как семантическая конструкция, что, возможно, позволяет решить некоторые исследовательские задачи, но на уровне онтологии событий и констатации события в качестве объекта мы утверждаем, что негативных событий не бывает, потому что не существует такого объекта, которого нет.

Во-вторых, констатация события как объекта позволяет не только говорить об атомарности события, но и подчеркивает онтологические основы этой атомарности. Если логическая атомарность (и, соответственно, событие само по себе) выступает в качестве функции от наблюдателя, то онтологическая атомарность позволяет мыслить событие вне зависимости от проблем субъекта, то есть событие оказывается активным само по себе. Таким образом, мы утверждаем, события происходят вне зависимости от мнения и восприятия их наблюдателем. Событие, таким образом, существует в плоском мире как объект среди других объектов.

В-третьих, атомарность по наблюдению переносит акцент с события самого по себе на событие наблюдения и самого наблюдателя. В отличие от Дэвидсона, мы признаем «множественность условий истины» (Latour, 2013), не связывая ее исключительно с языком, не отождествляя ее с системой различия субъекта. Пространственно-временные аспекты события схлопываются в фигуре наблюдателя. Осмысление события в качестве объекта позволяет говорить о возможности мышления о социальном за пределами наблюдаемого.

Таким образом, вопрос не в том, считать ли событие объектом, а в том, каким объектом считать событие. «Возможно, какую бы неопределенность ни заключала в себе наша концепция объекта, нам кажется, что мы можем теоретизировать об объектах и объяснить семантику из нашего разговора о предметах. Почему же тогда события должны быть еще хуже?» (Pianesi, Varzi, 2000). Плоская теория событий позволяет говорить о демократии событий как демократии объектов. Если мыслить событие как объект, его можно мыслить как атомарное.

Литература

- Зиммель Г. (1996). Проблема исторического времени / Пер. с нем. А. М. Руткевича // Зиммель Г. Избранное. Т. 1. М.: Юристъ. С. 517–530.
- Парсонс Т. (2002). О теории и метатеории / Пер. с англ. А. Д. Ковалева // Баньковская С. П. (ред.). Теоретическая социология: Антология. Ч. 2. М.: Университет. С. 43–59.
- Филиппов А. Ф. (2006). Базовый словарь теории социальных событий // Рогозин Д. М. (ред.). Пути России: Проблемы социального познания. М.: МВШСЭН. С. 195–208.

- Филиппов А. Ф. (2011). Развивая теорию событий. Статья первая: Дидактический эксперимент // Социологическое обозрение. Т. 10. № 1–2. С. 6–18.
- Филиппов А. Ф. (2004). К теории социальных событий // Логос. № 5. С. 3–28.
- Харман Г. (2013). Тристан Гарсия и вещь-в-себе. URL: http://tg2rss.planetperl.ru/files/download_843919730308808731.pdf (дата доступа: 11.04.2020).
- Харман Г. (2017). Сети и ассамбляжи: возрождение вещей у Латура и Де Ланда / Пер. с англ. А. Писарева // Логос. Т. 27. № 3. С. 1–34.
- Allison P. A. (1982). Discrete-Time Methods for the Analysis of Event Histories // Sociological Methodology. Vol. 13. P. 61–98.
- Allison P. A. (1984). Event History Analysis: Regression for Longitudinal Event. London: Sage.
- Audi R. (1986). Acting for Reasons // Philosophical Review. № 95. P. 511–546.
- Bennett J. (1988). Events and Their Names. Oxford: Clarendon Press.
- Bernard T., Champollion L. (2018). Negative Events in Compositional Semantics // Ma-spong S., Stefánsdóttir B., Blake, K., Davis F. (eds.). Proceedings of the 28th Semantics and Linguistic Theory Conference. Washington: Linguistic Society of America. P. 512–532.
- Box-Steffensmeier J. M., Jones B. S. (2004). Event History Modelling: A Guide for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press.
- Box-Steffensmeier J. M., Zorn Chr. (2002). Duration Models for Repeated Events // Journal of Politics. Vol. 64. № 4. P. 1069–1094.
- Brand M. (1977). Identity Conditions for Events // American Philosophical Quarterly. Vol. 14. P. 329–337.
- Bratman M. E. (1978). Individuation and Action // Philosophical Studies. Vol. 33. P. 367–375.
- Bryant L. (2011). The Democracy of Objects. Michigan: MPublishing.
- Butler R. J. (1969). On Events and Event-Descriptions // Margolis J. (ed.). Fact and Existence. Oxford: Blackwell. P. 84–94.
- Casati R., Varzi A. C. (eds.). (1997). 50 Years of Events: An Annotated Bibliography 1947 to 1997. Ohio: The Philosophy Documentation Center Bowling Green State University.
- Cornman J. (1971). Comments // Binkley R., Bronnaugh R., Marras A. (eds.). Agent, Action, and Reason. Toronto: University of Toronto Press. P. 26–37.
- Cresswell M. J. (1986). Why Objects Exist but Events Occur // Studia Logica. Vol. 45. P. 371–375.
- Davidson D. (1969). The Individuation of Events // Rescher N. (ed.). Essays in Honor of Carl G. Hempel. Dordrecht: Reidel. P. 216–34.
- Davidson D. (1980). Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press.
- Davidson D. (1985). Reply to Quine on Events // LePore E., McLaughlin B. P. (eds.). Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. Oxford: Blackwell. P. 172–176.

- Dowling R. E. (1967). Can an Action Have Many Descriptions? // *Inquiry*. № 10. P. 447–448.
- Goodman N. (1951). *The Structure of Appearance*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hacker P. M. S. (1981). Events and the Exemplifications of Properties // *Philosophical Quarterly*. Vol. 31. P. 242–247.
- Hacker P. M. S. (1982a). Events, Ontology and Grammar // *Philosophy*. Vol. 57. P. 477–486.
- Hacker P. M. S. (1982b). Events and Objects in Space and Time // *Mind*. Vol. 91. P. 1–19.
- Horgan T. (1978). The Case against Events // *Philosophical Review*. Vol. 87. P. 28–47.
- Horgan T. (1980). Non-rigid Event-Designators and the Modal Individuation of Events // *Philosophical Studies*. Vol. 36. P. 341–351.
- Humphreys P. W. (1989). Scientific Explanation: The Causes, Some of the Causes, Nothing but the Causes // *Kitcher P., Salmon W. S. (eds.). Scientific Explanation*. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 283–306.
- Kautz H. A. (1991). A Formal Theory of Plan Recognition and Its Implementation // *Allen J. F., Kautz H. A., Pelavin R. N., Tenenber J. D. Reasoning about Plans*. San Mateo: Morgan Kaufmann. P. 69–125.
- Kim J. (1976). Events as Property Exemplifications // *Brand M., Walton D. (eds.). Action Theory*. Dordrecht: Reidel. P. 159–177.
- Latour B. (2013). Holberg Memorial Prize Acceptance Speech. Bergen, Norway. URL: <http://www.bruno-latour.fr/node/522> (дата доступа: 22.05.2020).
- Lawrence N. (1950). Locke and Whitehead on Individual Entities // *Review of Metaphysics*. Vol. 4. P. 215–238.
- Lee S. (1978). Omissions // *Southern Journal of Philosophy*. Vol. 16. P. 339–354.
- Lewis D. K. (1986). Events // *Lewis D. K. Philosophical Papers*. Vol. 2. New York: Oxford University Press. P. 241–269.
- Lombard L. B. (1978). Chisholm and Davidson on Events and Counterfactuals // *Philosophia*. Vol. 7. P. 515–522.
- Lombard L. B. (1979). Events // *Canadian Journal of Philosophy*. Vol. 9. P. 425–460.
- Lombard L. B. (1986). Events: A Metaphysical Study. London: Routledge.
- Macdonald C. A. (1979). Can Events Change? // *Philosophia*. Vol. 9. P. 317–329.
- Martin J. N. (1981). Facts and Events as Semantic Constructs // *Theoretical Linguistics*. Vol. 8. P. 259–285.
- Mellor D. H. (1980). Things and Causes in Spacetime // *British Journal for the Philosophy of Science*. Vol. 31. P. 282–288.
- Mellor D. H. (1998). *Real Time II*. London: Routledge.
- Menzies P. (1988). Against Causal Reductionism // *Mind*. Vol. 97. P. 551–574.
- Mossel B. (2009). Negative Actions // *Philosophia*. Vol. 37. P. 307–333.
- Needham P. (1994). The Causal Connective // *Faye J., Scheffler U., Urchs M. (eds.). Logic and Causal Reasoning*. Berlin: Akademie Verlag. P. 67–89.
- Pianesi F., Varzi A.C. (2000). Events and Event Talk: An Introduction // *Higginbotham J., Pianesi F., Varzi A. C. (eds.). Speaking of Events*. Oxford: Oxford University Press. P. 3–47.

- Silver K.* (2018). Omissions as Events and Actions // *Journal of the American Philosophical Association*. № 4. P. 33–48.
- Simons P. M.* (2000). Continuants and Occurrents // *Proceedings of the Aristotelian Society*. Vol. 74. P. 59–75.
- Stoothoff R. H.* (1968). What Actually Exists // *Proceedings of the Aristotelian Society*. Vol. 42. P. 17–30.
- Swain M.* (1978). A Counterfactual Analysis of Event Causation // *Philosophical Studies*. Vol. 34. P. 1–19.
- Swain M.* (1981). Reasons and Knowledge. Ithaca: Cornell University Press.
- Talmy L.* (1991). Path to Realization: A Typology of Event Conflation // *Sutton L. A., Johnson C., Shields R.* (eds.). *Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. General Section and Parasession on the Grammar of Event Structure*. Berkeley: Berkeley Linguistic Society. P. 480–519.
- Tegtmeier E.* (2000). Events as Facts // *Faye J., Scheffler U., Urchs M.* (eds.). *Events, Facts and Things*. Amsterdam: Rodopi. P. 219–228.
- Ter Meulen A. G. B.* (1985). Progressives without Possible Worlds // *Eilfort W. H., Kroeber P. D., Peterson K. L.* (eds.). *CLS 21: Papers from the Twenty-First Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society. Part 1*. Chicago: Chicago Linguistic Society. P. 408–423.
- Ter Meulen A. G. B.* (1986). Structured Domains for Events // *Journal of Symbolic Logic*. № 51. P. 857.
- Thalberg I.* (1971). Singling out Actions, their Properties and Components // *Journal of Philosophy*. Vol. 68. № 21. P. 781–787.
- Tye M.* (1979). Brand on Event Identity // *Philosophical Studies*. Vol. 35. № 1. P. 81–89.
- van Benthem J.* (1983). *The Logic of Time*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Vermazen B.* (1985). Negative Acts // *Vermazen B., Hintikka M. B.* (eds.). *Essays on Davidson: Actions and Events*. Oxford: Clarendon Press. P. 93–104.
- Wright, von G. H.* (1963). *Norm and Action: A Logical Inquiry*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Wagner-Pacifici P.* (2017). *What Is an Event?* Chicago: University of Chicago Press.
- Whitehead A. N.* (1919). *An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilson N. L.* (1974). Facts, Events, and Their Identity Conditions // *Philosophical Studies*. Vol. 25. № 5. P. 303–321.
- Wolfendale P.* (2014). *Object-Oriented Philosophy: The Noumenon's New Clothes*. Falmouth: Urbanomic.

Event as Object: Towards a Flat-Event Theory

Oksana V. Golovashina

Candidate of Historical Sciences, Researcher, Tomsk State University

Associate Professor, Department of Philosophy and Methodology of Science, Tambov State University

Address: Lenin Ave., 36, Tomsk, Russian Federation 634050

E-mail: ov golovashina@mail.ru

In the article, the author offers an original version of the solution to the problem of the atomicity of social events. The relevance of the topic is due to the fact that it is indivisibility that makes it possible to distinguish an event from other social phenomena/processes. From the author's point of view, the event must have a certain duration, which is atomic. As the first step, the author, relying on a wide range of sources that include the views of various theorists, considers the problem of the indivisibility of social events in the current theory of events. The author notes that logical-semantic interpretations of the indivisibility of events have become more widespread than the statement of ontological atomicity. Furthermore, the author dwells, in detail, on the interpretation of atomicity by observation. Analyzing the views of D. Davidson, A. F. Filippov, and others, the author proves that in the case of atomicity, by observation: (1) the criteria for this atomicity are rather blurred; (2) the event is a consequence not only of the observer's figure, but also of his system of distinction and motives; (3) the complexity may be related to the spatial factor; and 4) the event itself is confused with the fact. The author also believes that limiting social events only to what is available to the human eye is not in line with modern trends. Additionally, the author shows the productivity of understanding the event as an object. In contrast to the participants in discussions aimed at distinguishing an event and an object, the author uses object conceptualization offered by object-oriented ontology. Events, which as objects are capable of change while retaining their indivisibility and stability, can be associated not only with the material but also with the ideal sphere, and have a system of distinctions. The proposed scheme allows us to assert the impossibility of negative events, gives a reason not only to talk about the atomicity of the event but to also emphasize the ontological foundations of this atomicity, and also offers the possibility of thinking about the social beyond the observed.

Keywords: event, event theory, social event, event atomicity, event ontology, object-oriented ontology

References

- Allison P. A. (1982) Discrete-Time Methods for the Analysis of Event Histories. *Sociological Methodology*, vol. 13, pp. 61–98.
- Allison P. A. (1984) *Event History Analysis: Regression for Longitudinal Event*, London: Sage.
- Audi R. (1986) Acting for Reasons. *Philosophical Review*, vol. 95, pp. 511–546.
- Bennett J. (1988) *Events and Their Names*, Oxford: Clarendon Press.
- Bernard T., Champollion L. (2018) Negative Events in Compositional Semantics. *Proceedings of the 28th Semantics and Linguistic Theory Conference* (eds. S. Maspong, B. Stefánsdóttir, K. Blake, F. Davis), Washington: Linguistic Society of America, pp. 512–532.
- Box-Steffensmeier J. M., Jones B. S. (2004) *Event History Modelling: A Guide for Social Scientists*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Box-Steffensmeier J. M., Zorn Chr. (2002) Duration Models for Repeated Events. *Journal of Politics*, vol. 64, no 4, pp. 1069–1094.
- Brand M. (1977) Identity Conditions for Events. *American Philosophical Quarterly*, vol. 14, pp. 329–337.
- Bratman M.E. (1978) Individuation and Action. *Philosophical Studies*, vol. 33, pp. 367–375.
- Bryant L. (2011) *The Democracy of Objects*, Michigan: MPublishing.
- Butler R. J. (1969) On Events and Event-Descriptions. *Fact and Existence* (ed. J. Margolis), Oxford: Blackwell, pp. 84–94.

- Casati R., Varzi A. C. (eds.) (1997) *50 Years of Events: An Annotated Bibliography 1947 to 1997*, Ohio: The Philosophy Documentation Center Bowling Green State University.
- Cornman J. (1971) Comments. *Agent, Action, and Reason* (eds. R. Binkley, R. Bronaugh, A. Marras), Toronto: University of Toronto Press, pp. 26–37.
- Cresswell M. J. (1986) Why Objects Exist but Events Occur. *Studia Logica*, vol. 45, pp. 371–375.
- Davidson D. (1969) The Individuation of Events. *Essays in Honor of Carl G. Hempel* (ed. N. Rescher), Dordrecht: Reidel, pp. 216–234.
- Davidson D. (1980) *Essays on Actions and Events*, Oxford: Clarendon Press.
- Davidson D. (1985) Reply to Quine on Events. *Actions and Events: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson* (eds. E. LePore, B. P. McLaughlin), Oxford: Blackwell, pp. 172–176.
- Dowling R. E. (1967) Can an Action Have Many Descriptions? *Inquiry*, no 10, pp. 447–448.
- Filippov A. F. (2006) *Bazovyj slovar' teorii social'nyh sobytij* [Basic Dictionary of the Theory of Social Events]. *Puti Rossii: Problemy social'nogo poznaniya* [Ways of Russia: Problems of Social Cognition] (ed. D. Rogozin), Moscow: MSSES, pp. 195–208.
- Filippov A. F. (2011) Razvivajaja teoriju sobytij. Stat'ja pervaja: Didakticheskij eksperiment [Developing the Theory of Events. Article One: A Didactic Experiment]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 1–2, pp. 6–18.
- Filippov A. F. (2004) K teorii social'nyh sobytij [On the Theory of Social Events]. *Logos*, no 5, pp. 3–28.
- Goodman N. (1951) *The Structure of Appearance*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hacker P. M. S. (1981) Events and the Exemplifications of Properties. *Philosophical Quarterly*, vol. 31, pp. 242–247.
- Hacker P. M. S. (1982) Events, Ontology and Grammar. *Philosophy*, vol. 57, pp. 477–486.
- Hacker P. M. S. (1982) Events and Objects in Space and Time. *Mind*, vol. 91, pp. 1–19.
- Harman G. (2013) Tristan Garsia i veshh'-v-sebe [Tristan Garcia and the Thing-in-Itself]. Available at: http://tg2rss.planetperl.ru/files/download_843919730308808731.pdf (accessed 11 April 2020).
- Harman G. (2020) Seti i assambljazhi: vozrozhdenie veshhej u Latour i De Landa [Networks and Assemblages: The Rebirth of Things in Latour and De Landa]. Available at: http://vk.com/doc271784829_364999824?hash=13f6d21b3bd8f0f9a2&dl=974725fa2120a601ae (accessed: 1 March 2020).
- Horgan T. (1978) The Case against Events. *Philosophical Review*, vol. 87, pp. 28–47.
- Horgan T. (1980) Non-rigid Event-Designators and the Modal Individuation of Events. *Philosophical Studies*, vol. 36, pp. 341–351.
- Humphreys P. W. (1989) Scientific Explanation: The Causes, Some of the Causes, Nothing but the Causes. *Scientific Explanation* (eds. P. Kitcher, W. S. Salmon), Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 283–306.
- Kautz H. A. (1991) A Formal Theory of Plan Recognition and Its Implementation. *Allen J. F., Kautz H. A., Pelavin R. N., Tenenberg J. D., Reasoning about Plans*, San Mateo: Morgan Kaufmann, pp. 69–125.
- Kim J. (1976) Events as Property Exemplifications. *Action Theory* (eds. M. Brand, D. Walton), Dordrecht: Reidel, pp. 159–177.
- Latour B. (2013) Holberg Memorial Prize Acceptance Speech (Bergen, Norway). Available at: <http://www.bruno-latour.fr/node/522> (accessed 22 May 2020).
- Lawrence N. (1950) Locke and Whitehead on Individual Entities. *Review of Metaphysics*, vol. 4, pp. 215–238.
- Lee S. (1978) Omissions. *Southern Journal of Philosophy*, vol. 16, pp. 339–354.
- Lewis D. K. (1986) Events. *Philosophical Papers*, Vol. 2, New York: Oxford University Press, pp. 241–269.
- Lombard L. B. (1978) Chisholm and Davidson on Events and Counterfactuals. *Philosophia*, vol. 7, pp. 515–522.
- Lombard L. B. (1979) Events. *Canadian Journal of Philosophy*, vol. 9, pp. 425–460.
- Lombard L. B. (1986) *Events: A Metaphysical Study*, London: Routledge.
- Macdonald C. A. (1979) Can Events Change? *Philosophia*, vol. 9, pp. 317–329.
- Martin J. N. (1981) Facts and Events as Semantic Constructs. *Theoretical Linguistics*, vol. 8, pp. 259–285.
- Mellor D. H. (1980) Things and Causes in Spacetime. *British Journal for the Philosophy of Science*, vol. 31, pp. 282–288.

- Mellor D. H. (1998) *Real Time II*, London: Routledge.
- Menzies P. (1988) Against Causal Reductionism. *Mind*, vol. 97, pp. 551–574.
- Mossel B. (2009) Negative Actions. *Philosophia*, vol. 37, pp. 307–333.
- Needham P. (1994) The Causal Connective. *Logic and Causal Reasoning* (eds. J. Faye, U. Scheffler, M. Urchs), Berlin: Akademie Verlag, pp. 67–89.
- Parsons T. (2002) O teorii i metateorii [On Theory and Metatheory]. *Teoreticheskaja sociologija. Ch. 1 [Theoretical Sociology, Part 1]* (ed. S. Bankovskaya), Moscow: Universitet, pp. 43–59.
- Pianesi F., Varzi A.C. (2000) Events and Event Talk: An Introduction. *Speaking of Events* (eds. J. Higginbotham, F. Pianesi, A. C. Varzi), Oxford: Oxford University Press, pp. 3–47.
- Silver K. (2018) Omissions as Events and Actions. *Journal of the American Philosophical Association*, no 4, pp. 33–48.
- Simmel G. (1996) Problema istoricheskogo vremeni [The Problem of historical Time]. *Izbrannoe, T. 1 [Selected Papers, Vol. 1]*, Moscow: Yurist, pp. 517–530.
- Simons P. M. (2000) Continuants and Occurrents. *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 74, pp. 59–75.
- Stoothoff R. H. (1968) What Actually Exists. *Proceedings of the Aristotelian Society*, vol. 42, pp. 17–30.
- Swain M. (1978) A Counterfactual Analysis of Event Causation. *Philosophical Studies*, vol. 34, pp. 1–19.
- Swain M. (1981) *Reasons and Knowledge*, Ithaca: Cornell University Press.
- Talmy L. (1991) Path to Realization: A Typology of Event Conflation. *Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. General Section and Parasession on the Grammar of Event Structure* (eds. L. A. Sutton, C. Johnson, R. Shields), Berkeley: Berkeley Linguistic Society, pp. 480–519.
- Tegtmeier E. (2000) Events as Facts. *Events, Facts and Things* (eds. J. Faye, U. Scheffler, M. Urchs), Amsterdam: Rodopi, pp. 219–228.
- Ter Meulen A. G. B. (1985) Progressives without Possible Worlds. *CLS 21: Papers from the Twenty-First Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, Part 1* (eds. W. H. Eilfort, P. D. Kroeker, K. L. Peterson), Chicago: Chicago Linguistic Society, pp. 408–423.
- Ter Meulen A. G. B. (1986) Structured Domains for Events. *Journal of Symbolic Logic*, vol. 51, pp. 857.
- Thalberg I. (1971) Singling out Actions, their Properties and Components. *Journal of Philosophy*, vol. 68, pp. 781–787.
- Tye M. (1979) Brand on Event Identity. *Philosophical Studies*, vol. 35, pp. 81–89.
- van Benthem J. (1983) *The Logic of Time*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Vermazen B. (1985) Negative Acts. *Essays on Davidson: Actions and Events* (eds. B. Vermazen, M. B. Hintikka), Oxford: Clarendon Press, pp. 93–104.
- Wright, von G. H. (1963) *Norm and Action: A Logical Inquiry*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Wagner-Pacifici P. (2017) *What Is an Event?* Chicago: University of Chicago Press.
- Whitehead A. N. (1919) *An Enquiry Concerning the Principles of Natural Knowledge*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Wilson N. L. (1974) Facts, Events, and Their Identity Conditions. *Philosophical Studies*, vol. 25, pp. 303–321.
- Wolfendale P. (2014) *Object-Oriented Philosophy: The Noumenon's New Clothes*, Falmouth: Urbanomic.

The Power of Corruption: Xenophon on the Upbringing of a Good Citizen in Sparta*

Aleksandr Mishurin

PhD in Political Science, Associate Professor, Faculty of Political Science,
State Academic University for the Humanities
Address: Maronovskiy pereulok, 26, Moscow, Russian Federation 119049
E-mail: amishurin@gaugn.ru

In the given article, the author offers an interpretation of the work titled *Lacedaimonion Politeia*, written by the ancient political philosopher Xenophon of Athens. Judging from Xenophon's sober and open-minded attitude to the regime he researches, the author focuses on the central issue of the treatise, namely, the upbringing of a virtuous or good citizen. This became the cornerstone of Sparta's success as a polis, and provided it with a fame as a unique political entity praised by all, but copied by none. The author identifies the three stages of the Spartan education given by Xenophon and continues with the practices of its implementation at a mature age. The research makes it clear that the purpose of the laws of Lycurgus, as described by Xenophon, is twofold. On the one hand, the given laws instill respect, obedience, and the virtue of manliness which the lawgiver desired in citizens. On the other hand, the laws create citizens who merely imitate the above-described traits of character and law-abidance, and who are actually more like unmitigated criminals constantly fighting with each other. It is the second type of people—good criminals—who find themselves in power in Sparta, and they are the ones who end up destroying the Spartan state. By providing this diagnosis of the Spartan regime and the laws of Lycurgus, Xenophon attempts to show that handling the problem of the education of good citizens as suggested in Sparta is misguided and requires additional deliberation.

Keywords: Xenophon, Sparta, virtue, imitation, upbringing, education

Sparta was and remains one of the most remarkable political phenomena in history. However, due to the closed nature of the polis,¹ even its contemporaries knew little about the Spartan regime and its way of life. Rather, like us, they had only a general notion of it, for the creation and spreading of which the Spartiates themselves took little or no credit. Nowadays, this conception is traditionally referred to as “the Spartan mirage” (Rahe, 2016: 2). Various features of “the Spartan mirage” have been highlighted over the years since the Renaissance, depending on the political tasks they were meant to solve.

N. Machiavelli viewed Sparta as a model of a perfect and stable republic (2007: 24), armed and free (2008: 223). J.-J. Rousseau was impressed by the simple and noble way of

* Статья подготовлена при финансовой поддержке в рамках выполнения государственного задания ГАУГН по теме «Современное информационное общество и цифровая наука: когнитивные, экономические, политические и правовые аспекты» (FZNF-2020-0014).

I must express my gratitude to Prof. Alexander Filippov for his valuable remarks and guidance.

1. I will treat the terms “polis” and “state” as interchangeable.

life of Spartan society, including the patriotism, manliness, and solidarity prevailing in it (Shklar, 1966; Oprea, 2019; Mason, 2018: 670–675). The Enlightenment thinkers and French revolutionaries considered Sparta to be a prototype of the proper approach to mass education (Mehta, 2016; Morris, 2004). For German thinkers since the XVIII century, Sparta has been either the embodiment of orderliness, discipline, and militarism (Roche, 2012a; Rebenich, 2018: 688–692) or a model of elitism (Rebenich, 2018: 692–696), or even the forerunner of totalitarianism (Rebenich, 2018: 696–700; Roche, 2012b).

The classical political philosophers were far more critical of Sparta. In the *Republic*, Plato states that the Spartan regime represents a stage of the decay of the ideal state, the “intermediate between aristocracy and oligarchy” (1942: 547c7–8), doomed to degenerate into oligarchy as a result of the private enrichment of its citizens (550d2–e10). The criticism in the *Laws* focuses mainly on the idea that Spartan laws are established only with war in mind and that the polis cultivates only the lowest virtue, namely, manliness, in its citizens (1926: 630b9–d7). Aristotle confirms this view in the *Politics* (1932: 1271a41–b3), though he criticizes far more aspects of the Spartan regime (Lockwood, 2017). Aristotle lists issues with helots, Spartan women, and property (and the scarcity of people as its consequence), as well as issues with the power of ephors, members of the Council of Elders, and navarchs, and problems with shared meals and state finances (1932: 1269a29–1271b19).

On the other hand, both Plato and Aristotle highly appreciate the Spartan regime as they both describe Sparta as the state that claims to be the closest to the best regime. In this context, the study of the polis or its parts (Powell, 2015: 92) contributes to the study of the issue of the best regime. Formulated differently, although Ancient Greek philosophers were critical of the state-military camp (Plato, 1926: 666d9–667a5; Aristotle, 1932: 1271a41–b3),² they employed their knowledge of Sparta to handle more essential concerns. Perhaps the main one among them is the question of virtue (ἀρετή). The best regime is not the most stable or the richest or the most free but, rather, the regime that can make its citizens into the best men; it is the regime that can make its citizens virtuous. All the characteristics of a good regime that seem to be key today are based particularly on the virtuousness of the citizens. Therefore, the political, a regime, deserves serious attention if it can instill at least one virtue, even the lowest one, into the citizens.³

Unlike Plato and Aristotle, Xenophon of Athens did not write a work dedicated to the problem of the best regime. However, as fate would have it, he was as close to Sparta as was possible for a non-Spartan. Xenophon described the Spartan regime in his treatise titled *Lacedaimonion Politeia*.⁴ While there has been a surge of interest in his heritage since the second third of the twentieth century, Xenophon remains a problematic figure in the

2. This idea has been questioned recently, though no major achievements have been made (see Hodkinson, 2006: 111–162).

3. For example, Plato did not believe that it could be done. In *The Republic*, Plato states that most of the citizens cannot be made truly virtuous; they can only have some substitutes for virtues (Lutz, 1997).

4. It partially made Xenophon one of the creators of “the Spartan mirage”, along with Plutarch, Isocrates, and others.

history of philosophy, and his works continue to stir up a seemingly endless dispute.⁵ The discussion surrounding the *Lacedaimonion Politeia* is interesting and ample proof of the given dispute, which distinguishes three main positions towards Xenophon and his work. The first position is that Xenophon was a simple and consistent laconophile, and the *Lacedaimonion Politeia* is an unscrupulous encomium to Sparta (Cartledge, 1999: 318–321; Gray, 2007: 231). The second position is that Xenophon was a laconophile at some point in his life but changed his mindset, and this change could be clearly seen in the *Lacedaimonion Politeia* (Tigerstedt, 1965: 159–179; Dillery, 2017: 199–201; Powell, 2018: 5, 8). The third position is that Xenophon was not a laconophile, and his “encomium” is an example of applying the Socratic irony to the Spartan regime (Strauss 1939).⁶ It is a rarity among the most notable and active researchers of Xenophon’s legacy to hold the idea that the *Lacedaimonion Politeia* is a philosophical treatise and that its author can take an unbiased look at, analyze, and describe both the advantages and disadvantages of the regime under investigation (Humble, 1997, 2004, 2012, 2018a). However, one should accept the above-mentioned point of view if one intends to carefully approach the study of Xenophon’s philosophy in general, and his work *Lacedaimonion Politeia* in particular.

Aside from the problematic character of the author’s and the treatise’s (pro-Spartan or anti-Spartan) orientation, the *Lacedaimonion Politeia* has a set of features that presents difficulties for modern scholars. It is still not clear as to when the work was written.⁷ The relationship between the *Lacedaimonion Politeia* and the works of Plato and Isocrates is a problem (Humble, 2018a, 2018b). No less opaque are the relations of the treaty with the common Greek views on Sparta.⁸ The role of the clearly noticeable citations and self-citations in the *Lacedaimonion Politeia* remains nebulous, as well as the relationship between images of Sparta and Persia, described in the *Lacedaimonion Politeia* and the *Cyropaedia* (Tuplin, 1994: 127–181).⁹ The problems arise with respect to the treatise’s title, which seemingly fails to reflect the content of the treatise (Strauss, 1939: 502; Proietti, 1987: 47).¹⁰ The work formally devoted to the description of the Spartan political system scarcely describes its functioning, its composition, and the structure of its political

5. Even in the late 20th century, researchers had to dispel myths about Xenophon being a poor historian and narrow-minded thinker (see Proietti, 1987). Major scholars of Xenophon’s heritage often did not want to identify him as a philosopher. For example, Eugene Tigerstedt puts Xenophon in the historical section of his monumental work on Sparta and refuses to mention Xenophon in the philosophical section (1965).

6. It should be noted separately that there is a fourth position that is not raised nowadays, but could still be feasible — namely, that Xenophon might not be the author of the *Lacedaimonion Politeia* (see Chrimes, 1948; Talbert, 2005).

7. The critical nature of Chapter XIV of the treatise supports the popular view that the *Lacedaimonion Politeia* was written after the Spartan defeat in the battle of Leuctra but before the battle of Mantinea (Dillery, 2017: 200). However, there is no external evidence of this view (see Lane, 2016: 124).

8. Especially considering the almost polemic nature of the treatise reflected by the systematic contrast of Sparta and the rest of the Greek poleis (Ducat, 2006: 6).

9. According to Christopher Tuplin, Xenophon does not try to show the readers Sparta, depicting it as Persia in the *Cyropaedia*. In this regard, Tuplin compares various aspects of Sparta and Persia, such as royalty, the concept of “equals”, shared meals, education, etc. However, he disregards the possibility that Persia, as described by Xenophon, could be his idealized version of Sparta.

10. Leo Strauss believes that the titles of Xenophon’s works purposely confuse the readers (1975: 117).

institutions (Proietti, 1987: 46–47; Tigerstedt, 1965: 163).¹¹ Xenophon even conceals the existence of some political institutions and does so not out of ignorance.¹² Particular attention should be paid to the puzzling structure of the work which contains a chapter clearly dispelling its original thesis. Chapter XIV of the *Lacedaimonion Politeia* is often criticized, as it is said to be written after the main bulk of the treatise, or even not issued from Xenophon's pen at all (see Proietti, 1987: 45–46; Strauss, 1939: 521–525; Tigerstedt, 1965: 168–169; Lipka, 2002: 27–31).¹³

All of the aforementioned aspects complicate the understanding of the *Lacedaimonion Politeia* as an integral work, especially considering its small size. However, the treatise content indicates that the key topic of the treatise is the upbringing of a good or virtuous citizen.¹⁴ Most of the treatise is devoted to the description of peaceful life (Chapters I–X and XV), while only the fifth part (Chapters XI–XIII) depicts war (both preparations for war and waging war). Chapter XIV delves into the results—or, rather, the failure—of Spartan education, which (and not the defeat in military actions) led to the decay of the Spartan regime. Though the military education went hand in hand with the civil education and could hardly be separated from it, just as the social roles of a citizen and a soldier are intertwined, it is perfectly clear exactly what Xenophon emphasized in the treatise.

Finally, it should not go unmentioned that the article does not focus on revealing any historically accurate or verified facts about the Spartan regime. Trying to see the “real” Sparta in the Sparta described in the *Lacedaimonion Politeia* would be tantamount to trying to see the “real” historical Socrates in the *Symposium* or the *Apology* (cf. Ducat, 2006: 21–22). The article addresses Xenophon's philosophy, thoughts, and views contained in this and, partly, in some of his other works.

Childhood, Adolescence, Youth

All over Greece, literacy, music, and gymnastics are the first steps in the education of a future citizen (Xenophon, 1968: II, 1). However, the Spartan system of education immediately stands out from the rest.¹⁵ First, Spartan children are educated centrally by

11. Xenophon describes only the formation and function of the Council of Elders, and partially notes the functions of the ephors and royal power, leaving unmentioned that, officially, Sparta is governed by two kings (see Strauss, 1939: 526).

12. For example, the existence of the Little Assembly in Sparta is known from the *Hellenica* only (Xenophon, 1961: III, 3, 8).

13. Though there is a similar chapter in the *Cyropaedia* that also disproves the content of the work (Xenophon, 1914: VIII, 8).

14. The use of the term ‘citizen’ is a tribute to the time and not an attempt to match and reflect the term ‘equal’ (ὅμοιος) used by Xenophon.

15. All but one fundamental statement of the treatise are formulated by contrasting Sparta with other Greek states. The upbringing and lifestyle of free women are contrasted in I, 3–4; marriage and childbearing are contrasted in I, 5–10; upbringing and education of boys are contrasted in II, 1–5; the practice of pederasty is contrasted in II, 12–15; the education of adolescents is contrasted in III, 1–3; the physical activity of mature men is contrasted in IV, 7; dining practice is contrasted in V, 2; the physical development of adults is contrasted in V, 8–9; the attitude towards children and property is contrasted in VI, 1–5; the professions and wealth ac-

the state; Spartan education is not private. Second, the state itself decides what subjects to teach and what training methods to use to make virtuous or good citizens out of Spartan boys (II, 2–8). Spartan education includes the following subjects: physical endurance, stealing, and submission.¹⁶ Xenophon dwells on all subjects in detail. To develop physical endurance, the boys are forced to walk barefoot, wear one type of clothing all year round, and get an insufficient amount of food and sleep (II, 3–5 and 7).¹⁷ To teach the boys to submit (in other words, to respect the authorities and obey the superior's orders),¹⁸ the boys are constantly surveilled, either by their direct supervisor—the warden (*παιδονόμος*), or the commander of a division (*εἵρην*)—or by any citizen of the polis. Only fear of punishment motivates the boys to obey orders and respect their superiors (Xenophon, 1968: II, 2, 10–11 and VI, 2; Powell, 2018: 37; Rahe, 2016: 12; Humble, 2018a: 564–565). As a result, a future citizen lives under surveillance from an early age. The surveillance goes hand in hand with the fear of immediate punishment. Spartan education seems to concentrate only on punishment (Humble, 2018a: 563–564; Christensen, 2016: 387; Hodkinson, 2005: 248). To teach the boys to steal, they are not given enough food, and to teach the boys to steal well, those who get caught stealing are severely punished (Xenophon, 1968: II, 2, 5–9).¹⁹ Formulated differently, the polis trains its future citizens to violate the laws effectively, which requires the following: the impetus for the violation (hunger), the minimization of the possibility of it (surveillance), and the immediate severe punishment of unsuccessful criminals.

cumulation of citizens are contrasted in VII, 1–2; the best citizens' attitude towards the authorities is contrasted in VIII, 1–2; the power of the highest authority is contrasted in VIII, 4; the treatment of cowards is contrasted in IX, 4–6; the attitude towards virtue is contrasted in X, 4; the treatment of non-virtuous citizens is contrasted in X, 5–6. Finally, in X, 8, Xenophon concludes that the Spartan practices are uncommon for other states that praise them, and yet no state wants to copy them. However, despite this conclusion, Xenophon continues to contrast. First, one could say that all “military” chapters aim to show that “Lycurgus’ organization of the army on active service was better than other systems” (1968: XI, 1). Secondly, Xenophon opposes the stability of the Spartan regime to the instability of other regimes (XV, 1).

16. Xenophon leaves literacy, music, and gymnastics in the Spartiates' training unmentioned. There are two opposite explanations of this feature of his work. Strauss (1939: 507) believes that, by doing so, Xenophon exposes the absolute indifference of the state to the cultivation of corresponding skills in boys. Michael Lipka (2002: 116) states that the assumption fails to agree with the external data and modern views on Sparta: “Undoubtedly, music was essential to the Spartan education and the majority of the Spartiates were partly literate”. Yet these two explanations can be combined without major problems; though the state did not teach the Spartiates these subjects, this does not mean that the Spartiates could not receive basic education elsewhere, for example, at home or during military expeditions (Xenophon, 1968: XII, 5–6; Ducat, 2006: 119–135 and 333–334; Hansen and Hodkinson, 2009: 485–488).

17. A noteworthy detail is that the goal list of physical training of Spartan boys is almost identical to Socrates' list of self-control (*ἐγκράτεια*) given in the *Memorabilia*, which includes: endurance of a lack of food, wine, sex, and sleep, and endurance of hard labor, heat, and cold (2013a: I, 2, 1 and 5, 1; II, 1, 1). According to Xenophon, the Spartan citizens cannot control themselves when it comes to wine consumption, which will be developed further below.

18. Xenophon uses the special terms *πειθω* (obedience) and *αἰδώς* (shame/respect) to denote the discussed traits. Lipka investigates their meaning in Xenophon's works (2002: 119–120).

19. Almost all authors, starting with Strauss, believe that the polis purposely teaches the Spartiates to steal (Strauss, 1939: 507–509; Proietti, 1987: 49; Humble, 2018b: 68; Ducat, 2006: 6; Rahe, 2016: 13; Tuplin, 1994: 156–157). However, some exceptions can be found. For example, Paul Christensen thinks that teaching to steal is an accidental side-effect of the Spartan education system (2016: 389).

How does the teaching to submit couple with the teaching to violate laws effectively? It seems that the lawgiver Lycurgus' thought was to train future citizens to display their absolute loyalty to the authorities publicly from an early age.²⁰ The lawgiver believed that one could not instill full orderliness in citizens. However, he considered the public imitation of orderliness to be achievable. The punishment for any fault noticed by a superior would train the boys to be in awe of their superiors (*αἰδώς*), and, thus, to obey all their orders (*πείθω*). However, this means that as soon as the boys manage to escape surveillance or as soon as their supervisors are not there, the necessity of following the laws of the polis immediately falls away, as this is closely connected to punishment which in itself is contingent on the success of the surveillance. The motivation to follow the laws and behave correspondingly is always external.²¹ Still, to give a boy an opportunity to violate the law and to force him to do so through teaching are two different matters. To understand the educational goal of the effective violation of laws, one should analyze the whole education process as well as its results.

When boys enter adolescence,²² their “self-will makes strong root in mind, a tendency to insolence manifests itself, and a keen appetite for pleasure in different forms takes possession” (III, 2).²³ To stifle their vicious desires, the polis imposes some unnamed works on adolescents (*Ibid.*). In doing so, both the authorities and, most notably, the relatives of the adolescents are charged with monitoring the adolescents to ensure that they perform that work. The surveillance is escalated (unlike boys, adolescents cannot find relief even at home, and thereby lose a great part of their privacy). Along with this, the punishment is more severe. An adolescent found skulking around loses some unnamed political benefits.²⁴ Obviously, adolescents do not need to be forced to steal food. They have already completed this stage of their education, and can now eat with the elders (III, 5; V, 5). At this educational stage, adolescents are taught to dodge the responsibilities that the state imposes on them. The stimulus increases alongside the task complexity (escalation of the surveillance and punishment) and the benefits reaped from effective law violation. According to Xenophon, Lycurgus was quite aware that a natural desire increases when it is limited or stifled (I, 5). That is why limiting the adolescents' natural pursuit of pleasure, insolence, and self-will only excites them, and provokes the strongest and most capable of them to violate the laws successfully.

Adolescents are still trained to be in awe of their superiors. They must keep their hands under their clothes, keep silent until the elders speak to them, and not look up (III, 4–5). This somewhat trivial remark is accompanied by a commentary on the first

20. Some scholars believe that it refers to the obedience of the authorities and not the laws (Proietti, 1987: 59; Lane, 2016: 125).

21. According to Xenophon, the Spartiates are immoderate. See note 25 (cf. Hodkinson, 2005: 248; Humble, 1997: 197–198 and 204–205).

22. Tuplin presents the table illustrating the stages of Spartan education and the corresponding age for each stage (1994: 153).

23. All the citations are taken from the 1968 edition of the text translated by E. C. Marchant.

24. Xenophon's *Anabasis* describes Dracontius the Spartiate, who, as an adolescent, killed another boy by accident and was exiled (1998: IV, 8, 25).

stage of the strife (έρις) with which the future citizens become acquainted; the contest between the sexes (cf. Strauss, 1939: 505–506). Adolescents who have never been taught to be moderate (even the above-mentioned requirements for their behavior are classified as αἰδώς and not as σωφροσύνη (see Xenophon, 1968: III, 4) should be superior to girls in terms of moderation and respectful behavior.²⁵

The strife is only aggravated when the adolescents become young males. Now, the state seeks to instill in them “the spirit of rivalry” (φιλονικία) (IV, 2).²⁶ With this view, the ephors choose the three best young males; then, each of them recruits a body of troops of one hundred peers, “stating his reasons for preferring one and rejecting another” (IV, 3). After that, strife breaks out between the groups of the chosen and ignored young males, and sometimes takes the form of open enmity. The young males try to publicly prove their superiority, watch each other constantly, and wait until their rival makes a slip which is then immediately denounced to the authorities and punished (IV, 4–5). It seems that this, together with the strife that escalates into hostility and open conflicts between young males, is part of the education process. Any citizen can break them up, and if some young males refuse to obey, they can be brought to the ephors for punishment (IV, 6). It is, however, only partly true (*Ibid.*).

The main goal of the educational stage being discussed is φιλονικία, virtue (ἀρετή),²⁷ or political strife in the highest sense (πολιτικωτατή έρις), inherent in a good man (ἀγαθός). The final educational stage places even more pressure on a future full-fledged Spartiate. Now, not only are the authorities, the citizens, and his relatives surveilling him, but so, too, are his peers. A previously homogeneous group of peers breaks up. The punishment becomes even more severe than before. Though Xenophon does not mention this explicitly, it is clear that a young male who fails to undergo this educational stage labels himself as a coward (surely, the educational goal is to display and imitate manliness). Later, Xenophon clearly illustrates that Sparta is no place for cowards (IX, 3–6; X, 5–7). The fact that the people punishing the young males are those who have the highest authority, i.e., the ephors, and not the citizens or lower ranks (who punished a delinquent in the previous stages) indicates the gravity of the punishment.²⁸ Seemingly, all the discussed schemes are aimed at providing instruction in the successful violation of

25. This is the only reference to moderation in the entire work (except for XIII, 5, where the meaning of the term “moderation” is quite limited). While only one feature of moderation, taciturnity, is mentioned in the context, it hardly allows for the comparison of this “moderation” to the philosophical moderation of Socrates as seen in the *Memorabilia*. Socrates is moderate, but he cannot be called taciturn. One could say that it is another criticism of Spartan women; the boys who have never been trained to be moderate are still much more moderate than the Spartan girls.

26. Mentioning this, Xenophon points out, for the first and only time, that Lycurgus borrowed the idea and principles of the practice from other Greeks. This remark demands attention, since the bulk of the treatise is formulated through the contrast between Sparta and other Greek states. See note 15.

27. All commentators agree that, here, virtue is understood solely as manliness (Strauss, 1939: 520–521; Lipka, 2002: 143). The list of Socrates’ virtues from the *Memorabilia* does not include manliness (Xenophon, 2013a: IV, 8, 11). See note 30.

28. Though Xenophon never openly claims that the ephors have the ultimate state power, his description of the Spartan state institutions does not allow for any another conclusion (Strauss, 1939: 526). Apparently, other third-party sources verify this (see Hodkinson, 2005: 239).

laws. This is clearly aligned with the declared educational goal at this stage. Alongside the already-known purely formal submission to the authorities and the laws, stemming from the fear of getting caught and being punished, future full-fledged citizens are taught to be manly. However, a closer look reveals that this is wrong. The public demonstration of manliness, and not the upbringing of manly people, is discussed from the very beginning. This is shown by the already uncovered features of the Spartan education, some passages from Chapter IV, and the following chapters.

The chapter opens (IV, 2) with a statement that attracts attention as it differs in style from the previous and following passages in the text.²⁹ Lycurgus saw “that where the spirit of rivalry (*φιλονικία*) is strongest among the people, there the choruses are most worth *hearing* and the athletic contests afford the finest *spectacle*. He believed, therefore, that if he could match the young men together in a strife of valor, they too would reach a high level of manly excellence”³⁰ (emphasis added). Thus, the lawgiver’s aim was not to instill manliness in the citizens’ hearts, but to force them to imitate virtue and to do so publicly. The groups of young males should fight with each other whenever they meet to show their manliness, but their “manliness” should never outshine their submission to the superiors (IV, 6). In adult life, the imitation of manliness is supported by numerous punishments for cowards, punishments that are harder to bear than a “brave” death (IX, 3 and 6). There are the following punishments for cowards: exclusion from shared meals, gymnastic competitions, and collective games; the humiliation of a change in status in society (the “ignominious” places in choirs, the demand to make way for juniors, the prohibition to act normal); and the preclusion of getting married and giving daughters to marriage (IX, 4–5). The final stage of social exclusion is the loss of citizenship (X, 7).

Naturally, military battle is the key element of the imitation of manliness. Xenophon gives due consideration to this question. Since imitation is closely associated with sight and hearing, it could be called ‘image’ nowadays. The lawgiver did a great deal to ensure that the Spartiates cultivated the image of manly warriors. First, a manly warrior apparently has a strong body. To shape such a body, Lycurgus issued several eugenic laws (I, 4–8),³¹ cut the food allowance of adults and children to prevent them from gaining weight (II, 5; V, 8), and introduced physical activity for children and young males (stealing and fighting) (II, 6–7; IV, 6), as well as for adults (hunting and dancing) (IV, 7; V, 9)³² and soldiers in the field (gymnastics) (XII, 5). Secondly, a manly warrior must look terrifying. That is why the lawgiver provided the Spartiates with red cloaks (“because he

29. I have already stated why this statement stands out from the text. See notes 15 and 26.

30. In the *Lacedaimonion Politeia*, Xenophon never uses the word “manliness” (*ἀνδρεία*) and always uses its substitutes: *ἀνδραγαθία* (IV, 2), *ἀρετή* (IV, 2 and IX, 2), and *ἀγαθός* (IX, 2–3). Xenophon literally denies manliness to the Spartiates.

31. However, Xenophon does not state that the practice leads to the desired effect (I, 10; cf. II, 15).

32. Certainly, Xenophon would not mention dancing openly (he does not mention the choirs openly; choir practice of the Spartiates is mentioned in Xenophon’s description of the cowards’ exclusion from the “good” places in the choirs (IX, 5)). Xenophon mentions that Lycurgus managed to make the Spartiates healthy and strong in the body (V, 9) as they “train the legs, arms and neck equally”. Xenophon only once uses this formula in the *Symposium*, when Socrates jokes that dancing is the best gymnastics, as “no part of (a) body was idle during the dance, but neck, legs, and hands were all active together” (2013b: 2, 16); and Xenophon himself

believed this garment to have the least *resemblance* to women's clothing and to be most suitable for war" (emphasis added) and brass and not bronze shields ("because it is very soon polished and tarnishes very slowly"—in other words, it *looks* shiny longer) and let their hair grow as barbarians do ("believing that it would make them *look* taller, more dignified, and more terrifying") (emphasis added) (XI, 3; cf. XII, 5). They marched into battle with wreaths on their heads, polished weapons, and oiled hair ("to *look* cheerful and earn a good report") (emphasis added) (XIII, 8–9). The lawgiver invented another way to imitate manliness for aged Spartiates who cannot be warriors any longer, and thus cannot demonstrate their manliness in sparring (as the young males do) or in battles (as the adults do). The aged men still evince their manliness publicly through the war of words for an elective position in the Council of Elders (X, 3).³³ Once again, punishment motivates them to engage in strife. However, now the men are motivated not by the threat of punishment due to non-participation or defeat but, rather, by the power to punish as a result of winning the strife: Xenophon describes the only function of the Council of Elders being the capital punishment court (Xenophon, 1968: X, 2; VIII, 4; Humble, 2018a: 567).

The question of the imitation of the virtue of manliness seems to be the core question of imitation in general, that is, of imitation as a consequence of Spartan education. The statements on manliness given in three different chapters prove this. In Chapter IX, Xenophon states that citizens' manliness glorifies and strengthens their fatherland; "glory adheres to the side of valor, for all men want to ally themselves somehow with the brave" (1968: IX, 2). The statement is referred to again, and somewhat supplemented, in Chapter X: if the state's power and glory depend on the manliness of its citizens, then cowards, by virtue of their very existence, commit the supreme crime against the state (X, 4 and 6). Crucially, Chapter XIV, in which Xenophon accuses the Spartiates of the dereliction of the laws of Lycurgus, states that if the Greeks previously wanted to be allied with the Spartiates (when they obeyed the laws of Lycurgus), they now want to join their forces against the Spartiates (XIV, 6). The combination of these three statements creates the following picture. Lycurgus thought that the citizens' demonstration of only one virtue, namely, manliness, could make Sparta a strong polis. However, Lycurgus reached "the utmost limit of wisdom" (I, 2) and understood that people could not be made manly. The mere understanding of this fact does not show his wisdom which lies in his identifying the solution to the issue. Instead of trying to achieve the impossible and to instill the virtue of manliness in his citizens, he decided to force them to imitate the virtue. Apparently, this approach worked up to a point. To understand what ruined Sparta and the legislation of Lycurgus, one should move from education to the implementation of its results.

confirms this later (2, 22). This explains why the chapter about binges concludes with a statement about strong and healthy people, as alcohol, group activities, and dancing are interrelated.

33. It is worth drawing attention to the fact that Xenophon mentions in the passage again that this demonstration has something in common with choral and gymnastic contests that should be enjoyable for the audience (cf. 1968: IV, 2).

Maturity

In adult life, the Spartiates must obviously maintain the gained-through-training skills of the public imitation of respect, obedience, and manliness. The lawgiver invented several unique mechanisms in this regard. The most important among them, as Xenophon shows, is limiting privacy; that is, limiting the situations in which a male Spartiate could get away from the eyes of other male Spartiates and escape from surveillance and public strife (Ducat, 2006: 17). Xenophon starts a discussion of the topic with the most fundamental thing, food. Adult Spartiates are precluded from eating at home, as this activity is “responsible for a great deal of misconduct” (1968: V, 2).³⁴ However, a Spartiate is still permitted by law to stay out of sight after meals. Citizens, as drunk as drunk can be, walk home without torchlight; no one should see a Spartiate drunk, crawling on his hands and knees. At the same time, no one should find a Spartiate sleeping by the side of the road the following morning (V, 7).³⁵ The lawgiver’s idea seems simple: one can hardly ban alcohol, but one can prohibit the citizens from showing the unpleasant consequences of alcohol consumption.

The next matter at hand in terms of limiting privacy is property, including children. To instill obedience and respect, any elder is known to command juniors and punish them for any offense (VI, 2). However, the context of the chapter points to another side of this practice, namely, the preclusion of fathers from their overwhelming right to control and punish their children. The Spartiate’s family hearth is ruined partly by this, partly by adultery (referred to below), and partly by strife, as neither his children or his wife, nor his relatives can be close to him and belong to his private circle. As to property, the ideas of Lycurgus are also consistent. On the one hand, an adult citizen can always seize someone else’s property. If the property seized can resist the seizing, the Spartiate must obtain the consent of its owner to do so; if not, consent is not needed (VI, 3–4). On the other hand, the description of seizing property without the owner’s consent given by Xenophon *de facto* depicts a successful criminal act. Two versions are provided. If the ‘usurper’ takes something too valuable, which can be easily discovered or whose possession cannot be concealed, that is, if he fears getting caught, he can return everything stolen unnoticed after having used it. The property remains with the thief if the ‘taken’ can be easily hidden or used without a trace, as no-one can be charged with the seizing. The reason for such permission from the state lies not only in maintaining and cultivating skills gained through training, but also in the provision of the climate of strife and limiting citizens’ privacy. If they let down their guard, the Spartiates may irreparably lose their property.

34. The rule applies even to the Spartan kings (1968: XV, 4–5), presumably for the same purpose.

35. There are two opposing viewpoints on the mentioned drinking custom. According to Strauss, Lycurgus supported drunkenness, allowing drinking alcohol like water “to quench the thirst” (1939: 515). Describing various discrepancies, Lipka assumes that the laws prohibit the Spartiates from getting drunk (2002: 153–154). In doing so, Lipka cites an obviously mocking remark (Xenophon, 2013b: 1, 1) made by Xenophon’s Socrates in the *Symposium* (2013b: 2, 25). However, the context of the chapter (doddering drunk Spartiates) and its message rather refers to Plato’s *Symposium*, which describes drinking “to quench the thirst” as a nonsensical binge (1925: 214a8–b2).

None of the property belongs to them in the full sense of the word. An unexposed crime counts for nothing in the state that brings up criminals. This is what Xenophon underlines by saying that Lycurgus believed that “enslavement, fraud, robbery, are crimes that injure only the victims of them; but the wicked man and the coward are traitors to the whole body politic” (X, 6). Formulated differently, the lawgiver was quite aware that the existence of the state ranks above the well-being of its citizens. Hence, the latter may be (and apparently should be) sacrificed for the benefit of the former.

Concerning wealth accumulation, Xenophon keeps describing a familiar image. Income inequality (Xenophon, 1968: I, 9 and VI, 5; Hodkinson, 1994: 192–193) in a society in which privacy is absent or almost absent, and that instigates its citizens to contest by the state seems to inevitably result in conspicuous consumption (Xenophon, 1968: XIV, 3). The laws race to the rescue. Firstly, an honest and open way to enrich is prohibited; a Spartiate cannot pursue any profession except the trade of war (VII, 1–2). Secondly, it is impossible to enrich honestly and secretly due to Sparta’s currency, the possession of which cannot simply be kept unnoticeable (VII, 5). Thirdly, never-endisng searches are conducted to reveal the items of value obtained through secret and dishonest enrichment, items of great value that can be easily hidden, e.g., gold and silver (VII, 6). These searches apparently indicate that there are such violators.³⁶

As to the display of the skills of public submission in adulthood (that is, obedience and respect for the authorities), Xenophon provides two basic examples in peaceful and military life. The example of submission in military life is continuing a battle in a broken phalanx (XI, 6–7). Other Greeks can hardly understand why the Spartiates do not run when the troops are defeated, but the Spartiates never retreat without order. In the grip of strife, public submission, and the fear of leading the life of a coward, Spartan soldiers have no other choice but to continue to fight. That is why, compared to the Spartan combat formation and tactics, it “is not so easy to grasp, except for soldiers trained under the laws of Lycurgus” (XI, 7). As to peaceful life, the most powerful Spartiates “show the utmost deference to the magistrates: they pride themselves on their humility, on running instead of walking to answer any call” (VIII, 2). However, the citizens in the other Greek states consider the ability to disobey the authorities as a display or proof of their power. It seems that there are three main reasons for this. Certainly, the first one is the punishment discussed in the same chapter. The ephors rule “like tyrants” and immediately punish anyone who was noticed engaging in illegal conduct (VIII, 4). The second one is to set a pattern of ardent obedience to the authorities for other citizens (VIII, 2). The third one, apparently, is personal interest. The powerful Spartiates have a vested interest in Spartan discipline and, thus, maintain it in every possible way (cf. Proietty, 1987: 57). Xenophon hints at this several times. First, he states that Lycurgus did not establish the laws until

36. Strauss (1939: 515) was the first to introduce the idea that the chapter discloses the concealed practice of the illicit wealth accumulation that had become customary since his time (Hodkinson, 2005: 247–248; Humble, 2018a: 562–563). The family life, the last vestige of privacy, addresses the issue of spending the acquired wealth. Illicit gold and silver might be spent on precious gifts for the wives of the Spartiates (Humble, 2018a: 562).

he aligned himself with the most powerful people in the state (1968: VIII, 1). Second, it was these people who accompanied him on his trip to Delphi and obtained the divine approval of the laws (VIII, 5). Third, they also contributed to the establishment of the highest authority in the state, i.e., the ephors (VIII, 3).³⁷

There can be no doubt that it is the rich, i.e., the accomplished criminals³⁸ imitating the essential Spartan traits of character who wield power in the state. Formulated differently, almost all of the Spartan elite are evidently corrupted. The elite are involved in such a brutal regime as the Spartan state only if this regime serves their interest, partially or directly (Hodkinson, 2005: 248). The Spartiates, suspended in an environment of mass surveillance, never-ending searches, immediate punishment, and continuous strife, are easily divided into those who have digested the lessons of the laws of Lycurgus and those who have failed to do so; stated differently, those who violate the laws, make money through secret and dishonest enrichment and have affairs,³⁹ and those failed criminals who obey the laws of Lycurgus through punishment and public orderliness (cf. Christensen, 2016: 393).

Xenophon alludes to the solution of this puzzle by being outspokenly critical of contemporary Sparta in Chapter XIV. According to him, the Spartan regime declined not because the Spartiates started to violate the laws of Lycurgus, as they had always violated them (Humble, 1997: 239; Tuplin, 1994: 139; Humble, 2018a: 560–561). The fall of the Spartan hegemony is caused by the refusal of powerful people to imitate the traits required by the laws, to commit crimes secretly (Xenophon, 1968: XIV, 3), and to imitate manliness and dignity while they live in other Greek poleis as harmosts, i.e., when they are escaping the attention of Spartan society (XIV, 2 and 4–6).⁴⁰ It seems that at least partially “the utmost limit of wisdom” (I, 2) of Lycurgus was the understanding that the strongest people in any state tend to violate the law, rather than maintain it, and that they are able to commit crimes and always aim for their empowerment and superiority over others (I, 9).⁴¹ Therefore, the state that fights this type of criminals debilitates, rather than toughens, itself. Hence, the state should not punish the strongest but, rather, co-opt them to support the regime (Humble, 1997: 68). This explains why Lycurgus established the laws and involved the most powerful people in the establishment for their profit (Hodkinson, 2005: 247–248; Proietti, 1987: 48, 57). Turning the best criminals into support for

37. According to Gerald Proietti, it is the strongest men and not Lycurgus who established some of the marriage laws to ensure their property (1987: 48).

38. The *Anabasis* illustrates that successful thieves get good posts (Xenophon, 1998: IV, 6, 14–15).

39. Lycurgus apparently did everything in his power to legalize and normalize adultery (Xenophon, 1968: I, 5 and 7–9) (cf. Strauss, 1939: 505–507). Yet, it is almost impossible to do so without utterly destroying the institution of marriage and property inheritance.

40. Almost all modern researchers of the *Lacedaimonion Politeia* agree that it was not the corruption of the elite but, rather, their gradual refusal to imitate orderliness that ruined Sparta (Hodkinson, 2005: 268; Rahe, 2016: 29–30).

41. For example, Lysander and Agesilaus are described in this way in the *Hellenica* (Xenophon, 1961: II, 4, 29 and III, 4, 8). Vincent Azoulay dedicates a chapter of his monograph to envy caused by the promotion of the strife, emphasizing the strife among the elite (2018). Other scholars prove that the strife between adult Spartiates resulted in envy and mutual hatred (Humble, 1997: 209; Ducat, 2006: 19).

the regime, Lycurgus established the laws that directly serve the reproduction of this alliance. The never-ending surveillance, limited privacy, immediate punishment, strife, etc. cultivated accomplished criminals, on the one hand, and a law-abiding majority on the other. Thus, the lawgiver managed to establish the most lasting and stable political order (Xenophon, 1968: XV, 1). Sparta was invincible as long as the corrupt elite imitated the complete orderliness, demonstrated respect for the authorities, and displayed manliness and obedience both at home and abroad. However, the elite's refusal to set the example in the polis and revealing of its true face outside it was a signal to ordinary Spartiates as well as the Greeks in general. To the former, it meant that the laws of Lycurgus were no longer followed. To the latter it signaled the drastic changes in the attitude toward Sparta; previously, the Greeks had praised the Spartan traditions but refused to copy them (X, 8), while, now, they were trying to unite so that they would not fall under the sway of Sparta (XIV, 6).

Though Xenophon is one of the creators of "the Spartan mirage", this is caused only by a superficial reading of his works in general and the *Lacedaimonion Politeia* in particular. Xenophon was neither fascinated nor disappointed by the Spartan state; he was dismayed by neither the Spartan military defeats nor the underwhelming behavior of some citizens of the polis; he was neither deceived nor bought; nor was he influenced by King Agesilaus and his inner circle. As befits a political philosopher, he carefully examined the state that claimed to be close to the best one. At the same time, in the treatise, Xenophon does not provide a meaningless description of the state institutions, their structure and functions, their ways of formation, and their history. Instead, he sets his mind on the central issue, namely, the civil education or upbringing of a virtuous or good citizen.

The *Lacedaimonion Politeia* is both the granting and refutation of the greatest achievement of the Spartan lawgiver. Lycurgus' success lies in his understanding of the limits of the political. He did not try to create a state that would do its best to implant various virtues in everyone or even most of its citizens, as he understood that this is impossible. He created the state that compelled all citizens to imitate only one virtue, manliness, which is, in his view, essential for the state's prosperity. Lycurgus was successful because he lowered the standards of a good state by putting the possible and not desirable at the top of the list; thus, he managed to create the most stable regime (XV, 1). Yet, the core of Spartan greatness is the core of Spartan decline. The success of Lycurgus is, in fact, his failure. Even the most stable regime is doomed to decay. However, a regime cannot simply justify its existence if it does not cultivate virtuous people and promote human excellence. The Spartan legislation rings hollow, even though it successfully achieved its goals. That is to say, it must be complemented. But, in what way?

Xenophon did not leave behind a single work dedicated to the issue of the best regime. However, this does not mean that Xenophon did not pose relevant questions or attempt to find answers to them. The *Lacedaimonion Politeia* shows that the opposite is true. However, to prove this suggestion and to find Xenophon's possible answer, one should address his entire heritage by going beyond this one treatise. The adoption of such a cohesive approach to the study of his philosophy may be productive, enabling not only

the discovery of the outlines of the third possible classical model of the best regime (following the ones described by Plato and Aristotle) but also the indication of the alternative solution to the problem of the political – thus enabling a look not beyond only “the Spartan mirage”, but also “Xenophon’s mirage”.

References

- Aristotle (1932) *Politics*, Harvard: Harvard University Press.
- Azoulay V. (2018) *Xenophon and the Graces of Power: A Greek Guide to Political Manipulation*, Swansea: The Classical Press of Wales.
- Cartledge P. (1999) The Socratics’ Sparta and Rousseau’s *Sparta: New Perspectives* (eds. S. Hodkinson, A. Powell), Swansea: The Classical Press of Wales, pp. 311–338.
- Chrimes K. M. T. (1948) *The Republica Lacedaemoniorum Ascribed to Xenophon*, Manchester: Manchester University Press.
- Christensen P. (2016) Xenophon’s Views on Sparta. *The Cambridge Companion to Xenophon* (ed. M. A. Flower), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 376–399.
- Dillery J. (2017) Xenophon: The Small Works. *The Cambridge Companion to Xenophon* (ed. M. A. Flower), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 195–219.
- Ducat J. (2006) *Spartan Education. Youth and Society in the Classical Period*, Swansea: The Classical Press of Wales.
- Gray V. J. (2007) *Xenophon on Government*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hansen M., Hodkinson S. (2009) Spartan Exceptionalism? Continuing the Debate. *Sparta: Comparative Approaches* (ed. S. Hodkinson), Swansea: The Classical Press of Wales, pp. 473–498.
- Hodkinson S. (1994) “Blind Ploutos”? Contemporary Images of the Role of Wealth in Classical Sparta. *The Shadow of Sparta* (eds. A. Powell, S. Hodkinson), London: Routledge, pp. 183–222.
- Hodkinson S. (2018) Sparta: An Exceptional Domination of State over Society? *A Companion to Sparta, Vol. 1* (ed. A. Powell), Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 29–57.
- Hodkinson S. (2005) The Imaginary Spartan Politeia. *The Imaginary Polis* (ed. M. Hansen), Copenhagen: The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, pp. 222–281.
- Hodkinson S. (2006) Was Classical Sparta a Military Society? *Sparta and War* (eds. S. Hodkinson, A. Powell), Swansea: The Classical Press of Wales, pp. 111–162.
- Humble N. (2018a) Sparta in Xenophon and Plato. *Plato and Xenophon: Comparative Studies* (eds. G. Danzig, D. Johnson, D. Morrison), Boston: Brill, pp. 547–575.
- Humble N. (2004) The Author, Date and Purpose of Chapter 14 of the “Lakedaimoniōn Politeia”. *Xenophon and His World* (ed. C. Tuplin), Stuttgart: Franz Steiner Verlag, pp. 215–228.
- Humble N. (2012) The Renaissance Reception of Xenophon’s Spartan Constitution: Preliminary Observations. *Xenophon: Ethical Principles and Historical Enquiry* (eds. F. Hobden, C. Tuplin), Boston: Brill, pp. 63–88.

- Humble N. (2018b) Xenophon and Isocrates on Sparta. *Trends in Classics*, no 10, pp. 56–74.
- Humble N. (1997) *Xenophon's View of Sparta: A Study of the "Anabasis", "Hellenica" and "Respublica Lacedaemoniorum"* (PhD Thesis), Hamilton: McMaster University.
- Lane M. (2016) Xenophon (and Thucydides) on Sparta (and Athens): Debating Willing Obedience Not Only to Laws, but Also to Magistrates. *Philosophy for the City: Acts of the Fifth Congress of the Society for Ancient Philosophy 2016* (ed. C. Riedweg), Berlin: De Gruyter, pp. 121–132.
- Lipka M. (2002) *Xenophon's "Spartan Constitution"*, New York: Walter de Gruyter.
- Lockwood T. (2017) Judging Constitutions: Aristotle's Critique of Plato's Republic and Sparta. *Archiv für Geschichte der Philosophie*, no 4, pp. 353–379.
- Lutz M. (1997) Civic Virtue and Socratic Virtue. *Polity*, vol. 29, no 4, pp. 565–592.
- Machiavelli N. (2007) *Discourses on the First Decade of Titus Livius*, Mineola: Dover Publications.
- Machiavelli N. (2008) *The Prince*, Cambridge: Hackett Publishing.
- Mason H. (2018) The Literary Reception of Sparta in France. *A Companion to Sparta, Vol. 2* (ed. A. Powell), Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 665–684.
- Mehta V. (2016) Sparta, Modernity, Enlightenment. *On Civic Republicanism: Ancient Lessons for Global Politics* (ed. G. Kellow), Toronto: University of Toronto Press, pp. 205–225.
- Morris I. (2004) The Paradigm of Democracy: Sparta in Enlightenment Thought. *Spartan Society* (ed. T. Figueira), Swansea: Classical Press of Wales, pp. 339–362.
- Oprea A. (2019) Pluralism and the General Will: The Roman and Spartan Models in Rousseau's "Social Contract". *The Review of Politics*, no 81, pp. 573–596.
- Plato (1926) *Laws, Books I–VI*, Harvard: Harvard University Press.
- Plato (1942) *Republic, Books I–V*, Harvard: Harvard University Press.
- Plato (1925) *Symposium*, Harvard: Harvard University Press.
- Powell A. (2018) Sparta: Reconstructing History from Secrecy, Lies and Myth. *A Companion to Sparta, Vol. 1* (ed. A. Powell), Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 3–28.
- Powell A. (2015) Spartan Education. *A Companion to Ancient Education* (ed. M. Bloomer), Chichester: John Wiley & Sons, pp. 90–111.
- Proietti G. (1987) *Xenophon's Sparta: An Introduction*, Leiden: Brill.
- Rahe P. A. (2016) *The Spartan Regime: Its Character, Origins, and Grand Strategy*, London: Yale University Press.
- Rebenich S. (2018) Reception of Sparta in Germany and German-Speaking Europe. *A Companion to Sparta, Vol. 2* (ed. A. Powell), Hoboken: John Wiley & Sons, pp. 685–703.
- Roche H. (2012a) "Go, Tell the Prussians...": The Spartan Paradigm in Prussian Military Thought During the Long Nineteenth Century. *New Voices in Classical Reception Studies*, no 7, pp. 25–39.

- Roche H. (2012b) “Spartanische Pimpfe”: The Importance of Sparta in the Educational Ideology of the Adolf Hitler Schools. *Sparta in Modern Thought. Politics, History and Culture* (ed. S. Hodkinson), Swansea: Classical Press of Wales, pp. 315–342.
- Shklar J. (1966) Rousseau’s Two Models: Sparta and the Age of Gold. *Political Science Quarterly*, vol. 81, no 1, pp. 25–51.
- Strauss L. (1939) The Spirit of Sparta or the Taste of Xenophon. *Social Research*, vol. 6, no 1, pp. 502–536.
- Strauss L. (1975) Xenophon’s Anabasis. *Interpretation: A Journal of Political Philosophy*, vol. 4, no 3, pp. 117–147.
- Talbert R. (2005) *Plutarch on Sparta*, London: Penguin Books.
- Tigerstedt E. N. (1965) *The Legend of Sparta in Classical Antiquity*, Vol. 1. Lund: Hakan Ohlssons Boktryckeri.
- Tuplin C. (1994) Xenophon, Sparta and the “Cyropaedia”. *The Shadow of Sparta* (eds. A. Powell, S. Hodkinson), London: Routledge, pp. 127–181.
- Xenophon (1998) *Anabasis*, Harvard: Harvard University Press.
- Xenophon (1968) *Constitution of the Lacedaemonians*, Harvard: Harvard University Press.
- Xenophon (1914) *Cyropaedia, Books 5–8*, Harvard: Harvard University Press.
- Xenophon (1961) *Hellenica, Books 1–5*, Harvard: Harvard University Press.
- Xenophon (2013a) *Memorabilia*, Harvard: Harvard University Press.
- Xenophon (2013b) *Symposium*, Harvard: Harvard University Press.

Сила коррупции: Ксенофонт о воспитании хорошего гражданина в Спарте

Александр Мишуруин

Кандидат политических наук, доцент, факультет политологии, Государственный академический университет гуманитарных наук

Адрес: Мароновский переулок, д. 26, г. Москва, Российская Федерация 119049

E-mail: amishurin@gauhn.ru

В статье автор пытается предложить интерпретацию труда античного политического философа Ксенофона Афинского, озаглавленного «Лакедемонская полития». Отталкиваясь от редко отстаиваемого ныне представления о трезвости и непредвзятости Ксенофона к изучаемому им строю, автор концентрируется на центральной проблеме трактата — воспитании добродетельного или хорошего гражданина, ставшего залогом успеха Спарты как полиса и одновременно породившего ее славу как уникального политического образования, превозносимого всеми, но никем не копируемого. Автор последовательно прослеживает три ступени спартанского образования, описанные Ксенофонтом, а затем переходит к практикам его имплементации в зрелом возрасте. В ходе изысканий становится ясно, что законы Ликурга, как их описывает Ксенофонт, на самом деле служат двойной цели. С одной стороны, они прививают гражданам желаемые законодателем качества уважения

и послушания, а также добродетель мужества; с другой — воспитывают людей, которые только имитируют их, равно как и свою законопослушность, а на деле скорее являются отъявленными преступниками, находящимися в постоянной борьбе друг с другом. Именно люди последнего типа — хорошие преступники — оказываются в Спарте у власти, и именно они, в конце концов, губят спартанское государство. Ставя такой диагноз спартанскому строю и законам Ликурга, Ксенофонт пытается показать, что решение проблемы создания хорошего гражданина, предложенное в Спарте, на самом деле является ошибочным и требует дополнительного осмысления.

Ключевые слова: Ксенофонт, Спарта, добродетель, имитация, воспитание, обучение

Мигранты и пространственная маргинальность в городских цифровых медиа (на примере Иркутска)

Дмитрий Тимошкин

Кандидат социологических наук, научный сотрудник лаборатории исторической
и политической демографии, Иркутский государственный университет
Старший преподаватель, кафедра культурологии и искусствоведения,
Гуманитарный Институт, Сибирский Федеральный Университет
Адрес: ул. Карла Маркса, д. 1, г. Иркутск, Российская Федерация 664033
E-mail: dmtrtim@gmail.com

В статье анализируются «мигрантские» пространства Иркутска, «создаваемые» журналистами и пользователями городских цифровых медиа. Мы рассматривали профессиональные информационные агентства, группы в «ВКонтакте», форумы как инструмент «производства пространства», соединяющий множество автобиографических описаний взаимодействия с городом, изображения, публицистические тексты в единый социально-пространственный образ. Нас интересовало, каким образом авторы текстов в цифровых медиа интегрируют в «образ Иркутска» мигрантов: существуют ли на создаваемой ими карте «мигрантские» места? В чем их особенности? Отличаются ли друг от друга «мигрантские» пространства на разных цифровых площадках? Получает ли пространственное выражение социальная маргинальность «мигранта»? Материалы подбирались в поисковой системе Google, а также — встроенных поисковых системах городских сообществ в «ВКонтакте» и форумов, по ключевым словам «Иркутск» + «мигранты» или «приезжие». Применялся метод ретроспективного онлайн-наблюдения и анализ дискурса: наблюдая за размещенными в разное время в открытом доступе диалогами пользователей и публицистическими текстами, мы определяли, в какие локальности помещают «мигрантов», «приезжих» и какими характеристиками они наделяются. Установлено, что профессиональные медиа преимущественно транслируют бюрократическое видение «мигранта» и его местоположения: он ассоциируется с набором «подозреваемых пространств», точек концентрации неформальных рабочих мест, регулярно «проверяемых» чиновниками. Пространства представлены как маргинальные, не вписывающиеся в город как установленный социально-пространственный порядок, и потому — «грязные» и опасные. Эти образы переходят в социальные медиа, где транслируемый бюрократией образ «грязных» пространств и скрывающегося там «мигранта» сталкивается с субъективным опытом пользователей, становясь более сложным и неоднозначным. Так «мигрант» помещается в более широкий спектр пространств и социальных ситуаций, постепенно становясь частью городской повседневности.

Ключевые слова: цифровые медиа, город, мигранты, образ, маргинальность, пространство

* Исследование выполнено за счет средств гранта Президента РФ «Фронтовые территории в городах Сибири и Дальнего Востока».

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Медийный город (Маккуайр, 2014) во всем его многообразии, от ГИС-сервисов (Shelton, Poorthuis, Zook, 2015) до маркирующих пространство QR-кодов (Seeburger, 2012) и цифровых диаспор (Кужелева-Саган и др., 2016), все чаще попадает в исследовательское поле зрения. В дискуссиях (Касаткина, 2014; Brown, 2002; Jang, Kim, 2019) о методологии цифровых исследований нередко встает вопрос о возможности адаптации (Al-ghamdi, Al-Harig, 2015: 737) концепций «образа города» и «производства пространства» к новой реальности, в которой цифровые устройства и соответствующие коммуникационные практики стали неотъемлемой частью города. Цифровые площадки позволяют соединить опыт переживания пространства, физическое и социальное (Ma et al., 2018). Топонимы, видео, фото, карты, впечатления складываются в единое целое, формируя новый тип «образа города», фиксирующего мельчайшие изменения в восприятии крупных человеческих поселений (Vuolteenaho, Leurs, Sumiala, 2015).

Цифровые технологии предоставляют обычному пользователю и социальному исследователю идентичные аналитические инструменты, позволяющие перейти от непосредственного переживания пространства к презентациям: виртуальным моделям, картографированию, комментариям (Орлова, 2018). Данные с «городских» цифровых площадок дают возможность описать практики взаимодействия человека и материальных объектов, рефлексии, плотность населения, увидеть, как город воспринимается множеством других пользователей (Pereira, Rocha, 2013; Shelton et al., 2015).

Принимая гипотезу о том, что цифровые технологии не привели к конструированию альтернативной реальности, живущей по собственным законам, можно сказать, что они лишь дополнили существовавшие прежде коммуникационные системы. Город был и остался сложным узлом, соединяющим технологию, материю и воспоминания (Mattern, 2013). Добавились лишь новые площадки для обсуждения и создания городской повседневности, такие же посредники между вещами, событиями и человеком, как ранее телевидение и газеты (*Ibid.*: 7).

Множество спонтанно возникающих описаний воссоздает город в более красочных и богатых формах, чем карты и позднейшие ГИС-сервисы, ведь реальность выскакивает из-под власти схематического изображения (Dada, 2018). Цифровые медиа дают глубокую картину, связывая с тем или иным пространством определенный эмоциональный бэкграунд, сводя воедино множество пользовательских откликов.

Цифровые площадки стали таким же механизмом производства пространства (Лефевр, 2015), как ранее слухи и сплетни. Выкладывая отзывы, фотографии, обсуждая, спрашивая, пользователи создают образы, представляющие возможность исследовать город, физически не присутствуя на его улицах (см., например: Iavarone, Dursun, Çebi, 2019). В диалогах, новостях, фото и видео рождается публичный консенсус относительно опасности, размера, границ, функций городских территорий.

Здесь анализируется образ «мигрантских» мест Иркутска, конструируемый в городских медиа. «Мигранты» интересны нам в силу того, что, являясь для принимающего сообщества одновременно далекими и очень близкими «чужаками» (Зиммель, 2009: 14), они «прерывают рутину существующей привычки» аборигенов (Парк, 2013: 226), неизменно приковывая к себе широкий общественный интерес.

Как следствие, они становятся частым информационным поводом (Ивлева, Тавровский, 2019; Мукомель, 2011). С 1 января 2020 года было создано более тридцати тысяч медиаобъявлений, содержащих ключевое слово «мигрант» (News. Yandex.ru). За февраль 2020 года только «Яндекс» (система находится на втором месте по количеству запросов в РФ после Google¹) показывает более 300 тысяч результатов по запросам, включающим слово «мигрант», в месяц (Wordstat.Yandex.ru Мигрант). Интерес к ним поддерживается экспертным сообществом, проводящим регулярные замеры отношения российского общества к этой группе.

Внимание к «мигрантам» можно объяснить тем, что они становятся существенным фактором, влияющим на конструирование городского пространства. Их можно отнести к маргинальным группам, так как, пересекая границы воображаемых сообществ, они оказываются между разными социальными мирами (Баньковская, 2002). «Мигранты» способствуют формированию представлений о внутренней структуре города, о его внешних границах, о границах между считываемыми как «свои» городскими сообществами и «чужаками» (Гусев, 2009). «Мигранты» определяются как чужаки, одновременно разрушающие и утверждающие город. По этой причине вопрос о том, как в городских нарративах выглядит пространство «мигранта», кажется весьма интересным.

Цель исследования — понять, как маргинальность «мигранта», репрезентируемая в медийных текстах, интегрируется в «образ города», на материале иркутских городских цифровых площадок. Ключевые вопросы, поставленные в статье, выглядят так: каким образом соотносится пространственная и социальная маргинальность в «образе города», создаваемом на цифровых коммуникационных платформах? Какое место занимают «мигранты» на цифровой карте Иркутска? Влияет ли социальная маргинальность на характер пространства, с которой она связывается? Проводя исследование, мы опирались на рассуждения о пространстве маргинальности В. Каганского (Каганский, 1999), концепцию «образа города» К. Линча (Линч, 1982) и классические статьи о маргинальности Р. Парка (Парк, 2011: 223–236).

Сбор и анализ материала

Использовалось ключевое слово «мигрант», которое фигурирует в поисковых запросах достаточно часто по сравнению с другими социальными категориями

1. <http://www.liveinternet.ru/stat/ru/searches.html?slice=ru&period=month>.

(«мигрант» — более 300 тысяч показов в «Яндексе», «предприниматель» около 1200 тысяч раз в месяц, «курьер» — около 1400 тысяч, «преступник» — 900 тысяч раз)². Также использовалось ключевое слово «приезжий» (более 170 тысяч показов в «Яндексе»)³, как схожее по значению со словом «мигрант», однако не обладающее выраженной негативной коннотацией. Большая часть материала была набрана в период с февраля по май 2019 года, массив дополнялся зимой и весной 2020 года, при этом анализировались новые тексты, не присутствовавшие в поисковой выдаче весной 2019 года.

В статье анализировались три группы текстов, содержащих ключевое слово «мигрант» или «приезжий»: публицистические, размещенные на сайтах СМИ, и, при наличии, комментарии к ним, сообщения в крупнейших локальных группах в «ВКонтакте» и на городских форумах. Профессиональные СМИ мы привлекли в силу их общеизвестной способности формировать картину мира аудитории (McCombs, 2004; Ван Дейк, 2013; Луман, 2005), в том числе и образы городов (см., например: Абашев, 2018; Власова, 2018; Ильина, 2018).

Социальные медиа рассматривались как альтернативный традиционным СМИ децентрализованный механизм производства образов, в меньшей степени подверженный цензуре (Хазеева, 2012), где основную роль играют непрофессионалы, предоставляющий благодаря «иллюзии приватности» возможность избежать вмешательства исследователя в естественную коммуникацию (см., например: Markham, 2013). «ВКонтакте» была выбрана в силу ее популярности в РФ⁴ и из-за огромного количества содержащихся в ней региональных пабликов: здесь можно найти более 30 тысяч сообществ, в названии которых имеется слово «Иркутск» и создатели которых указали этот город как свое местоположение⁵. Большинство сообществ не ограничивают доступ к опубликованным на стене диалогам, что дает возможность любому желающему наблюдать за пользовательской активностью.

Привлекая городские форумы, мы надеялись найти здесь более развернутые обсуждения «мигрантов» и «приезжих», нежели в группах «ВК». Ожидания были обусловлены спецификой внутренней организации форумов (Hoogeveen et al., 2018): отдельные обсуждения на форумах «живут» гораздо дольше диалогов на стене «ВК», пользователи знакомы друг с другом в течение многих лет, что подразумевает высокий уровень доверия и, возможно, более откровенные высказывания.

В Сети есть несколько иркутских веб-форумов, на которых все еще можно наблюдать пользовательскую активность. Это иркутский форум дольщиков, созданный для обмена информацией о жилых комплексах, решения проблем, связанных с отстаиванием дольщиками своих прав, улаживания споров с застройщиками⁶.

2. <https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=мигрант>.

3. <https://wordstat.yandex.ru/#!/?words=приезжий>.

4. <https://vc.ru/marketing/106865-samye-populyarnye-seti-v-rossii-v-2020-godu>.

5. https://vk.com/groups?act=catalog&c%5Bcity%5D=57&c%5Bcountry%5D=1&c%5Blike_hints%5D=1c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=иркутск&c%5Bsection%5D=communities&c%5Bsort%5D=6.

6. <https://www.realtyvision.ru/discussion/>.

Активность сохраняется и на региональной ветке автомобильного форума Drom.ru⁷, и на родительском форуме мама+папа⁸.

Поиск релевантных исследовательскому вопросу текстов осуществлялся в несколько этапов. С помощью самой популярной в России поисковой системы Google подбирался массив новостных текстов. Вводились ключевые слова «мигрант», «приезжий» + «Иркутск». Учитывая склонность Google оценивать релевантность результата поиска с оглядкой на персональные данные пользователя (местоположение, история поиска и т. д.)⁹, мы отключили в настройках функции демонстрации персональных результатов и «безопасный поиск». Предполагалось, что в результате релевантность выдачи будет оцениваться в большей степени по наличию или отсутствию необходимых ключевых слов в выдаваемых текстах. Последовательно рассматривались первые 30 ссылок, выдаваемых поисковой системой по каждому запросу. Такая глубина проникновения обусловлена тем, что именно первые две страницы выдачи удостаиваются наибольшего количества просмотров (Moyle, 2014). При наличии, мы также рассматривали комментарии пользователей, размещенные под новостными текстами.

На Google мы рассматривали все тексты, составляющие первые три страницы выдачи поисковика, вне зависимости от времени их создания. В случае с социальными медиа анализировались все сообщения, содержащие ключевые слова, от самого раннего до самого позднего на момент поиска. Даже самые крупные паблики содержали не более 100 релевантных записей на стене (не считая комментариев к ним), поэтому это было осуществимо без использования специального программного обеспечения.

На втором этапе формировался массив сообщений, содержащих ключевое слово «мигрант», в четырех самых посещаемых региональных форумах: «иркутской» ветке Drom.ru¹⁰, форума mama+papa¹¹, portirkutsk¹², форума иркутских дольщиков¹³. Во встроенных поисковых системах форумов вводилось ключевое слово «мигрант», просматривалось каждое из найденных сообщений и, при необходимости, несколько других, связанных с ним контекстуально, фиксировался набор топонимов и социальных маркеров, которые определяли значение «мигранта» в каждом конкретном случае. Это не вызывало особых сложностей, так как в совокупности на выбранных форумах было найдено не более 500 совпадений. Здесь мы осуществляли поиск только по ключевому слову «мигрант», так как запрос «приезжий» давал массу нерелевантных исследовательской задаче текстов: поисковый

7. <https://forums.drom.ru/irkutsk/>.

8. <http://38mama.ru/forum/index.php>.

9. Google (2020). Принципы работы алгоритмов Google-поиска. URL: <https://www.google.com/search/howsearchworks/algorithms/> (дата обращения: 30.12.2019).

10. Региональные форумы: Иркутск: <https://forums.drom.ru/irkutsk/>.

11. Форум папа+мама: <http://38mama.ru/forum/index.php>.

12. Форум Порт Иркутск: <http://portirkutsk.ru/forum/>.

13. Форум дольщиков Иркутска: <https://www.realtyvision.ru/discussion/>.

алгоритм включал в выборку слова «приезжал», «приехал», что расширяло массив текстов практически до бесконечности.

И, наконец, на третьем этапе проводился отбор сообщений в региональных пабликах в «ВКонтакте». Паблики искали во встроенной поисковой системе социальной сети по ключевому слову «Иркутск», при этом рассматривались только те, местоположением которых был также указан Иркутск. Были отобраны 100 пабликов с наибольшим количеством подписчиков (от 200 до 17 тысяч человек). Затем, используя внутренний поиск групп, мы находили размещенные в этих группах сообщения, содержащие ключевые слова «мигрант» и «приезжий».

Метод работы с цифровыми медиа можно охарактеризовать как ретроспективное наблюдение онлайн (Paechter, 2015: 78–79). Предполагалось, что граница между цифровым и реальным мирами весьма иллюзорна, так как, по крайней мере, для пользователей, действия в цифровом пространстве могут повлечь за собой ожидаемые и неожиданные последствия в мире онлайн (Dekker et al., 2018). И если она проницаема для пользователей, то в той же степени может быть проницаемой и для исследователя (Hine, 2015: 53–54). Таким образом, цифровые пространства, с определенными оговорками, можно исследовать с помощью традиционного социологического и антропологического инструментария — интервью и наблюдений (Markham, 2013: 439; Bassi et al., 2019; Beneito-Montagut, 2011). При этом мы никак не вмешивались в коммуникацию между пользователями (Nørskov, Sladjana, Rask, 2011: 3–4).

Также мы осуществили анализ дискурса: «мигрант» и связанный с ним топоним мы рассматривали как «пустые знаки» (Йоргенсен, Филипс, 2011). Нас интересовало, каким образом пользователи наполняли их смыслом, связывая друг с другом и другими понятиями, какими качествами наделяется «мигрантское» пространство, какое значение приобретает слово «мигрант» после помещения в определенный пространственный контекст.

Создавая подозрительные пространства: «мигрант» и «приезжий» в Google

Абсолютное большинство ссылок, выдвигаемых Google на первые позиции поисковой выдачи по ключевым словам «мигранты+Иркутск», ведут на сайты информационных агентств. «Мигранты» упоминаются преимущественно в связи с различными бюрократическими процедурами: выдворением¹⁴, арестами¹⁵, вопросами, связанными с эпидемией коронавируса¹⁶ (выдача актуальна на март–май 2020 года). Другой частый информационный повод — измерение миграционных

14. <https://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/67911>.

15. <https://irkutskmedia.ru/news/801758/?from=47>.

16. <https://www.kommersant.ru/doc/4328892>.

потоков, колебания численности иммигрантов и эмигрантов¹⁷. Оба информационных повода фактически сводятся к теме пересечения границ: отделяющих город от других «стран», отделяющих «мигрантские» территории от остального города, разделяющих «мигрантов» и других горожан.

Границы делают «мигранта» заметным: оптика журналиста выхватывает его именно в момент перемещения между социальными категориями. Человек в новостях упоминается не потому, что он пересек границу между государствами, а потому, что он все еще находится на границе между воображаемыми «мы» и «они», и при этом не соблюдает процедуры и ограничения, предусмотренные этим статусом. Вернее, в тот момент, когда об этом узнает бюрократ.

Именно сообщения о «выявлении»¹⁸, «вычислении»¹⁹ «нелегальных мигрантов» и их последующем «выдворении» составляют большинство первых страниц поисковой выдачи. Особенностью этих новостей становится то, что людей, пригодных для проведения процедуры, обнаруживают в одних и тех же местах. Чиновники заранее знают, где искать «мигрантов», имея наготове перечень мест, в которых те обычно находятся. Из текстов мы не можем узнать, случалось ли местам не оправдать подозрений, однако некоторые фразы и даты публикаций говорят о том, что подобные рейды — рутинна, равно как и сами новости. Как следствие, целые пространственные категории начинают восприниматься точками концентрации маргинальных групп, людей, не имеющих права находиться в городе. Целые городские районы становятся подозреваемыми и требуют «плановых» или «регулярных» проверок²⁰.

Иногда речь идет даже не о конкретных локациях, а скорее о сферах занятости в целом: «В ходе операции «Нелегальный мигрант» сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД с коллегами из УФСБ России по Иркутской области при участии сотрудников ОМОН Управления Росгвардии проверили более 570 объектов пребывания и проживания иностранцев. Особое внимание было уделено объектам лесной сферы, строительства, торговли и жилого сектора»²¹. В одной из публикаций²² утверждается, что в Иркутске существуют более 200 таких подозрительных мест, в другой — что их более 500. Называют²³ «Покровский» (он же «Китай-Город»), расположенный на улице Челябинская, неподалеку от рабочего предместья, иногда — «центральный рынок» в историческом центре, рынок «Шанхайка», также расположенный в центре.

17. <https://www.irk.kp.ru/daily/27028.4/4091775/>; <http://baik-info.ru/v-irkutskoy-oblasti-sokrashchayetsya-chislo-trudovyh-migrantov>.

18. <https://irk.today/2019/06/03/shest-nelegalnyh-migrantov-vyjavili-v-hostelah-irkutska/>.

19. <https://www.irk.kp.ru/online/news/3760750/>.

20. <https://irkutskmedia.ru/news/801758/?from=47>.

21. <https://irkutsk.aldana.ru/new/view/id/66815>.

22. <https://www.irk.kp.ru/online/news/3760750/>.

23. <https://baikal.mk.ru/incident/2020/01/08/nelegalnye-migranti-rabotali-na-odnom-iz-irkutskikh-rynkov.html>.

Еще один тип подозрительных мест — «хостелы на Рабочего Штаба»²⁴. Поиск в ГИС-системах показывает несколько гостиниц, причем одна из них обозначена как «Земляки, хостел и миграционный отдел»²⁵. Место находится в нескольких минутах езды от уже упоминавшегося выше рынка «Покровский», а также — от еще одного крупного иркутского рынка «Колхозный». В других материалах упоминается улица Генерала Доватора²⁶ и находящийся там кондитерский цех, где, если верить журналистам, в 2019 году работало больше 100 мигрантов.

Называют еще одну локальность, где, по мнению пользователей, необходимо «каждый день проводить такие проверки», — Центральный рынок. Обратившись к имеющимся исследованиям иркутских рынков, можно узнать, что и Центральный, упоминавшийся в комментариях, и этнически маркированные рынки «Покровский» и «Шанхайка», Колхозный рынок, встречающиеся в новостях, — все они являются объектами постоянных проверок буквально с момента их появления. Проверки стали неотъемлемой частью повседневности этих мест, порождая специфические практики, в том числе позволяющие работающим на рынке мигрантам вовремя узнавать об очередном рейде, а силовикам — иметь с рынка неформальные ренты (Дятлов и др., 2019).

Из комментариев можно узнать, что «мигрантское» маркирование пространства вызывает у части пользователей ассоциации с грязью (Дуглас, 2000), людьми и предметами, которые находятся не на своем месте, ломая социальный порядок. Маргинальность в этом случае создает круг подозрительности: бюрократы подозревают множество социально-пространственных объектов в укрывательстве «нарушителей», тех, кто не имеет права там находиться. Людей, пересекающих воображаемые границы между «мы» и «они», подозревают в нечистоте, проверяя на наличие судимости, «социально опасных заболеваний»²⁷. Контакт с «мигрантом», и здесь кажется уместной аналогия с лиминальными существами (Тернер, 1983: 169), ставит под угрозу целостность самой бюрократии: взаимодействие чиновника и «мигранта» вызывает подозрения в недобросовестности первого вне зависимости от исхода²⁸. При этом, что любопытно, в комментариях образ «мигранта» далеко не столь монолитен, как в текстах профессиональных журналистов. Нередко обнаруживается группа пользователей, оспаривающих негативные стереотипы, основываясь на опыте, или же приводя довод о стигматизированности «национализма».

Подозрение касается не только пространства и человека, но и вещей, которые их окружают: пользователи уверены, что в кондитерских изделиях, производимых «мигрантами» в одном из подозрительных пространств, непременно встречаются

24. <https://irk.today/2019/06/03/shest-nelegalnyh-migrantov-vyjavili-v-hostelah-irkutska/>.

25. <https://2gis.ru/irkutsk/firm/70000001041299301>.

26. <https://www.irk.ru/news/20191016/migration/>.

27. https://irk.aif.ru/society/migrant_uzhe_ne_tot_gastarbayerov_uberut_iz_transporta_taksi_i_magazinov.

28. <https://ovdinfo.org/express-news/2019/04/05/v-irkutske-zaderzhivali-280-inostrannyyh-grazhdan-ih-vseh-otpustili-bez>.

«таракашки и кучерявые волосики»²⁹. Аналогичные подозрения, о переполненности «мигрантских» рынков опасными или некачественными вещами, звучали во время полевых исследований иркутских базаров (Тимошкин, 2019).

Социальная маргинальность сдвигает в пограничную зону и само связанное с ней пространство. В одной из статей про «мигрантский» Иркутск³⁰ журналист рассказывает, как в городе формируются «параллельные», полностью автономные сообщества «мигрантов». Причиной тому, по мнению автора, становится уровень мобильности приезжих, незнание русского языка, нежелание контактировать с местными. Что любопытно, материал, на котором журналист строит свои доводы, может быть истолкован и как указание на иллюзорность этих границ. С респондентами автор говорил на русском языке, обменивался с ними контактами, интервью проходили на рынке, расположенному в самом центре Иркутска, сам характер которого предполагает постоянные контакты между условными мигрантами и принимающим сообществом, некоторые респонденты поделились своим желанием остаться в городе навсегда.

Маргинальность пространства может конструироваться с помощью описания экзотических сочетаний предметов и цветов, либо через описания вещей, которые не соответствуют своей изначальной форме или функции. Так, например, могут отмечаться неопрятность и теснота «мигрантского» общежития, или ржавчина на трубах в подвале, где живут строители, либо плохое качество или запах товаров на открытом «мигрантском» рынке.

Запрос «приезжие + Иркутск» показывает, что в публицистике под этим словосочетанием подразумеваются внутренние мигранты. Большинство ссылок ведет к новостям о преступлениях, совершенных «приезжими», или в отношении них, в разных регионах. Приезжие чаще упоминаются как жертвы преступлений, а «мигранты» совершают преступления сами, просто находясь в «подозрительном» месте или работая там.

Несколько текстов связаны (на май 2020 года) с эпидемией коронавируса, в них речь идет об ограничительных мерах, предпринимаемых властями регионов в отношении внутренних мигрантов. Новости еще больше роднят «мигрантов» и «приезжих»: и те, и другие становятся потенциальным источником социальной опасности, и тех, и других насильственно помещают в специализированные помещения для совершения процедуры, позволяющей отделить опасных от неопасных³¹.

Тем не менее в большинстве случаев «приезжий» все же подразумевает более широкий спектр пространств и социальных ситуаций. Некоторые ссылки ведут к цифровым сервисам для туристов³², включая городские афиши³³ и развлече-

29. <https://www.irk.ru/news/20191016/migration/>.

30. <https://novayagazeta.ru/articles/2019/01/05/79107-bez-osoboy-nadobnosti-v-gorod-ne-vyходит>.

31. <https://www.irk.ru/news/20200501/coerce/>.

32. https://www.tripadvisor.ru/Attractions-g298527-Activities-c48-Irkutsk_Irkutsk_Oblast_Siberian_District.html.

33. https://www.afisha.ru/irkutsk/schedule_theatre/.

тельные площадки³⁴: помимо обсерваторов «приезжие» встречаются в туристических местах — зоопарках, океанариумах, театрах. «Приезжий» представляется не только опасным маргиналом, но и туристом, однако и в том, и в другом случае ему полагается занимать специфические, связанные с его статусом, места.

Фрагментация «мигранта» и «приезжего» в социальных медиа

Судя по всему, образ «мигранта» в большей степени представлен именно в мире профессиональных медиа. В большинстве городских пабликов в «ВК» не удалось найти ни одного сообщения на стене, содержащего это ключевое слово, исключением стали лишь новостные группы и сообщества силовых структур³⁵. Тематика размещаемых там сообщений идентична описанной выше: контакты мигранта и российской бюрократии на рынках, лесозаготовках, стройках, а также — совершаемые «мигрантами» преступления. Буквально в единичных случаях пользователи сами начинают обсуждение, употребляя данное ключевое слово, в остальных поводом становится публицистический текст. Обсуждения провоцируют криминальные сводки, причем многие пользователи, реагируя на них, практически словно повторяют медийные конструкты, помещая «мигрантов» в тот же социально-пространственный контекст, что и СМИ.

Большинство комментариев к новостям не представляют особого интереса: односложные реплики транслируют хорошо описанный (см., например: Веснина, 2009) мигрантофобский дискурс³⁶ или же вообще не относятся к теме миграции. Исходящая от «мигранта» опасность весьма призрачна, пользователи не могут толком объяснить, в чем конкретно она заключается, называя способность переносить «заразу», «преступность», «кражу работы».

«Мигрант» связывается авторами сообщений с набором «подозрительных» мест, однако стандартные для новостных текстов рынки и стройки дополняются водительскими местами в общественном транспорте, овощебазами, жилыми районами, школами и университетами, курортными поселками, теплицами в пригородах. Эти места в нарративах обладают по умолчанию набором характеристик, вроде концентрации рабочих мест, признаваемых социально непрестижными, «на которых не будут работать местные», одной из характеристик становится способность скрывать в себе «мигранта».

Когда возникает необходимость более четкого определения «мигранта», становится ясно, что публичной конвенции относительно значения этого слова попросту не существует, некоторые пользователи вовсе не знают, что это такое³⁷. Некоторые относят к «мигрантам» только иностранцев из СНГ, другие — только людей,

34. <https://www.irk.ru/afisha/culture/>.

35. https://vk.com/nash_irkutsk; https://vk.com/rus_crime_irkutsk.

36. https://vk.com/live_irkutsk?w=wall-91503835_266540; https://vk.com/live_irkutsk?w=wall-91503835_74996.

37. https://vk.com/irkdtp?w=wall-37432351_947459.

отличающихся от них по антропометрическим данным, кто-то — всех перемещающихся с места на место, кто-то — иностранцев в принципе. Трансляция медийной модели «мигранта» как опасного нарушителя вызывает попытки ее оспорить.

Некий пользователь распространил по региональным группам в «ВК» текст, в котором описывает скупку земли на берегу Байкала «китайцами» под гостиничный бизнес, называя этот процесс скрытой экспансии³⁸. «Работяги из местных алкашей и узбекских мигрантов», сооружающих гостиницу в туристическом поселке, и «упитанный китаец на черном лимузине», наблюдающий за их работой, находятся в разных категориях.

Первые не вызывают претензий, а вот вторых автор боится, считая, что они могут осквернить его среду обитания: «Новая гостиница будет возведена быстро, нынче же летом, и сразу же заполнится шумными гостями из Поднебесной. Немедленно потекут от них вонючие стоки в примитивный септик и мгновенно пропосятся сквозь галечно-каменный слой почвы в Лиственичный залив. Ведь канализации и очистных сооружений в посёлке до сих пор нет. У местных жителей дворовые туалеты, но местных немного, от них терпимые стоки. А вот гости-китайцы каждый день приезжают толпами. Пока «гости». Но в стремительном темпепускают корни и обзаводятся недвижимостью!»

Автор транслирует уже привычное представление о «мигранте» как источнике грязи, разворачивая вокруг него цепочку подозрений. «Китайское» место подозревается в том, что оно будет «загрязнять» окружающую среду; губернатор, который не обращает на проблему внимания, подозревается в связях с КПК. В подтверждение своей истории автор выложил фотографию стройки и стоящей рядом машины, в которой якобы сидит предполагаемый «китаец», владелец будущей гостиницы.

В комментариях единодушия относительно разрушительной роли «китайцев в Сибири» не наблюдается. Часть пользователей с готовностью подхватывает авторскую риторику, ретранслируя мифы о «желтой угрозе» и ползучей экспансии, подтверждая это историями о создании «китайцами» в российских городах «своей» инфраструктуры, закрытой для посторонних, вывесках на китайском языке в сувенирных магазинах Иркутска. Называют «подозрительные» места: «китайские» заводы в Култуке (еще один прибрежный поселок), «китайские» гостиницы на Ольхоне (популярный у туристов остров на Байкале), сельскохозяйственные угодья в пригородах Иркутска. Другие обращают внимание на то, что, судя по номерам машины, за рулем сидит не китаец, а киргиз, говорят, что покупка земли на Байкале — бизнес, не имеющий национальности, что местных владельцев гостиниц также нельзя обвинить в излишней чистоплотности.

Значительно больший интерес вызывают «приезжие». Если обсуждения «мигрантов» провоцируются репостами публицистических текстов, то обсуждение «приезжих» начинают сами пользователи. «Мигранты» в сообщениях всегда вы-

38. https://vk.com/irkdtp?w=wall-37432351_758264.

несены за пределы абстрактного «мы», пользователи никогда не называют себя «мигрантами», даже если декларируют дружественное к ним отношение. «Приезжие» же существуют на стыке «мы» и «оны», пользователи не считают зазорным применить это слово для самоидентификации.

Более того, «приезжие» становятся для «нас» примером для подражания³⁹. Приезжий — уже не только нищий работяга, но турист⁴⁰, а иногда даже «иностранин». Так же как и в профессиональных СМИ, под «приезжими» подразумеваются внутренние мигранты, и эта группа явно не относится к категории «чужаков», за исключением тех случаев, когда слово упоминается в рамках националистического дискурса⁴¹. В обсуждениях⁴² «приезжие» не рассматриваются как экзистенциальная угроза⁴³.

Даже когда один из «приезжих» объявляет о своем намерении «завоевать ваш город», это не вызывает у аудитории агрессии или страха, скорее — иронию: «завоюй, пока санитары не видят»⁴⁴. Просьбы «приезжих» рассказать об Иркутске приводят к критике города «местными»: он недостаточно хорош для того, чтобы сюда приезжать⁴⁵. Когда автор одного из постов заявил, что он приезжий, и начал критиковать город и его жителей, в комментариях его поддержали «местные»⁴⁶. Если упоминание «мигранта» провоцирует призывы к защите «своей» территории, то «приезжий» — критическую рефлексию, переосмысление «своего». Иными словами, «приезжий» не становится триггером воспроизведения описанного еще Зиммемелем напряжения, рожденного парадоксальным единством «удаленности» и «близости» в образе «чужака».

Разницу в языке описания «мигранта» и «приезжего» наглядно показывают диалоги, в которых обсуждается отношение горожан к внутренним мигрантам⁴⁷. «Приезжий» ассоциируется с другими формами занятости, однако все они явно не относятся к социально престижным. Упоминаются «мерчендайзеры», «официанты», «авторы текстов», «аниматоры», «продавцы» торгово-развлекательных комплексов. «Приезжие» практически не встречаются на рынках и стройках, но в университетах, такси, в банках, туристических местах⁴⁸, бутиках и даже на городских праздниках⁴⁹. Еще одна область, с которой связывается слово «приезжий» в пабликах в «ВК», особенно в группах по поиску работы и жилья, и которая роднит его с «мигрантами», — проституция, стриптиз и эскорт-услуги. В нескольких

39. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_2496783.

40. <https://vk.com/irklove>.

41. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_3367082.

42. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_3964770.

43. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_4125722.

44. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_1332883.

45. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_4102286; https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_3455348.

46. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_3367082.

47. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_1806261; https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_984153.

48. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_932855.

49. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_2275366.

группах, размещающих вакансии, предложения сутенеров составляют большинство объявлений, включающих слово «приезжий»⁵⁰.

Социально-пространственный контекст «приезжих» не предполагает физического труда, как в случае «мигрантов», но тем не менее сферы занятости, к которым их относят, также можно назвать маргинальными: многие из них не подразумевают высокого уровня формализации, их рассматривают как временную работу с низким порогом вхождения.

Маргинальность «приезжего» может быть привлекательной, что нередко осознается и используется посетителями цифровых площадок⁵¹. Заявление «я — приезжий» на сайтах знакомств становится способом привлечь потенциального партнера, а просьба «показать город» — поводом для встречи онлайн⁵². Освоение города «приезжим», попытки знакомства с «местными» практически не вызывают агрессии.

Поводом обсудить миграцию на форумах становятся, как и в группах в «ВК», перепечатки заметок профессиональных СМИ⁵³, причем не всегда новость связана непосредственно с миграцией. В любом случае «мигранта» упоминают как атрибут все тех же «подозрительных» территорий: «Идем дальше к торговому комплексу. Стоят никчёмные павильоны, торгующих чем попало <...> Внутренний дворик, отделяющий ТЦ от Ц. рынка, превращен опять же шустрыми торговцами в миниавтостанцию <...> Везде грязь, вдоль стен ТК в уголке стоят кучки мигрантов, щелкают на асфальт семечки. Теснота невообразимая, проходы забиты торговцами, все нормы вместимости двора и самого рынка перешли допустимые. <...> Везде установили какие-то кибитки, с потолка свисают кривые декорации»⁵⁴.

Рынок, о котором идет речь, так же как и «мигрантские» территории в СМИ, нарушает устоявшийся образ города, каким он «должен быть». Пользователи форумов считают такие места опасными в силу их способности к распространению себя, превращению всего остального города в маргинальные территории подобно зомби в массовой культуре (Чубаров, 2014): «Вот поет канаву приезжий таджик Рахим. Хороший, трудолюбивый парень, отличный семьянин. Работа черная, зарплата по нашим меркам маленькая, прописки нет, милиция шантажирует... Ты ему сочувствуешь? Ты думаешь, что он удовлетворен достигнутым и собирается и дальше выполнять черную работу? Ошибаешься! Жалеть надо тебя. Еще вчера он голодал. <...> За небольшую услугу земляки устроили его на стройке. Он не такой дурак, чтобы жить только на зарплату: надо думать о будущем. Пересякая границу, он каждый раз везет сто грамм гашиша. Скоро к нему приедет бе-

50. <https://vk.com/club67790600>; https://vk.com/irkutsk_obyavleniya.

51. https://vk.com/irknim?w=wall-47220519_2094078.

52. https://vk.com/38speeddating?w=wall-65983307_32562; https://vk.com/38speeddating?w=wall-65983307_41683.

53. Форум мама + папа: <http://38mama.ru/forum/index.php?action=search2>; <http://38mama.ru/forum/index.php?topic=248266.msg9731764;topicseen#msg9731764>; Форум мама + папа ФМС, мигранты (обсудим?): <https://forums.drom.ru/irkutsk/t1151821107-p3.html>.

54. Тема: Бердников Дмитрий Викторович: <http://hamar.ru/?topic=8317>.

ременная жена с пятерыми детьми. Она тоже привезет с собой еще двести грамм гашиша и малость травки, завернутой в пеленки и детские вещи: риска никакого. Пока муж работает, она будет просить милостыню, а заодно сбывать «дурь» местным подросткам. Еще несколько ходок — и можно будет купить не только регистрацию, но и гражданство, а потом и квартиру, которую продадут им те же наркоманы. <...> Вот китаец Ли. Теперь он в России — и жизнь налаживается. Ли не только по-китайски трудолюбив, но и по-китайски предпримчив. Сегодня он огородник, завтра — лесоруб, послезавтра — членок... Земляки помогают ему, он помогает землякам — и так, сообща, они осваивают великую пустыню. <...> Да и сам Китай, стимулируя расселение по всему свету Потомков Желтого императора, всеми силами поддерживает свои зарубежные колонии⁵⁵.

Так «предчувствие Чайнатаунов» (Дятлов, 2012) кочует с одной цифровой площадки на другую, причем всюду предвестниками будущих, но пока невидимых⁵⁶ «мигрантских» анклавов выступают места, которые сами «местные» не прочь кому-нибудь отдать. «Чайнатауны» вытесняются на периферию, в рабочие предместья, овощебазы, открытые рынки, в места, где, судя по распространенному в медиа клише, «местные работать не будут».

Найти «мигранта» в цифровом городе оказывается проще простого: любой рынок, любая канава, дорога или стройка изобилует незаметными работягами, прибывшими из далеких стран. Казалось бы, эмпирический опыт только утверждает эти представления. Когда возникает необходимость не выдвигнуть аргумент в споре, а найти дешевую рабочую силу, называют все те же рынки и неформальные биржи труда — места в районе Новоленино, где собираются поденные рабочие⁵⁷. Контакт с продавцом телефонов на Центральном рынке⁵⁸ или посещение дешевого «мигрантского» фудкорта⁵⁹ — все это может считываться как «типичная мигрантская» ситуация⁶⁰.

«Мигранты» осваивают один и тот же набор территорий в разных текстах, которые становятся для них не только воротами в город, но и социальным трамплином, где их периодически «обнаруживают» разносортные бюрократы. За пределами этих территорий они теряются. Возможно, по той причине, что, выходя за пределы открытых рынков и строек, они утрачивают единственный маркер, по которому их можно отличить от «приезжего» и «местного», — физический труд, не требующий высокой квалификации.

55. Обсуждение русского марша в Иркутске: <http://portirkutsk.ru/forum/topic8177-20.html#p121377>.

56. Новости нашего городка: <https://forums.drom.ru/irkutsk/t1150943864-p609.html#post1145562017>.

57. Внимание! Ребята, выручайте, требуются иностранные рабочие: <https://forums.drom.ru/irkutsk/t1151329490.html#post1082654135>.

58. Звонок из полиции по поводу кредита. Help!: <https://forums.drom.ru/irkutsk/t1151785013-p14.html#post1121525094>.

59. Здоровый образ жизни: <https://forums.drom.ru/irkutsk/t1152085205-p417.html#post1159347634>.

60. Город Иркутск и его проблемы: <http://hamar.ru/?topic=64>.

Пользователи сталкиваются с «мигрантами» в местах, которые не являются частью стандартной медииной модели, — в школах⁶¹, университетах, на детских площадках родных жилых комплексов. И здесь типичный для медиа миф о «мигрантах» как низкоквалифицированной рабочей силе, угрозе порядку вещей, начинает оспариваться теми, кто с «мигрантами» сталкивается в повседневной жизни. Так, например, один из пользователей не соглашается с высказыванием собеседника о том, что дети-мигранты неизбежно ведут к ухудшению общей успеваемости в классе: «Да только эти страшилки все именно на словах. Не понятно мне, откуда эти все „доподлинные сведения“ берутся? <...> Да, много учится в школе нерусских ребятишек. Да, это специфика района, в котором мы живем. Но: по своему опыту могу сказать, что у них (детей мигрантов) во многих аспектах поведение отличается в лучшую сторону (пока могу судить по ученикам начальной школы). У них в большей степени развита ответственность и нормальное отношение к другим детям, почтение к взрослым. (Еще по поведению на детских площадках, когда ребенок был маленьким, это увидела.) Так что не худший вариант соседства»⁶².

«Мигрант» здесь из абстрактной угрозы превращается в живого соседа, не скрытого и опасного «городом в городе» во вполне органичную часть его повседневности. То же самое может происходить и в случае найма «мигранта» на работу⁶³. Медийные социально-пространственные стереотипы миграции могут быть весьма влиятельными. Однако попадая в социальные медиа, бюрократическая модель «миграции», сталкиваясь с эмпирическим опытом пользователей, раз за разом размывается и фрагментируется. Модель «подозреваемых» пространств и «мигрантов» — нарушителей города как социального и пространственного порядка не видит «мигрантов» в непосредственной близости от «местных», а «местных» — на «мигрантских» территориях. Возможно, работая на исключение «мигрантов» из города, она противоречит реальности, в которой они становятся его частью, иногда ничем неотличимой от всех остальных, что осознается пользователями социальных медиа в большей степени, чем профессиональными журналистами.

Заключение

Отвечая на главный вопрос статьи, можно сказать, что пространственное воплощение социальной маргинальности в данном случае — это кустарные интерфейсы, обеспечивающие «вход» в город тем, кто не может или не хочет воспользоваться институционализированными, «парадными» входами. В цифровом Иркутске, который можно воссоздать по рассмотренным здесь текстам, «мигрант» и «приез-

61. Инициативная группа «детские сады — детям»: <http://38mama.ru/forum/index.php?topic=178825.msg9319343#msg9319343>.

62. Школа, отзывы, впечатления: <http://38mama.ru/forum/index.php?topic=41860.msg13961573#msg13961573>.

63. ФМС, мигранты (обсудим?): <https://forums.drom.ru/irkutsk/t1151821107-p2.html>; обсуждение сообщений ветки «Аварии в Иркутске»: <https://forums.drom.ru/irkutsk/t1151625010-p91.html>.

жий» схожи в том, что занимаемое ими пространство — это места концентрации не очень престижной, слабозарегулированной и не требующей высокой квалификации занятости. Вспоминая метафору «государства–сетевого узла» М. Кастельса (Кастельс, 2016), можно сравнить «мигрантские» точки на виртуальной карте Иркутска с интерфейсами, обеспечивающими прибывающим в город людям доступ к жизненно необходимым ресурсам. Если не обращать внимания на коннотации «мигранта» и «приезжего», и те, и другие «входят» в город через подобные интерфейсы. Аналогичные функции выполняют «мигрантские» цифровые площадки (Тимошкин, 2019).

Пространственное воплощение социальной маргинальности в цифровом городе — это стройки, открытые рынки Центральный, «Шанхайка», «Покровский», овощебазы в Новоленино, хостелы, неформальные биржи труда, места за привлекательными торговыми центрами и так далее. Можно без труда увидеть, что в «традиционных» и социальных медиа эти локальности воспринимаются по-разному. Профессиональные СМИ транслируют бюрократическую логику восприятия «кустарных» интерфейсов вроде строек, «мигрантских» кафе и рынков как подозрительных пространств, являющихся потенциальным источником угрозы превращения «нашего» города в нечто чужеродное и страшное. Социальные медиа существенно усложняют картину, размывая четкую структуру транслируемого бюрократией образа. Несколько более широким спектром кустарных интерфейсов пользуются и «приезжие», однако на них бюрократическая логика (по крайней мере, в рассмотренных здесь текстах) почему-то не распространяется.

Наблюдения и интервью, проведенные в «мигрантских», маргинализованных территориях Иркутска, показывают (Дятлов и др., 2019), что «местные» маргиналы нередко работают с «мигрантами» и «приезжими» бок о бок на тех же открытых рынках, в ЖКХ, малоэтажном строительстве в иркутских пригородах. Внутренние мигранты могут пользоваться теми же точками входа в город, что и трансграничные, однако в поле зрения профессиональных СМИ почему-то попадают в основном работающие здесь трансграничные мигранты. Возможно, причина в том, что только трансграничные мигранты могут совершить, самим фактом работы на стройке или открытом рынке, преступление, достаточно тяжелое для попадания в новостные заголовки. Это становится неиссякаемым источником бюрократической отчетности, причем формируемой без особых усилий: маргинальные группы вынуждены будут искать рабочие места с невысоким уровнем формализации, а значит, их можно без труда отыскать в одних и тех же городских локальностях. При этом «приезжие» и «местные», работающие с мигрантами бок о бок, остаются невидимыми, так как бесполезны для отчетов и не столь явно выделяются общественным мнением как «чужаки».

Их обнаруживают наблюдатели, публикующие свои отзывы в социальных медиа, они же фрагментируют стройный «образ города» бюрократии, размывая границы между «мигрантами», «приезжими» и «местными». Это может происходить в тот момент, когда «мигранта» обнаруживают за пределами «типичных»

территорий, например, в школах, на детских площадках, в соседних квартирах, университетах, туристических местах, а «приезжих» и «местных» — в «мигрантских» местах. В комментариях транслируемый профессиональными СМИ образ «мигранта» и связанные с ним страхи оспариваются снова и снова. Опыт и разница в идеологических предпочтениях показывают чрезмерную упрощенность медийного образа.

Выходом может стать либо переопределение «мигранта», ликвидация всех связанных с ним негативных клише и вписывание его в контекст «нормального» города, либо стигматизация все новых и новых мест, в которых его «обнаруживают», в том числе и «своей» школы или «своего» района, а это может означать исключение из собственного города самого себя. Как показывают диалоги на форумах между жителями «мигрантского» района, расположенного рядом с мечетью, нередко выбор делается именно в пользу интеграции «мигранта» в «свой» город. В диалогах и комментариях «мигранты» и «приезжие», оставаясь маргиналами, органично вписываются в город, проходя через «кустарные» интерфейсы.

Литература

- Абашев В. (2000). Пермь как текст. Пермь: Издательство Пермского университета.
- Абашев В. (2018). Страсти по башне: городские медиа как генератор и архив локальных нарративов // Абашев В. (ред.). Город и медиа: Материалы Международной научно-практической конференции «Новые городские медиа в медиаландшафте России» (Пермь, 1–2 июня 2018 года). Пермь: Издательство Пермского университета. С. 30–45.
- Абашев В., Печицев И. (2018). Городские сетевые издания как агенты урбанизации // Абашев В. (ред.). Город и медиа: Материалы Международной научно-практической конференции «Новые городские медиа в медиаландшафте России» (Пермь, 1–2 июня 2018 года). Пермь: Издательство Пермского университета. С. 9–30.
- Баньковская С. (2002). Чужаки и границы: к понятию социальной маргинальности // Отечественные записки. № 6. С. 457–467.
- Ван Дейк Т. (2013). Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. Е. А. Кожемякина, Е. В. Переверзева, А. М. Аматова. М.: Либроком.
- Веснина Л. (2009). Милитарная метафора, представляющая образ мигранта в отечественных СМИ // Лингвокультурология. № 3. С. 27–34.
- Власова Е. Г. (2018). Урбанистически ориентированные медиа и журналистика соучастия // Абашев В. (ред.). Город и медиа: Материалы Международной научно-практической конференции «Новые городские медиа в медиаландшафте России» (Пермь, 1–2 июня 2018 года). Пермь: Издательство Пермского университета. С. 69–77.

- Григорьев К. (2015). Базар и город: «китайский» рынок как точка сборки городского пространства // Этнические рынки в России: пространство торга и место встречи. Иркутск: Изд-во ИГУ. С. 86–104.
- Гусев А. (2009). Маргинализация и космополитизм: взгляды современных теоретиков на социальные последствия интенсификации пространственных перемещений // Социологическое обозрение. Т. 8. № 2. С. 72–79.
- Дуглас М. (2000). Чистота и опасность: анализ представлений об осквернении и табу / Пер. с англ. Р. Г. Громовой под ред. С. П. Баньковской. М.: Канон-пресс-Ц.
- Дятлов В. (2012). Россия в предчувствии чайнатаунов // Дружба Народов. № 3. С. 145–156.
- Дятлов В., Григорьев К., Тимошкин Д., Брязгина Д. (2019). Базар и город: люди, пространства, образы. Иркутск: Оттиск.
- Зиммель Г. (2009). Экскурс о чужаке / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Филиппов А. Ф. (ред.). Социологическая теория: история, современность, перспективы. СПб: Владимир Даль. С. 7–13.
- Ильина О. (2018). Новые городские медиа как субъект конструирования территориальной идентичности // Абашев В. (ред.). Город и медиа: Материалы Международной научно-практической конференции «Новые городские медиа в медиаландшафте России» (Пермь, 1–2 июня 2018 года). Пермь: Издательство Пермского университета. С. 109–123.
- Йоргенсен М., Филлипс Л. (2011). Дискурс-анализ: теория и метод / Пер. с англ. А. А. Киселевой. Харьков: Гуманитарный центр.
- Каганский В. (1999). Вопросы о пространстве маргинальности // Новое литературное обозрение. № 3. С. 52–62.
- Кастельс М. (2016). Власть коммуникации / Пер. с англ. Н. М. Тылевич под ред. А. И. Черных. М.: ВШЭ.
- Касаткина А. (2014). Городская этнография в формате WEB: техника сбора данных, этика, перспективы // Федорова Е. Г. (ред.). Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 14. СПб.: МАЭ РАН. С. 230–246.
- Кужелева-Саган И., Глухов А., Ахметова Л., Бычкова М., Гужова И., Носова С., Окушова Г., Стаковская Ю. (2016). «Цифровые диаспоры» мигрантов из центральной Азии: виртуальная сетевая организация, дискурс «воображаемого сообщества» и конкуренция идентичностей. Томск: Издательство ТГУ.
- Лефевр А. (2015). Производство пространства / Пер. с фр. И. Страф. М.: StrelkaPress.
- Линч К. (1982). Образ города / Пер. с англ. В. Л. Глазычева. М.: Стройиздат.
- Луман Н. (2005). Реальность масс-медиа / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Практис.
- Маккуайр С. (2014). Медийный город: медиа, архитектура и городское пространство / Пер. с англ. М. Коробочкина. М.: Strelka Press.

- Мукомель В. (2011). Российские дискурсы о миграции в «нулевые» годы // Demoskop Weekly. № 479–480. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0479/demoscope0479.pdf> (дата доступа: 15.03.21).
- Орлова Г. (2018). Как смотреть на город мирного атома из социальной сети? Или в поисках утраченной современности // Социология власти. Т. 30. № 3. С. 93–126.
- Парк Р. (2011). Избранные очерки / Пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: ИНИОН РАН.
- Полухина Е. (2014). Онлайн-наблюдение как метод сбора данных // ИНТЕР. №7. С. 95–106.
- Тёрнер В. (1983). Символ и ритуал. М.: Наука.
- Тимошкин Д. (2019) Тема снижения издержек на легализацию в принимающей стране: обсуждение в русскоязычных мигрантских интернет-сообществах // Социологический журнал. Т. 25. № 4. С. 56–71.
- Хазеева Н. (2012). Социальные медиа: vox populi или специфика нового канала изучения мнения потребителей. Интернет-исследования в России 3.0. Москва: Online Market Intelligence. С. 139–151.
- Чубаров И. (2014). Исключенные: логика социальной стигматизации в массовом кинематографе // Логос. № 5. С. 97–130.
- Al-Ghamdi S. A., Al-Harigi F. (2015). Rethinking Image of the City in the Information Age // Procedia Computer Science. Vol. 65. P. 734–743.
- Bassi H., Lee C. J., Misener L., Johnson A. (2020). Exploring the Characteristics of Crowd-sourcing: An Online Observational Study // Journal of Information Science. Vol. 46. № 3. P. 291–312.
- Beneito-Montagut R. (2011). Ethnography Goes Online: Towards a User-Centred Methodology to Research Interpersonal Communication on the Internet // Qualitative Research. Vol. 11. № 6. P. 716–735.
- Brown D. (2002). Going Digital and Staying Qualitative: Some Alternative Strategies for Digitizing the Qualitative Research Process // Forum: Qualitative Social Research. Vol. 3. № 2. URL: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqso202122> (дата доступа: 25.06.2020).
- Dada M. (2018). The Other City Map. URL: <https://www.arts.ac.uk/research/ual-staff-researchers/maria-dada> (дата доступа: 25.05.2020).
- Dekker R., Engbersen G., Klaver J. (2018). Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants Use Social Media Information in Migration Decision-Making // Social Media + Society. № 4. P. 1–11.
- Hine C. (2000). Virtual Ethnography. L.: Sage.
- Hine C. (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. Huntingdon: Bloomsbury.
- Holtz P., Kronberger N., Wagner W. (2012). Analyzing Internet Forums: A Practical Guide // Journal of Media Psychology. Vol. 24. № 2. P. 55–66.
- Hoogeveen D., Wang L., Baldwin T., Verspoor K. M. (2018). Web Forum Retrieval and Text Analytics: A Survey. Hanover: Now Publishers.

- Iavarone A. H., Dursun Çebi P.* (2019). The Urban Space of Network Society: Digital Flaneurs in the Age of Social Media // Livenarch VI-2019: Replacing Architecture. URL: <https://acikerisim.iku.edu.tr/handle/11413/5295?show=full> (дата доступа: 20.05.2020).
- Jang K. M., Kim Y.* (2019). Crowd-Sourced Cognitive Mapping: A New Way of Displaying People's Cognitive Perception of Urban Space // PLoS ONE. Vol. 14. № 6. URL: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218590> (дата доступа: 25.05.2020).
- Kozinetz V. R.* (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. L.: Sage.
- Laclau E., Mouffe C.* (2000). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. L.: Verso.
- Ma Y., Li G., Xie H., Zhang H.* (2018). City Profile: Using Smart Data to Create Digital Urban Spaces // ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. IV-4/W7.
- Markham A.* (2013). Fieldwork in Social Media What Would Malinowski Do? // Qualitative Communication Research. № 4. P. 434–446.
- Marres N.* (2012). The Re-distribution of Methods: On Intervention in Digital Social Research, Broadly Conceived // Sociological Review. Vol. 60. № S1. P. 139–165.
- Marres N., Gerlitz K.* (2014). Interface Methods: Renegotiating Relations between Digital Research, STS and Sociology. CSISP Working Paper № 3.
- Mattern S.* (2015). Deep Mapping the Media City. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Moyle G.* (2014). Long Tail CTR Study: The Forgotten Traffic beyond Top 10 Rankings. URL: <https://moz.com/blog/mission-imposserble-3-we-need-to-think-beyond-the-top-10> (дата доступа: 20.11.2019).
- McCombs M.* (2004). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Cambridge: Polity Press.
- Nørskov S., Sladjana V., Rask M.* (2011). Observation of Online Communities: A Discussion of Online and Offline Observer Roles in Studying Development, Cooperation and Coordination in an Open Source Software Environment Forum // Qualitative Social Research. Vol. 12. № 3. URL: <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1567/3226> (дата доступа: 24.02.21)
- Paechter S.* (2015). Researching Sensitive Issues Online: Implications of a Hybrid Insider/Outsider Position in a Retrospective Ethnographic Study // Qualitative Research. Vol. 13. № 1. P. 71–86.
- Pereira G. C., Rocha M. C. F., Florentino P. V.* (2013). Spatial Representation: City and Digital Spaces // Computational Science and Its Applications — ICCSA 2013. Berlin: Springer. P. 524–537.
- Pocock D. C. D.* (1972). City of the Mind: A Review of Mental Maps of Urban Areas // Scottish Geographical Magazine. № 88. P. 115–124.
- Seeburger J.* (2012). No Cure for Curiosity: Linking Physical and Digital Urban Layers // NordiCHI'12: Nordic Conference on Human-Computer Interaction. N.Y.: ACM. P. 247–256.

Shelton T., Poorthuis A., Zook M. (2015). Social Media and the City: Rethinking Urban Socio-spatial Inequality Using User Generated Geographic Information // *Landscape and Urban Planning*. Vol. 142. P. 198–211.

Vuolteenaho J., Leurs K., Sumiala J. (2015). Digital Urbanisms: Exploring the Spectacular, Ordinary and Contested Facets of the Media City // *Observatorio*. Vol. 4. № 9. P. 1–21.

Migrants and Spatial Marginality in Urban Digital Media (The Case of Irkutsk)

Dmitriy Timoshkin

Research Fellow, Laboratory for Historical and Political Demography, Irkutsk State University

Research Fellow, Laboratory for Social and Anthropological Research, National Research Tomsk State University

Address: Karla Markska Str, 1, Irkutsk, Russian Federation 664033

E-mail: dmtrtim@gmail.com

The article analyzes "migrant" spaces created in Irkutsk by journalists and users of urban digital media. We considered professional news agencies, groups in Vkontakte, and forums as a tool for "space production" in combining many autobiographical descriptions of interaction with the city, images, and publicistic texts into an integral socio-spatial image. We were interested in how the texts' authors of digital media integrate migrants into the "image of Irkutsk": do they create specific "migrant" places on the map of Irkutsk? What are their features? Do the "migrant" spaces created on various digital platforms differ from each other? Does the social marginality of the "migrant" receive spatial expression? The materials were selected in the Google search engine, as well as in the built-in search engines of urban communities on Vkontakte and forums, using the keywords "Irkutsk" + "migrants" or "newcomers". We used the method of retrospective online observation and discourse analysis. By observing the users' dialogues and publicistic texts posted at different times, we determined which localities "migrants" and "newcomers" were placed in, and what characteristics they were given. It was found that the professional media mainly broadcasts the bureaucratic vision of the "migrant" and its location: it is associated with a set of "suspect spaces", points of concentration of informal jobs, and are regularly "checked" by officials. Spaces are presented as marginal, do not fit into the city as an established socio-spatial order, and therefore are "dirty" and dangerous. These images move to social media where the image of "dirty" spaces and the "migrant" hiding there, as transmitted by the bureaucracy, collide with the subjective experience of users, becoming more complex and ambiguous. Thus, the "migrant" is placed in a wider range of spaces and social situations, gradually becoming a part of everyday urban life.

Keywords: digital media, city, migrants, image, marginality, space

References

- Abashev V. (2000) *Perm' kak tekst* [Perm as Text], Perm: Perm University Press.
- Abashev V. (2018) *Strasti po bashne: gorodskie media kak generator i arhiv lokal'nyh narrativov* [Tower Passions: City Media as Local Narrative Generator and Archive]. *Gorod i media* [City and Media] (ed. V. Abashev), Perm: Perm University Press, pp. 30–45.
- Abashev V., Pechishchev I. (2018) *Gorodskie setevye izdaniya kak agenty urbanizacii* [Local Online Media as Agents of Urbanization]. *Gorod i media* [City and Media] (ed. V. Abashev), Perm: Perm University Press, pp. 9–30.

- Al-Ghamdi S.A., Al-Harigi F. (2015) Rethinking Image of the City in the Information Age. *Procedia Computer Science*, vol 65, pp. 734–743.
- Bankovskaya S. (2002) Chuzhaki i granicy: k ponjatiju social'noj marginal'nosti [Strangers and Borders: On the Concept of Social Marginality]. *Otechestvennye zapiski*, no 6, pp. 457–467.
- Bassi H., Lee C. J., Misener L., Johnson A. (2019) Exploring the Characteristics of Crowdsourcing: An Online Observational Study. *Journal of Information Science*, vol. 46, no 3, pp. 291–312.
- Beneito-Montagut R. Ethnography Goes Online: Towards a User-Centred Methodology to Research Interpersonal Communication on the Internet. *Qualitative Research*, vol. 11, no 6, pp. 716–735.
- Brown D. (2002) Going Digital and Staying Qualitative: Some Alternative Strategies for Digitizing the Qualitative Research Process. *Forum: Qualitative Social Research*, vol. 3, no 2. Available at: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0202122> (accessed 24 February 2021).
- Castells M. (2016) *Vlast' kommunikacii* [Communication Power], Moscow: HSE.
- Chubarov I. (2014) Iskljuchennye: logika social'noj stigmatizacii v massovom kinematografie [The Excluded: Logic of Social Stigmatization in Popular Cinema]. *Logos*, no 5, pp. 97–130.
- Dada M. (2018) The Other City Map. Available at: <https://www.arts.ac.uk/research/ual-staff-researchers/maria-dada> (accessed 24 February 2021).
- Dekker R., Engbersen G., Klaver J. (2018) Smart Refugees: How Syrian Asylum Migrants Use Social Media Information in Migration Decision-Making. *Social Media + Society*, no 4, pp. 1–11.
- Dyatlov V. (2012) Rossija v predchuvstvii chajnataunov [Russia in Anticipation of Chinatowns]. *Druzhba Narodov*, no 3, pp. 145–156.
- Dyatlov V., Grigorichev K., Timoshkin D., Bryazgina D. (2019) *Bazar i gorod: ljudi, prostranstva, obrazy* [Bazaar and the City: People, Spaces, Images], Irkutsk: Ottisk.
- Douglas M. (2000) *Chistota i opasnost'* [Purity and Danger], Moscow: Kanon-Press-C.
- Grigorichev K. (2015) Bazar i gorod: "kitayskiy" rynok kak tochka sborki gorodskogo prostranstva [Bazaar and the City: "Chinese" Market as a Point of Urban Space Assemblage]. *Etnicheskie rynki v Rossii: prostranstvo torga i mesto vstrechi* [Ethnic Markets in Russia: A Trading Space and a Meeting Place] (eds. V. Dyatlov, K. Grigorichev), Irkutsk: Irkutsk State University, pp. 86–104.
- Gusev A. (2009) Marginalizacija i kosmopolitizm: vzglyady sovremennoy teoretikov na social'nye posledstvija intensifikacii prostranstvennyh peremeshchenij [Marginalization and Cosmopolitanism: Views of Modern Theorists on the Social Consequences of the Intensification of Spatial Displacement]. *Russian Sociological Review*, vol. 8, no 2, pp. 72–79.
- Hine C. (2000) *Virtual Ethnography*, London: Sage.
- Hine C. (2015) *Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday*, Huntingdon: Bloomsbury.
- Holtz P., Kronberger N., Wagner W. (2012) Analyzing Internet Forums: A Practical Guide. *Journal of Media Psychology*, vol. 24, no 2, pp. 55–66.
- Hoogeveen D., Wang L., Baldwin T., Verspoor K. M. (2018) *Web Forum Retrieval and Text Analytics: A Survey*, Hanover: Now Publishers.
- Iavarone A. H., Dursun Çebi P. (2019) The Urban Space of Network Society: Digital Flaneurs in the Age of Social Media. Available at: <https://acikerisim.iku.edu.tr/handle/11413/5295?show=full> (accessed 3 December 2020).
- Illina O. (2018) Novye gorodskie media kak sub'ekt konstruirovaniya territorial'noj identichnosti [New Urban Media as a Constructor of Territorial Identity]. *Gorod i media* [City and Media] (ed. V. Abashev), Perm: Perm University Press, pp. 109–123.
- Jang K. M., Kim Y. (2019) Crowd-Sourced Cognitive Mapping: A New Way of Displaying People's Cognitive Perception of Urban Space. *PLoS ONE*, vol. 14, no 6. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218590> (accessed 1 December 2020).
- Jorgensen M., Phillips L. (2011) *Diskurs-analiz: teorija i metod* [Discourse Analysis as Theory and Method], Kharkov: Gumanitarny centr.
- Kagansky V. (1999) Voprosy o prostranstve marginal'nosti [Questions about the Space of Marginality]. *New Literary Observer*, no 3, pp. 52–62.
- Kasatkina A. (2014) Gorodskaja jetnografija v formate WEB: tehnika sbora dannyh, jetika, perspektivy [Urban Ethnography in Web-Format: Data Collection Techniques, Ethics,

- Perspectives]. *Materialy polevyyh issledovanij MAE RAN. Vyp. 14* [Materials of MAE RAN Field Studies, Issue 14] (ed. E. Fedorova), Saint Petersburg: MAE RAN, pp. 230–246.
- Khazeeva N. (2012) Social'nye media: vox populi ili specifika novogo kanala izuchenija mnenija potrebitelj [Social Media: Vox populi or the Specifics of a New Consumer Opinion Research Channel]. *Internet-issledovanija v Rossii 3.0* [Internet Studies in Russia 3.0], Moscow: OnlineMarketIntelligence, pp. 139–151.
- Kozinetz V. R. (2010) *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*, London: Sage.
- Kuzheleva-Sagan I., Gluhov A., Ahmetova L., Bychkova M., Guzhova I., Nosova S., Okushova G., Stahovskaja Y. (2016) "Cifrovye diaspory" migrantov iz central'noj Azii: virtual'naja setevaja organizacija, diskurs "voobrazhaemogo soobshhestva" i konkurencija identichnostej ["Digital Diaspora" of Migrants from Central Asia: A Virtual Network Organization, the Discourse of "Imagined Community" and Competition of Identity], Tomsk: TSU.
- Laclau E., Mouffe Ch. (2000) *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, London: Verso.
- Lefebvre H. (2015) *Proizvodstvo prostranstva* [The Production of Space], Moscow: Strelka Press.
- Lynch K. (1982) *Obraz goroda* [The Image of the City], Moscow: Stroyizdat.
- Luman N. (2005) *Real'nost' mass-media* [The Reality of the Mass Media], Moscow: Praksis.
- Ma Y., Li G., Xie H., Zhang H. (2018) City Profile: Using Smart Data to Create Digital Urban Spaces. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, vol. IV-4/W7, pp. 75–82.
- Markham A. (2013) Fieldwork in Social Media What Would Malinowski Do? *Qualitative Communication Research*, no 4, pp. 434–446.
- Marres N. (2012) The Re-distribution of Methods: On Intervention in Digital Social Research, Broadly Conceived. *Sociological Review*, vol. 60, no S1, pp. 139–165.
- Marres N., Gerlitz K. (2014) Interface Methods: Renegotiating Relations between Digital Research, STS and Sociology (CSISP Working Paper no 3).
- Mattern S. (2015) *Deep Mapping the Media City*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- McCombs M. (2004) *Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion*, Cambridge: Polity Press.
- McQuire S. (2018) *The Media City*, Moscow: Strelka Press.
- Moyle G. (2014) Long Tail CTR Study: The Forgotten Traffic Beyond Top 10 Rankings. Available at: <https://moz.com/blog/mission-imposserble-3-we-need-to-think-beyond-the-top-10> (accessed 20 November 2019).
- Mukomel V. (2011) Rossijskie diskursy o migracii v «nulevye» gody [Russian discourses on migration in the early 2000s]. *Demoskop Weekly*, no 479–480. Available at: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0479/demoscopeo479.pdf> (accessed 15 March 2021).
- Nørskov S., Sladjana V., Rask M. (2011) Observation of Online Communities: A Discussion of Online and Offline Observer Roles in Studying Development, Cooperation and Coordination in an Open Source Software Environment Forum. *Qualitative Social Research*, vol. 12, no 3. Available at: <https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1567/3226> (accessed 25 February 2021).
- Orlova G. (2018) Kak smotret' na gorod mirnogo atoma iz social'noj seti? Ili v poiskah utrachennoj sovremennosti [How to View the City of Peaceful Atom from a Social Network?; or, In Search of Lost Modernity]. *Sociology of Power*, vol. 30, no 3, pp. 93–126.
- Paechter S. (2015) Researching Sensitive Issues Online: Implications of a Hybrid Insider/Outsider Position in a Retro-spective Ethnographic Study. *Qualitative Research*, vol. 13, no 1, pp. 71–86.
- Park R. (2011) *Izbrannye ocherki* [Selected Essays], Moscow: INION RAN.
- Pereira G. C., Rocha M. C. F., Florentino P. V. (2013) Spatial Representation: City and Digital Spaces. *Computational Science and Its Applications — ICCSA 2013*, Berlin: Springer, pp. 524–537.
- Pocock D. C. D. (1972) City of the Mind: A Review of Mental Maps of Urban Areas. *Scottisch Geographical Magazine*, no 88, pp. 115–124.
- Polukhina E. (2014) Onlajn-nabljudenie kak metod sbora dannyh [Online Observation as a Data Collection Method]. *INTER*, no 7, pp. 95–106.
- Seeburger J. (2012) No Cure for Curiosity: Linking Physical and Digital Urban Layers. *Proceeding of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction*, New York: ACM, pp. 247–256.

- Shelton T., Poorthuis A., Zook M. (2015) Social Media and the City: Rethinking Urban Socio-spatial Inequality Using User Generated Geographic Information. *Landscape and Urban Planning*, vol. 142, pp. 198–211.
- Simmel G. (2009) Jekskurs o chuzhake [Essay on the Stranger]. *Sociologicheskaja teorija: istorija, sovremennost', perspektivy* [Sociological Theory: History, Modernity, and Prospects] (ed. A. Filippov), Saint Petersburg: Vladimir Dahl, pp. 7–13.
- Turner V. (1983) *Simvol i ritual* [Symbol and Ritual], Moscow: Nauka.
- Timoshkin D. (2019) Tema snizhenija izderzhek na legalizaciju v prinimajushhej strane: obsuzhdenie v russkojazychnyh migrantskikh internet-soobshhestvah [Reducing Legalization Expenses as a Topic in Russian-Speaking Migrant Communities]. *Sociological Journal*, vol. 25, no 4, pp. 56–71.
- Van Dejk T. (2013) *Diskurs i vlast'* [Discourse and Power], Moscow: Librokom.
- Vesnina L. (2009) Militarnaja metafora: predstavljaljajushhaja obraz migranta v otechestvennyh SMI [Military Metaphor: Creating the Image of Migrants in Russian Mass Media]. *Cultural Linguistics*, no 3, pp. 27–34.
- Vlasova E. (2018) Urbanisticheski orientirovannye media i zhurnalistika souchastija [Urban-Oriented Media and Participatory Journalism]. *Gorod i media* [City and the Media] (ed. V. Abashev), Perm: Perm University Press, pp. 69–77.
- Vuolteenaho J., Leurs K., Sumiala J. (2015) Digital Urbanisms: Exploring the Spectacular, Ordinary and Contested Facets of the Media City. *Observatorio*, vol. 9, no 4, pp. 1–21.

Цивилизационное измерение структурирования обществ^{*}

Руслан Браславский

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник,
Социологический институт РАН-филиал ФНИСЦ РАН

Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190005
E-mail: r.braslavsky@socinst.ru

Владимир Козловский

Доктор философских наук, директор Социологического института РАН-филиала ФНИСЦ РАН
Профессор факультета социологии, Санкт-Петербургский государственный университет
Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, 190005
E-mail: v.kozlovskiy@socinst.ru

Цивилизационный подход в современной социологии направлен на прояснение отношений между социальной структурой и культурой, институтами и акторами. Цивилизационное измерение структурирования современных обществ фокусируется на раскрытии сложных взаимодействий между цивилизационным паттерном и социальной структурой. В центре внимания оказывается исторически определенная комбинация интерпретативных моделей и институциональных рамок, в которых разворачивается социальная динамика обществ. Основополагающей предпосылкой цивилизационного анализа в социологии является отказ от любых разновидностей одностороннего редукционистского, будь то социального или культурного детерминизма. Ключевыми становятся моменты различия, автономии и контингентности в переплетении структурной, институциональной, культурной сторон социального взаимодействия. Базовыми концептами цивилизационного измерения структурирования обществ являются: а) определение способа дифференциации и интеграции сфер общественной жизни; б) установление основополагающих норм и «долговых обязательств» для основных институциональных сфер; в) построение социetalного центра и установление его взаимоотношений с периферией; в) конструирование коллективных идентичностей; г) формирование порядков социальной стратификации и общественного разделения труда; д) саморепрезентации и стратегии социополитических элит, а также их практики управления. Ключевые аспекты цивилизационного структурирования общественных формаций выделяются и рассматриваются на примерах имперского и советского периодов истории российского общества. Современные общества в цивилизационном измерении представляют собой сочетание: а) унаследованных цивилизационных традиций (часто с их собственными предвосхищениями модерна); б) воспринятых в ходе межцивилизационных контактов культурных и институциональных влияний «других» традиций и реакций на них; в) вырабатываемых и наследуемых собственных или заимствованных и навязываемых извне артикуляций и видений проблематики цивилизации модернности, некоторые из которых получают значение универсальных образцов.

Ключевые слова: цивилизационное измерение, цивилизационные паттерны, социальная структура, культура, власть, социальные институты, элиты, множественные модернности

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-01254.

Цивилизационный анализ представляет собой широкий спектр интеллектуальных усилий различных школ, групп и отдельных ученых с различными, подчас диаметрально противоположными подходами к решению фундаментальных теоретических проблем¹. В одних направлениях подчеркивается автономный и детерминирующий характер социоструктурных изменений или технологических инноваций, ведущих к возникновению и дальнейшей эволюции цивилизации. В других акцентируется конституирующая роль культурных факторов в цивилизационном устройстве. В одних подходах в центре анализа оказываются базовые институциональные матрицы, отношения между экономикой и политикой, конфигурации институтов собственности и власти и соответствующие им типы социальной стратификации. В других внимание фокусируется на анализе сопряжения интерпретативных и институциональных паттернов, конstellациях культуры и власти, особое значение придается взаимосвязи религиозных и политических структур при относительном игнорировании экономической сферы.

В статье основное внимание уделяется раскрытию эвристического потенциала социологической парадигмы цивилизационного анализа и возникшей в ее русле теории множественных модерностей для объяснения и понимания структурирования современных обществ. Ее ключевыми представителями являются такие классические и современные фигуры, как М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Масс, Н. Элиас, П. А. Сорокин, Б. Нельсон, Ш. Эйзенштадт, В. Каволис, Й. Арнасон, Т. Хафф, Б. Виттрок, П. Вагнер, Э. Тирикьян, Р. Коллинз. Этот ряд имен может быть продолжен. В современной российской социологии можно выделить две наиболее разработанные в концептуальном отношении и реализованные в эмпирико-теоретических исследованиях российского общества версии цивилизационного анализа: одна принадлежат О. И. Шкаратану, другая — Н. И. Лапину (Шкаратан, 2015; Лапин, 2015а, 2015б). Примечательно, что ни в одном из этих случаев цивилизационный анализ не является исходной концептуальной рамкой исследования, а встраивается в более традиционные для социологического теоретизирования парадигмы: структурно-функциональную (О. И. Шкаратан) и модернизационную (Н. И. Лапин).

Конвенциональная социальная онтология различает три «аналитических» измерения социальной реальности: «структурно-организационное», «институционально-регулятивное» и «культурно-символическое». Большинство исследователей сходятся также в выделении трех основных «субстанциальных» сфер общественной жизни (или «социальных арен», если использовать менее привыч-

1. Возможный перечень основных направлений цивилизационного анализа в социальных науках включает в себя: 1) стадиально-эволюционистские теории цивилизации и политогенеза; 2) теории процесса (процессов) цивилизации; 3) институциональные теории многолинейного развития цивилизации; 4) теории локальных цивилизаций, культурных суперсистем и стилей; 5) теории цивилизаций как регионов, мир-систем и сетей взаимодействия; 6) социологические теории цивилизационных комплексов и множественных модерностей; 7) цивилизационный дискурс-анализ (анализ цивилизационного дискурса в конструировании коллективной идентичности и памяти) (Браславский, 2012: 36–37).

ный термин Ш. Эйзенштадта), определяемых как экономика, политика, культура и выступающих доменами богатства, власти и смысла соответственно. Существуют различные теоретические позиции по вопросу о соотношении между собой названных «измерений» и «доменов». Для социологии как научной дисциплины конституирующими был структурно-институциональный способ анализа, в котором культуре, рассматриваемой в качестве «измерения» или «сфера» общественной жизни, отводилась роль зависимой от более «реальных» факторов. Цивилизационный анализ в социологии исходит из принципа культурной автономии и представляет собой одну из радикальных версий «культурной социологии» (в программном значении, придаваемом этому термину Дж. Александером), в которой культура выступает независимой переменной, вносящей в формирование социальных действий и институтов «не меньший вклад, чем более материальные и инструментальные силы» (Александер, Смит, 2010: 12–13).

Цивилизационное измерение обществ

Ш. Эйзенштадт ввел в социологический анализ понятие «цивилизационного измерения человеческих обществ», под которым понимал «комбинацию онтологических или космологических видений... с определением, конструированием и регуляцией главных арен социальной жизни и взаимодействия» (Eisenstadt, 2000a: 2). Весьма схожим образом другой социолог — В. Каволис определял цивилизацию во множественном числе как «сочетание крупных социальных институтов и символических структур, которые в результате длительного исторического развития соединились друг с другом как компоненты целостного эмпирически данного образования» (Ерасов, 2001: 72). В приведенных определениях двух социологов явным образом подчеркиваются культурные и институциональные рамки социальной жизни. Однако следует отметить, что в определении Эйзенштадта речь идет не о цивилизациях как неких самодостаточных социоисторических тотальностях наибольшего пространственно-временного охвата в духе «метаисторической» традиции цивилизационного анализа (Arnason, 2001a), или теории «локальных цивилизаций», представленной в трудах Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Ф. Боркенау, А. Кребера, Р. Кулборна, К. Квигли, Ф. Бэгби, О. Андерле, С. Хантингтона, а о «цивилизационном измерении обществ». Понятие «общества» (во множественном числе) в данном контексте заключает в себе не только указание на базовую единицу социологического анализа, но и традиционную для социологического видения отсылку к структурно-организационным основаниям социального взаимодействия. Таким образом, цивилизационный анализ как социологическая парадигма фокусируется на «взаимопереплетении структурных аспектов социальной жизни с ее регулятивным и интерпретативным контекстом» (Eisenstadt, 2000a: 1). При этом ни одна из сторон этого трехстороннего взаимодействия не детерминирует другие. Важнейшей предпосылкой современной социологической версии цивилизационного анализа является отказ от любых разновид-

ностей одностороннего редукционистского, будь то социального или культурного, детерминизма и акцентирование моментов различия, автономии и контингентности в соотношении структурного, институционального и культурного измерений социоисторических конфигураций.

Цивилизационный анализ представляет собой культурно чувствительный и исторически ориентированный подход к социальной реальности, восполняющий дефициты традиционного для социологии структурно-институционального способа анализа «модерных» или «модернизирующихся» обществ. Выдвинутая Ш. Эйзенштадтом концепция «цивилизационного измерения обществ» подвергает критике многие теоретические допущения, долгое время определявшие дисциплинарный образ социологии, как чрезмерно ограничивающие социологическое видение. Наряду с вышеотмеченым постулатом социального (социоструктурного) редукционизма и детерминизма это относится и к постулату «методологического национализма». Данное Эйзенштадтом определение «цивилизационного измерения» удерживает в аналитическом фокусе традиционную для социологии базовую единицу социальной реальности, обозначаемую понятием «общество», но помещает ее в более широкие, выходящие за рамки отдельных обществ региональные и глобальные социальные и культурные контексты и их конstellации.

В развитие данной линии теоретизирования Й. Арнасон, используя классические и современные источники (М. Вебер, Э. Дюркгейм, М. Мосс, Ш. Эйзенштадт, Б. Нельсон, К. Кастроидис и др.), разработал идеальный тип (аналитическую модель) цивилизационных формаций, в котором выделил две стороны: 1) интерпретативно-институциональную и 2) пространственно-временную (Arnason, 2001b). Комбинации интерпретативных моделей и институциональных структур обозначаются термином «цивилизационные паттерны», а их воплощения в конкретных пространственно-временных формациях — термином «цивилизационные комплексы». В том случае, когда два или более цивилизационных комплекса особенно тесно взаимосвязаны через общие источники происхождения и/или интенсивные взаимообмены, они образуют «цивилизационную конstellацию» (Arnason, 2010: 179).

В отличие от теории локальных цивилизаций, представленной главным образом в трудах историков и культурных антропологов, в социологической версии цивилизационного анализа подчеркиваются не гомогенность и внутренняя согласованность, а гетерогенность, амбивалентность и антагоничность культурных предпосылок цивилизационных формаций. Культурные ориентации цивилизаций не программируют институциональное устройство обществ, а скорее формируют общую культурную *проблематику*, предлагающую множественность различных и часто противоречивых артикуляций и интерпретаций, некоторые из которых могут выкристаллизоваться в сравнительно стабильные культурные модели (Арнасон, 2017: 63). В «метаисторической» теории локальных цивилизаций акцент делался на континуальности и закрытости цивилизаций, что, скорее, может рассматриваться не как базовая модель, а как описание некоего предельного случая

цивилизационной структуры и динамики или как один из полюсов характеристик соответствующих переменных в идеально-типической модели цивилизационных формаций. Отличительными характеристиками социологической цивилизационной парадигмы являются отказ от эндогенных и инерционных моделей развития, выделение и подчеркивание цивилизационных трансформаций, «прорывов», инноваций и роли межцивилизационных взаимодействий (encounters) (Arnason, 2001a, 2001b). Цивилизации трактуются не как ограниченные структуры, а как взаимопроникающие сети со своими центрами и перифериями (Collins, 2001: 421).

Концепция «цивилизационного измерения» придает цивилизационному анализу статус аналитической перспективы на социоисторическую реальность в целом, а не предметной (отраслевой) теории об определенном классе эмпирических образований, именуемых «цивилизациями». Таким образом, в перспективе цивилизационного анализа становится возможным анализировать социальные феномены разного уровня и масштаба, выявляя, а не постулируя их цивилизационную релевантность. Проявленность «цивилизационного измерения» может существенно варьироваться в разных конкретно-исторических ситуациях и для разных социальных феноменов, и определение степени и форм этой проявленности составляет каждый раз задачу эмпирического исследования. Э. Дюркгейм и М. Масс писали о «неодинаковом коэффициенте распространения и интернационализации» социальных феноменов, составляющих тот или иной цивилизационный комплекс (Durkheim, Mauss, 1998: 153). По аналогии можно было бы говорить и о «неодинаковом коэффициенте» вклада тех или иных социальных/культурных феноменов в конституирование, поддержание и изменение цивилизационного паттерна.

Исследование конкретного феномена или случая в цивилизационном анализе может осуществляться в двух направлениях. В одном из них исследование подчинено задаче идентификации цивилизационного паттерна, описания «встроенности» рассматриваемого феномена в структуру цивилизации. Выбор этого подхода становится практически предопределенным, если исследователь становится на точку зрения холистского детерминизма, согласно которому цивилизация представляет собой в высшей степени когерентную и закрытую систему, каждый элемент которой полностью детерминирован совокупностью других элементов или «запрограммирован» ее «ядром», образуемым организующими принципами системы. В этом случае исследование конкретного феномена может принять односторонний и иллюстративный характер, за что критиковался, например, структурный функционализм, представляющий собой одну из версий холистского детерминизма.

Безусловно, социальная жизнь людей протекает в определенным образом структурированных контекстах, однако как сами эти контексты, так и паттерны дифференциации и интеграции для разных контекстов и между разными контекстами не даны с полной очевидностью практическому и теоретическому сознанию акторов. «Конфигуративная» точка зрения, в отличие от холистского детерминиз-

ма, акцентирует моменты произвольности и контингентности, отказывается от использования чрезмерно «жестких», конструирующих когерентные образы схватываемой реальности понятий «система» и «структура» в пользу более «гибких», нагруженных процессуально-реляционными и контингентно-релятивистскими коннотациями понятий, таких как «конфигурация», «конstellация», «фигурация», «комбинация», и ориентирует исследователя на идентификацию паттернов в смещениях множественных и разнообразных элементов.

В другом — исходящем из концепции цивилизационного измерения — направлении исследования не системная тотальность цивилизации, а анализируемый феномен как таковой во множестве своих взаимосвязей вне какой-либо априорно заданной координации между ними, сохраняет свое центральное значение в качестве объекта изучения. При таком подходе интерпретативно-аналитическая стратегия исследования следует фрейму не «элемент — целое», а «объект — контекст». Это не исключает, а лишь релятивизирует и ограничивает использование понятия «система» по отношению к социоисторической реальности: «системные образцы» могут возникать, а могут и не возникать в определенных обстоятельствах. При этом проблематизируется отношение между цивилизационным контекстом и конкретными феноменами. «Цивилизационное измерение» является не единственным ракурсом, в котором может анализироваться тот или иной социальный или культурный феномен. Релевантность цивилизационного анализа изучаемому объекту в конкретных социоисторических условиях его существования выявляется в ходе предметных исследований. В то же время концепция цивилизационного измерения, придающая понятию цивилизации прежде всего статус аналитической категории, позволяет оба отмеченных направления, в которых может развиваться исследование, совмещать по схеме герменевтического круга, или, лучше сказать, «герменевтической спирали» (Тисельтон, 2011: 20).

Социальная жизнь определяется не только цивилизационными основаниями, но и рядом других факторов. Значение некоторых из них в жизни современных обществ таково, что многие исследователи вообще ставят под сомнение применимость плюралистической версии цивилизационного анализа к эпохе модерности в целом, считая ее глобальным «постцивилизационным» состоянием, либо к отдельным группам существующих обществ. К одной из таких групп относятся постколониальные общества, образованные европейскими переселенцами в чрезвычайно асимметричном взаимодействии с местным населением на разных континентах (США, Бразилия, Австралия, ЮАР — наиболее показательные случаи подобного рода) (Wagner, 2011: 98–100). Другую группу составляют общества, имеющие гораздо более длительную историю, но прошедшие через несколько веков последовательных волн модернизационных трансформаций, к числу которых принадлежит, в частности, и Россия (Wagner, 2010: 54–55).

Цивилизационный анализ и модерность

В рамках социологической традиции цивилизационного анализа на концептуальный вызов «модерности» были даны два ответа, и оба были инициированы работами Эйзенштадта. Один — теория *множественных модерностей*, получившая весьма широкое признание и дальнейшее развитие в трудах целого ряда исследователей; другой — менее разработанная по сравнению с вышеназванной теорией концепция *модерности как новой особой цивилизации*, которой пока было уделено гораздо меньшее внимание в социологическом сообществе (Арнасон — тот, кто подчеркивает ее недооцененное эвристическое значение) (Eisenstadt, 2000b, 2001).

Теория множественных модерностей исходит из того, что понятие модернизации как перехода от традиционности к модерности недостаточно для понимания социальной и культурной динамики современных обществ. Во-первых, традиционность и модерность не взаимоисключают друг друга, как это предполагается дихотомией «традиционное общество — модерное общество». Традиции являются фактором модернизации любого общества. В то же время, с точки зрения данной теории, разнообразие культурных и институциональных форм модерных обществ не может быть отнесено всецело на счет влияния исторически сложившихся цивилизационных традиций или институциональных матриц, т. е. объяснено исключительно культурной и/или институциональной зависимостью от прошлого пути (так называемым «эффектом колеи»). Традиции, с одной стороны, предоставляют культурные ресурсы, которые оказывают влияние на процесс интерпретации нового исторического опыта и на выработку и реализацию культурных и институциональных проектов в условиях модерности. С другой стороны, традиции сами изменяются и реконструируются в процессе поисков ответов на эпистемическую, экономическую и политическую проблематику модерности (Wagner, 2008). «Автономия» (autonomy) и «владение» (mastery) составили, используя термин К. Кастиориадиса, «двойное воображаемое значение» модерности как нового социально-исторического условия человеческого существования (Кастиориадис, 2003).

В социологии периода «ортодоксального консенсуса», пришедшегося на первые послевоенные десятилетия второй половины ХХ в., господствовало убеждение, что модернизация, понимаемая как комплексный процесс специфических широкомасштабных структурно-институциональных трансформаций, автоматически ведет к одновременному *освобождению и господству* человека (Wagner, 2009: 250–251). Однако интеллектуальная и социальная история модерности показала, что формирующие ее цивилизационный паттерн базовые культурные ориентации на автономию человека и рациональное владение им миром служили не только предпосылками и следствиями осуществления друг друга, но и обнаруживали собственную амбивалентность и противоречия в соотношении друг с другом. Модерность изменяется вследствие рефлексии имманентных напряжений, а также интерпретации нового опыта, привносимого непреднамеренными последствиями в разной степени реализуемых проектов модерности. Результатом этого развития

является неизбежное разнообразие культурных и институциональных форм модерности и принципиальная открытость ее концептуальной и институциональной истории, вопреки широко известному тезису Ф. Фукуямы о «конце истории» (Fukuyama, 1992).

Кроме различных цивилизационных оснований, как унаследованных из прошлого, так и выработанных самой модерностью, на плурализацию ее форм влияют другие факторы, в том числе борьба и альянсы внутри отдельных обществ, geopolитические, геоэкономические и геокультурные конstellации глобального или регионального масштаба, а также креативность социального действия и случайные исторические события (Арнасон, 2012: 25).

Некоторые исследователи стремятся развивать теорию множественных модерностей за рамками цивилизационного анализа, но разделяя общую с ним феноменолого-герменевтическую метатеоретическую ориентацию (как, например, П. Вагнер). Однако для разных современных обществ можно допустить различные цивилизационные конstellации, в которых в разной мере и разным способом сочетаются традиционные и модерновые цивилизационные компоненты. В одном случае под кажущейся модерновой инновацией может скрываться более давняя непрерывная цивилизационная традиция (явление, получившее у О. Шпенглера название «псевдоморфоза»), в другом — внешние признаки длительной традиции могут маскировать радикально новые черты цивилизации модерности.

Современные общества в цивилизационном измерении представляют собой сочетание: а) унаследованных местных цивилизационных традиций (часто с их собственными предвосхищениями модерна); б) воспринятых в ходе межцивилизационных контактов культурных и институциональных влияний «других» традиций и реакций на них; в) вырабатываемых и наследуемых собственных или заимствованных и навязываемых извне артикуляций и видений проблематики цивилизации модерности, в том числе приводящих к выдвижению и осуществлению альтернативных моделей модерности. Некоторые образцы модерности могут приобретать глобальную значимость в качестве универсальных цивилизационных структурирующих принципов социетальных институтов, но фактически не приводя к культурной унификации и институциональной конвергенции современности. Так, например, либеральная демократия в политической сфере на уровне отдельных обществ и неолиберальная трансформация капиталистической экономики в глобальном масштабе рассматривались до недавнего времени в качестве универсальных моделей организации модерности.

Цивилизационные паттерны и общественные формации

Цивилизационные паттерны характеризуют виды деятельности, социальные арены, коллективные идентичности, являющиеся центральными для институционализации артикуляций культурной проблематики. Цивилизационные паттерны, как комбинации культурных моделей и институциональных структур, с одной

стороны, обуславливают, а с другой — кристаллизуют в себе важнейшие аспекты структурирования обществ, такие как:

- а) определение способа дифференциации и интеграции сфер общественной жизни;
- б) установление основополагающих норм и «долговых обязательств»² для основных институциональных сфер;
- в) построение социетального центра и установление его взаимоотношений с периферией (включая степень проникновения центра на периферию и влияния периферии на центр), а также с центрами и перифериями иных социополитических образований;
- г) конструирование коллективных идентичностей и определение границ сообществ, включая основания доверия и солидарности внутри и между ними;
- д) формирование порядков социальной стратификации и общественного разделения труда;
- е) саморепрезентации и стратегии социополитических элит, а также их практики управления³.

Рассмотрим некоторые аспекты цивилизационного структурирования обществ, в особенности российского, несколько подробнее.

Центр и периферия: цивилизационный паттерн имперской России

Для многих исследователей генезис базовых социальных институтов современного российского общества восходит к периоду монгольского завоевания и московской централизации. Согласно Эйзенштадту, в России монгольское завоевание привело к ослаблению автономных ориентаций и структур основных социальных слоев. Сформировавшийся в ходе последующей московской централизации российский цивилизационный паттерн обладал следующими ключевыми характеристиками:

- очень высокая значимость для центральной социополитической элиты ориентации на обладание властью и престижем;
- относительно высокая степень подчинения культурного порядка политическому и относительно низкая степень автономного доступа главных слоев общества к основным атрибутам социального и политического порядков;
- монополизация центром видов деятельности, имевших центральное значение с точки зрения утверждения космического и социального порядков — прежде всего сферы политической деятельности;

2. О понятии «долговых обязательств» социетальных институтов см.: Wittrock, 2000: 37–38; Виттрок, 2002: 144–146. Суть «долговых обязательств» состоит в представлениях и ожиданиях членов общества об ответственности социальных институтов перед данным социумом.

3. Данные аспекты цивилизационного структурирования обществ выделены на основе таких работ, как: (Эйзенштадт, 1999: 57–94; Arnason, 2001: 391–397; Eisenstadt, 2000a, 2003).

- строгое отделение центром доступа к атрибутам космического порядка (спасение) от доступа к каналам воздействия на политику и социальный порядок;
- выделение и поддержание центром обособленности социокультурных арен посюстороннего разрешения напряженности между трансцендентным и светским порядками;
- предоставление экономической деятельности возможности оставаться автономной в той степени, в какой она была лишена непосредственного воздействия на центр;
- строгое отделение владения ресурсами, находящимися в распоряжении различных социальных групп, от контроля над их использованием и обменом, который принадлежал центру;
- принудительное разобщение между политически властными элитами, которые были также носителями культурного порядка, особенно в его политических аспектах, различными институциональными элитами и идеологами моделей неполитического культурного порядка, с одной стороны, а с другой — экономическими и образовательными элитами и выразителями солидарности главных аскриптивных (конституируемых на основе кровнородственных и территориально-соседских связей) коллективов;
- строгий контроль за определением целей и самоопределением важнейших групп и широких слоев общества;
- относительная свобода элит в распоряжении ресурсами ради удовлетворения различных собственных желаний и достижения целей, но в той мере, в какой это не влияло на доступ к центральным властным позициям и не имело следствием создание независимых центральных рынков или новых коллективных идентичностей;
- относительная недостаточность классового сознания и классовой организации, присущая всему российскому обществу; узкое в профессиональном и территориальном отношениях самосознание большинства социальных групп;
- несформированность у большинства статусных групп, включая элиты, особых, нормативно санкционированного образа жизни, регулируемого собственными групповыми нормами и символами (Эйзенштадт, 1999: 173–178).

В целом, как отмечает Эйзенштадт, сложившаяся модель отношений между российским имперским центром и периферией характеризовалась низким уровнем автономного доступа и воздействия периферии на центр и относительно высокой степенью проникновения центра в периферию и главным образом «регулирующим и принудительным» характером его политики (Там же: 177). Следует отметить также сильную ориентацию социетального центра на автономию в международных отношениях.

Дальнейшая цивилизационная динамика российского общества в имперский период происходила под влиянием, по меньшей мере, трех факторов: а) возникновения у экономических и образовательных элит автономных культурных ориентаций и стратегий действия, в том числе имевших политическое выражение, ко-

торые не мог предупредить центр; б) ориентации самого центра на осуществление социальных преобразований (модернизации), имевших непредвиденные эффекты и далеко идущие последствия; в) социоструктурных процессов функциональной демократизации и индивидуализации.

Под процессом «функциональной демократизации» нами понимается вслед за Н. Элиасом «растущий властный потенциал масс» (Elias, 1984: 253). Процесс «индивидуализации» трактуется как «высвобождение» индивидов из привычного социального контекста, обусловленное в первую очередь социальной и территориальной мобильностью, и их «реинтеграция» в новые социальные структуры и контексты (Бек, 2000: 189). Индивидуализация в данном контексте не приравнивается к становлению личности, неповторимости и эманципации, хотя не исключает их (Там же: 190). «Индивидуализации» в подразумеваемом здесь смысле было бы более точным предполагать определение «функциональная», как это сделал Элиас в отношении процесса «демократизации». С цивилизационной точки зрения, важно отметить, что оба отмеченных процесса социоструктурных преобразований — демократизации и индивидуализации — сопровождаются изменением индивидуальных и коллективных опытов и ожиданий, формированием новых моделей идентичности и самопонимания (Бергер, 2008: 16–17).

Советская модель взаимоотношений центра и периферии переняла и усилила некоторые ключевые организационные черты традиционного российского образца, добавив к ним новые. В частности, для нее было характерно сочетание ориентаций а) на крайне высокую степень централизации управления, производства и распределения (аллокации) ресурсов; б) на жесткое ограничение (практически исключение) самоорганизации и автономного доступа периферии (вообще каких-либо автономно организованных социальных групп) к политическому центру; в) на обеспечение для широких слоев населения возможностей индивидуальной социальной мобильности, в том числе включения во властные структуры всех уровней под контролем партийной бюрократии. Однако при рассмотрении советского общества в цивилизационной перспективе сосредоточимся не на отношениях центра и периферии, а на таком аспекте общественного структурирования, как дифференциация и интеграция сфер социальной жизни.

Сфера общественной жизни: советская модель модерности

Концентрированным выражением интерпретативно-институциональной взаимосвязи, конституирующей цивилизационный паттерн, являются культурные интерпретации власти. При этом «культура» и «власть» рассматриваются как «аналитически отдельные, но структурно взаимосвязанные компоненты социальной жизни». Цивилизационные паттерны могут различаться своими способами артикуляции и организации отношения между культурными моделями и структурами власти, а также в масштабе и направлении автономного развития, допускаемого для каждой из этих сторон (Arnason, 2003: 5).

Одним из источников различий между цивилизационными паттернами является преимущественный акцент на одной из трех категорий — богатства, власти или смысла, рассматриваемых как взаимосвязанные, но в то же время в некоторой степени «альтернативные фокусы институционального строительства» (*Ibid.*: 198–199). Опираясь на концепцию М. Вебера о множественных «миропорядках», Арнасон предлагает интерпретировать категории богатства, власти и смысла, соответствующие конвенциальному трехчастному делению общественной жизни на экономическую, политическую и культурную сферы, как «способы создания мира», т. е. как «особые способы присвоения, переживания и интерпретации мира» (*Ibid.*: 199).

Многие исследователи усматривают цивилизационную специфику России в том, что власть в ней была и остается главным фокусом институционального строительства, причем с очень высокой степенью допускаемого автономного действия властных структур, принимающего вид «легитимизированного произвола» политico-административных элит (Дука, 2008: 7–28). В. П. Макаренко, Ю. С. Пивоваров и А. И. Фурсов описывают этот феномен взаимосвязанными терминами «Русская Власть» и «Русская Система» (Макаренко, 1998; Пивоваров, Фурсов, 1999). В то же время характерное для российской государственной власти отсутствие жесткой зависимости от строго определенных культурных образцов и обладание «большой свободой определять направления развития общества, оказывать влияние на практики и повседневную жизнь населения» может интерпретироваться как признак общества со «слабыми цивилизационными основаниями» (Черныш, 2015: 343).

Согласно Арнасону, советская модель модерности унаследовала от российской империи «не только геополитические ограничения и внутренние структурные проблемы», но, «что более важно, традицию направляемой государством социальной трансформации», которая стала образцом для сталинской «второй революции» в конце 1920-х годов. Эта «революция сверху» явилась решающим моментом в формировании советской модели (Арнасон, 2013: 57; Arnason, 1995)⁴. Однако данный аспект советской модерности больше привязан к имперскому наследию. В цивилизационном измерении советская версия модерности представляла собой сочетание, во-первых, некоторых ключевых компонентов, присущих цивилизации модерности в целом; во-вторых, дореволюционных (до- или раннемодерновых) российских образцов, которые сохранились или были воссозданы в постреволюционных условиях; и, в-третьих, специфических «альтернативных» форм модерности (в том числе тоталитарных), которые выросли из смешения элементов собственной культурной традиции и воспринятых западных субкультур и представляли собой реакцию на западную версию модерности.

Общемодерновый аспект в этой цивилизационной конфигурации составляла ориентация на расширение национального овладения миром. Компонент анти-

4. В российской социологии концепция советской модели модерна Арнасона уже становилась предметом рассмотрения, напр.: Масловский, 2011; Maslovskiy, 2019.

западной альтернативной модерности был представлен ориентацией на координацию всех сфер общественной жизни, которая бы исключала противоречия, конфликты и соперничество, сопровождавшие развитие западных либерально-капиталистических обществ. Присутствие традиционных досоветских цивилизационных элементов проявлялось менее отчетливо, но занимало все большее место по мере того, как стратегические цели советского государства смещались от всемирной революционной трансформации по направлению к более автаркичному и длительному существованию с капиталистическим миром. Прежде всего это отразилось в саморепрезентациях режима, реабилитирующих целый ряд дореволюционных форм жизни, которые были ярко охарактеризованы в книге Н. С. Тимашева «Великое отступление» (Timasheff, 1946). Эти репрезентации стали более «традиционистскими» уже в сталинское время в представлениях о месте в российской истории и задачах на международной арене, а также в идеологических проектах формирования «советского человека» и «советского образа жизни» в брежневский период (Арнасон, 2013: 58). В своей совокупности перечисленные цивилизационные компоненты сформировали советскую глобальную версию модерности как «социальную структуру, geopolитическую единицу и идеологическую альтернативу» (Там же: 54). Дискуссия о модерности/традиционности советского проекта на основе «цивилизационной» макросоциологии получила интересное освещение в книге М. Дэвид-Фокса, в которой он раскрывает, как советская система переработала наследие Российской империи и развилась в сложную форму модерности (Дэвид-Фокс, 2020).

Социальная структура и коллективные идентичности

М. Вебер продемонстрировал зависимость определенного типа социальной структуры от всеобъемлющего локального цивилизационного контекста. В частности, «классовую» структуру и борьбу в современных промышленно-капиталистических западных обществах Вебер рассматривал как проявление и следствие того особенного направления, которое принял долговременный процесс рационализации в западном «культурном мире» (Вебер, 2006: 13).

Конвенциональным образом социальная структура рассматривается в трех аспектах социальной дифференциации, включающей всю совокупность социальных различий между людьми: сегментарном, стратификационном, функциональном. В предельно обобщенном виде мировая социальная динамика изображается как переход от доминирования одного типа социальной дифференциации к другому: от сегментарного к стратификационному и далее к функциональному (Н. Луман). Данная направленность социально-структурного изменения соответствует переходу от «архаичного» к «традиционному» и далее к «модерному» типу общества. Однако, например, комбинация нации, класса и профессии, являющихся базовыми делениями социальной структуры модерного общества, показывает, что в вопросе о соотношении различных модусов социальной дифференциации

внимание следует сосредоточить скорее на специфических переплетениях сегментарного, стратификационного и функционального порядков социальной дифференциации, чем на примате одного из них в какую-либо историческую эпоху (Швайн, 2002; Хан, 2002).

Социальная дифференциация многомерна, даже в том случае, если в эмпирической реальности или в теоретической модели границы различных социальных делений накладываются друг на друга или выводятся одни из других. Такова, например, когерентная и детерминистская конструкция «социального класса» у К. Маркса, которую можно представить в качестве частного случая многомерной концепции социальной стратификации М. Вебера. Последний, как известно, выделял три основания социальной стратификации общества: жизненные шансы, власть, престиж, каждому из которых соответствует определенный вид социальных структур: класс, партия, статусная группа. Данные критерии можно было бы рассматривать как проекции социального неравенства в сферах экономики, политики и культуры соответственно. Однако такой подход может быть последовательно применен, и то лишь отчасти, в отношении обществ с высокой степенью дифференциации и автономии различных институциональных порядков: экономического, политического, культурного, что опять-таки в сравнительно-исторической перспективе выступает лишь одной из специфических конфигураций отношений между основными доменами общественной жизни. Сходство жизненных шансов индивидов, занимающих одинаковые позиции в социальном пространстве, создает «классы» (в веберовском понимании) как социальные категории, обладающие неравным доступом к тем или иным видам общественных ресурсов. Различия стилей жизни, наделяемых разным престижем, конституируют «статусные группы», которые в отличие от «классов» являются реальными, хотя в большинстве своем аморфными, как отмечает Вебер, сообществами. Во взаимодействии индивидов и социальных групп, или их агентов, социальное неравенство проявляется как власть, отношения господства и подчинения. На основе общих «классовых» и/или «статусных» ситуаций могут формироваться «партии» — реальные социальные группы, способные к коллективному действию для реализации разделяемых интересов и убеждений. Подход Вебера важен тем, что он не только утверждает множественность различных относительно автономных — экономического, социального (статусного), политического — порядков стратификации, но и показывает их взаимную обусловленность (Вебер, 1994).

Социальная дифференциация имеет институциональное закрепление (например, в «легальном порядке») и символическое выражение. В своих институционализированных формах социальная дифференциация выступает как система социальной стратификации и общественного разделения труда. Культура, взятая в соотношении с социальной структурой, может быть рассмотрена в трех аспектах: 1) как совокупность определенного рода социально значимых различий, составляющих «культурное» измерение социальной дифференциации наряду с другими (экономическими, политическими) видами благ, капиталов, ресурсов; 2) как

нормативно-ценностный комплекс, обеспечивающий легитимность и институциональную устойчивость систем социальной стратификации и общественного разделения труда; 3) как опыт и интерпретация социальной дифференциации, общественного разделения труда, социального неравенства.

В зависимости от концептуальных представлений исследователей «опыт и интерпретация» могут рассматриваться либо как отличное от социальной структуры автономное аналитическое измерение социального взаимодействия, либо как конституирующий компонент паттернов социальной структуры. Трактовка культуры как «опыта и интерпретации» выходит за рамки традиционного социологического понимания культуры как «норм и ценностей» и особенно важна для цивилизационного анализа. Во-первых, признание автономного/конституирующего характера интерпретативно-символических компонентов социальной жизни подразумевает возможность их не только стабилизирующих, но и трансформирующих эффектов для конкретных социоисторических структур, эти культурные компоненты могут быть источником как длительной исторической устойчивости, так и радикального изменения социальной структуры. Во-вторых, автономистский/конститутивистский тезис не означает культурного детерминизма, признания за культурными диспозициями односторонне направленного детерминирующего характера их воздействия на социальную структуру. Культурные и структурные факторы по-разному взаимодействуют, образуя особые конфигурации, в конкретных социоисторических контекстах.

Эйзенштадт выделял цивилизационный аспект конструирования коллективных идентичностей, составляющий наряду с осуществлением и регуляцией власти, а также производством и распределением ресурсов один из базовых компонентов конституирования любого общества. Ядром этого аналитического компонента является символическое и организационное конструирование границ коллективов, а также доверия и солидарности среди их членов (Eisenstadt, 2003: 75). Главным фокусом конструирования коллективных идентичностей является определение критериев членства индивидов в коллективе и атрибутов схожести членов данного коллектива между собой и их отличительности от «других» или «чужих». На основании этих признаков сходства и критериев членства происходит включение или исключение индивидов из числа участников определенных социальных взаимодействий и отношений, в том числе связанных с регуляцией власти, доступом к общественным благам, распределением материальных и символических ресурсов, предоставлением определенных прав.

Конструирование коллективных идентичностей, определение отличительных атрибутов коллективов происходит под воздействием особых *кодов*, или *тем*, укорененных в культурных предпосылках данного цивилизационного комплекса. Эйзенштадт выделяет три основных идеальных типа кодов, вокруг которых формируются коллективные идентичности: это коды а) примордиальности, б) цивилизованности (*civility*) и в) сакральности, или трансцендентности.

Код *примордиальности* фокусируется на таких компонентах, как гендер, поколение, родство, территории, язык, раса и т. п. Конструируемые на этих основаниях коллективные границы воспринимаются как естественно заданные. Код *цивилизованности* демаркирует границы коллектива на основе близкого знания имплицитных и эксплицитных правил поведения, традиций, общепринятых социальных рутинных практик, которые рассматриваются как образующие ядро идентичности данного сообщества. Код *сакральности*, или *трансцендентности*, связывает конструирование границ между «мы» и «они» с особым отношением коллективного субъекта к сфере сакрального и возвышенного, будь то «бог», «разум», «прогресс» или «рациональность» (Ibid.: 79–80). Именно код трансцендентности воплощает цивилизационное измерение коллективных идентичностей.

Продвижение и институционализация различных паттернов коллективной идентичности и границ неразрывно переплетается с борьбой за власть и ресурсы — материальные и культурные, или символические. Такая борьба совершается через кооперацию и создание коалиций между различными, часто соперничающими, носителями коллективной идентичности и между другими акторами — «влиятельными лицами», политическими и культурными элитами, представителями экономических групп и социальных классов, лидерами и выразителями солидарности локальных сообществ (Ibid.: 86).

Социальная структура общества складывается под влиянием множества тенденций и факторов, но цивилизационный паттерн задает параметры статусной иерархии общества, в том числе формируя основания коллективных идентичностей не только властных элит, но и широких социальных групп и слоев, наделяя некоторые из них особым символическим статусом, или престижем, как носителей высших «трансцендентных» культурных смыслов и ценностей, артикулируемых элитами. Например, в советской версии модерности, одним из формирующих компонентов которой было (наряду с отмеченными выше «имперским наследием» и «цивилизационным измерением») рабочее движение (Арнасон, 2013: 57), такой базовой коллективной идентичностью провозглашался рабочий класс. «Пролетарская» идентичность рабочего класса имела помимо социально-экономической составляющей отчетливо выраженный «трансцендентный» универсалистский, т. е. цивилизационный, аспект, воплощавшийся в представлении о всемирно-исторической роли пролетариата — своеобразная секулярная версия религиозного мессианства.

Цивилизационное измерение социальных неравенств

Основные тренды изменений социальных неравенств в современных обществах, включая российское, состоят в механизмах включения различных социальных групп в решение значимых для них проблем власти, собственности, престижа и признания. В современных обществах эти тенденции проявляются в возникновении и усилении таких новых форм социальных неравенств, как мобильные,

социокоммуникативные, сетевые, социоэкологические, цифровые неравенства. Условия и ресурсы перехода к модерности в различных обществах были крайне неравными и неравномерными. Часть наиболее развитых стран естественным образом встроилась в поток новой мобильности (Урри, 2012). Переход от аграрного к индустриальному развитию западных обществ-лидеров спровоцировал появление новых форм хозяйственно-экономического, правового, политического и культурного мироустройства. Этот процесс шел рука об руку с социальной эмансипацией внутри многих буржуазных обществ. В ходе их модернизации возникла так называемая эшелонная иерархия стран. Поиски и приобретение ресурсов ведущими национальными государствами привели к обоснованию стратегий цивилизационного, прежде всего экономического, индустриального, военного, политического, обустройства, к разработке и внедрению разносторонних новейших технологий в различных областях. Одновременно формировались новая социальная структура обществ, институты власти, культурная стратификация.

Новая социокультурная конфигурация (цивилизационный порядок) индустриальных обществ неизбежно требовала обеспечения складывающейся экономической, социальной и политической гегемонии, доминирования, превосходства как внутри, так и вне бурно развивающихся западных обществ на рубеже XIX–XX веков. Произошли укрепление и передел мировой колониальной системы. Эти социальные и политические шаги по утверждению нового цивилизационного порядка сопровождались двумя мировыми войнами, политическими и социальными революциями в России и других менее развитых странах. Неизбежны столкновения разных групп интересов, элит, новых выходящих на арену социально-экономических и политических групп (классов). Для объяснения радикальных общественных трансформаций, структурных перемен в современных обществах в рамках складывающихся фигураций и конфигураций на социетальном и социальном уровнях требуется смена концептуального аппарата. Такими концептами выступают понятия цивилизационной динамики, цивилизационного порядка, режима цивилизационного порядка и сосуществующих множественных модерностей. Множественность модерностей задается многообразными конфигурациями разворачивающихся, каждая в собственной логике, экономической, политической и культурной сфер общественной жизни в различных контекстах. Арнасон выделяет пять аналитических уровней таких контекстов: национальные государства (уровень отдельных социетальных формаций), исторические регионы (группы стран или обществ, объединяемых на основе накопленного опыта, в частности, как образующие один исторический регион рассматриваются страны Центральной и Восточной Европы [Блоккер, 2009]), цивилизационные комплексы (или в современных условиях — цивилизационные наследия, такие как исламское или конфуцианское), альтернативные модерности (т. е. образцы модерности, конкурирующие за доминирование на глобальной арене, например, коммунизм в XX веке) и, наконец, глобальные модерности (в смысле глобальных конstellаций эко-

номических, политических и культурных паттернов модерности) (Arnason, 2006: 191–192).

Понятия цивилизационного порядка и цивилизационной динамики обществ, включающие множественные модерности, позволяют выявить: а) сложные конфигурации на социetalном, региональном и глобальном уровнях; б) конкретные формы модерности разных социальных групп и сообществ, относительно обособленных социокультурно, религиозно, политически, хозяйствственно. Цивилизационный порядок общества представляет собой сложившийся корпус форм социальной организации и регулирования культуры, хозяйства и власти. Понятие модерности (современности и/или определенной исторической эпохи) выражает не что иное, как временной диапазон реального присутствия человека, групп и сообществ в конкретно-историческом социальном пространстве. Это поток разнообразных событий, состояний, действий, наполняющих уникальным опытом и культурным содержанием (интерпретацией) текущий период времени, который определяется как настоящее. Конфигурация настоящего включает в свернутом виде моментальность прошлого и длительность будущего. В современности происходит отражение текущести культурного, социального и личностного времени. Именно социальное время в различных формах современности в разных обществах, во-первых, топологически связано с пространством деятельности индивидов, а во-вторых, привязывает их к общественному топосу (месту) их биографии (проживания, работы, семьи и т. д.). Таким образом, формируется индивидуальный и коллективный хронотоп жизненного пути поколений, траектории их образования, занятости, потребления. Режим цивилизационного порядка означает способ социального и культурного включения индивида в ценностно-ролевые структуры, функциональные и институциональные подсистемы общества, сетевые отношения, обеспечивающие легитимный доступ к позициям, статусам, ресурсам, необходимым для самореализации.

Показателем эффективности и успешности режима цивилизационного порядка общества традиционно выступало действие, направленное на созидание, воспроизведение и трансляцию идей и вещей как пространства человеческих отношений. В традиционном обществе из-за дефицитности ресурсов доминировала достаточно простая система цивилизационного (социально-экономического) принуждения к образу жизни, включая участие в производстве и потреблении. В постиндустриальном обществе происходит глубокая трансформация социальной, культурной, трудовой идентификации. Расширяются цивилизационные возможности освоения (мягкого принуждения) к индивидуальному стилю жизни, то есть появляются легальные ресурсы для избирательного присвоения и проживания формы модерности. Важное место занимает в этом процессе информационно-коммуникативная инверсия, или превращение знаково-символического разнообразия в личное пространство идей, вещей и отношений, соответственно, в новые формы проживания социального и личностного времени. Режим цивилизационного порядка любого типа современности действует двояко. Он одно-

временно и упрощает, принуждая индивида к стандартам потребления, и усложняет, обрекая на индивидуальный выбор. Общество потребления как выражение доминирующего тренда в потоках множественных модерностей, с нашей точки зрения, — радикально меняет качество и стиль современной индивидуальной и коллективной жизни. Экономический рост, заданный новыми технологиями, организацией труда и производства, широкая мобильность, включая растущую международную миграцию, индивидуализация создают условия, ресурсы и способы потребления, динамичные фигурации различных режимов цивилизационного порядка.

Цивилизационные паттерны и социальные фигурации

Ш. Эйзенштадт подчеркивал решающую роль в процессах интерпретации и институционализации, формирующих, поддерживающих и изменяющих социальные порядки и цивилизационные паттерны, коалиций различного типа — культурных, политических, экономических — элит, связанных с разными сферами социальной жизни. Однако акцент на элитах не дает всеобъемлющей картины социальной структуры обществ. Культурно-институциональную концепцию «цивилизационного измерения» Эйзенштадта Арнасон предлагает дополнить социоструктурным понятием «фигурации», взятым из теории процессов цивилизации Н. Элиаса.

Фигурация характеризуется изменяющимся балансом власти в отношениях между акторами. Как подчеркивает Элиас, важно учитывать не только соотношение сил на данный момент, т. е. статическую характеристику фигурации, но и градиент власти — динамическую характеристику, показывающую направление смещения баланса власти в сторону господствующих или подчиненных групп. Как уже отмечалось, в качестве доминирующего социоструктурного тренда модерных обществ Элиас выделял процесс «функциональной демократизации», состоящий в смещении баланса власти в сторону широких слоев населения (Elias, 1984: 253).

Однако, как отмечает Арнасон, процесс демократизации включает «не только изменяющиеся конstellации власти, но также новые культурные интерпретации власти» (Arnason, 1987: 451). Возникновение и институционализация демократического проекта, прежде всего в ряде западноевропейских и североамериканских обществ, не могут быть сведены к социоструктурной трансформации, вызванной процессом функциональной демократизации, и ее автоматическим последствиям в институциональной сфере. Они должны рассматриваться как избирательная артикуляция культурных предпосылок демократической революции, которые могут быть интерпретированы по-разному. Другим ответом на функциональную демократизацию является развитие все более сложных и всеохватывающих механизмов контроля (*Ibid.*). Это могут быть тоталитарные механизмы контроля, например, реализуемые в форме диктатуры партии-государства, но могут быть и более мягкие дисциплинарные механизмы «знания- власти» (М. Фуко), комплементарные институтам правового государства, действующим в демократических обще-

ствах. Как подчеркивал Фуко, в модерных обществах власть осуществляется во взаимодействии этих двух гетерогенных, несводимых одно к другому начал — институтов государственного права и дисциплинарных механизмов, возрастающих на основе производства, использования и легитимации знания, претендующего быть «наукой» (Фуко, 2005: 56). Как тоталитарные, так и либерально-демократические модерновые политики-институциональные режимы представляют собой сочетания механизмов контроля обоих видов — юридического закона и дисциплины. Однако в случае тоталитарных режимов ориентация на осуществление власти и контроля над условиями человеческого существования подавляет ориентацию на автономию человека, в особенности в ее индивидуалистических акцентуациях. Также в тоталитарных режимах идеологизированные институты государственно-юридического порядка подчиняют себе дисциплинарные механизмы контроля, поддерживаемые дискурсами социальных, но также всех прочих (психологических, гуманитарных, естественных) видов наук — в той степени, в которой последние реализуются в практиках власти-знания. Тоталитарные проекты и режимы, как и демократические, являются не только одним из ответов на социоструктурный процесс функциональной демократизации, но и особой интерпретацией культурной проблематики демократической революции, что и делает их принадлежащими модерности.

Трансформация цивилизационного порядка

Ядро цивилизационного измерения структурирования современных обществ состоит в обнаружении конфигурации целостной осевой эпохи, определяемой как специфическая иерархия множества динамичных модерностей. Поток непрерывных технологических инноваций, социальных трансформаций, экономических циклов, волнообразных культурных кризисов определяет ландшафт и динамику современных обществ. Многие из них, отмеченные в концепциях модернизации, глобализации, постмодернизации, виртуализации, отходят на задний план, поскольку они лишь усугубляют лихорадочность поиска ответов на ситуативные и стратегические проблемы. Глобальный характер экономических и финансовых потрясений резко повышает цену и риски принимаемых политических и хозяйственных решений. Наблюдается очевидный цивилизационный провал, точнее сказать, перепад от, казалось бы, вполне устойчивой социокультурной матрицы сложившихся типов современного общества «риска», «второго модерна», «потребления», «знания», «креативного действия» к новым формам общественного порядка. Происходит мощная трансформация цивилизационного миропорядка, которая втягивает в свою орбиту максимально большое число участников. Избежать втягивания в новую цивилизационную «воронку» смогут лишь те, кто не вкусили прелестей массового общества, искушений иллюзиями социоприродного государства и наслаждений неутолимого потребления. Они еще на пути к разочарованию в «прогрессе». Остальных ждет испытание разного рода трансформациями: упо-

ение всесилием и бессилием политической власти, очарованность могуществом и слабостью транснациональных сетей в экономике и культуре, магия личной воли и безволия, фанатизм веры и безверия.

Таковы приметы цивилизационной конфигурации модерности, во власти которой находится и современное российское общество. Несмотря на сохраняющиеся трактовки одностороннего историзирующего, политизирующего или экономизирующего истолкования цивилизации, складывается ее понимание как процесса, (транс)формирующегося на собственных социокультурных основаниях. Политический и экономический каркас национально ориентированной культуры изменяется в направлении глобально-ориентированных цивилизационных оснований. Потребность в мировом языке, мировой экономике, мировом правительстве, мировой религии, мировом праве, мировой науке, мировом искусстве порождает новейшие противоречия в борьбе за доминирование и признание. Национальные культуры встраиваются в среду постоянно обновляющихся переплетений глобального и локального. В течение XX в. модернизация привела к стагнации и утрате традиционных форм национальных культур и режимов цивилизационного порядка. В начале XXI в. цивилизационная динамика российского общества резко ускорилась и буквально вбросила его в глобальное пространство перераспределения человеческих ресурсов в транснациональных процессах миграции, аутсорсинга, сетевых потоков в бизнесе, политике, науке, образовании, спорте. Все это говорит в пользу новой социокультурной карты мира и цивилизационного сдвига российского общества в направлении новых типов модерности с учетом собственной специфики.

Метаморфозы в социокультурном и цивилизационном развитии российского общества включены в общемировые тренды. Автономия и автаркия социокультурных типов как отдельных локальных цивилизаций подвергается мощному давлению со стороны иерархически выстроенного доминирующего миропорядка. Противоречия осевой эпохи начала XXI столетия выражаются в острой коллизии национализма и космополитизма, либерализма и консерватизма. Разрушение империй в XX в. привело к возникновению новых национальных государств, переделу существовавших национальных государственных, политических и экономических границ отдельных стран, к формированию межгосударственных союзов. Экономические, финансовые, миграционные, информационные потоки в разных регионах мира служат прямым доказательством складывания нового цивилизационного порядка на основе сосуществования разных культур и форм цивилизации. В частности, наблюдаемые типы региональной и глобальной интеграции свидетельствуют о динамичном культурном и цивилизационном обмене.

Заключение

Цивилизационное измерение задает особый вектор исследования традиционных и новейших форм структурирования современных обществ и происходящих

в них трансформаций. Социологическая парадигма цивилизационного анализа и возникшая в ее рамках теория множественных модерностей позволяет объяснить ряд сложных турбулентных процессов, в числе которых технологические инновации, тектонические сдвиги в социальных структурах, экономические циклы, политические коллизии и культурные кризисы. Многие определяющие ландшафт и динамику современных обществ жизненно важные проблемы, безусловно, отражены в известных концепциях модернизации, глобализации, постмодернизации, виртуализации, но, с нашей точки зрения, фрагментарно. В частности, это относится к объяснению и пониманию социоструктурных, институциональных и культурных процессов в дореволюционном, советском и современном российском обществе. Специфика цивилизационных изменений в современных обществах, в том числе и в российском, состоит в формировании новых способов включения/исключения различных социальных групп в решение значимых для них проблем благосостояния, власти, собственности, престижа и признания. Цивилизационная перспектива в социологии акцентирует внимание на множественных формах модерности и конституирующей роли культуры в структурировании современных обществ.

Литература

- Александер Дж., Смит Ф. (2010). Сильная программа в культурсоциологии / Пер. с англ. С. Джакуповой под ред. Д. Куракина // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 11–30.
- Арнасон Й. (2012). Понимание цивилизационной динамики: вводные замечания / Пер. с англ. М. В. Масловского // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. XV. № 6. С. 18–29.
- Арнасон Й. (2013). Советская модель как форма глобализации / Пер. с англ. М. В. Масловского // Неприкосновенный запас. № 4. С. 53–76.
- Арнасон Й. (2016). Переосмысление восточноазиатского модерна / Пер. с англ. Л. Г. Титаренко и А. А. Широкановой // Социологические исследования. № 1. С. 191–200.
- Арнасон Й. (2017). Революции, трансформации, цивилизации: пролегомены к переориентации парадигмы / Пер. с англ. А. Степанова // Неприкосновенный запас. № 5. С. 37–69.
- Бек У. (2000). Общество риска: на пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника и Н. Федоровой. М.: Прогресс-Традиция.
- Бергер П. (2008). Индивидуализация и изменение значения социальных неравенств — недопонимание и предложения по его устранению // Воронков В., Соколов М. (ред.). Социальное неравенство: изменения в социальной структуре: европейская перспектива / Пер. с нем. К. Тимофеевой. СПб.: Алетейя. С. 12–24.

- Блоккер П. (2009). Сталкиваясь с модернизацией: открытость и закрытость другой Европы / Пер. с англ. А. Маркова // Новое литературное обозрение. № 6. С. 18–34.
- Браславский Р. Г. (2012). Цивилизационная перспектива в социологическом анализе современных обществ // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. XV. № 6. С. 30–49.
- Вебер М. (1994). Основные понятия стратификации / Пер. с англ. А. И. Кравченко // Социологические исследования. № 5. С. 147–156.
- Вебер М. (2006). Предварительные замечания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. 2-е изд. М.: РОССПЭН. С. 7–18.
- Виттрок Б. (2002). Современность: одна, ни одной или множество? Европейские истоки и современность как всеобщее состояние / Пер. с англ. Л. А. Галкиной // Полис. Политические исследования. № 1. С. 141–159.
- Дука А. В. (2008). Легитимация произвола как основание функционирования элит // Дука А. В. (ред.). Элиты и власть в российском социальном пространстве: Материалы пятого Всероссийского семинара «Социологические проблемы институтов власти в условиях российской трансформации» (15–16 декабря 2006 года, Санкт-Петербург). СПб.: Интерсоцис. С. 7–28.
- Дэвид-Фокс М. (2020). Пересекая границы: модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе / Пер. с англ. Т. Пирузской. М.: Новое литературное обозрение.
- Ерасов Б. С. (ред.). (2001). Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия. М.: Аспект Пресс.
- Касториадис К. (2003). Воображаемое установление общества / Пер. с фр. Г. Волковой и С. Офертаса. М.: Гнозис, Логос.
- Лапин Н. И. (2015а). Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI столетии. Часть 1: Человеческая цивилизация перед выбором конфигурации фундаментальных ценностей // Вопросы философии. № 4. С. 3–16.
- Лапин Н. И. (2015б). Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в XXI столетии. Часть 2: Аксиологические предпосылки цивилизационного выбора России // Вопросы философии. № 6. С. 3–17.
- Макаренко В. П. (1998). Русская власть (теоретико-социологические проблемы). Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ.
- Масловский М. В. (2011). Анализ советской версии модерна в исторической социологии Йохана Арнасона // Социологический журнал. № 1. С. 5–9.
- Пивоваров Ю. С., Фурсов А. И. (1999). Русская власть, Русская система и Русская история: Размышления об исторических предпосылках нашей ситуации // Красные холмы. М.: Городская Собственность.
- Тисельтон Э. (2011). Герменевтика / Пер. с англ. О. Розенберг. Черкассы: Коллоквиум.
- Урри Дж. (2012). Мобильности / Пер. с англ. А. В. Лазарева. М.: Практис.

- Фуко М. (2005). Нужно защищать общество: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1975–1976 учебном году / Пер. с фр. Е. А. Самарской. СПб.: Наука.
- Хан А. (2002). Идентичность и нация в Европе // Козловский В. В., Ланге Э., Харбах Х. (ред.). Современная немецкая социология: 1990-е годы. СПб.: Социологическое общество им. М. М. Ковалевского. С. 268–281.
- Черныш М. Ф. (2015). Цивилизационные основания общества и социальная структура // Шкаратан О. И., Лексин В. Н., Ястребов Г. А. (ред.). Россия как цивилизация: материалы к размышлению. М.: Редакция журнала «Мир России». С. 341–366.
- Швинн Т. (2002). Социальное неравенство и функциональная дифференциация: возобновление дискуссии // Козловский В. В., Ланге Э., Харбах Х. (ред.). Современная немецкая социология: 1990-е годы. СПб.: Социологическое общество им. М. М. Ковалевского. С. 245–267.
- Шкаратан О. И. (2015). Россия как евразийская цивилизация // Шкаратан О. И., Лексин В. Н., Ястребов Г. А. (ред.). Россия как цивилизация: материалы к размышлению. М.: Редакция журнала «Мир России». С. 12–65.
- Эйзенштадт Ш. (1999). Революция и преобразование обществ: сравнительное изучение цивилизаций / Пер. с англ. А. В. Гордона. М.: Аспект Пресс.
- Arnason J. P. (1987). Figurational Sociology as a Counter-Paradigm // Theory, Culture, Society. Vol. 4. P. 429–456.
- Arnason J. P. (1995). The Soviet Model as a Mode of Globalization // Thesis Eleven. Vol. 41. № 1. P. 36–53.
- Arnason J. P. (2001a). Civilizational Analysis, History of // Smelser N. J. (ed.). Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier. P. 1909–1915.
- Arnason J. P. (2001b). Civilizational Patterns and Civilizing Processes // International Sociology. Vol. 16. № 3. P. 387–405.
- Arnason J. P. (2003). Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions. Leiden: Brill.
- Arnason J. P. (2010). Interpreting History and Understanding Civilizations // Joas H., Klein B. (eds.). The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science: Festschrift for Bjorn Wittrock on the Occasion of His 65th Birthday. Leiden: Brill. P. 167–184.
- Collins R. (2001). Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact // International Sociology. Vol. 16. № 3. P. 421–437.
- Durkheim E., Mauss M. (1998). Note on the Notion of Civilization [1913] // Mennell S., Rundell J. (eds.). Classical Readings in Culture and Civilization. L.: Routledge. P. 151–154.
- Eisenstadt S. N. (2000a). The Civilizational Dimension in Sociological Analysis // Thesis Eleven. Vol. 62. № 1. P. 1–21.
- Eisenstadt S. N. (2000b). Multiple Modernities // Daedalus. Vol. 129. № 1. P. 1–29.
- Eisenstadt S. N. (2001). The Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization // International Sociology. Vol. 16. № 3. P. 320–340.

- Eisenstadt S. N. (2003). The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of Primordiality and Sacrality: Some Analytical and Comparative Indications // Eisenstadt S. N. Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Vol. 2. Leiden: Brill. P. 75–134.*
- Elias N. (1984). Interview with Peter Ludes on «Knowledge and Power» // Meja V., Stehr N. (eds.). Society and Knowledge. New Brunswick: Transaction Books. P. 251–291.*
- Fukuyama F. (1992). The End of History and the Last Man. N.Y.: Free Press.*
- Maslovskiy M. (2019). The Soviet Version of Modernity: Weberian and Post-Weberian Perspectives // Russian Sociological Review. Vol. 18. № 2. P. 174–188.*
- Timasheff N. S. (1946). The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. N.Y.: E. P. Dutton & Company.*
- Wagner P. (2008). Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity. Cambridge: Polity.*
- Wagner P. (2009). Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something like a Cultural Turn in the Sociology of «Modern Society» // Hedstrom P., Wittrock B. (eds.). Frontiers of Sociology. Leiden: Brill. P. 247–266.*
- Wagner P. (2010). Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology // Thesis Eleven. Vol. 100. № 1. P. 53–60.*
- Wagner P. (2011). From Interpretation to Civilization — and Back: Analyzing the Trajectories of non-European Modernities // European Journal of Social Theory. Vol. 14. № 1. P. 89–106.*
- Wittrock B. (2000). Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition // Daedalus. Vol. 129. № 1. P. 31–60.*

The Civilizational Dimension of the Structuring of Societies

Ruslan Braslavskiy

Candidate of Sociological Sciences, Senior Researcher, Sociological Institute, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology, Russian Academy of Sciences

Address: Ul. 7-ya Krasnoarmeyskaya, 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005

E-mail: r.braslavsky@socinst.ru

Vladimir Kozlovskiy

Doctor of Philosophical Sciences, Director, Sociological Institute, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology, Russian Academy of Sciences

Professor, Saint Petersburg State University

Address: Universitetskaya Naberezhnaya, 7/9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034

E-mail: v.kozlovskiy@socinst.ru

The civilizational approach in contemporary sociology aims at clarifying the relationships between social structure and culture, and institutions and actors. The civilizational dimension of the structuring of societies focuses on uncovering the complex interactions between the civilizational pattern and social structure. The focus is on a historically-defined combination of

interpretive models and institutional frameworks in which the social dynamics of society unfolds. The fundamental premise of civilizational analysis in sociology is the rejection of social or cultural reductionist determinism. The key moments are distinction and autonomy, and are contingent on the interweaving of the structural, institutional, and cultural aspects of social interaction. The basic concepts of the civilizational dimension of structuring societies are (a) the determination of the method of differentiation and integration of the spheres of social life; (b) the establishment of basic norms and "debentures" for the main institutional sectors; (c) the building a social center and establishing its relationship with the periphery; (d) the construction of collective identities; (e) giving order to the formation of social stratification and the social division of labor; and (f) a self-representation and the strategies of sociopolitical elites, and their management practices. The key aspects of the civilizational structuring of social formations are highlighted and considered in the examples of the Imperial and the Soviet periods in the history of Russian society. Contemporary societies in the civilizational dimension are a combination of (a) inherited local civilizational traditions (often with their own anticipations of modernity), then (b) perceived in the course of inter-civilizational encounters with cultural and institutional influences of "other" traditions and reactions to them, and then (c) develop, inherit their own, borrow, or take on imposed-from-the-outside articulations and visions of the problems of modernity civilization, including models of modernity which receive universal meaning and value.

Keywords: civilizational dimension, civilizational patterns, social structure, culture, power, social institutions, elites, multiple modernities

References

- Alexander J. C., Smith Ph. (2010) Sil'naja programma v kul'tursociologii [Strong Program in Cultural Sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 11–30.
- Arnason J. P. (1987) Figurational Sociology as a Counter-Paradigm. *Theory, Culture, Society*, vol. 4, pp. 429–456.
- Arnason J. P. (1995) The Soviet Model as a Mode of Globalization. *Thesis Eleven*, vol. 41, no 1, pp. 36–53.
- Arnason J. P. (2001) Civilizational Analysis, History of. *Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (ed. N. J. Smelser), Amsterdam: Elsevier, pp. 1909–1915.
- Arnason J. P. (2001) Civilizational Patterns and Civilizing Processes. *International Sociology*, vol. 16, no 3, pp. 387–405.
- Arnason J. P. (2003) *Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions*, Leiden: Brill.
- Arnason J. P. (2010) Interpreting History and Understanding Civilizations. *The Benefit of Broad Horizons: Intellectual and Institutional Preconditions for a Global Social Science: Festschrift for Bjorn Witrock on the Occasion of His 65th Birthday* (eds. H. Joas, B. Klein), Leiden: Brill, pp. 167–184.
- Arnason J. P. (2012) Ponimanie civilizacionnoj dinamiki: vvednye zamechanija [Making Sense of Civilizational Dynamics: Introductory Remarks]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. XV, no 6, pp. 18–29.
- Arnason J. P. (2013) Sovetskaja model' kak forma globalizacii [The Soviet Model as a Mode of Globalization]. *Neprikosnovenny zapas*, no 4, pp. 53–76.
- Arnason J. P. (2016) Pereosmyshlenie vostochnoaziatskogo moderna [East Asian Modernity Revisited]. *Sociological Studies*, no 1, pp. 191–200.
- Arnason J. P. (2017) Revoljucii, transformacii, civilizacii: prolegomeny k pereorientacii paradigm [Revolutions, Transformations, Civilizations: Prolegomena to a Paradigm Reorientation]. *Neprikosnovenny zapas*, no 5, pp. 37–69.
- Beck U. (2000) *Obshhestvo riska: na puti k drugomu modernu* [Risk Society: Towards a New Modernity], Moscow: Progress-Tradicia.
- Berger P. (2008) Individualizacija i izmenenie znachenija social'nyh neravenstv — nedoponimanije i predlozhenija po ego ustraneniju [Individualization and Change of the Meaning of Social Inequalities — Misunderstandings and Proposals for Its Elimination]. *Social'noe neravenstvo. Izmenenija v social'noj strukture: evropejskaja perspektiva* [Social Inequality. Changes in Social

- Structure: European Perspective] (eds. V. Voronkov, M. Sokolov), Saint Petersburg: Aleteya, pp. 12–24.
- Blokker P. (2009) *Stalkivajas's modernizaciej: otkrytost' i zakrytost' drugoj Evropy* [Confrontations with Modernity: Openness and Closure in the Other Europe]. *New Literary Observer*, no 6, pp. 18–34.
- Braslavsky R. (2012) *Civilizacionnaja perspektiva v sociologicheskem analize sovremennyh obshhestv* [Civilizational Perspective in Sociological Analysis of Contemporary Societies]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. XV, no 6, pp. 30–49.
- Castoriadis C. (2003) *Voobrazhaemoe ustanovlenie obshhestva* [The Imaginary Institution of Society], Moscow: Gnozis, Logos.
- Chernysh M. (2015) *Civilizacionnye osnovaniya obshhestva i social'naja struktura* [Civilizational Foundations of Society and Social Structure]. *Rossija kak civilizacija: materialy k razmyshleniju* [Russia as a Civilization: Materials for Reflection] (eds. O. Shkaratan, V. Leksin, G. Yastrebov), Moscow: Mir Rossii, pp. 341–366.
- Collins R. (2001) Civilizations as Zones of Prestige and Social Contact. *International Sociology*, vol. 16, no 3, pp. 421–437.
- David-Fox M. (2020) *Peresekaya granitsy. Modernost', ideologiya i kul'tura v Rossii i Sovetskem Suyuze* [Crossing Borders: Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union], Moscow: New Literary Observer.
- Duka A. V. (2008) Legitimacija proizvola kak osnovanie funkcionirovaniya jelit [Legitimation of Arbitrariness as the Basis for the Functioning of Elites]. *Jelity i vlast' v rossiskom social'nom prostranstve* [Elites and Power in the Russian Social Space] (ed. A. Duka), Saint Petersburg: Intersocis, pp. 7–28.
- Durkheim E., Mauss M. (1998) Note on the Notion of Civilization [1913]. *Classical Readings in Culture and Civilization* (eds. S. Mennell, J. Rundell), London: Routledge, pp. 151–154.
- Eisenstadt S. N. (1999) *Revoljucija i preobrazovanie obshhestv: sravnitel'noe izuchenie civilizacij* [Revolution and the Transformation of Societies: A Comparative Study of Civilizations], Moscow: Aspekt Press.
- Eisenstadt S. N. (2000) The Civilizational Dimension in Sociological Analysis. *Thesis Eleven*, vol. 62, no 1, pp. 1–21.
- Eisenstadt S. N. (2000) Multiple Modernities. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 1–29.
- Eisenstadt S. N. (2001) The Civilizational Dimension of Modernity: Modernity as a Distinct Civilization. *International Sociology*, vol. 16, no 3, pp. 320–340.
- Eisenstadt S. N. (2003) The Construction of Collective Identities and the Continual Reconstruction of Primordiality and Sacrality: Some Analytical and Comparative Indications. *Comparative Civilizations and Multiple Modernities*, vol. 2, Leiden: Brill, pp. 75–134.
- Elias N. (1984) Interview with Peter Ludes on "Knowledge and Power". *Society and Knowledge* (eds. V. Meja, N. Stehr), New Brunswick: Transaction Books, pp. 251–291.
- Erasov B. S. (ed.) (2001) *Sravnitel'noe izuchenie civilizacij: Hrestomatija* [Comparative Study of Civilizations: A Textbook], Moscow: Aspekt Press.
- Foucault M. (2005) *Nuzhno zashhishhat' obshhestvo: Kurs lekcij, prochitannyh v Kollezh de Frans v 1975–1976 uchebnom godu* [Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975–76], Saint Petersburg: Nauka.
- Fukuyama F. (1992) *The End of History and the Last Man*, New York: Free Press.
- Hahn A. (2002) Identichnost' i nacija v Evrope [Identity and nation in Europe]. *Sovremennaja nemeckaja sociologija: 1990-e gody* [Contemporary German Sociology: The 1990s] (eds. V. Kozlovskiy, E. Lange, H. Harbach), Saint Petersburg: M. M. Kovalevsky's Russian Sociological Society, pp. 268–281.
- Lapin N. (2015) Fundamental'nye cennosti civilizacionnogo vybora v XXI stoletii. Chast' 1. *Chelovecheskaja civilizacija pered vyborom konfiguracii fundamental'nyh cennostej* [The Fundamental Values of Civilizational Choice in the Twenty-First Century. Part 1: Human Civilization Before Contingency Configuration Choice of Fundamental Values]. *Russian Studies in Philosophy*, no 4, pp. 3–15.

- Lapin N. (2015) Fundamental'nye cennosti civilizacionnogo vbyora v XXI stoletii. Chast' 2. *Aksiologicheskie predposytki civilizacionnogo vbyora Rossii* [The Fundamental Values of Civilizational Choice in the Twenty-First Century. Part 2: Axiological Assumptions of Civilized Choice of Russia]. *Russian Studies in Philosophy*, no 6, pp. 3–17.
- Makarenko V. (1998) *Russkaja vlast' (teoretiko-sociologicheskie problemy)* [Russian Power (Theoretical and Sociological Problems)], Rostov-on-the-Don: SKNC VSh.
- Maslovskiy M. (2011) *Analiz sovetskoy versii moderna v istoricheskoy sociologii Johana Arnasona* [The Analysis of the Soviet Version of Modernity in Johann Arnason's Historical Sociology]. *Sociological Journal*, no 1, pp. 5–9.
- Maslovskiy M. (2019) The Soviet Version of Modernity: Weberian and post-Weberian perspectives. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 2, pp. 174–188.
- Pivovarov Y., Fursov A. (1999) *Russkaja vlast', Russkaja sistema i Russkaja istorija: Razmyshlenija ob istoricheskikh predposyalkah nashej situacii* [Russian Power, the Russian System and Russian History: Reflections on the Historical Background of Our Situation]. *Krasnye holmy*, Moscow: Gorodskaja Slobzvennost'.
- Schwinn T. (2002) Social'noe neravenstvo i funktsional'naja differenciacija: vozobnovlenie diskussii [Social Inequality and Functional Differentiation: Renewing the Debate]. *Sovremennaja nemeckaja sociologija: 1990-e gody* [Contemporary German Sociology: The 1990s] (eds. V. Kozlovskiy, E. Lange, H. Harbach), Saint Petersburg: M. M. Kovalevsky's Russian Sociological Society, pp. 245–267.
- Shkaratan O. (2015) *Rossija kak evrazijskaja civilizacija* [Russia as a Eurasian Civilization]. *Rossija kak civilizacija: materialy k razmyshleniju* [Russia as a Civilization: Materials for Reflection] (eds. O. Shkaratan, V. Leksin, G. Jastrebov), Moscow: Mir Rossii, pp. 12–65.
- Thiselton A. (2011) *Germenevtika* [Hermeneutics], Cherkassy: Kollokvium.
- Timasheff N. S. (1946) *The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia*, New York: E. P. Dutton & Co.
- Urry J. (2012) *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praksis.
- Wagner P. (2008) *Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity*, Cambridge: Polity.
- Wagner P. (2009) Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something like a Cultural Turn in the Sociology of "Modern Society". *Frontiers of Sociology* (eds. P. Hedstrom, B. Wittrock), Leiden: Brill, pp. 247–266.
- Wagner P. (2010) Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology. *Thesis Eleven*, vol. 100, no 1, pp. 53–60.
- Wagner P. (2011) From Interpretation to Civilization — and Back: Analyzing the Trajectories of non-European Modernities. *European Journal of Social Theory*, vol. 14, no 1, pp. 89–106.
- Weber M. (1994) *Osnovnye ponjatija stratifikacii* [Basic Concepts of Stratification]. *Sociological Studies*, no 5, pp. 147–156.
- Weber M. (2006) *Predvaritel'nye zamechanija* [Preliminary Remarks]. *Izbrannoe: Protestantskaja jetika i duh kapitalizma* [Selected Works: The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism], Moscow: ROSSPEN, pp. 7–18.
- Wittrock B. (2000) Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition. *Daedalus*, vol. 129, no 1, pp. 31–60.
- Wittrock B. (2002) Sovremennost': odna, ni odnoj ili mnoghestvo? Evropejskie istoki i sovremennost' kak vseobshhee sostojanie [Modernity: One, None, or Many? European Origins and Modernity as a Global Condition]. *Polis: Political Studies*, no 1, pp. 141–159.

Международное право и Православная церковь: идеи М. В. Зызыкина в 1930-е годы

Ирина Борщ

Кандидат юридических наук, старший научный сотрудник,
Лаборатория исследований церковных институтов,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Адрес: Лихов пер., д. 6, стр. 1, Москва, Российская Федерация 127051
E-mail: irina.borshch@yandex.ru

В статье рассматриваются идеи правоведа и историка М. В. Зызыкина (1880–1960) о вкладе церкви в международное право в контексте истории права и состояния международных отношений 1930-х годов. Особое внимание уделяется отношению православия к международному праву, поскольку Зызыкин — один из немногих правоведов, подробно исследовавших влияние на «право народов» православной церковной традиции. Его работы на эту тему (прежде всего очерк «Церковь и международное право» (1937), написанный для Оксфордской конференции практического христианства) остаются малоизвестны представителям социально-политических наук, как это произошло со многими трудами русских ученых в эмиграции в межвоенный период. В первой части нашей статьи излагаются основные моменты биографии правоведа и краткое описание его трудов, с целью показать особенности его подхода к проблеме христианского международного права. Во второй части рассматриваются основные положения о происхождении международного права (в средневековой Европе при участии церкви) в контексте позиций других правоведов-международников (Таубе, Мартенса, Камаровского, Ниса, Блюнчли). Третья часть содержит сравнительную характеристику отношения к международному праву трех христианских конфессий (католицизм, протестантизм, православие) по Зызыкину, и его идею «несимметричного» вклада христианского Запада и Востока (представленного первоначально Восточной римской империей, а затем Российской империей). В четвертой части излагается наиболее оригинальная часть идейного наследия Зызыкина: сравнение двух уязвимых попыток международного объединения — Священного союза в XIX веке и Лиги Наций в XX веке. При этом правовед отдает предпочтение православно-консервативному проекту Священного союза как более реалистичному и морально-обоснованному.

Ключевые слова: Православная церковь и международное право, М. В. Зызыкин, право и религия, христианское международное право, история правовой мысли XX века

Биография и труды Михаила Зызыкина

Михаил Валерьевич Зызыкин (1880, Юркино, Тверская губерния, Россия — 1960, Буэнос-Айрес, Аргентина) — русский правовед и историк, происходил из состоятельной семьи известного купеческого рода, занимавшегося виноделием в Тверской губернии¹. По окончании юридического факультета Московского универси-

1. О семейной истории рода Зызыкиных см.: Быковская, 2009.

тета в 1911 году был оставлен преподавать в *alma mater* в качестве приват-доцента. Занимаясь юридической наукой, Зызыкин продолжал руководить семейным бизнесом. После Октябрьской революции 1917 года и последовавшей национализации своего завода он был вынужден эмигрировать. В 1921 году вместе с семьей и обширной библиотекой Михаил Валерьянович выехал в Константинополь, затем в Рим и, наконец, в Софию, где стал преподавать в местном университете. В 1929 году был приглашен в качестве профессора Православного богословского факультета Варшавского университета на кафедру православной социологии и канонического права. Во время Второй мировой войны семья Зызыкина переехала из Польши в Австрию, а после окончания войны — в Аргентину². Михаил Валерьянович умер 29 июля 1960 года в Буэнос-Айресе.

В 1920-е годы Зызыкин писал книги по истории государства, церкви и политической мысли в России. Будучи в Болгарии, он закончил свой первый труд «Царская власть и Закон о престолонаследии в России» (Зызыкин, 1924). Эта книга стала известной в среде эмиграции и широко обсуждалась правоведами, философами и богословами³. Там же, в Болгарии, им была написана книга «Патриарх Никон: его государственные и канонические идеи» (Зызыкин, 1931–1939), представленная впоследствии в качестве магистерской диссертации для защиты в Русской Академической группе в Париже в 1928 году. Одной из главных тем книги было разделение властей в духе государственно-церковного дуализма патриарха Никона.

В начале 1930-х годов выходят очерки Зызыкина в поддержку автокефалии⁴ Польской православной церкви (Зызыкин, 1931а, 1931б, 1932, 1939). В этот период Михаил Валерьянович интересуется моделями государственно-церковных отношений в современных секулярных государствах с точки зрения христианской социологии. О церкви в Германии согласно Веймарской конституции 1919 года им написан очерк «О церковной самостоятельности в новейших построениях церковно-государственных отношений» (Зызыкин, 1932); французская модель обсуждается в очерке «Философия власти в свете христианской социологии» (Зызыкин, 1933) — по большей части это пересказ французской социологической литературы томистского направления.

2. Обстоятельства жизни М. В. Зызыкина во время Второй мировой войны (арест нацистами его сына с невесткой, переезды в Австрию, Париж и Женеву) описываются в воспоминаниях его внучки Татьяны (Сулковская-Зызыкина, 2012).

3. Обсуждению этой книги было посвящено заседание братства Святой Софии в Праге 13 и 27 ноября 1924 г. с участием о. С. Булгакова, П. Б. Струве, И. И. Лаппо, В. В. Зеньковского, Г. В. Флоровского, Л. А. Зандера, П. А. Остроухова и Н. О. Лосского. См.: Струве, 2000: 46–64. Ср. также критическое упоминание книги Зызыкина в программной статье Н. А. Бердяева «Царство Божие и царство кесаря» (Бердяев, 1925: 42).

4. Зызыкин, принадлежавший к РПЦЗ, имевший антибольшевистскую позицию, признавал неизбежной Польскую автокефалию с участием Константинополя; он не видел другого решения вопроса польского православия ввиду власти большевиков в России. Характерно, что статьи правоведа об автокефалии описывают больше «теорию», чем практику; он не касается исторических фактов переговоров между польским правительством и Константинопольским патриархатом об автокефалии в 1921–1924 (см.: Чибисова, 2018), деталей которых он мог и не знать, проживая в 1920-е гг. в Софии.

В середине 1930-х годов Зызыкин обращается к теме международного права и отношений. В статье «L'Église orthodoxe et la nation» (Zyzykin, 1936) он возвращается к теме автокефалии, но в этот раз в перспективе общения наций. Он предостерегает от опасностей *чрезмерного* национализма, полагая при этом все же, что национализм — это не препятствие развитию человечества, но стимул, при условии, что все нации находятся в организованном общении, а задачи Церкви не смешиваются с национально-государственными. В очерках «Международное общение и положение в нем человеческой личности» (Зызыкин, 1934) и «Церковь и международное право» (Зызыкин, 1937) впервые ставится вопрос о православном участии в международных организациях. Поводом для написания очерков стала конференция практического христианства в Оксфорде 12–26 июня 1937 года под названием «Church, State and Society», в которой Зызыкин участвовал в качестве докладчика на секции о праве войны⁵. К сожалению, эта работа русского правоведа не имела продолжения: ее ход был прерван событиями Второй мировой войны⁶. Такой же перерыв случился и с инициативами экуменического движения «практического христианства», с которым были связаны зызыкинские международные исследования. Только в 1948 году, во исполнение решений Оксфордской конференции 1937 года, на учредительной ассамблее в Амстердаме был создан Всемирный Совет Церквей. Зызыкин намеревался участвовать в амстердамской ассамблее от Русской зарубежной церкви, однако это намерение не могло осуществиться⁷.

В 1950-е годы в Аргентине в издательстве И. Л. Солоневича⁸ Зызыкин опубликовал исторические очерки о российских императорах Александре I и Николае I (Зызыкин, 1952, 1958), относящиеся не столько к исследовательской, сколько к популярной литературе⁹.

5. Материалы конференции см.: Oldham, 1937. Общий контекст и описание конференции см.: Федотов, 1937; Алексеев, 1938. Интересно, что в статье Н. Н. Алексеева упоминается вклад Б. П. Вышеславцева в работу секции о войне, но не упоминается Зызыкин. Умолчание удивительное, учитывая, что круг русских юристов, эмигрантов и выпускников Московского университета был узок. В качестве одного из объяснений можно предположить напряженные отношения между «парижским» православием (которое представляли Алексеев и Вышеславцев) и Русской православной церковью за границей, к которой принадлежал Зызыкин.

6. В 1940 г. он успел издать перевод на французский язык книги «Церковь и международное право». См.: Zyzykin, 1940. Ценность в этом издании представляет введение с подробной биографией Зызыкина, написанное, видимо, с его слов французским славистом Жюлем Патуйе (1862–1942), директором Французского института в Санкт-Петербурге в 1913–1919 гг.

7. Как пишет современный исследователь Андрей Псарев, «на вопрос профессора М. В. Зызыкина о возможности его участия в амстердамском конгрессе ему был послан ответ из Архиерейского Синода (11/21 февраля 1948 г.) о том, что, к сожалению, он не может быть назначен представителем Русской Зарубежной Церкви, так как Синод не получал приглашения из Амстердама, и что „мы не участвуем в Экуменическом совете“» (Псарев, 2003: 197–198).

8. Солоневич И. Л. (1891–1953) — русский философ, историк и издатель, автор концепции «народной монархии».

9. Впрочем, и в них повторяются высказанные правоведом ранее идеи о международной деятельности православных императоров (о них пойдет речь в этой статье).

В данной статье мы изложим основные идеи Зызыкина о международном праве, преимущественно по очерку 1937 года «Церковь и международное право» в контексте истории (генезиса) международного права, а также актуальной ситуации и обсуждения международных отношений 1930-х годов.

Христианские основания идеи международного права

Очерк о Церкви и международном праве Зызыкин начинает с краткого исторического введения. Его главный тезис — международное право появляется в Европе на христианском основании, и Церковь внесла значимый вклад в его историческое оформление. Тем не менее этот вклад был различен у церквей христианского Запада и Востока. Причина этого различия — раскол между двумя римскими империями, западной и восточной, в сфере культурного влияния которых формируется соответственно западноевропейское Средневековье и византийско-славянское. Собственно, именно «западноевропейский мир... представленный мировым институтом папства, создал международное право на христианской основе» (Зызыкин, 1937: 3). Церковь на Западе непосредственно участвовала в выработке международно-правовых понятий (ситуация дуализма власти давала возможность такого участия). «Западноевропейский мир... его правители, монахи, ученые, юристы, канонисты бесконечно много потрудились над выяснением его [международного права] природы, его усовершенствованием и осуществлением в жизни». В то время как в Восточной Европе «Православная Церковь выражала свой голос в международном отношении через императоров», имевших особое положение в Церкви (Там же: 3).

Согласно Зызыкину, два разных подхода *христианского международного права* развивались отдельно, пока снова не вошли в соприкосновение в начале XVIII века, когда Российская империя стала частью европейской системы международных отношений, продолжая оставаться официально православной державой. Соприкосновение двух традиций восточного и западного христианства (представленных в Новое время уже тремя христианскими конфессиями: католической, протестантской и православной) выражалось как в противостоянии, так и в совместных международно-юридических инициативах. «Сознание общности задач обеих половин Европы символизировалось готовностью к общей работе, заявленной еще в 1899 году перед Гаагской Конференцией в обмене нот между представителями Св. Престола и Восточного Императора» (Там же: 4). Было бы разумно, по мнению Зызыкина, чтобы правоведы православной традиции продолжали это сотрудничество даже после того, как православные монархии ушли в прошлое. Оксфордская конференция, для которой Михаил Валерьевич написал разбираемый нами доклад, являлась примером такого сотрудничества христиан разных конфессий в новейшую эпоху ради общих задач безопасности и мира.

Идея Зызыкина о христианском основании международного права может показаться претенциозной в наши дни, когда международное право представляет

собой инструмент преимущественно секуляризованного общества. Почему он начинает историю международного права с христианской Европы? Почему полагает, что ни еврейское библейское законодательство, ни римский стоицизм, ни буддизм не «дали основы для построения международного права» (Там же: 12)? Ключевым ограничением в распространении истории международного права на древность для него является то обстоятельство, что древность не имела развитого понятия личности. Современное международное право, полагает он, начинается в XVI веке и его развитие идет параллельно развитию представлений о правах личности¹⁰. Суверенитет, безусловно, центральная тема международного права модерна, но его обоснование происходит в атмосфере растущего социального индивидуализма. Суверенитет и правовое равенство каждого государства — участника международно-правового общения касается каждого гражданина данных государств. Равенство государств в международном общении в конечном счете имеет смысл только потому, что так уравниваются интересы граждан разных государств. «Мера развития международных отношений в то или иное время определяется степенью признания, которое находит человек сам по себе» (Там же: 12). В Древнем мире нет представлений о равенстве личностей, происходящих из разных народов¹¹. Поэтому в таком мире, как полагает Зызыкин, невозможен главный принцип международного права — равенства государств — участников международного общения (независимо от объема их территорий, их моци, ресурсов, иерархии правящих династий и т. д.).

Помимо изменения взгляда на личность (изменения не одномоментного, но растянувшегося на века античности) христианизация Европы привела к фундаментальному повороту и в вопросе войны. Здесь Михаил Валерьевич повторяет тезис, присутствовавший у других правоведов: в древности всеобщая война «почиталась естественным отношением народов между собой» (Там же: 21). Напротив, христианские авторы античности видят в войне зло, хотя и неизбежное, поэтому «Церковь приступила к ограничению войны» (Там же: 22).

В своем историческом подходе Зызыкин наиболее близок к Михаилу Таубе (1869–1961)¹², российскому юристу и дипломату, которого он много цитирует. Таубе, обратившийся в католичество (после эмиграции в Париже он был активным участником Русского апостолата), защищал идею особой упорядочивающей роли христианской церкви в зарождении и развитии международного права в романо-германской Европе. Он утверждал, что международное право становится возможным только в Средние века и при участии церкви, в древности же народы жили

10. Об этом также в: Зызыкин, 1934.

11. Ср. у другого русского юриста-международника А. Н. Мандельштама: «Международное частное право не могло возникнуть в древности. Не говоря уже о народах теократических — Египтянах, Индуах, Евреях, ни Греки, ни даже Римляне не возвысились до признания личности иностранца... Евреи — избранный народ — считают богоугодным делом истребление других народностей» (Мандельштам, 1900: 1–2).

12. О международных идеях и работах Таубе см. подробно: Батлер, Иваненко, 2019; Стародубцев, 2000: 168–175.

изолированно друг от друга, понятия «иностраник» и «враг» были синонимами, а всеобщая война исчерпывала собой всю международную жизнь (Таубе, 1894). Эти идеи встречаются еще у Федора (Фридриха) Мартенса (1845–1909), выдающегося юриста-международника Российской империи, учителя Таубе (Mälksoo, 2015: 42–51). Мартенс также отмечает центральную роль христианской церкви в формировании международного права в Средние века. Однако его отношение к религии более сдержанное по сравнению с Таубе и Зызыкиным: отмечая организационную силу церкви (в особенности папства), он не углубляется в историю и характеристики церковных институций и доктрин¹³.

Подход Зызыкина во многом совпадает с идеями и другого известного русского юриста-международника Леонида Камаровского (1846–1912)¹⁴ (хотя прямых ссылок на него нет). Камаровский подчеркивал, что христианство «составляет резкую противоположность языческим религиям, которые все были национальны. Хотя не оно прямо и непосредственно создало международное право, но оно, в числе других факторов, более всего для него проложило и расчистило почву в силу того глубокого внутреннего сродства, которое существует между его идеями и заповедями, с одной стороны, и началами международного права, с другой» (Камаровский, 1900: 8). Камаровский изучал международное право на лекциях в Гейдельберге у Иоганна Каспера Блюнчли (1808–1881), швейцарского ученого и политика, одного из основателей Института международного права в Генте в 1873 году. Блюнчли связывал начало международного права с христианством, поскольку в международном праве для него важна была идея гуманистического отношения к войне (целенаправленное движение к миру и гуманистическому обузданию жестокости войны).

13. Ср.: «...благодаря распространению христианства в Средние века получает силу новое учение, что не подданическая связь лица с государством устанавливает известные личные и имущественные его права, а принадлежность человека к католической церкви» (Мартенс, 1882: 24). «...христианство, распространившееся между варварами и мирно проповедью, и силой оружия, соединило западно-европейские народы в одно церковное общество... Культурное влияние христианства... смягчило международные средневековые отношения... С постепенным соединением всех народов Запада в одно духовно-религиозное общество и развитием власти главы римско-католической церкви, все более укрепляется сознание общих культурных, социальных и политических задач, которые лежат на всех христианских государствах. Эти задачи разрешались под сильным давлением римской курии...» (Мартенс, 1882: 68–69).

14. Граф Л. Е. Камаровский — русский юрист-международник, декан юридического факультета и ректор Московского университета. В 1909 г. был представителем России в Гаагской палате международного третейского суда. По воспоминаниям его ученика, правоведа А.С. Ященко, «он был очень религиозной натурой и верующим христианином, вполне преданным заветам православной церкви. Никакого важного дела он не начинал без молитвы и пред всяkim решительным шагом в своей жизни он шел помолиться к иконе Иверской Божьей Матери. Он постоянно находился в тесных дружественных отношениях со многими высшими иерархами русской церкви, особенно с бывшим ректором Московской духовной академии, доктором богословия высокопреосвященным Арсением, архиепископом новгородским и членом Государственного Совета, и с серпуховским викарным епископом Анастасием» (цит. по: Томсинов, 2019: 43).

Многие христианские идеи предуказали путь международному праву. Христианство видит в Боге Отца людей, а в людях — сынов Божиих. Этим в принципе признается единство человечества и братство всех народов. Христианская религия преклоняет гордость античного самодовольства и требует от людей смирения... Таким образом она устраниет препятствия, которые мешали возникновению международного права в Древности. Она действует на людей возвышающим и освобождающим образом, очищая их и примиряя с Богом. Она есть весть о мире. Отсюда было бы вполне естественно перевести эти идеи и заповеди на юридический язык и превратить их в принципы гуманного международного права, которое признает все народы членами одной великой семьи — человечества, охраняет повсюду мир на земле и требует даже во время войны уважения к общечеловеческим правам. (Цит. по: Камаровский, 1900: 23)

Надо сказать, что история международного права в последние десятилетия XIX века только зарождалась как дисциплина. Академическая история права традиционно рассматривала гражданское и публичное право, оставляя вопросы дипломатии и международных отношений за скобками. Одним из первых историков международного права можно назвать Эрнеста Ниса (1851–1920), брюссельского профессора и члена международного арбитражного суда в Гааге (Koskenniemi, 2011: 152). Характерно, что свою историю международного права он начинал с эпохи Ренессанса, признавая при этом, что элементы международного права существовали еще во времена финикийцев (Nys, 1893). Учитель Ниса, бельгийский историк и юрист Франсуа Лоран (1810–1887), известный своим антиклерикализмом и исследованиями наполеоновских кодексов, посвятил первые четыре главы «Истории права народов и международных отношений» (Laurent, 1851) восточным империям, грекам, римлянам, и раннему христианству. Для Ниса и Лаурена история международного права имела смысл как путь прогресса, ведущий от разделенности к единству человечества. Как отмечает современный исследователь Мартти Коскенниеми, внутренняя телеология истории человечества для них выражалась и исполнялась через международное право и именно в таком космополитическом и идеологическом контексте в Генте (Бельгия) в 1873 году был создан Институт международного права (Koskenniemi, 2012). Эта идея прогресса была идеализированым образом Европы для себя самой, секулярные (или даже откровенно лаицистские) тенденции стали частью образа Европы, создаваемого юристами-международниками. Федор Мартенс, не высказывавший откровенно лаицистских формул, также соотносил себя с идеями прогресса, характерными для кругов Института в Генте. Его первый учебник содержал обширнейший исторический очерк с целью показать, что «основным законом всей истории международного права... служит закон прогрессивного развития международных отношений» (Мартенс, 1882: 23).

Если мы вернемся к подходу Зызыкина, то и для него важна идея прогресса¹⁵ — но не как секулярного отхода от религии и церкви, а как развития христианского идеала в истории (причем не только в Средние века). Он полагает, что только на основе христианства появляется сама идея братства и равенства народов, лежащая в основе международного права, а также и развитие идей прав личности. При этом христианские идеалы не сразу проникают в жизнь Римской империи, «а много позже в сочетании с индивидуалистическим духом германской расы» (Зызыкин, 1937: 13). Происходит это уже в эпоху феодализации Европы. Феодализм сохранил принцип права из античного Рима, но «он выдвинул на первое место человека, а не гражданина, как это было в древности. ... В античном государстве, где свой гражданин был ничто в сравнении с государством, а тем более иностранец как единичный, так и совокупный был бесправен, и потому не было основы для организованных правовых отношений между государствами...» (Зызыкин, 1937: 14). В собственном же смысле международное право («подлинное») появляется уже с закатом средневековых институтов, Императора и Папства, «когда явилось несколько равноправных субъектов международного права, самодержавных и изнутри, и извне, сознававших себя как отдельную культурную группу» (Зызыкин, 1937: 11).

Еще одна важная черта подхода Зызыкина — приверженность восточному христианству, православию и попытка определить его вклад в международную область. Поэтому прогресс в праве у него описывается как нелинейный и несимметричный. Он признает, что «не было почвы для развития международного права в Греко-Славянском мире, ибо, при наличии общей культуры, недоставало сознания обязательности их [государств или народов] общения и солидарности на основе принципов правового равенства» (Зызыкин, 1937: 14). Здесь Зызыкин развивает вполне западнические идеи о свободе, свойственной преимущественно германским народам, а также продолжает историко-международную теорию Таубе. Тем не менее он не поддерживает Таубе в предположении о том, что Русь была отрезана от Западного мира, христианской политической культуры и *власти римского папы* монголо-татарским господством¹⁶. Он полагает, что, во-первых, русское государство всегда развивалось в ареале восточной Византийской империи, со всеми особенностями положения уже существующего на тот момент культур-

15. Ср. характерное высказывание «любовь заставляет прогрессировать социальную справедливость, его не может совершить естественное чувство братства по человечеству, любовь заставляет делать и другому то, на что человек не имеет права претендовать» (Зызыкин, 1937: 20).

16. Похожее на Таубе (Таубе, 1926) видение было у итальянского правоведа Джорджио дель Веккьо (1878–1970), ректора Римского университета в 1925–1927, известного в послевоенной теории международного права своей критикой Ганса Кельзена. Итальянский юрист в очерке 1956 г. пишет о том, что в Средние века начинает определяться «христианское международное право», которое естественным образом распространяет себя и на Восток Европы (Россия, Польша, Венгрия), когда эти страны ок. 1000 г. принимают христианство; даже случившаяся в 1054 г. схизма восточной церкви не прервала отношений России с Западным миром, и только татарское нашествие XIII в. привело к тому, что большая часть русской территории на несколько веков была отделена от христианских государств, призывавших в качестве высшей власти в христианском сообществе власть Папы (Del Vecchio, 2018: 31).

но-политического и церковного раскола «греков и латинян». Во-вторых, Россия самостоятельно создавала собственную политическую культуру. В-третьих, в XVIII веке она окончательно включилась в европейскую систему международных отношений, признав выработанные на тот момент в Западной Европе принципы, но сохранив своеобразие православия.

Западное и восточное христианство в истории международного права

Римско-католическая международная традиция

Существенная часть очерка Зызыкина посвящена влиянию Католической церкви на международное право¹⁷. Пожалуй, главным вкладом Римской церкви во главе с папой в средневековые международные отношения можно считать консолидацию военно-политических сил Европы для отражения арабского завоевания. Церковь не только призывала к крестовым походам, но осуществляла длительную и систематическую работу координации христианских правителей. Подобная работа была возможна только благодаря существованию устойчивой церковной институции. «Идея замирения народов для борьбы с мусульманским нашествием приводит к тому, что папские нунции выступали не только примирителями в качестве третьей стороны, но и мандатариями одной из них» (Зызыкин, 1937: 43).

В этом контексте разрабатывалась доктрина западной церкви о «справедливых войнах» и о христианском воинстве. Полное исчезновение военных столкновений было невозможно, однако стремление к ограничению военного насилия прослеживается в церковных канонах, создавая формальные обязательства выделения лиц (духовенство, женщин и детей) и вещей (церковное и крестьянское имущество) из военного насилия. Зызыкин полагает, что понятие комбатантов, выработанное под влиянием церкви в Средние века, вовсе не известно воинам древности. Он приписывает воспитательному влиянию церкви и распространение идей нейтралитета; а также сохранения жизни пленным без превращения их в рабов; и даже ограничения дальнобойных орудий. Впрочем, как отмечает правовед, церковные каноны исполнялись на войне так же «условно», как и решения мирных конференций XIX–XX веков (Там же: 53).

Но самый важный вклад церкви в формирование международного права в Европе — это сама форма межгосударственных ассамблей по подобию церковных соборов.

В эпоху Средних веков мы находим зарождение конгрессов, которые служат не только мирному разрешению вопросов, но и первым гласом по пути организации международного общения. Средневековые соборы Западной Европы... часто разбирали и политические вопросы. Они нередко составлены не только из духовных лиц, но и светских, под моральным главенством

17. Изучение католического влияния на международное право было распространенным направлением исследований русских международников. См.: Таубе, 1894, 1899; Байков, 1904; Коровин, 1931.

Папы или императора, и были своеобразными съездами нотаблей со всей *Respublica Christiana*... Наряду с ними мы видим и подлинные дипломатические съезды, сначала уполномоченных государств с участием церковных сановников... Это уже прототипы Вестфальского конгресса, знаменующего уже наступление новой эры международных отношений Нового времени с отвержением верховенства Папы и императора. (Там же: 47–48)¹⁸

Наконец, надо сказать об особой роли римских пап, без которой не было бы всей вышеперечисленной церковной международной деятельности, типичной для Западной Европы. Папа «находился в особо привилегированном международном положении, являясь совершенно независимым от светской власти и даже суверенным государем, стоящим во главе самостоятельного государства с VIII в. и общеизвестным субъектом права в международных отношениях... Посредничество пап обнаруживается уже с V в. в сношениях с гуннами; они же спасали от взаимного уничтожения итальянские республики Средних веков» (Там же: 56). Зызыкин указывает на то, что позитивные черты организации общения народов под покровительством пап были оценены даже «врагами католичества» социалистом Сен-Симоном и позитивистом Контом (Там же: 57–58), которые одобрительно писали о средневековом единстве Европы как примере для будущего.

В Новейшее время Лига Наций, по мнению Зызыкина, которое он излагает, опираясь на работы французского иезуита Ива де Ла Бриера¹⁹, столкнулась с теми же задачами, которые в прошлые века ставило перед собой папство в Европе. Вплоть до Нового времени «Римский престол был первой постоянной институцией медиации, известной всемирной истории, арбитраж же существовал и в древности. Посредничество является более подходящим учреждением для решения больших политических споров, чем третейский суд» (Там же: 54). Знаменательно и то, что посредничество папы в мирных переговорах не уходит в прошлое с наступлением Нового времени, отмечает русский ученый, хотя и меняет свои формы: от публичных соборов и конгрессов оно переходит в область дипломатии. Даже протестантские правительства признают посредничество папы или по крайней мере ищут поддержки со стороны его морального авторитета²⁰.

18. О церковных ассамблеях как формальном образце для международных см.: Croxton, 2013.

19. Ив де Ла Бриер (1877–1941) — французский иезуит, публицист, монархист, оказывавший поддержку Лиге Наций и писавший статьи о международном праве.

20. Зызыкин, опираясь на книгу де Ла Бриера «*L'organisation internationale du monde contemporain et la papauté souveraine*» (La Brière, 1924), приводит следующие примеры: в правление Бисмарка Германия и Испания воспользовались арбитражем папы Льва XIII в споре о Каролингских островах; в 1794 г. английский премьер-министр Уильям Питт-младший обратился к папе за поддержкой против революционного французского правительства; в 1820 г. к папе обратился Александр I по поводу «неаполитанского дела», о чем русский министр объявлял на конференции в Троппау. Обращался к папе Льву XIII и император Николай II перед созывом Гаагской конференции: 30 августа 1898 г. представитель в Ватикане Чарыков просил папу силой морального авторитета поддержать дело Гаагской конференции, а кардинал Рампола 5 сентября «выразил на это согласие, указав, что Европа совершила ошибку, положив в свое время (в XVII в.) за основание международных отношений право, основанное на силе: система эта и привела ее в тупик» (Зызыкин, 1937: 62–63). С такой же просьбой обратилась

Таким образом, Лига отражает в своей структуре и задачах «многие ранее выраженные желания пап» (Там же: 42), в особенности это касается необходимости создания институции международного арбитража и посредничества, а также возможностей международного вмешательства. В то же время попытки папы Бенедикта начать мирные переговоры во время Первой мировой войны скорее можно рассматривать не как свидетельство продолжения традиции посредничества папы, но как знак глубокого кризиса этой традиции²¹.

Реформация и международное право

В эпоху модерна появляются правовые теории, созданные под влиянием Реформации, которые оказали существенное влияние на область международных отношений. Зызыкин указывает две проблемы, к которым привело, по его мнению, развитие международно-правовой мысли в традиции протестантизма. Во-первых, отрыв позитивного права от религии и морали. Во-вторых, абсолютизация государственного суверенитета.

Протестантское развитие идей международного права можно проследить при переходе от Гуго Гроция к последующему поколению протестантских ученых. Гроций — убежденный протестант, но не лаицист, напротив, он видел необходимую связь между христианской религией и международным правом. Однако после Гроция появляются две тенденции, ссылающиеся на него как на авторитет в международном праве, но отступающие от его христианского синтеза. Первая представлена Самуэлем Пуффендорфом (1632–1694) и Эмером Ваттлем (1714–1767), вторая — английскими правоведами Альберико Джентили (1552–1608) и Ричардом Зушем (в русской литературе также Ричард Зач) (Zouch, 1590–1661). Первая тенденция приводит к секулярной континентальной философии права в применении к межгосударственным отношениям, вторая — к британскому позитивизму в международном праве²². Общим для развития правовой и государственной теории модерна становится ключевое понятие абсолютного суверенитета государства. Международное право постепенно превращается в *межгосударственное*. Появляется новое оправдание войны — национальные интересы; подобным pragmatическим образом оправдываются и союзы государств. В межгосударственных союзах ищут усиления, а не справедливости. Даже Лига Наций получает оправдание, по

в письме к папе и королеве Нидерландов. И получила знаменательный ответ о том, что не просто моральная поддержка, но «посредничество мира» является частью миссии папы.

21. См. о реакции французских католиков на предложение папского посредничества: Виватенко, 2016. В статье цитируется высказывание де Ла Бриера из газеты «La Croix» от 23 августа 1917 г.: «Очевидно, главы воюющих государств, которые ведут справедливую войну, имеют право не принимать посреднического предложения понтифика, если они после зрелого изучения осознанно верят в то, что у них есть серьезные основания не считать своевременными, эффективными решения, рекомендованные высочайшим посредником» (Виватенко, 2016: 64).

22. Позитивизм в международном праве следует отличать от философско-правового позитивизма, появляющегося в XIX в. и связанного в Британии с именами Иеремии Бентама (1748–1832) и Джона Остина (1790–1859).

этой логике, в том, что она является объединением большинства государств, а не в том, что выражает естественную справедливость. По Зызыкину, кризис Лиги Наций и победа большевизма — это всё последствия реализации призыва Альберико Джентили *«silete, theologi, in tuñere alieno»* («молчите, богословы, в чужой для вас области»).

Теорию естественных прав в эпоху европейских революций следует отличать, полагает Зызыкин, от христианской теории естественного права, для которой суверенитет государства и его права на территорию не являются абсолютной целью. «Суверенитет есть только простое средство ввиду цели — социального блага: он есть право только в меру, необходимую для осуществления этой цели, ибо нет права без цели» (Зызыкин, 1937: 73).

Принцип несвязанной индивидуальной свободы и неограниченный суверенитет являются элементами анархическими... Конец XVIII и XIX века дали триумф чисто индивидуалистической теории естественных прав человека, основанных на *мнимом праве природы*... это право природы предполагает не существовавшее никогда состояние изолированности, которое будто бы есть естественное состояние человека... Эта индивидуалистическая теория применялась *a priori* и к государствам — суверенным лицам, живущим изолированно... Если государства входят в отношения между собой, то ничего нельзя налагать на них против их воли; отсюда требование единогласия на международных конгрессах. (Там же: 74–75)

Политико-юридические доктрины индивидуализма и суверенитета связаны с появлением представлений о *балансе сил* в Европе. Речь идет об устанавливающемся само собой равновесии великих держав, которое не нуждается в посредничестве папы или императора. Зызыкин полагает, что образ системы равновесия без единого центра обязан своим существованием именно протестантским идеям христианства без единого центра²³.

В протестантизме Новейшего времени русский правовед отмечает отрадное стремление к мирным инициативам, проявляющееся в том числе и в экуменическом движении. Однако для наступления мира необходимо признать недостаточность «теории равновесия сил». Нужны институты, в чем-то подобные средневековому общению народов с авторитетом папы над ними²⁴. Равновесие суверенных государств должно иметь противоположный полюс и точку опоры в иной власти, в инстанции справедливости, которая не находится во власти этих государств. В этом вопросе Зызыкин ссылается на мнение шведского протестантского епископа Натана Сёдерблума (1866–1931), находя у него «предпочтение... средневековому

23. В подтверждение своих слов Зызыкин ссылается на работы Эрнста Трёльча об истории протестантизма 1906 г. *«Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt»* (Tröltzsch, 1963) и Марка Бёнье о протестантизме и международном праве (Boegner, 1926).

24. Современный австрийский исследователь Джодок Трой проводит интересную параллель между полномочиями Папы римского и Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, показывая сходство их международной роли. См.: Troy, 2017.

общению под верховенством папы, той теории равновесия сил, которая господствовала до великой войны» (Там же: 90).

Православие и международное право

Влияние Католической церкви на международное право, подчеркивает Зызыкин, осуществлялось не только органами папского управления, но и клириками, и монашествующими, и объединениями католических мирян. В современную ему эпоху он особо выделяет такие инициативы, как «Социальные недели» (*Semaines sociales de France*); христианские общества изучения международного права в Фрибуре, Лувене и Париже (Там же: 91). Что же касается протестантского вклада, то после эпохи религиозных лидеров-реформаторов XVI века он был представлен протестантскими государями и учеными из государственных университетов. Деятельность же частных протестантских организаций международного характера, полагал Зызыкин, представляет собой сравнительно новое явление и их влияние на международные отношения пока трудно оценить.

Велась ли подобная деятельность в области международного права в православном мире? Русский ученый полагает, что до Первой мировой войны можно «искать влияния его [восточного христианства] на международное право и международные отношения только в лице императоров сначала Византийских, потом Всероссийских» (Там же: 91).

Международная роль византийского императора проистекала из того, что он был наследником древнеримского идеала *Pax Romana*. Варварские короли Европы не претендовали на подобную международно-правовую роль гаранта мира, но с появлением западного императора франков ситуация изменилась. Для Зызыкина раскол Церкви («великая схизма») был в некотором роде следствием того, что в Европе существовало два императора, две культурно-исторические столицы вселенской империи, две инстанции надежды на международный мир. Однако на Западе императора вскоре оттесняет с первой позиции римский папа, и на протяжении всех Средних веков между ними происходит борьба за первенство, Восток же продолжал свою историческую традицию. «Император Византийский не затушевывается Патриархом, как Император на Западе Папой. В Православии Патриархов пять, а Император один. Он покровитель, защитник Православной Церкви, ее эпистимонарх; он собирает вселенские соборы, подписывает их решения, заботится о правоверии» (Там же: 93).

Власть императора за пределами империи была международно-правовой фикцией, однако у него было «особое положение международное, связанное с наличием особых христианских обязанностей и накладывавшее, как увидим, особую печать на императорскую международную политику» (Там же: 95). На Западе существовал дуализм двух универсальных правителей, императора и папы, поэтому «папа остался стражем универсальности Церкви, ее единства внутри и ее внешней свободы от светской власти» (Там же: 96). На Востоке же император вмешивался

в вопросы церковные; он оставался единственным носителем универсальности. Император заботился и о распространении православия, в частности посыпал миссии в Индию. Если новый народ принимал христианство — он становился участником международного общения, если же христианство принимала только часть населения — эта часть приобретала право покровительства Константино-польского императора. Так создавался особый принцип *международного восточного права* — «вмешательство по человечеству» (по-видимому, это собственный перевод Зызыкиным французского термина «l'intervention d'humanité», который на тот момент еще не устоялся в русском контексте).

«Фикция универсального владычества Императора имела большое значение для международного права; на Западе эта фикция окончательно утеряла свое значение с XIV века, а на Востоке она легла в основу отношения не только к азиатским соседям, но и к Востоку Европы, создав здесь особую международно-правовую группу» (Там же: 97) — фиктивный вассалитет фактически независимых правителей. «Так создался целый мир с притяжением к Константинополю, приучивший все эти народы рассматривать себя как членов одной и той же семьи государств» (Там же: 63).

Восточный принцип «вмешательства по человечеству», как полагал Зызыкин, пережил Византийскую империю и был развит в России в XIX веке, когда вопрос вмешательства был предметом острой полемики между европейскими империями и стал одним из поводов к Крымской войне (1853–1856). Суть спора была в том, что западноевропейские империи оспаривали право и обязанность России вмешиваться во внутренние дела Османской империи в интересах христианского населения.

Зызыкин утверждает, что корни российской концепции вмешательства XIX века — в Византии, в обязанностях византийских императоров «защищать христианство, где бы оно ни находилось» (Там же: 99). В этом он ссылается на двух российских дипломатов-юристов — уже упоминавшегося Таубе и С. С. Татищева (1846–1906).

Таубе усматривает элементы теории вмешательства уже в VI веке в отношениях византийского императора к христианам других стран (Taube, 1926)²⁵. У Татищева Зызыкин берет идею рассматривать отдельно, как две совершенно разные вещи, стремление России к обладанию Черноморскими проливами и стремление освободить христианские народы Балканского полуострова²⁶. Последнее намере-

25. Таубе приводит следующие примеры: в 571 г. император Юстин II оказывал помошь армянам, живущим в Персидской империи, как «своим по вере»; в 641 г. Византия заключила договор с арабами, где оговаривалось положение христианского населения Египта (зачатки экстерриториальности); принцип экстерриториальности для уголовных дел был прописан и в договоре Византии с князем Игорем от 944 г. (греки в России подчинялись греческим властям).

26. Характерно, что современные исследователи темы гуманитарных интервенций XIX века называли главу, посвященную политике России на Балканах, «между гуманитаризмом и pragmatism» («The Balkan crisis of 1875–78 and Russia: between humanitarianism and pragmatism») (Heraclides, Dialla, 2015: 169–198).

ние было выражением комплекса обязанностей религиозной солидарности, а не логики политического становления одной из «великих держав» Европы. Переход от царства к империи в эпоху Петра I понимался как расширение международных миротворческих обязанностей: «Это было подлинное восстановление идеи империи как мира между народами, как отдельного юридического целого, возглавленного православным императором...» (Зызыкин, 1937: 106). Следствием такого понимания были попытки организации международного правового общества российскими императорами: идея Священного Союза Александра I; инициатива созыва конференций по гуманизации войны Александра II и Александра III (Петербургская 1868 г. и Брюссельская 1874 г.), Николая II по созыву двух Гаагских конференций о мире. Этим инициативам предшествовал опыт четырех веков помощи христианам Ближнего Востока, признаваемой всеми патриархами Востока в качестве законной обязанности русского монарха²⁷. Вследствие недоверия западноевропейских держав к России после Парижского мира 1856 года вмешательство православного императора было заменено коллективным вмешательством Европейского Концерта. Однако этот Концерт не достигал согласия и на практике приводил к невмешательству²⁸. Поэтому, как полагал русский правовед в 1930-е годы, институцию гуманитарного вмешательства необходимо усиливать в международном праве. «Институция вмешательства подлежит не только расширению, как это было с созданием мандатов, но и правовой регламентации, определению формы и видов своего проявления, т. е. какие державы и в каких случаях и каким способом должны вмешиваться, подобно тому, как установлено было в вопросах войны определение напастника и определение необходимых средств достижения законных целей мирными способами прежде обращения к войне» (Там же: 109). Свое понимание вмешательства Зызыкин сближает с теорией гуманитарной интервенции французского юриста Антуана Ружьера (Rougier, 1910). При этом русский правовед подчеркивает вклад религиозной солидарности в зарождение этого международного института. «Идея вмешательства... является общим достижением христианской мысли во всех трех исповеданиях, хотя везде иначе обосновывается, но нигде так ярко не выражена, как именно в Восточной Империи» (Зызыкин, 1937: 110). Защитники теории вмешательства были и в Европе: само особое положение римского епископа в международной иерархии политических центров всегда открывало возможность к вмешательству²⁹. Со стороны протестантов идея

27. Здесь Зызыкин ссылается на: Каптерев, 1895.

28. Ср.: «Европейская мысль еще недостаточно оценила то влияние на замирение Европы, которое осуществляла бывшая [Российская] Империя» (с. 163), пишет Зызыкин, ссылаясь на итальянского историка Гульельмо Ферреро (1871–1942).

29. В качестве примера Зызыкин приводит высказывания доминиканца Франсиско де Витория о возможности обращения американских индейцев к папе с просьбой избавить их от неверных правителей и дать им христианского государя. Другой пример — это осуждение невмешательства папой Пием IX (см.: Pius IX, 1860). Папа Пий утверждал, что принцип невмешательства может быть «опасно абсурдным», когда законным правительствам нельзя вмешиваться, в то время как революционные силы фактически вмешиваются, чтобы спровоцировать восстание, изгоняющее законных правителей.

вмешательства была популярна в эпоху Тридцатилетней войны³⁰. Позднее в колониальную эпоху появляется идея права вмешательства *цивилизованных* христианских народов.

Надо сказать, что сотрудничество в области миротворчества между православной Россией и другими европейскими странами было затруднено еще и тем, что на христианском Западе и Востоке по-разному эволюционировала доктрина о допустимых войнах. Зызыкин полагает, что тщательно разработанная в каноническом праве Запада доктрина *«bellum justum»* не имела влияния на «восточное международное право» (Там же: 99). В Византии всякая война императора почиталась как *«bellum sacrum»*, тем не менее эта византийская традиция войны не имела развития в средневековой Руси. Россия унаследовала от Византии другой аспект понимания: война священна, если она ведется из любви к ближнему, во имя освобождения единоверцев от мусульман. Такое понимание было распространено и на Западе в эпоху крестовых походов («священная война с неверными»), однако в период колониализма и революций религиозные концепции и справедливой (*«justum»*), и священной (*«sacrum»*) войны переживали глубокий кризис.

Описывая международную роль византийских и российских императоров, Зызыкин не намеревается идеализировать прошлое. Суть в том, чтобы показать логику развития международно-правовых идей в среде восточного христианства и поставить вопрос о будущем. «С падением православной Империи, разумеется, отпало и то содействие, которое оказывали Императоры Церкви Православной в социальной сфере, и отныне Поместные Православные Церкви и международные православные объединения силой вещей вынуждены принять на себя целиком ту работу в международном общении, которая состоит в усовершенствовании на пути к осуществлению христианских идеалов» (Там же: 96). Он также допускает, что в будущем возможна особая роль у Вселенского собора, который выскажет по вопросам международного права, войны и мира, признав, что объединение всего человечества по образу Святой Троицы, активное стремление к братству народов — это «заповедь для осуществления» (Там же: 10).

Сравнение недостатков православно-консервативного (Священный союз) и секулярного (Лига Наций) международных проектов

Поиск идейных оснований международного общения становится актуальной проблемой в XIX–XX веках, когда Католическая церковь окончательно перестает быть универсальным основанием международного общения народов. Французская революционная доктрина предлагает в качестве универсального основания идею Природы и производного от нее естественного права. Эта концепция естественного международного права XIX века отличается от традиционной христианской,

30. По книге Ружьера Зызыкин ссылается на Филиппа Дюплесси-Морне, гугенота и сподвижника французского короля Генриха IV, который полагал, что против тирана народ имеет право браться за оружие, а при гонении на протестантов внутри страны законно призывать помочь извне.

так как зачастую носит ярко выраженный антиклерикальный характер. В англо-американском мире, как обращает внимание Зызыкин, универсальной становится идея цивилизации. Права государственного суверенитета сопряжены с обязанностями соблюдать принципы и законы *цивилизованных государств*, к которым относится и смягчение зол войны. На христианском Востоке идеи естественного права исторически не получили широкого распространения; «там привыкли ориентироваться по линии понятия священного. Это отнюдь не значит, что идея естественного права была бы чужда Востоку» (Там же: 144–145). Тем не менее идея природы или цивилизации была бы недостаточна для обоснования усилий объединения, союза. Восточное правосознание в этих случаях прибегает к идеи «священного единения на основе заповедей Христа» (Там же: 145).

Эти положения Зызыкин развивает, предлагая сравнительный анализ Священного союза 1815 года и Лиги Наций 1919 года³¹. Священный союз, как международный проект православного императора Александра I, предложенный на Венском конгрессе, Зызыкин предлагает «резко и категорически отличать... от политической комбинации, составленной на правовой основе Священного Союза в Aix la Chapelle в 1818 г.» (имеется в виду Аахенский конгресс 1818 г.), а также и от интерпретации идей Александра австрийским политиком графом Меттернихом (Там же: 145). Политической комбинацией, установленной Аахенским конгрессом, стала гегемония пяти великих держав, взявших на себя противодействие революционным течениям и поддержание территориального и династического *status quo*. «Эту цель, привязанную к Священному Союзу, необходимо отличать от основной его идеи — необходимости коализировать силы Европы для составления общества наций, регулируемого правом, моралью и религией. Совершенно также и в Пакте Лиги Наций должно отличать основную идею необходимости организации международного общения правом от прикрепления его к определенному *status quo*, установленному в Версале» (Там же: 146).

Главную идею русского царя Александра Зызыкин видит именно в международном (региональном) объединении на юридических принципах, но без отрыва от морали и религии. Присутствие религиозных принципов в международных отношениях он оценивает как положительное явление, и в подтверждение приводит мнение швейцарского писателя Робера де Траза о недостатках секулярной идеологии Лиги Наций: «Идеология 1919 г., мессианская по существу, претендует на нововведения гораздо больше, чем Венская идеология, называвшая себя консервативной... Она не обращается к тому, что было и что испытано, она устремляется к тому, чего еще нет... Далекая от признания первородного греха, как то делали подписями своими реалистические деятели Св. Союза, она предполагает

31. Надо сказать, что обращение к международно-правовым проектам русского царя Александра I отвечает логике, присущей правовым взглядам Зызыкина. Однако именно к этой перспективе — сравнению Союза с Лигой наций — его могла подтолкнуть книга швейцарского писателя-протестанта Робера де Траза о Священном Союзе и Лиге (Traz, 1936). Помимо нее Зызыкин также опирается на труды русского историка Василия Карловича Надлера (1840–1894) об Александре I.

естественные добрые качества человека. Поэтому она — дитя современной эпохи, опьяняющей развитием наук, социалистическими присвоениями и уверенностью, что завтрашний день нам принесет счастье» (цит. по: Зызыкин, 1937: 147–148)³². Подобная позиция за несколько лет до Второй мировой войны, безусловно, была роковой ошибкой. Среди других ошибок Лиги Наций Зызыкин называет то, что она объединяет страны на принципе эгалитаризма, в то время как Священный Союз объединял на принципе «иерархизма», что было более реалистично.

Зызыкин также резко критикует принятие в Лигу Наций СССР, полагая, что к этому привел в числе прочего религиозный нигилизм значительной части международных юристов, создавший ситуацию, когда «среди членов Лиги Наций мог оказаться СССР, официально проводящий воинственное безбожие, вводящий рабский труд и не признающий естественное право человека на жизнь, свободу и законность. Это — враг гораздо более грозный для христианской культуры, чем Ислам, с которым боролась средневековая Европа» (Там же: 140). Советская Россия, хотя и признается юридически преемником Российской империи, но не является фактическим преемником России в ее европейской миссии. Российская империя весь XIX век способствовала стабильности и равновесию сил Европы, в то время как советское государство имеет задачи распространения своей идеологии социалистического переустройства мира, поддержки коммунистических революционных движений. С принятием СССР в Лигу Наций «место Восточной империи занял III Интернационал: на место идеи вмешательства за православных христиан, находившихся под игом Ислама, явилось сеяние социалистической революции во всем мире» (Там же: 170). Со стороны Лиги Наций прием СССР выявляет иллюзии международной организации «о возможности втянуть и подчинить себе государство, в котором строй основан на отрицании самой идеи государства, выработанного современной культурой. ...Советская доктрина отвергает арбитраж, защищает принцип абсолютного суверенитета государства, все институции международного права оценивает через призму классовой морали» (Там же: 173).

Недостатком Священного Союза 1814 года было то, что он был связан с определенной формой правления — монархией — и со всем существовавшим тогда публичным династическим правом, в эпоху, когда международное право еще четко не отделилось от права публичного государственного³³. Тем не менее с юридической точки зрения Священный Союз был прогрессивен, он развивал междуна-

32. Ср. с оценкой гуманистического морализма после Первой мировой войны, который лишь внешне способствует укреплению международного правопорядка у Карла Шмитта (Шмитт, 2008: 329–359).

33. Впрочем, монархию XIX в. Зызыкин рассматривает как своего рода двигатель правового прогресса. Ср.: Зызыкин, 1958: 27–28: «Авторитета монарха, возвышенного Императором Николаем I, хватило на то, чтобы освободить крестьян от крепостного права в 1861 году, сломив большинство дворянской оппозиции в Государственном Совете, и начать то, что называется эпохой великих реформ. Также хватило авторитета и на то, чтобы в 1870 году односторонне разорвать условия Парижского мира, заключенного в марте 1856 года, заключавшие в себя обязательство не строить крепостей на берегах Черного моря и не восстанавливать Черноморский флот. А в 1878 году было восстановлено право участия России в покровительстве христианским подданным султана».

родное право, поставив над монархами общие принципы христианской этики, он предлагал внести открытость и мораль в международное общение, в противовес сложившемуся представлению о том, что пространство общения между государствами — это пространство обмана, дипломатической скрытности и военной хитрости. Сторонники Священного Союза, если у них «и бывало смешение между правом и силой, то уж по крайней мере не смешивали силы с моралью» (Там же: 176): религия, а не военная победа (сила) давала основание для международной этики.

Лига Наций также возникает в сложный послевоенный момент и в ней переплелось очень много идей. Некоторые международные правоведы хотели бы видеть Лигу в качестве универсального парламента, своего рода сверхгосударства («Sur-Etat»), вдохновляющегося «лаицизованным гуманизмом» (Там же: 166). Именно такой антиклерикальный секулярный гуманизм призван был стать новым основанием объединения всех народов планеты в новой цивилизации, где действует презумпция равной доброй воли у всех людей и государств.

Отметим, что у Зызыкина, который сосредоточен на критике Лиги Наций за секуляризм и открытость СССР (Советский Союз у него образует абсолютный негативный полюс по отношению к Священному союзу), не упоминаются факты сотрудничества Лиги с религиозными организациями и церквями³⁴.

Лига Наций, согласно Зызыкину, является попыткой создать сдерживающее начало для государств, авторитетную инстанцию, у которой при этом нет прав суверенитета, и это уподобляет ее Святому Престолу в Риме. «Подобное явление уже существовало в международном праве для папства после 1871 года, когда папство, не имея также территориального суверенитета, сохраняло *de jure* и *de facto* прерогативу независимости суверенитета и было лицом международного публичного права, не будучи государством, но оставаясь властью» (Зызыкин, 1933: 42–43).

Однако, учитывая все изложенные недостатки Лиги Наций, Зызыкин уверен, что Лига как международный проект уже потерпела поражение. Впрочем, он еще не предполагает, какие формы примет международная организация человечества после Второй мировой войны и как ошибки предыдущих периодов будут учтены при создании Организации Объединенных Наций.

Заключение

Теоретические разработки Зызыкина имеют ценность как едва ли не первая и уникальная попытка (если не считать работу Таубе 1926 года), во-первых, описать историческую роль православного мировоззрения в возникновении и эволюции

34. При этом Зызыкин знаком с текстами швейцарского писателя Гонзага де Рейнольда (1880–1970), консервативного католика, игравшего важную роль в Международном комитете по интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций. Книга Рейнольда «L'Europe tragique: La Révolution moderne, La fin d'un monde» (Reynold, 1934) цитируется в: Зызыкин, 1937: 17. О католическом участии в Международном комитете интеллектуального сотрудничества см.: Shine, 2018.

международного права, во-вторых, оценить нарождающуюся область международных организаций в XX веке с точки зрения восточного христианства, православия.

В то же время необходимо признать, что эти попытки остались довольно маргинальными, у нашего правоведа не было единомышленников и продолжателей, даже просто ссылающихся на его международно-правовые тексты. Здесь сказалось и своеобразное положение самого Зызыкина, русского эмигранта, православного ученого в католической Польше накануне ее оккупации, профессора Варшавского Православного факультета, писавшего статьи в защиту Польской автокефальной церкви, однако лично принадлежавшего к Русской православной церкви за границей. Его исследования остались неизвестны юристам-международникам его времени. Тем не менее из сегодняшнего дня мы можем назвать их смелой междисциплинарной инициативой. Даже там, где работа носит компилятивный характер, она показывает обширную эрудицию, способность автора к синтезу разнообразных точек зрения, классическое образование в русской дореволюционной школе государственного и международного права. Зызыкин с уважением пишет о международных инициативах римского папы (возможно, сказывается взгляд из Польши), предполагая, что мир в будущем должен иметь иерархию моральных авторитетов (что не означает, что речь идет о единственном авторитете). В круге чтения Михаила Валерьевича по международному праву много католических авторов: не заимствуя их выводы, он часто отталкивается от их постановки проблем.

Основываясь на работах Таубе, продолжателя Мартенса, Зызыкин предлагает свои оригинальные идеи о том, что Византия была *самодостаточным* центром организации международного общения юго-восточных народов Европы и Ближнего Востока на восточно-христианских началах; и что Россия унаследовала традиции международного права вместе с византийским миросозерцанием, совмещая их с европейским международным правом в имперский период. Типичными институтами восточно-христианской системы международного права, которые ее характеризуют и отличают от западной, русский правовед считает, во-первых, «вмешательство по человечеству (т. е. гуманитарную интервенцию. — И. Б.) во внутренние дела государства», во-вторых, «построение международного общения на христианских началах» (Зызыкин, 1937: 3). Не в смысле «христианского крестового похода», но, скорее, как труд организации и диалога: «на христианстве лежит долг работы над этим общим правосознанием, в основе которого идеи справедливости, лишь усовершенствованные идеей христианской любви» (Там же: 133).

Литература

- Алексеев Н. Н. (1938). Всемирный съезд практического христианства в Оксфорде // Новый град. № 13. С. 152–163.

- Байков А. Л. (1904). Современная международная правоспособность папства в связи с учением о международной правоспособности вообще: историко-догматическое исследование. СПб.: Типография им. М. М. Стасюлевича.
- Батлер У. Э., Иваненко В. С. (2019). 150-летие профессора М. А. Таубе: годы становления и триумфа, забвения и возрождения. Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. № 4. С. 796–814.
- Бердяев Н. А. (1925). Царство Божие и царство кесаря // Путь. № 1. С. 31–52.
- Быковская Н. В. (2009). Виноделие в Ярославской губернии. Винозаводчики Зызыкины в Ростове. Судьба потомков // История и культура Ростовской земли. Ростов: Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль». С. 40–51.
- Виватенко С. В. (2016). Французские правые партии и Ватикан в годы Первой мировой войны. Трудный выбор между родиной и верой // Труды кафедры истории Нового и Новейшего времени. № 16–2. С. 58–67.
- Зызыкин М. В. (1924). Царская власть и Закон о престолонаследии в России. София: А.А. Ливен.
- Зызыкин М. В. (1931–1939). Патриарх Никон. Его государственные и канонические идеи. В 3-х ч. Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1931а). Функция церковной власти. Епископ как ее орган. Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1931б). Церковный канон и право государства в замещении епископских кафедр. Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1932). О церковной самостоятельности в новейших построениях церковно-государственных отношений. Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1933). Философия власти в свете христианской социологии. Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1934). Международное общение и положение в нем человеческой личности (Социологический очерк). Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1937). Церковь и международное право. Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1939). О каноническом положении правящего епископа и областного первоиерарха-предстоятеля в Православной Церкви. Варшава: Синодальная типография.
- Зызыкин М. В. (1952). Тайны Императора Александр I. Буэнос-Айрес: Наше дело.
- Зызыкин М. В. (1958). Император Николай I и военный заговор 14 декабря 1825 г. Буэнос-Айрес: Наше дело.
- Камаровский Л. А. (1900). Международное право. М.: Тип. Общества распространения полезных книг.
- Каптерев Н. Ф. (1895) Сношения Иерусалимских Патриархов с русским правительством с половины XVI до конца XVIII столетия. Санкт-Петербург: Императорское православное палестинское общество.
- Коровин Е. А. (1931). Католицизм как фактор современной мировой политики. М., Ленинград: ОГИЗ.

- Мандельштам А. Н. (1900). Гаагские конференции о кодификации международного частного права. Т. 1. СПб.: Тип. А. Бенке.
- Мартенс Ф. Ф. (1882). Современное международное право цивилизованных народов. Т. 1. СПб.: Тип. Министерства путей сообщения.
- Псарев А. (2003). Русская Православная Церковь за границей и экуменическое движение 1920–1948 гг. // Церковь и время. № 1. С. 182–202.
- Сулковская-Зызыкина Т. (2012). Воспоминания // Русские страницы в истории Польши. Книга 4. Варшава: Российский дом. С. 23–41.
- Стародубцев Г. С. (2000). Международно-правовая наука российской эмиграции (1918–1939). М.: Книга и бизнес.
- Струве Н. А. (ред.). (2000). Братство Св. Софии: Материалы и документы 1923–1939. М., Париж: Русский путь, YMCA-Press.
- Таубе М. А. (1894–1899). История зарождения современного международного права: Средние века. Т. 1: Санкт-Петербург: Типолит. П.И. Шмидта; Т. 2: Харьков: Паровая тип. и лит. Зильберберг.
- Томсинов В. А. (2019). Христианская доктрина международного права в творчестве Л. А. Камаровского // Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. № 3. С. 38–67.
- Федотов Г. П. (1937). После Оксфорда // Современные записки. № 45. С. 430–444.
- Чибисова А. А. (2018). Автокефалия «под ключ»: некоторые факты из истории Польской Церкви 1924 г. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вып. 81. С. 61–80.
- Шмитт К. (2008). Номос земли в праве народов *jus publicum europaeum* / Пер. с нем. К. Лощинского и Ю. Коринца. СПб.: Владимир Даль.
- Brewer J. D. (2007). Sociology and Theology Reconsidered: Religious Sociology and the Sociology of Religion in Britain // History of the Human Sciences. Vol. 20. № 2. P. 7–22.
- Boegner M. (1926). L’Influence de la Réforme sur le développement du droit international. Paris: Hachette.
- Butler W. E. (2009). Russia and the Law of Nations in Historical Perspectives: Collected Essays. London: Wildy, Simmonds.
- Croxton D. (2013). Westphalia: The Last Christian Peace. New York: Palgrave Macmillan.
- Del Vecchio G. (2018). Il diritto internazionale e il problema della pace. Roma: Studium.
- Heraclides A., Dialla A. (2015). Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century: Setting the Precedent. Manchester: Manchester University Press.
- Koskenniemi M. (2011). Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism // Rechtsgeschichte. Vol. 19. P. 152–177.
- Koskenniemi M. (2012). A History of International Law Histories // Fassbender B., Peters A. (eds.). The Oxford Handbook of the History of International law. Oxford: Oxford University Press. P. 943–944.
- Laurent F. (1851). Histoire du droit des gens et des relations internationales. Томе Premier: l’Orient. Paris: Durand.

- La Brière Y. de. (1924). L'organisation internationale du monde contemporain et la paix souveraine. Paris: Spes.*
- Mälksoo L. (2015). Russian Approaches to International Law. Oxford: Oxford University Press.*
- Nys E. (1893). Les origines du droit international. Bruxelles: Castaignes.*
- Oldham J. H. (ed.) (1937). The Churches Survey Their Task: The Report of the Conference at Oxford, July 1937, on Church, Community, and State. London: George Allen & Unwin.*
- Pius IX (1860). Allocuzione Novos Et Ante, 28. 09. 1860. URL: <http://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/allocuzione-novos-et-ante-28-settembre-1860.html> (дата доступа: 25.08.2020).*
- Reynold G. de. (1934). L'Europe tragique: La Révolution moderne, La fin d'un monde. Paris, Spes.*
- Rougier A. (1910). Théorie de l'intervention d'humanité. Paris: A. Pedone.*
- Taube M. de (1926). Études sur le développement historique du droit international dans l'Europe orientale // Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 11. P. 341–556.*
- Traz R. de (1936). De l'alliance des rois à la ligue des peuples, Sainte-Alliance et Société des Nations. Paris: Grasset.*
- Tröltzsch E. (1963). Die Bedeutung des Protestantismus fur die Entstehung der modernen Welt. Aalen: Zeller.*
- Troy J. (2017). Two «Popes» to Speak for the World: The Pope and the United Nations Secretary General in World Politics // Review of Faith & International Affairs. Vol. 15. № 4. P. 67–78.*
- Shine C. (2018). Papal Diplomacy by Proxy? Catholic Internationalism at the League of Nations' International Committee on Intellectual Cooperation, 1922–1939 // The Journal of Ecclesiastical History. Vol. 68. № 4. P. 785–805.*
- Zyzykin M. (1936). L'Église orthodoxe et la nation // Irénikon. Vol. 13. № 3. P. 265–277.*
- Zyzykin M. (1940). L'Église et le droit international. Bruxelles: Éditions de la Cité chrétienne.*

International Law and the Orthodox Church: Ideas of M. V. Zyzykin in the 1930s

Irina Borsch

Candidate of Legal Sciences, Senior Research Fellow, Ecclesiastical Institutions Research Laboratory, St. Tikhon's Orthodox University

Address: Lihov per., 6, str. 1, Moscow, Russian Federation 127051

E-mail: irina.borschch@yandex.ru

The article discusses the ideas of Mikhail V. Zzykin (1880–1960) about the contribution of the Church to international law in the context of its history and the international relations in the 1930s. Special attention is paid to the relation of Orthodoxy to international law, since Zzykin is one of the few jurists who have studied in detail the influence of the Orthodox Church tradition on the law of nations. His works on this subject (first of all, an essay *The Church and International Law* (1937), based on a report at the Oxford conference of practical Christianity in 1937), remain little known to social and political science. The article considers the main provisions of Zzykin about the origin of international law in medieval Europe with the participation of the Church in the context of the positions of other international lawyers (Taube, Martens, Kamarovsky, Nys, Bluntschli). It contains a comparative characteristic of the attitude to international law of the three Christian denominations (Catholicism, Protestantism, and Orthodoxy) according to Zzykin and his idea of the Christian West and East "asymmetric" international contribution (the East was represented initially by the Eastern Roman Empire, and then by the Russian Empire). The fourth part describes the most original part of Zzykin's ideological legacy: a comparison of two vulnerable attempts of international organization, the Holy Alliance in the XIX century and the League of Nations in the XX century.

Keywords: Orthodox church and international law, M. V. Zzykin, law and religion, Christian international law, the history of legal thought in XX century

References

- Alekseev N. (1938) *Vsemirnyj s'ezd prakticheskogo hristianstva v Oksforde* [World Congress of practical Christianity in Oxford]. *Novy grad*, no 13, pp. 152–163.
- Baikov A. (1904) *Sovremennaja mezhdunarodnaja pravospособnost' papstva v svjazi s ucheniem o mezhdunarodnoj pravospособnosti voobshhe: Istoriko-dogmaticheskoe issledovanie* [Modern International Legal Capacity of the Papacy in Relation with the Doctrine of International Legal Capacity in General: Historical Dogmatic Research], Saint Petersburg: M. M. Stasyulevich.
- Berdyaev N. (1925) *Carstvo Bozhie i carstvo cesarja* [The Kingdom of God and the Kingdom of Caesar]. *Put'*, no 1, pp. 31–52.
- Boegner M. (1926) *L'Influence de la Réforme sur le développement du droit international*, Paris: Hachette.
- Brewer J. D. (2007) Sociology and Theology Reconsidered: Religious Sociology and the Sociology of Religion in Britain. *History of the Human Sciences*, vol. 20, no 2, pp. 7–22.
- Butler W. (2009) *Russia and the Law of Nations in Historical Perspectives: Collected Essays*, London: Wildy, Simmonds.
- Butler W., Ivanenko V. (2019) 150-letie professora M. A. Taube: gody stanovlenija i triumfa, zabvenija i vozrozhdenija [150th Anniversary of Professor M. A. Taube: Years of Development and Triumph, Oblivion and Renaissance]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Law*, no 4, pp. 796–814.
- Bykovskaya N. (2009) *Vinodelie v Jaroslavskoj gubernii. Vinozavodchiki Zzykiny v Rostove. Sud'ba potomkov* [Wine-Making in Yaroslavl Province. Zzykin Wineries in Russia. The Fate of Descendants]. *Istorija i kul'tura Rostovskoj zemli* [History and Culture of Rostov Land], Rostov: Rostovskiy kreml, pp. 40–51.
- Chibisova A. (2018) Avtokefalija "pod kljuch": nekotorye fakty iz istorii Pol'skoj Cerkvi 1924 g. [Autocephaly "Ready to Move In": Some Facts from the History of the Polish Church of 1924]. *St. Tikhon's University Review*, no 81, pp. 61–80.
- Croxtion D. (2013) *Westphalia: The Last Christian Peace*, New York: Palgrave Macmillan.
- Del Vecchio G. (2018) *Il diritto internazionale e il problema della pace*, Roma: Studium.
- Fedotov G. (1937) *Posle Oksforda* [After Oxford]. *Sovremennye zapiski*, no 45, pp. 430–444.
- Heraclides, A., Dialla A. (2015) *Humanitarian Intervention in the Long Nineteenth Century: Setting the Precedent*, Manchester: Manchester University Press.
- Kamarovsky L. (1900) *Mezhdunarodnoe pravo* [International Law], Moscow: Obshhestvo rasprostranenija poleznyh knig.
- Kapterev N. (1895) *Snosheniya ierusalimskih Patriarhov s russkim pravitel'stvom s poloviny XVI do konca XVIII stoletiya* [The Relations of Jerusalem Patriarchs with Russian Government from

- the Middle of the 16th to the End of the 18th Centuries], Saint Petersburg: Imperatorskoe pravoslavnoe palestinskoe obshchestvo.
- Korovin E. (1931) *Katolicizm kak faktor sovremennoj mirovoj politiki* [Catholicism as a factor of Modern World Politics], Moscow, Leningrad: OGIZ.
- Koskenniemi M. (2011) Histories of International Law: Dealing with Eurocentrism. *Rechtsgeschichte*, vol. 19, pp. 152–177.
- Koskenniemi M. (2012) A History of International Law Histories. *The Oxford Handbook of the History of International Law* (eds. B. Fassbender, A. Peters), Oxford: Oxford University Press, pp. 943–944.
- Laurent F. (1851) *Histoire du droit des gens et des relations internationales. Tôme 1: l'Orient*, Paris: Durand.
- La Brière Y. de (1924) *L'organisation internationale du monde contemporain et la papauté souveraine*, Paris: Spes.
- Mälksoo L. (2015) *Russian Approaches to International Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Mandelshtam A. (1900) *Gaagskie konferencii o kodifikacii mezhdunarodnogo chastnogo prava. T. 1* [Hague Conferences on the Codification of International Private Law, Vol. 1], Saint Petersburg: A. Berne.
- Martens F. (1882) *Sovremennoe mezhdunarodnoe pravo civilizovannyh narodov. T. 1* [Modern International Law of Civilized Nations, Vol. 1], Saint Petersburg: Ministerstvo putey soobshcheniya.
- Nys E. (1893) *Les origines du droit international*, Bruxelles: Castaignes.
- Oldham J. H. (ed.) (1937) *The Churches Survey Their Task: The Report of the Conference at Oxford, July 1937, on Church, Community, and State*, London: George Allen & Unwin.
- Psarev A. (2003) Russkaja Pravoslavnaja Cerkov' Zagranicej i jekumenicheskoe dvizhenie 1920–1948 gg. [Russian Orthodox Church Abroad and the Ecumenical Movement of 1920–1948]. *Church and Time*, no 1, pp. 182–202.
- Pius IX. (1860) Allocuzione Novos Et Ante, 28. 09. 1860. Available at: <http://w2.vatican.va/content/pius-ix/it/documents/allocuzione-novos-et-ante-28-settembre-1860.html> (accessed 24 August 2020).
- Reynold G. de (1934) *L'Europe tragique: La Révolution moderne, La fin d'un monde*, Paris: Spes.
- Rougier A. (1910) *Théorie de l'intervention d'humanité*, Paris: A. Pedone.
- Sulkowskaya-Zyzykina T. (2012) *Vospominaniya* [Memories]. *Russkie stranicy v istorii Pol'shi. T. 4* [Russian Pages in the History of Poland, Vol. 4], Warsaw: Rossiiskiy dom, pp. 23–41.
- Starodubtsev G. (2000) *Mezhdunarodno-pravovaja nauka rossiskoj emigracii (1918–1939)* [International Legal Science of Russian Emigration (1918–1939)], Moscow: Kniga i biznes.
- Struve N. (ed.) (2000) *Bratstvo Sv. Sofii: Materialy i dokumenty, 1923–1939* [The Brotherhood of St. Sofia: Materials and Documents, 1923–1939], Moscow, Paris: Russky put, YMSA-Press.
- Taube M. (1894–1899) *Istorija zarozhdenija sovremennoj mezhdunarodnogo prava: Srednie veka* [History of the Origin of Modern International Law: Middle Ages], Vol. 1: Saint Petersburg: P. I. Shmidt; Vol. 2: Kharkov: Zilberberg.
- Taube M. (1926) Études sur le développement historique du droit international dans l'Europe orientale. *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, vol. 11, pp. 341–556.
- Tomsinov V. (2019) Hristianskaja doktrina mezhdunarodnogo prava v tvorchestve L. A. Kamarovskogo [Christian Doctrine of International Law in the Works of L. A. Kamarovsky]. *Moscow University Law Bulletin*, no 3, pp. 38–67.
- Traz R. de (1936) *De l'alliance des rois à la ligue des peuples, Sainte-Alliance et Société des Nations*, Paris: Grasset.
- Tröltzsch E. (1963) *Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt*, Aalen: Zeller.
- Troy J. (2017) Two "Popes" to Speak for the World: The Pope and the United Nations Secretary General in World Politics. *Review of Faith & International Affairs*, vol. 15, no 4, pp. 67–78.
- Schmitt C. (2008) *Nomos zemli v prave narodov jus publicum europaeum* [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum], Saint Petersburg: Vladimir Dahl.
- Vivatenko S. (2016) Francuzskie pravye partii i Vatikan v gody Pervoj mirovoj vojny: trudnyj vybor mezhdunarodnoj i veroj [French Right-Wing Parties and the Vatican during the World War I]:

- Difficult Choice between Homeland and Faith]. *Transactions of the Chair of Modern and Current History*, no 16–2, pp. 58–67.
- Shine C. (2018) Papal Diplomacy by Proxy? Catholic Internationalism at the League of Nations' International Committee on Intellectual Cooperation, 1922–1939. *The Journal of Ecclesiastical History*, vol. 68, no 4, pp. 785–805.
- Zyzykin M. (1924) *Carskaja vlast' i Zakon o prestolonasledii v Rossii* [Tsarist Power and the Law of Succession in Russia], Sofia: A. A. Liven.
- Zyzykin M. (1931–1939) *Patriarch Nikon: ego gosudarstvennye i kanonicheskie idei* [The Patriarch Nikon: His State and Canonical Ideas], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1931) *Funkcija cerkovnoj vlasti: episkop kak ejo organ* [The Function of the Church Authorities: The Bishop as Its Organ], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1931) *Cerkovnyj kanon i pravo gosudarstva v zameshenii episkopskikh kafedr* [Ecclesiastical Canon and the Right of the State to Replace Episcopal Chairs], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1932) *O cerkovnoj samostojatel'nosti v novejshih postroenijah cerkovno-gosudarstvennyh otnoshenij* [On Church Independence in the Latest Constructions of Church-State Relations], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1933) *Filosofija vlasti v svete hristianskoj sociologii* [The Philosophy of Power in the Light of Christian Sociology], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1934) *Mezhdunarodnoe obshhenie i polozhenie v nem chelovecheskoj lichnosti (sociologicheskiy ocherk)* [International Communication and the Position of the Human Person in It (Sociological Essay)], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1936) *L'Église orthodoxe et la nation. Irénikon*, vol. 13, no 3, pp. 265–277.
- Zyzykin M. (1937) *Cerkov' i mezhdunarodnoe pravo* [Church and International Law], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1939) *O kanonicheskem polozhenii pravjashhego episkopa i oblastnogo pervoierarha-predstojatelja v Pravoslavnoj Cerkvi* [On the Canonical Status of the Ruling Bishop and Regional First Hierarch-Primate in the Orthodox Church], Warsaw: Sinodalnaya tipografiya.
- Zyzykin M. (1940) *L'Église et le droit international*, Bruxelles: Éditions de la Cité chrétienne.
- Zyzykin M. (1952) *Tajny Imperatora Aleksandra I* [Secrets of the Emperor Alexander I], Buenos Aires: Nashe delo.
- Zyzykin M. (1958) *Imperator Nikolaj I i voennyj zagovor 14 dekabrja 1825 g.* [Emperor Nicholas I and the Military Conspiracy of December 14, 1825], Buenos Aires: Nashe delo.

The Biographical Method as a Methodological Tradition in Russia: A Review of Projects and Publications*

Natalia Veselkova

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Ural Federal University
Address: Lenina pr., 51, Ekaterinburg, Russian Federation 620083
E-mail: vesselkova@yandex.ru

The biographical method in sociology and related disciplines is considered to be firmly rooted in the Western tradition of the first half of the twentieth century (the Chicago School, as well as the Polish memory contests started by F. Znaniecki), while the Russian experience remains largely neglected and unnoticed. The article presents an analytic review of six themes/stages of this movement and their contemporary reception: (1) the N. Rybnikov Institute of Biography, (2) Historical Commissions and Societies, such as Istpart, and others, (3) the Communist Academy, (4) monographic studies and the Central Bureau of Local History, (5) the *History of the Civil War* and the *History of Factories and Plants*, Cabinets of Recordings and Memoirs, and (6) the Commission on the History of the Great Patriotic War. All of these initiatives are known to researchers, but so far, they have been studied within the narrow confines of separate disciplines, and almost without regard to the biographical method. A detailed account of these themes in the biographical method context provides us with new optics allowing to reveal the general effects of biographization as the self-reflection of modern society, either with scholarly participation or without it. The review takes into account historical realities and is placed within an interdisciplinary field. The internal continuity is traced in all analyzed projects. Their common features include the articulation of social relevance, the temporal regime, and the organizational specificity of work and its methodological characteristics. The latter are given a detailed account in terms of their relevance to the methodological precepts of contemporary humanities and social sciences.

Keywords: biographization, Oral History, reminiscences, interview, conditions of scientific rigor, Nikolai Rybnikov, Alexander Bek, historization on the march, romantic positivism

Introduction: The Articulation of the Problem

The biographical method (BM) in sociology and related disciplines is considered to be firmly rooted in Western science, primarily in the Chicago School with its model research *The Polish Peasant in Europe and America* by W. Thomas and F. Znaniecki (1918), *The Individual Delinquent* by W. Healy (1915), *The Jack-Roller* by C. Shaw (1930), and others. In 1921, in Poland, Florian Znaniecki launched a contest of autobiographies which was destined to lay the foundations of a unique national tradition. These episodes mark the dates of a triumphant rise of this remarkably new approach, one of research through

* The reported study was funded by RFBR, project № 19-11-00001.
Translated by Dmitri Chulakov.

the prism of biographies. In fact, the BM reveals and analyzes a biographical dimension that is relevant to the situation of “biographical solutions of systemic contradictions”.¹

Russia witnessed a similar movement in the same period of time. The six themes/stages of this movement were (1) the Rybnikov Institute of Biography, (2) Historical commissions and societies, (3) the Communist Academy (Komakademiya), (4) monographic studies and the Central Bureau of Local History, (5) the *History of the Civil War* and the *History of Factories and Plants*, Cabinets of recordings and memoirs, and (6) the Commission on the History of the Great Patriotic War (the so-called Mints Commission), all which constitute an extremely promising field from the perspective of the BM. Yet, so far, they have been studied within the narrow confines of separate disciplines and almost without regard to this method. One of the reasons for that lies in the considerable political involvement: the above-mentioned projects absorbed and employed the key features of the epoch with its political repressions and exacerbated dictates of the Party by necessity (for the *History of Factories and Plants*, the process was described by Zhuravlev [1997], and for the Society of Old Bolsheviks, by Junge [2015]). As a result, the projects were curtailed, and their research potential was lost.

Intensive work with the memory of the Soviet past, started in the late-1980s by the institutions that emerged in the wake of Perestroika — such as the ‘Memorial’ Society, the People’s Archive (the Moscow Historical and Archival Institute), the Biographical Foundation (the Sociological Institute in Saint Petersburg) and others (Golofast, 1995; Bozhkov, 2018) — gave a powerful spur to biographical research. Yet, the surge of interest in the BM in sociology and related disciplines in Russia of the 1990s, which was followed by anthropological and biographical turns as well as other fluctuations of the research field, seems to be based on the adoption of methodologies almost exclusively developed abroad (see, e.g., Rogozin, 2015). The purpose of the article is to present an analytical review of the aforementioned research practices and projects of the first half of the twentieth century and their contemporary reception. The review is arranged by interdisciplinary field and with historical realities in mind.

An attempt at an interdisciplinary study of the biographical method was made in the works of Gennady Solovyov, where the relevant steps in philosophy, psychology, sociology, history, and literary studies were outlined. However, attention was paid mainly to the potential of the BM for the practical needs of social workers and teachers (2002: 6–10, 41–57). The interpretations, which are in key with our approach, construe a range of early Soviet projects in terms of oral history, although this concept entered Russian language usage much later, and its method was considered to be borrowed from abroad. Thus, Tatyana Shcheglova shows that Soviet local history, Istpart, the *History of Factories and Plants* and others have gained rich experience in practical use as well as scientific and methodological grounding of what is now called ‘oral history’ (Shcheglova, Drozhetsky, 2014; Shcheglova, 2019). The authors of the monograph on the Mints Commission go even further, arguing that the “process of anthropologization of history” and the forma-

1. This expression by Ulrich Beck (1992: 137) is repeatedly played with and further developed by Zygmunt Bauman (2000).

tion of oral history in Soviet Russia had occurred earlier than in the West, already in the 1920–1930s (Contribution, 2015: 10, cf.: Depretto, 2001). These publications address almost all of the projects discussed below, but only within the framework of historical studies.

For the first time, the systemic interconnection of most of these Soviet endeavors (2–5, except Cabinets) as prerequisites for the *History of Factories and Plants* was convincingly shown by Sergei Zhuravlev (1997: 3–27). Ilya Kalinin's description is somewhat broader. Here the movement of *raktors* (worker correspondents), *selkors* (village correspondents) and *voenkors* (war correspondents), Gorky's journal *Literary Studies* [Literaturnaya Ucheba], Istpart, the *History of the Civil War* and the *History of Factories and Plants*, as well as the Commission on the History of the Great Patriotic War are construed as forms of “a revolutionary avant-garde project, striving to provide history with a subjective dimension, and to endow the subject with an awareness of its own historicity” (Kalinin, 2015: 643). A detailed account of these themes in the biographical method context provides a new optics allowing to reveal the general effects of biographization as a self-reflection of modern society, with academic participation or without it.

Biographization and Historization on the March: Six Themes

At the turn of the twentieth century, mass society brought about the uncertainty of rapid change, new social dynamics, and the question of the subject. According to the Polish sociologist, Marek Latoszek, extraordinary historical periods such as the 1920s and the 1930s with the Great Depression in the United States, Germany, or Poland (and before that, we would add the Great War, revolutions, and the Civil War in Russia, as well as the exceptional 1920s, and the Great Turn) are characterized by the abundance of autobiographical material (1989: 281–282).² Russian futurism and a brief period of the flourishing of literature of fact proclaimed the absolute dominance of biographies and other non-fiction texts.³ The rise of the biographical method in the first third of the twentieth century in the United States encouraged a belief that this approach was a golden key which would finally open all doors for social science. The methodological principles that were formulated at that time, such as Thomas' theorem and Znaniecki's humanistic coefficient, articulated the role of the individual. Here we cannot but agree with Oleg

2. Latoszek refers to the paper on personal documents in sociology by Władysław Adamski (Adamski, 1969: 113–114, 116) — a specialist in the biographical method (see Thompson, 1994: 58). M. Latoszek himself found the biographical method very useful for his study of the events of the “Polish August of 1980”.

3. In 1918, Vasily Kamensky, a Russian Futurist, claimed that “any biography of an inconspicuous archivist — even clumsily written — is a million times more interesting” than composed novels. He called for writing and publishing biographies immediately, and primarily of contemporary geniuses, but also of “anyone, yet only the living [people] with full names, the witnesses [of everything] around and of proud truth” (5). The scholar Nicolai Rybnikov, in that very same year of 1918, explained why this happened, writing: “The Great War and the events that followed it” are not coincidentally “marked by an increased interest in all sorts of reminiscences, notes, memoirs, chronicles, letters, etc.” — “the hard times” encourage us to think of the increased “role of a concrete person” and “to look into the past attentively” (1, 13) (cf. in Kamensky, who wrote: “a Personality is asserting itself on the arena of humanity” (1918: 6).

Bozhkov who wrote that the most important of all epistemological turns of the twentieth century marked the turn “to a common person” (2018: 6).

With all of their ambiguity, the practices which sprang up on Russian soil embodied this very trend. Viewed together, they produce an impression of an incredible boom, if not a bacchanal of reminiscences, when a multitude of evidence about the recent past and the present was gathered. Such a focus on the historical significance of the current moment and on the desire of recording it immediately in the process could be called “historization on the march”.⁴ The studied themes intersect and overlap, and therefore can only tentatively be situated within a coherent chronology. Yet, they represent the development of the BM in Russia within the institutional framework relevant to the epoch.

(1) Let us take the work of the psychologist Nikolai Rybnikov (1880–1961) for a starting point. In 1916, he conceived of the Biographical Institute as an institution “that would collect, store, and study mass biographical material, generalize the accumulated human experience, and become a collective memory of humanity” (1943: 99; 1994: 16). As he later recalled, his appeals at conferences and in the press were “warmly and sympathetically welcomed”. A biographical section was established in the Paedagogical Institute to listen to reports and prepare thematic collections, e. g., “Wonderful Russian women”. Although it was not possible to launch full-scale elicitation and research of “mass biographical material” at that time, the scholar was sure that the Institute would certainly “be created, because there was a great need for it” (1943: 97–98).

From 1917–1930, Nikolai Rybnikov published a range of methodological articles and brochures on the prospects of the BM for various fields of science, on the typology of autobiographies, and on the methods of working with them (1918; 1920; 1926; 1928; 1930, and others). In 1918, under the heading of “The Biographical Institute Library”, the family chronicle *Gorbovskaya Khronika* was published. It was written by Rybnikov’s sister and associate, Maria Rybnikova, who later became a well-known philologist, methodologist, and teacher (1918). For the same series, several typewritten volumes of Rybnikov’s *From Generation to Generation: History of the Rybnikov Family (of the Two-Hundred-Year Period of Its Existence)* were prepared. They are dated 1942 and 1943, and stored in the Rybnikov Fund in the Department of Manuscripts of the Russian State Library. Rybnikov’s works on the biographical method have not been republished, except for a short fragment in the *Avant-garde Museology* collection (2015). A detailed account of his scholarly endeavors was published in the late 1990s (see Botsmanova, Guseva, 1997; Rybnikov, 1994; cf.: Loginova, 2001; 2006: 70; Veselkova, 2018: 207).

This stage of the development of the BM in Russia is distinguished, firstly, by the striving for a profound scientific approach to biographical research in terms of both its organization and methodology. The epistemological potential of the BM, as it was formulated in 1918, strikingly anticipates the way qualitative approach is contrasted with the quantitative one in terms of holism and depth today. Rybnikov specifically emphasized

4. The concept of “historization on the march” describes a specific temporal regime, which fuses all modes of time, normalizes everything that goes on at present, and mobilizes its participants (Veselkova et al., 2016: 166–172, 236).

a) integrity (“the integral inner world of a human personality as a unity in itself”, which eludes experimental study), and b) the opportunity to “look into such aspects of the soul that are inaccessible to ordinary observation” (1918: 2, 5).

Secondly, the fundamental innovation of the BM was the inclusion of ordinary people into the orbit of research. The statement that “everyone deserves a biography, [and] every biography may be interesting for a philologist, a historian, and a psychologist” (1918: 17) still seemed a little too daring, so Rybnikov tried to justify the need for the Biographical Institute by traditionally appealing to the preservation of the heritage of great people first, and only then mentioning the significance of the lives of “average people”, with the needs of positivist science in mind, which “is interested in the most typical” (1918: 13). Rybnikov’s ideas were taken up by the historian Petr Kruglikov, who believed that “an average, mass person” was a true historical actor, and that contemporary science needed the method of “a theoretical biography” (1921).

By the end of the 1920s and in the early 1930s, more and more reminiscences of people from the lower classes were published, and Rybnikov subjected them to a thorough analysis in his book *Autobiographies of Workers and Their Study*, comparing German and Russian publications (1930). It is logical to consider this work as a response to the request for a biographical description of the victorious class, but more broadly, it serves as a manifestation of the above-mentioned turn. It is symptomatic that outside the Soviet Union, in Poland, in the same year of 1930, the almost eponymous *Autobiography of a Worker* by Jakub Wojciechowski was published. It was not as analytical as Rybnikov’s book, yet it was not an ordinary publication, either. Wojciechowski won the competition of workers’ autobiographies as announced by F. Znaniecki and the Polish Institute of Sociology in 1921. According to the experts, the book provided “a sufficient argument” in favor of “the methods of personal documents” in social sciences (Kupriyanov, 2008: 67–68; see also: Thompson, 1994).

Thirdly, a number of significant changes were made to the methodology of empirical biographical research. Namely, (a) the substantiation of the *active* role of a researcher. It is often not enough just to gather the existing documents; it is necessary to *bring them to life* and preserve them (Rybnikov, 1918: 13, 1928: 93), for example, by encouraging people to keep diaries, by asking parents to collect their children’s drawings and take notes, and finally conducting surveys. For sociologists, it was a routine, but for psychologists,⁵ it was less common. Even for today’s historians, they are to be reminded that oral sources are not so much collected but created at the request of the researcher (Shcheglova, 2019: 94). In later works, Rybnikov introduced the terminology that is still of importance today, distinguishing between provoked and unprovoked autobiographical materials (1930); (b) calling to collect *diverse biographical materials*: “biographies, autobiographies, diaries, family archives, notes, reminiscences, letters, obituaries, curriculum vitae, photo-

5. In his *Autobiography*, Rybnikov denounces the lifeless system of teaching psychology at Moscow University, which started to change only in 1907 thanks to G. I. Chelpanov, who organized a seminar and a psychological laboratory — the embryo, as Rybnikov puts it, of the future Institute of Psychology (1942: 273–291; 1994).

graphs, [specimens of] handwriting, phonograms, and artistic products", including children's drawings (1918: 12; 1926). In fact, Rybnikov speaks of the *triangulation* of sources (implying the triangulation of methods for collecting and analyzing information, which, as we know today, form the foundation for the validity of such research); and (c) the diversity of sources, coupled with their *mass character*, provides for what contemporary ego-document specialists call the "cumulative effect" when working "with a large source complex" (Surzhikova, 2017: 25, 2020: 54.20 et seq.). "[T]he very essence of the biographical method is such that it needs mass collection of material" to smooth out the errors of subjectivism of the biographer, and the inaccuracies and incompleteness of biographies. For processing mass sources, Rybnikov insistently suggests the still very new then "method of correlation", referencing his overseas colleague, Ch. Spearman (1918: 12).

Exceptional attention given to the "aroma of individuality" that is combined with an unconditional faith in statistics (*Ibid.*) gives the positivism of that period a romantic flavor. This romantic positivism is clearly manifested in Rybnikov's work, as well as in other initiatives of that time.

(2) At the very beginning of the 1920s, a number of Commissions on History and Societies emerged, such as the Commission on the History of the October Revolution and the Communist Party (*Istpart*), the Commission on the History of the Trade Union Movement (*Istprof*), the Commission on the History of the All-Union Leninist Young Communist League and the Revolutionary Youth Movement (*Istmol*), the Society of Former Political Convicts and Exiles, and the Society of Old Bolsheviks. The Commissions were established top-down on the initiative of the state, while the Societies were a grassroots movement.⁶ However, all of them worked for a decade, and some even longer, to capture the history of what was considered to be a revolutionary turn of world significance, and were instructive for both the audience abroad, for the peoples who would take this path later, and for internal recipients as education of the Soviet youth in the right spirit.

To this day, the amount of research on these institutions reflects their place in the Soviet political hierarchy. *Istpart* has been the most extensively studied (see the review by Lazareva 2011;⁷ Corney 1998; 2004), while *Istprof* (Gilmintinov, 2018; 2019a; 2019b), the Society of Former Political Convicts (Vasilieva, 2011; Junge, 2015), the Society of Old Bolsheviks (Pivovarov, 2018) and *Istmol* deserved much less attention. Researchers claim that the activities of *Istpart*, or *Istprof*, etc., were driven by the need to stand in competition with the West in the interpretation of the revolution, providing "a new model of historical memory with a source base and a new historical concept" (Klopikhina, 2019),⁸ and ultimately to legitimize the regime and mobilize the population.

6. Although the Society of Old Bolsheviks was founded "in direct subordination to *Istpart*", and according to Mark Junge, *Istpart* was a competitor to the Society of Former Political Convicts and other organizations, all of them interacted closely (2015: 54–55).

7. Cf. a short list in the review of the book by F. Corney (Novikova, 2007: 466).

8. It seems that this characteristic, given by V. Klopikhina to *Istpart*, can be fairly extended to all other establishments.

The routine dimension of their work is of special interest for the BM: it is necessary to find and sometimes withdraw relevant documents from archives and libraries, photograph historical sites, register participants of events, collect artifacts from them, and encourage them to give their reminiscences. Incoming materials were actively published (in 1930, Rybnikov mentioned the specificity of Ispart publications), and put on display in exhibitions and new museums (see, for example, Krasilnikova, 2016).

In 1924, in preparation for the twentieth anniversary of the 1905 revolution, the chief Soviet historian, Mikhail Pokrovsky, made a methodological statement which “legitimized” the value of reminiscences as a historical source; this step is especially appreciated by oral history experts (Shcheglova, Drozhetsky, 2014: 258). Like in Rybnikov’s case, the conditions of scientific rigor were ensured by the mass and organized elicitation of memories, but this time, they were not just provoked, but compiled according to a certain plan (a questionnaire) of collecting evidence. A draft questionnaire or, in more up-to-date terminology, a guide to a semi-formal interview on the Russian Revolution of 1905 was also published. Pokrovsky specifies the flexibility and variability of his questionnaire, and addresses not so much the informants as those “who will gather information from the working masses” (1924a; 1924b: 14). In this regard, historians distinguish between more independent memoirs of the first half of the 1920s (“self-recordings” and printed transcripts of the original manuscripts), and more unified later reminiscences compiled according to the Ispart plan (Krasilnikova, 2016: 93, cf.: Narsky, 2017: 77).

(3) The Communist Academy, a Section of the History of the Proletariat in the Institute of History, used the BM in the historical research of the proletariat in the USSR, which was construed as the “scientific ‘biography’ of the proletariat”. This endeavor was encouraged by M. N. Pokrovsky in the end of the 1920s, and was conducted under the supervision of A. M. Pankratova. Several Commissions were formed in the Section, including a Questionnaire-Biographical and a Monographic one, on the study of individual enterprises (Ignatenko, 1975: 10, 12; Chaadaeva, 1930). The value of autobiographies and memoirs was determined by the immediacy and concreteness of observations, but according to the head of the Questionnaire-Biographical Commission, Boris Gorev, they had to be no more than 60 years old: it was essential to make haste with eliciting precious evidence (Gorev, 1930).

The memoir materials, which had been accumulated earlier by Ispart, Istprof, and others were found to be of little use due to their “spontaneous nature”, and the task was to develop a new methodology. The Commission’s efforts were to be focused on working with factory archives, ordering autobiographies of the figures of the revolutionary movement, organizing detailed interviews (“surveys”) of old workers, and conducting a less detailed but broader polling of “workers of the entire [Soviet] Union” (Chaadaeva, 1930: 148; Gorev, 1930: 180–181; Ignatenko, 1975: 17–18). In the article by Olga Chaadaeva, the conditions of scientific rigor were specified: a) to identify the role of the narrator in the events described, b) to separate personal experience from what was known from others, c) to discern current evaluations from the past ones, and d) to verify autobiographical

materials by archival data. A step-by-step description of work at these enterprises and a number of procedural recommendations were also given (1930).

At this stage, the “scheme-questionnaire” became even more extensive. In comparison with Pokrovsky’s questionnaire, it was supplemented by a fundamentally-novel block on biography and everyday life. The questions were accompanied by detailed notes, and the guidelines were very close to the current instructions for a narrative biographical interview (Sobiraniye, 1931). These guidelines were used at two Moscow enterprises, the Trekhgornaya Manufactory, and the ‘Hammer and Sickle’ factory. Reminiscences, that is, the ‘autobiographies’ of workers, were taken down in shorthand or simply recorded during 2–3, or sometimes more, meetings at their place of residence. The format varied from a much desired “live and smooth narration of the worker” to answering the interviewer’s questions. Some informants wrote down their reminiscences themselves, checking with the proposed scheme. For each plant, a collection of summarizing articles and selected autobiographies was published, while the source materials were accumulated in the fund of the Questionnaire-Biographical Commission in the research room of the Communist Academy Library, and were declared to be available for anyone who wanted to use them (Anketno, 1930, 1931).

Thus, the systematic work with reminiscences undertaken at the second (Istpart and others) and third (the Communist Academy) stages embodied the initial design of Rybnikov and Pokrovsky, in order to purposefully generate the necessary materials and compile a database. This was a scientific breakthrough, which anticipated, according to J.-P. Depretto, the field of contemporary “Oral History” (2001: 84).

(4) Through the efforts of the historians Anton Bolshakov, Mikhail Phenomenov, and others in the 1920s, monographic studies of the village were carried out (Tsvetkova, 2016; a brief review: Kulachkov, 2014: 10). Igor Vernyaev notes their relation to the works of the Zemstvo statisticians, on the one hand, and Teodor Shanin’s reflexive peasant studies, on the other (2005). Factories and plants were studied by special commissions of the Moscow Regional Trade Union (since 1928), the Central Bureau of Local History (from 1929–1930), and the Communist Academy (since 1930) (Ignatenko, 1975: 20–29; Sklyarenko, 1986: 7–11; Zhuravlev, 1997; Zhadaeva, 2018: 106–107). In the Communist Academy journal *The History of the Proletariat in the USSR*, a section titled “Monographic Research of the History of Industrial Enterprises” appeared, where methodological articles and programmatic documents were published (Shcheglova, Drozhetsky, 2014).

In local history studies, as well as in other fields, the emphasis was on the mass involvement of the population and assistance to the national economy (Smirnova, 2016). In 1930, the Central Bureau of Local History announced a competition for the best writing about a factory or a plant in the form of a monographic description of either its current state, its historical development, or both. Popular scientific works were expected by September 1, 1930, and research works by January 1, 1931, consisting of from 8 to 15 printer’s sheets, respectively (Pravila, 1930). The Central Bureau of Local History was very proud that it distributed 9,000 copies of a color poster with the terms of the competition. However, campaigning alone was not enough, so methodological and instructional brochures

called *Monographic Study of Factories and Plants* (Promyshlennaya, 1930), and *Study Your Plant* were published in large print runs (Krandievsky, 1932).

Planned for the end of 1930, “the local history five-day period” included, among other things, thematic evenings of reminiscences (Postanovleniye, 1930), which could be viewed as a point of intersection of the monographic approach (case study) and the BM (see Veselkova, 2017). Turning to letters was less common; therefore, Pavel Bazhov’s proposal, who was then working in the Urals in the *Peasant Newspaper* [*Krestyanskaya Gazeta*], to use letters as a local history source (Bazhov, 1927; on letters see: Veselkova, 2018) is especially interesting.

A number of visits to Moscow enterprises urged the *Soviet Local History* [*Sovetskoe kraevedenie*] journal to claim that the idea was in the air and “in some cases began to be implemented independently”. Several examples were given when enthusiasts began studying the history of their own factories on their own initiative. At the grassroots level, the interest was primarily focused on the historical and social characteristics of enterprises in contrast to the expected industrial aspect (Mirskaya, 1930), so the monographic description of the enterprise turned into its biography. For example, from the North Caucasus, it was reported of a compiled ‘autobiography’ of a kolkhoz (Pyatigorskiy, 1931). It was not possible to study all of the enterprises in one year, but, according to the report of the Industrial section of the Central Bureau of Local History from 1929–1930, the competition still gathered 30 manuscripts (Sklyarenko, 1986: 11). Gradually, the monographic work merged into Gorky’s *History of Factories and Plants* (Ignatenko, 1975; Zhuravlev, 1997: 19–27), and several manuscripts from the local history contest⁹ were also passed over there.

(5) Conceived by Gorky in the late 1920s among a number of other “Histories” (Moskovskaya 2016; Spiridonova 2016), in 1931, the *History of the Civil War* (HCW) and the *History of Factories and Plants* (HFP) received support in the form of resolutions of the Central Committee of the Bolshevik Party, and soon the spreads of all newspapers were allotted to the Instruction-Plan. The ultimate goal, according to Gorky, was to give mass audience “a point of view” on key events in Soviet history (Zelenov, Brandenberger, 2017; Moskovskaya, 2018). In the future, HFP was seen as the “Institute for the Study of Growth and Development of Socialist Industry in the Union of the Soviets” (Zak, Zimina, 1959: 37). David Brandenberger assumes that these and other projects of the 1930s managed to make the past “useful” due to the “cult of heroes”, i. e., by showing not impersonal schemes, but concrete people and events (1999: 86; 2017a: chap. 4; 2017b).

Both the HCW and HFP succeeded previous projects and maintained contact with them, but just as the Communist Academy could not use the materials from Istpart and the Societies of Old Bolsheviks and Former Political Convicts, so factory histories prepared by the Communist Academy did not fit the new format. Gorky rejected them as

9. In the *History of Factories and Plants*, these manuscripts were ostracized as “the examples of obscurantism” due to “the authors’ hostility to socialist building” and the general lack of “political acuteness” (Shushkanov, 1932: 177).

“way too scholarly”.¹⁰ It was assumed that the main creators of these *Histories* were to be immediate participants of the events, the workers. The qualifications of the invited authors were also uneven, so the methodological disputes were by necessity enriched with concrete recommendations. The *The History of Factories* bulletin, published by the editors of HFP from 1932–1934, sheds light on the techniques of eliciting information both from archives and from “recording reminiscences” in interviews (Gaisinovich, 1932a, 1932b, 1932c; Rozhkova, 1932; Rabinovich, 1933; see: Shcheglova, Drozhetsky, 2014). In 1933, six brochures *In Support of the Authors*, each about ten pages long, were published (Akhun, Lukomsky, 1933; Grekulov, 1933; Rozhkova, 1933a, 1933b; Tretyakov et al., 1933; Programma, 1933).

In 1931, at Kuznetskstroy, the writer Alexander Bek became an ardent supporter of the method of “conversations”, which was the biographical interview in its essence.¹¹ Years later, in his *Postal Prose*, he would use his correspondence with his wife Lydia Toom, who organized the HFP editorial office at Kuznetskstroy.¹² In this book, he would give a detailed account of the Moscow writers’ brigade (1993; see also; 1962b). Venerable authors were reluctant to get involved in such projects, but for beginners like A. Bek and V. Kovalevsky, HFP became a powerful career boost.

The method of biographical conversations developed at Kuznetskstroy by A. Bek and L. Toom was successfully used later, for example, from 1934 in the *Cabinet of Recordings* of the newspaper “For Industrialization” when the prominent figures of industry were interviewed, and in the *Cabinet of Memoirs*,¹³ created on the initiative of M. Gorky in the editorial office of the “People of Two Five-Year Plans” collections. With the commission of the Military Publishing House [Voenizdat], the interviewers (*besedchiki*) gathered “colossal material covering the entire history of aviation” (Transcript, 1957: 33, 37–38). In A. Bek’s works, a common motif of a conversation between the author and his protago-

10. See Gorky’s reviews of the manuscripts by historians Zeltser, Paradizov, Rozhkova about the Trekhgorny manufactory (Zak, Zimina, 1959: No. 59, No. 60). Historians N. A. Rozhkov and M. K. Rozhkova studied the Trekhgorny (Prokhorov) manufactory back in the 1920s from the economic and political perspective (Ignatenko, 1975). Although M.K. Rozhkova’s article in the Communist Academy collection was written on the basis of ‘autobiographies’ of workers, HFP published the book of S. M. Lapitskaya, who used the same data, but wrote about everyday life and not the economy (Rozhkova, 1930; Lapitskaya, 1935). The works of writers were also severely criticized when they lacked a documentary basis (Zak, Zimina, 1959: No. 78; Zhadaeva, 2018: 120).

11. At that time, the term “conversation” was more preferable than “interview”. It is suggestive that in the wake of Perestroika, the first Russian article about qualitative interviewing in the *Sociological Studies* journal also defined this method as a conversation (Ivanov, 1989).

12. Their grandiose work was followed by only two preliminary books (Bek, 1933; Toom, 1934), but a lot of material was gathered. O. Belousova mentions about 250 recorded reminiscences, which are deposited in the archives of Novokuznetsk (2004); see also A. Bek’s Fund in the Russian State Archive of Literature and Art, and Kuznetskstroy’s History Fund in the State Archive of the Russian Federation.

13. It is noteworthy that Igor Orlov translates the *Oral History Research Office*, which was created in 1948 at Columbia University and is believed to lay the foundations for oral history, as *The Oral History Cabinet* (Orlov, 2010: 44–45). A decade earlier, its organizer, Allan Nevins, in the preface to the first edition of his book *The Gateway to History*, had expressed an idea to retrieve information on recent past, within half a century, directly from contemporaries (1938). Paying the Russian tradition of using oral sources its due, I. Orlov, in contrast to T. Shcheglova and others, still prioritizes the American Cabinet.

nist can easily be traced when the writer inquires about his character's life. In the novel *The Talent (The Life of Berezhkov)*, the work of the "Cabinet of Memoirs" in 1936 was described, and in *Postal Prose* a real instruction on "the method of conversations" was provided (Bek, 1991b: 7–11; 1993: 417–418). After Gorky's death, the Cabinets subsided, but A. Bek considered them to be "a constantly replenished repository of human documents", which was absolutely necessary for writers and historians. He repeatedly called for the revival of this "institution for the study of life" (Bek, 1962a: 168; Grudtsova, 1967), or "the first Soviet Storybank", as it would be called in the new century (Gopius, 2019).

Vyacheslav Kovalevsky was invited by Gorky to HFP (the historical short novel about the Trekhgorny manufactory came out after the series was closed (Kovalevsky, 1939)). The experience of HFP was of use for both him and Bek in their work as war correspondents. The material was later used in Kovalevsky's *Notebooks from the Map Case* (1968) and Bek's *Volokolamsk Highway* (1991a).¹⁴

HCW and HFP were strongly intersecting, and in 1933–1937, they operated within the united publishing house *The History of the Civil War and the History of Factories and Plants*. HCW was planned to be a 15-volume edition, and from 1935 to 1960, five volumes of the conceived 15-volume edition of HCW were published. Meanwhile, in 1935, the colossal number of 300,000 copies of its first volume appeared in print, and the next year, 500,000 copies of its second edition came out. Before its liquidation in January, 1938, the HFP's publishing house issued 30 books, including six methodological brochures. After the XX Congress of the CPSU, there were attempts at starting HFP anew, with appeals to the authority of Gorky (Iokar, 1957; Rozanov, 1958; Zak, Zimina, 1959; Rogachevskaya, 1963; Panfilova, 1974). The wave of publications on the history of enterprises eroded the initial high standards (Argutinskaya, 1965), but it satisfied the demand for a return to the "right" (Leninist and Gorky) traditions. More generally, the need was for a collective identification and for inscribing oneself in history by scaling social memory.

Analytical works and collections of documents on the HCW project have been published in recent years (Bystrova, 2017; Zelenov, Brandenberger, 2017; Moskovskaya, 2018; Iroshnikov et al., 2018; cf. Malysheva, 2001). As for HFP, new materials can be found in the correspondence of Gorky (e.g., Gorky, 2018). A full-text database of reminiscences on particular factories (Rudenko, 2017) has been created. In terms of historiography, Sergey Zhuravlev's work (1997, see also Zhuravlev, 1989) remains to be the most complete. Philologists and cultural historians traditionally situate these Histories in the dynamics of Soviet socialist realism (Dobrenko, 2007: ch. 2 and 4; Clark, 2002; Clark, 2004; Litovskaya, 1998). Published in an international collection, Katerina Clark's article places HFP in a wider context of working-class literature of different countries (2017). The Cabinets are still waiting for their researchers.

Despite the watershed of the 'Great Terror' and then the War, experts find signs of continuity in the research work on historicization: Tatyana Shcheglova argues that oral

14. On the use of conversation practices by A. Bek in the *History of Factories and Plants* and the Mints Commission: Lotareva, 2014: 152; Shcheglova, Drozhetsky, 2014: 257) and in more detail: Zhuravlev, 2015: 235–241.

history practices were developing in the following years, in particular, in the Commission on the History of the Great Patriotic War (2019: 97).

(6) The Commission on the History of the Great Patriotic War, or the Mints Commission,¹⁵ was formed in December, 1941. Initially, it was conceived as a chronicle of the defense of Moscow, but in the future, Isaak Mints planned to establish the academic Institute of the Great Patriotic War. In Leningrad, in the first months of the siege, the idea of gathering current documents came up. According to an employee of the local Istpart, “reports, factory papers, newspaper articles, wall newspapers, leaflets, protocols, resolutions, posters, letters, diaries” were to be collected (cit. ex: Chistikov, 2019: 11). At working meetings, the Leningrad Commission members explained the importance of reminiscences, diaries, and autobiographies, and prepared the first collections of documents and materials (Sobolev, 2012: 74; Ganzenmüller, 2019: 416–418). The difference from previous projects was that the reminiscences were recorded at the front and in the rear. As a rule, they were still fresh and elicited by professionals, that is, historians and writers.

Publications about the Commission that appeared in the (late) Soviet period (for a historiographical review, see: Lotareva, 2014; Budnitskii, 2018) emphasized a large number of interviews with high-ranking military commanders, which was obviously a sign of the value of the information elicited. Later, though, on the contrary, the interest and expected value shifted to the lower levels of the social hierarchy. Describing the work of the Commission in Stalingrad, Jochen Hellbeck gives a detailed account of the categories of informants. Along with generals, staff officers, and commanders, there were ordinary Red Army soldiers, commissars and agitators, sailors, nurses, and civilians such as engineers, workers, and a woman who worked in the kitchen (Hellbeck, 2015: 12). Currently, the Commission’s website is operating,¹⁶ and the materials are gradually being brought into circulation. It would be interesting to compare them with the data of the Harvard project which was implemented by American scholars shortly after the war (some data of the Mints Commission were also obtained in this period), through formalized and semi-formalized interviews with former Soviet citizens who stayed in the Allied occupation zone (Inkeles, Bauer, 1959; Kodin, 2003; Budnitskii, Novikova, 2018); a small step in this direction has been made by Oleg Budnitskii in his recent publication (2018).

Alexey Kurnosov, who specializes in the Mints Commission, pointed out its continuity with Istpart, HCW, and HFP, arguing that their experience was adopted by various institutes, museums, and archives (1974: 118; Arkhangorodskaya, Kurnosov, 1982: 225). In a recent collective publication of the Institute of History of Russia of the Russian Academy of Sciences, the connection of the Commission with “the rich experience of previous

15. A common name after the actual leader I. I. Mints, another variant after the name of the official head — “The Commission of A. F. Aleksandrov” (see Chistikov, 2019). The Estonian Republican Commission was led by the historian H. H. Kruus (1971), who became the Minister of Foreign Affairs of the ESSR for several years after the war.

16. The Commission on the History of the Great Patriotic War (<http://komiswow.ru>). A part of its collection is available on the website “Stalingrad” (<http://stalingrad.rusarchives.ru/razdely/stenogrammy-beseds-u-chastnikami-bitvy-iz-archiva-komissii-po-istorii-velikoy-otechestvennoy-voyny>), and is included into the bigger oral history project “Soviet & Post-Soviet Wars” (Sieca-Kozlowski, 2019).

historical initiatives of the 1920s and 1930s" is represented in detail, taking into account the local history movement and the Communist Academy's Questionnaire-Biographical Commission. In fact, Isaac Mints was at the head of the History of the Civil War secretariat from 1931 to 1947, and the Commission on the History of the Great Patriotic War, which was created on his initiative, was even located in the same room with HCW (Contribution, 2015: 9–14; Lotareva, 2014: 123–124). In the draft of the Instruction to the military units of 1942,¹⁷ the work on their history was presented as a continuation of HCW. Apart from Mints and other 16 members of HCW who also worked in the Commission on the History of the Great Patriotic War,¹⁸ there are other intersections on the personal level. For example, Olga Chaadaeva, who gathered reminiscences in the early 1930s in the section of the History of the Proletariat in the Communist Academy, and Alexander Bek, who we know from the Moscow writers' brigade of HFP at Kuznetskstroy and the Cabinets of Recordings and Memoirs, also worked in the Mints Commission. It would not be an exaggeration to claim that the Commission on the History of the Great Patriotic War is successive to all the described biographical projects (1–5), starting from the intentions of N. Rybnikov and up to the collections of transcripts celebrated by A. Bek. In my opinion, all of them have the following four features in common:

(1) The articulation of social relevance: discussions usually focus on their educational and scholarly significance, but the projects themselves emphasized the social request for historicization and biographization. As it was said previously, it was high time to organize the spontaneously-spreading practices (the publishing of memoirs, compiling histories of organizations, etc.) to raise them to a new level, to be either scientific (as in Rybnikov's case, or in monographic local history studies, and in the Commission on the History of the Great Patriotic War, partly in HCW and HFP), or ideologically verified (Istpart, Istprof, Istmol, HCW, and HFP). In all cases, it had to be of mass character.

(2) The temporal regime: the projects were usually arranged on the go to lay the groundwork for future research (for example, the second edition of the *Biographical Dictionary of the Fallen Revolutionaries* was published in 1924 by Istpart, and was presented as "a preliminary collection of materials requiring further study" (Lezhava, Rusakov, 1924). In terms of procedures, there were clear connections, yet not absolute, to the memorable dates and places. An example of this is the Twentieth Anniversary of the 1905 Revolution (the exception was prompt research on new construction sites in HFP and in the Commission on the History of the Great Patriotic War). The commemoration of memorable dates and places is usually analyzed in terms of the formation of a new "collective memory landscape" (Krasilnikova, 2015; 2016: 343), but it is worth paying attention to the elicitation of information *in situ*, when the potential of the place and space is included in the study.

17. See this project and a number of other documents: Zhuravlev, 2015.

18. Members of the Commission // Commission on the History of the Great Patriotic War of the USSR Academy of Sciences 1941–1945 (<http://komiswow.ru/?q=chkomis>).

(3) Organization of work vertically and horizontally, carried out by a head office, its regional divisions, and a wide territorial and industrial network. This is the striving for fundamentality through the establishment of research "Institutes".

(4) Methodological characteristics (Zhuravlev, 2015: 9–14) of the analyzed projects show that the foundations of the BM were developed. These foundations are directly related to the methodological principles and subjects of contemporary humanities and social sciences. This feature can be broken down into four additional points:

(a) the significance of the biographical experience of not only outstanding individuals but also of 'ordinary people', their involvement not only as informants, but to a lesser yet systematic extent, as participants in the elicitation and subsequent processing of information, could be referred to as the principles of participatory research and action research;

(b) the value of the grassroots and the insider perspective, with a focus not only on the eventual and structural aspects of the "Big History", but also on living particularities and details, and on the emotions and experiences could be correlated with the themes of everyday life and the anthropological turn;

(c) the participation of specialists in various fields, such as historians, archaeographers and archivists, local historians, writers, journalists, photographers, artists, and printers, as well as party functionaries and activists, could be construed as research triangulation, but with the peculiarity that such cooperation was aimed at writing books for a wide range of readers, and;

(d) the triangulation of sources and methodologies is manifested in the use of heterogeneous data obtained by various methods with a large share of initiative documentation and sources of personal origin, including the provoked ones, i. e., written by order of the researchers of autobiographies or reminiscences, as well as memories given orally and recorded at individual and collective interviews and discussions. It is supplemented by the compilation of comprehensive databases, referred to as "factographic card-catalogues" (Zak, Gorodetsky, 1987; Lotareva, 2014: 126; Zhuravlev, 2015: 10).

Conclusion

Viewed from today, the striving for the mass expansion and establishment of the special Institutes during the first half of the twentieth century may seem absurdly gigantomaniacal and eccentric, even if their political and ideological charge is left out. At the same time, promising seeds have found fertile soil. A hundred years ago, the *Biographer* almanac, conceived by Nikolai and Maria Rybnikov for "a comprehensive study and systematization of Russian biographical literature" (1918: 16), never came into being. Yet, it seems to have found its embodiment in *AvtobiografiЯ*, the online journal on "life stories and self-representations in Russian culture", which has been published since 2012 by the University of Padua (Criveller, 2012: 11). From the start of Perestroika, new types of archives, museums, and other research initiatives began to appear in academic institutions (Bozhkov, 2018). Take, for example, the grandiose 15-year-long project of Boris Doktorov, which gathered the biographies of seven generations of Russian sociologists (2013; 2014;

2020). Along with such Internet resources as Lived Through [Prozhito], Oral History, Open List, EtoRetro.ru and others (some of them are of a more general character, while others have a narrower thematic and local historical focus), these projects and institutions actively democratize relations with the past (Sobolevskaya, 2019; Abramov, 2011), and, at the same time, serve as a useful support for specialists (see, e.g., Hellbeck, 2017: 416–417). The seemingly-impossible combination of the mass and the professional finds its implementation in the “constantly replenished repositories of human documents”, which N. Rybnikov, A. Bek, and probably other personages of this review so passionately aspired to.

Until now, the presented initiatives of the first half of the twentieth century have been studied within the narrow confines of separate disciplines; Rybnikov's legacy has been studied in psychology, and the rest have been of interest for history and literary studies, practically without regard for sociology, anthropology, etc. For the most part, these studies have been aimed at the information retrieval or the denunciation of ideological bias. The given review allows us to conclude that these projects constitute a significant part of the general movement of biographization which has manifested itself in different countries and continents since the beginning of the twentieth century, and which is known today as the BM (and the related sphere of oral history). The abundant experience of the Russian initiatives of the first half of the twentieth century definitely deserves a new interpretation, and the BM is an appropriate framework for this endeavor.

References

- Abramov R. (2011) “Sovetskiy cherdak” rossiyskoy blogosfery: analiz nostal'gicheskikh virtual'nykh soobshchestv [“Soviet Attic” of the Russian Blogosphere: Analysis of Nostalgic Virtual Communities]. *Interaction. Interview. Interpretation*, vol. 5, no 6, pp. 88–102.
- Akhun M. I., Lukomsky V. (1933) *Vyyavleniye arkhivnykh materialov dlya istorii fabrik i zavodov (Po fondam Leningr. otd-niya Tsentr. istorich. arkhiva)* [Identification of Archival Materials for the History of Factories and Plants (According to the Funds of the Leningrad Department of the Central Historical Archive)], Moscow: The History of Factories.
- Anketno-biograficheskaya komissiya (1930) Predisloviye [Preface]. *Rabochiye Trekhgornoy manufaktury v 1905 godu* [Workers of Trekhgorny Manufactory in 1905], Moscow: Publishing House of the Communist Academy, pp. 3–6.
- Anketno-biograficheskaya komissiya (1931) Ot anketno-biograficheskoy komissii [From the Questionnaire-Biographical Commission]. *Rabochiye zavoda “Serp i molot” (b. Guzhon) v 1905 godu* [Workers at the Hammer and Sickle Plant (former Guzhon) in 1905], Moscow: Publishing House of the Communist Academy, pp. 3–5.
- Argutinskaya N. K. (1965) O sozdaniii knig po istorii fabrik i zavodov [On the Creation of Books on The History of Factories and Plants]. *Kniga: Issledovaniya i materialy* [Book: Research and Materials], Moscow: Kniga, pp. 58–75.

- Arkhangorodskaya N. S., Kurnosov A. A. (1982) O sozdanii Komissii po istorii Velikoy Otechestvennoy voyny AN SSSR i yeye arkhiva (K 40-letiyu so dnya obrazovaniya) [About the creation of the Commission on the history of the Great Patriotic War of the USSR Academy of Sciences and its archive (On the 40th anniversary of the founding)]. *Archaeographic Yearbook for 1981*, Moscow: Nauka, pp. 219–229.
- Bauman Z. (2000) *Liquid Modernity*, Cambridge: Polity.
- Bazhov P. (1927) Krayevedcheskiye istoki (Krest'yanskiye pis'ma v gazete) [Local History Sources (Peasant Letters in the Newspaper)]. *Ural'skoye krayevedeniye*, no 1, pp. 23–28.
- Beck U. (1992) *Risk Society: Towards a New Modernity*, London: Sage.
- Bek A. (1933) *Glavy istorii Kuznetskstroya (1913–1920 gg.)* [Chapters of the History of Kuznetskstroy (1913–1920)] (as a manuscript, for discussion), Moscow: State Publishing House “The History of Factories”.
- Bek A. A. (1991a) Volokolamskoye shosse [Volokolamsk Highway]. *Izbrabnnye proizvedenia. T. 2* [Collected Works, Vol. 2], Moscow: Khudoz. lit., Russian Soviet PEN Center.
- Bek A. A. (1991b) Talant (Zhizn' Berezhkova) [The Talent (The Life of Berezhkov)]. *Izbrabnnye proizvedenia. T. 3* [Collected Works, Vol. 3], Moscow: Khudoz. lit., Russian PEN Center.
- Bek A. A. (1993) Na drugoy den'; Takova dolzhnost'; Pochtovaya proza; Roman o romane: iz dnevnikov (1964–1972) [The Next Day; Such is the Position; Postal Prose; A Novel about the Novel: From Diaries (1964–1972)]. *Izbrabnnye proizvedenia. T. 4* [Collected Works, Vol. 4], Moscow: Khudoz. lit., Russian PEN Center.
- Bek A. (1962a) Vash korrespondent poterpel neudachu [Your correspondent failed]. *Schastlivaya ruka* [Happy Hand], Moscow: Soviet writer.
- Bek A. (1962b) Stranitsy zhizni [Pages of life]. *Schastlivaya ruka* [Happy Hand], Moscow: Soviet writer, pp. 169–179.
- Belousova O. A. (2004) *Inostrannyye rabochiye i spetsialisty na Kuznetskom metallurgicheskem kombinatye (1929–1939 gg.)* [Foreign Workers and Specialists at the Kuznetsk Metallurgical Plant (1929–1939)] (PhD Thesis), Tomsk: Tomsk State University.
- Botsmanova M. E., Guseva E. P. (1997) Nikolay Aleksandrovich Rybnikov (obzor arkhivnykh materialov) [Nikolay Aleksandrovich Rybnikov (review of archival materials)]. *Voprosy Psychologii*, no 6, pp. 96–108.
- Bozhkov O. (2018) Ot biografiy k svидетельствам “охевидцев” [From Biographies to Certificates «eyewitnesses»]. *International Journal of Cultural Research*, no 1, pp. 6–11.
- Brandenberger D. (1999) Proletarian Internationalism, “Soviet Patriotism” and the Rise of Russocentric Etatism During the Stalinist 1930s. *Left History*, vol. 6, no 5, pp. 80–100.
- Brandenberger D. (2017a) *Krizis stalinskogo agitpropa: propaganda, politprosveshchenie i terror v SSSR, 1927–1941* [Propaganda State in Crisis: Soviet Ideology, Indoctrination, and Terror under Stalin, 1927–1941], Moscow: ROSSPEN.
- Brandenberger D. (2017b) Stalin's Rewriting of 1917. *Russian Review*, vol. 76, no 4, pp. 667–689.
- Budnitskii O. V. (2018) A Harvard Project in Reverse: Materials of the Commission of the USSR Academy of Sciences on the History of the Great Patriotic War — Publica-

- tions and Interpretations. *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, no 1, pp. 175–202.
- Budnitskii O. V., Novikova L. G. (eds.) (2018) *Garvardskiy proyekt: rassekrechennyye svidetel'stva o Velikoy Otechestvennoy voynе* [The Harvard Project: Declassified Evidence of the Great Patriotic War], Moscow: ROSSPEN.
- Bystrova O. V. (2017) Izdatel'skiy proyekt M. Gor'kogo "Istoriya grazhdanskoy voyny": po materialam arkhiva A. M. Gor'kogo (IMLI RAN) i RGASPI [Gorky's Editorial Project The History of the Civil War: on the Materials of the A. M. Gorky (IWL RAS) and RGASPI Archives]. *Studia Litterarum*, no 4, pp. 378–393.
- Chaadaeva O. (1930) O pervom opyte po sobiraniyu avtobiografiy rabochikh [About the first experience in collecting autobiographies of workers]. *Istoriya proletariata SSSR*, no 2, pp. 148–155.
- Chistikov A. N. (2019) "My zhivem v interesnoye vremya..." Pervyye popytki sbora materiala o blokade Leningrada v 1941–1942 gg. ["We are living in interesting time...": The first attempts in collecting of Leningrad's siege documents in 1941–1942]. *Bitva za Leningrad 1941–1944 gg.: podvig goroda-geroya v Velikoy Otechestvennoy voynе* [The Battle of Leningrad 1941–1944: feat of the hero city in the Great Patriotic War] (eds. G. L. Sobolev et al.), Saint Petersburg: Nestor-History, pp. 5–14.
- Clark K. (2002) *Sovetskiy roman: istoriya kak ritual* [The Soviet Novel: History as Ritual], Ekaterinburg: Ural State University.
- Clark K. (2004) "The History of the Factories" as a Factory of History: a Case Study on the Role of Soviet Literature in Subject Formation. *Autobiographical Practices in Russia — Autobiographische Praktiken in Russland* (eds. Hellbeck, Heller), Göttingen: V&R, pp. 251–279.
- Clark K. (2017) Working-Class Literature and/or Proletarian Literature: Polemics of the Russian and Soviet Literary Left. *Working-Class Literature(s): Historical and International Perspectives* (eds. J. Lennon, M. Nilsson), Stockholm: Stockholm University Press, pp. 1–30.
- Corney F. C. (1998) Rethinking a Great Event: The October Revolution as Memory Project. *Social Science History*, vol. 22, no 4, pp. 389–414.
- Corney F. C. (2004) *Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution*, Ithaca: Cornell University Press.
- Criveller C. (2012) Introduction. *AvtobiografiЯ*, no 1, pp. 11–13.
- Depretto J.-P. (2001) Ofitsial'nyye kontseptsii rabochego klassa v SSSR (1920–1930-e gg.) [The Official Concepts of the Working Class in the USSR (1920–1930s)]. *Jekonomicheskaja istorija: Obozrenie. Vyp. 7* [Economic History: Review, Issue 7] (ed. L. I. Borodkin), Moscow, pp. 93–114.
- Dobrenko E. (2007) *Politjekonomiya socrealizma* [Political Economy of Socialist Realism], Moscow: New Literary Observer.
- Doktorov B. Z. (2013) *Sovremennaya rossiyskaya sotsiologiya. Iстория v biografiyakh i biografi v istorii* [Modern Russian Sociology: History in Biographies and Biographies in History], Saint Petersburg: EU Press.

- Doktorov B. Z. (2014) *Biograficheskiye interv'yu s kollegami-sotsiologami. 4-ye dopolnennoye izdaniye* [Biographical Interviews with Fellow Sociologists. 4th Supplemented Edition], Moscow: TsSPiM.
- Doktorov B. Z. (2020) 15 let i 205 sudeb rossiyskikh sotsiologov: Fragmenty razvitiya istoriko-sotsiologicheskogo issledovaniya [15 years and 205 Fates of Russian Sociologists: Fragments of the Development of Historical and Sociological Research]. Available at: http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=307&fbclid=IwAR35dInBN-QfLudu7jFz17wMObNvRqjxODe64ZY5h7nkyM7qY1_zLFFxA (accessed 6 April 2020).
- Gaisinovich A. (1932a) Istochniki po istorii zavodov [Sources on the History of Factories]. *The History of Factories*, vol. 1, pp. 30–37.
- Gaisinovich A. (1932b) (Beseda menshe vsegd dolzhna pokhodit' na anketnyy opros) Istochniki po istorii zavodov [(The Conversation Should Least be Like a Questionnaire) Sources on the History of Factories]. *The History of Factories*, vol. 2.
- Gaisinovich A. (1932c) O rabote v arkhivakh [About Work in Archives]. *The History of the Factories*, vol. 3, pp. 148–152.
- Ganzenmüller J. (2019) *Osazhdenny Leningrad. Gorod v strategicheskikh raschetakh agressorov i zashchitnikov. 1941–1944.* [Besieged Leningrad. The city in the strategic calculations of aggressors and defenders. 1941–1944], Moscow: Centerpolygraph.
- Gilmintinov R. R. (2018) Institutsionalizatsiya Istprofov v strukture sovetskikh profsouzov [The Institutionalisation of Istprofs within the Structure of Soviet Trade Unions]. *The Bryansk State University Herald*, no 3, pp. 28–36.
- Gilmintinov R. R. (2019a) *Istprof i osobennosti profsoyuznogo istoriopisaniya v SSSR v 1920-ye gg.* [Istprof and features of trade union historiography in the USSR in the 1920s] (PhD Thesis), Tomsk: Tomsk State University. Available at: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000661984> (accessed 5 April 2020).
- Gilmintinov R. (2019b) “We can and we must”: The Scientificity of Trade-Union History-Writing in the Soviet Union in the 1920s. *Studia Historiae Scientiarum*, vol. 18, pp. 219–254.
- Golofast V. B. (1995) Mnogoobrazie biograficheskikh povestvovanyi [Diversity of Biographical Narratives]. *Sociological Journal*, 1, pp. 71–89.
- Gopius K. O storibankakh 100 let nazad. Vse ta zhe “Povest’ o zhizni” [On the Story Banks 100 Years Ago. All the Same “Tale of Life”]. Yandex.Zen, 7 October 2019. Available at: <https://zen.yandex.ru/media/id/5c584c0186e4a70oadce84cb/o-storibankah-100-let-nazad-vse-ta-je-povest-o-jizni-5d9ad023d7859booaef4cc45> (accessed 5 April 2020).
- Gorev B. I. (1930) Avtobiograficheskiy material kak istochnik izucheniya istorii proletariata SSSR [Autobiographical Material as a Source for Studying the History of the Proletariat of the USSR]. *Istoriya proletariata SSSR*, no 1, pp. 178–181.
- Gorky M. (2018) *Polnoye sobraniye sochineniy i pisem. T. 20: Pis'ma avgust 1930 — noyabr' 1931* [Complete Works and Letters, Vol. 20: Letters August 1930 — November 1931], Moscow: Nauka.

- Grekulov E. F. (1933) *Arkhivy kak istochnik izucheniya istorii zavodov* [Archives as a Source for Studying the History of Factories], Moscow: The History of Factories.
- Grudtsova O. M. (1967) *Aleksandr Bek: Kritiko-biogr. ocherk* [Alexander Beck: Critical and Biographical Essay], Moscow: Soviet writer.
- Hellbeck J. (ed.) (2015) *Stalingradskaya bitva: svидетельства участников и очевидцев. По материалам Комиссии по истории Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.* [Battle of Stalingrad: Testimonies of Participants and Eyewitnesses: Based on Materials from the Commission on the History of the Great Patriotic War, 1941–1945], Moscow: New Literary Observer.
- Hellbeck J. (2017) *Revolyutsiya ot pervogo litsa: dnevniki stalinskoy epokhi* [The First-Person Revolution: The Diaries of the Stalin Era], Moscow: New Literary Observer.
- Inkeles A., Bauer R. A. (1959) *The Soviet Citizen: Daily Life in a Totalitarian Society*, Cambridge: Harvard University Press.
- Ivanov M. A. (1989) Beseda kak metod sotsiologii [Conversation as a Method of Sociology]. *Sociological Studies*, no 4, pp. 106–111.
- Ignatenko T. A. (1975) Izuchenie istorii rabochego klassa SSSR v institute istorii kommunisticheskoy akademii pri TSIK SSSR (1929–1935 gg.) [Studying the history of the working class of the USSR at the Institute of History of the Communist Academy at the Central Executive Committee of the USSR (1929–1935)]. *History and Historians. 1973: Historiographic Yearbook*, Moscow: Nauka, pp. 5–32.
- Iokar L. (1957). Zhivyye traditsii (“Istoriya fabrik i zavodov”) [Living traditions (“The History of Factories and Plants”)]. *Problems of Literature*, no 7, pp. 103–114.
- Iroshnikov M.P., Zelenov M.V., Brandenberger D., Pivovarov N. Yu. (2018) Nekotoryye teoreticheskiye problemy izucheniya istorii grazhdanskoy voyny i varianty ikh resheniya v 1930–1935 gg. [Several Theoretical Problems during the Preparation of the History of the Civil War and its Various Solutions (1930– 1935)]. *Modern History of Russia*, vol. 8, no 2, pp. 487–506.
- Junge M. (2015) *Revolyutsionery na pensii: Vsesoyuznoye obshchestvo politkatorzhan i ssyl'noposelentsev: 1921–1935* [Retired Revolutionaries: The Society of Pre-revolutionary Political Convicts and Exiles: 1921–1935], Moscow: AIRO-XXI.
- Kalinin I. (2015) Tam, gde konchayetsya dokument... [Where the document ends ...]. *Stalingradskaya bitva: svидетельства участников и очевидцев. По материалам Комиссии по истории Великой Отечественной войны, 1941–1945 гг.* [Battle of Stalingrad: Testimonies of Participants and Eyewitnesses. Based on Materials from the Commission on the History of the Great Patriotic War, 1941–1945] (ed. J. Hellbeck), Moscow: New Literary Observer, pp. 627–645.
- Kamensky V. V. (1918) *Yego-moya biografiya velikogo futurista (7 dney predisloviy)* [His My Biography of the Great Futurist (7 days of foreword)], Moscow: Kitovras.
- Klopikhina V. S. (2019) Rabota istpartov Severnogo Kavkaza v sisteme realizatsii politiki pamyati sovetskoy vlasti v 1920-ye gody [The Work of the Istparts of the North Caucasus in the System of the Memory Policy of the Soviet Government in 1920s]. *Humanities and Law Studies*, no 3, pp. 59–69.

- Kodin E.V. (2003) "Garvardskiy proyekt" ["Harvard Project"], Moscow: ROSSPEN.
- Kovalevsky V. A. (1939) *Khozyain Trekh Gor* [The Owner of the Three Mountains], Moscow: Gosizdat.
- Kovalevsky V. A. (1968) *Tetradi iz polevoy sumki (Voyen. dnevnik)* [Notebooks from the Map Case (Military Diary)], Moscow: Soviet writer.
- Krasilnikova E. I. (2015) *Pomnit' nel'zya zabyt'... Pamyatnye mesta i kommemorativnye praktiki v gorodakh Zapadnoy Sibiri (konets 1919 — seredina 1941 g.)* [Either to forget or to remember . . . Memorable places and commemorative practices in the cities of Western Siberia (the late 1919 — mid 1941)], Novosibirsk: Research Center of the National State Agrarian University "Golden Ear".
- Krasilnikova E. I. (2016) *Pamyatnye mesta i kommemorativnye praktiki v gorodakh Zapadnoy Sibiri (konets 1919 — seredina 1941 g.)* [Memorable places and commemorative practices in the cities of Western Siberia (the late 1919 — mid 1941)] (PhD Thesis), Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University.
- Kruus H. H. (1971) *Istoriya — sputnitsa naroda v Velikoy Otechestvennoy voynе* [History — a companion of the people in World War II]. *Voprosy istorii*, no 5. pp. 123–129.
- Kulachkov V. V. (2014) *Krest'yanstvo Zapadnogo regiona Rossii v 1920-ye gg.: sotsiokul'turnyye izmeneniya* [The Peasantry of the Western Region of Russia in the 1920s: Sociocultural Changes], Bryansk: BGITA Bryansk State Engineering and Technology Academy.
- Kupriyanov L. A. (2008) *Stanovleniye i razvitiye biograficheskikh issledovaniy v Pol'she* [Formation and Development of Biographical Research in Poland]. *Sotsiologiya vchera, segodnya, zavtra: Vtoryye sotsiologicheskiye chteniya pamyati Valeriya Borisovicha Golofasta* [Sociology Yesterday, Today, Tomorrow: The Second Sociological Readings in Memory of Valery Borisovich Golofast] (ed. O. B. Bozhkov), Saint Petersburg: Bilbo, pp. 67–75.
- Kurnosov A. A. (1974) *Vospominaniya-interv'yu v fonde Komissii po istorii Velikoy Otechestvennoy voyny Akademii Nauk SSSR (organizatsiya i metodika sobiraniya)* [Memoirs-interview in the fund of the Commission on the History of the Great Patriotic War of the USSR Academy of Sciences (organization and methodology of collecting)]. *Archaeographic Yearbook for 1973*, Moscow: Nauka, pp. 118–132.
- Krandievsky S. I. (1932) *Izuchay svoy zavod (V pomoshch' fabrichno-zavodskim krayevedcheskim yacheykam v monograficheskom izuchenii soyego predpriyatiya)* [Study Your Plant (Aid to the Factory Cells of Local Lore in a Monographic Study of Their Enterprise)], Moscow: Sovetskaya Aziya.
- Kruglikov P. I. (1921) *V poiskakh zhivogo cheloveka. Ocherk 1: Sovremennaya psikhologiya i yeye sblizheniye s naukami o kul'ture i obshchestve* [In Search of a Living Man. Essay 1: Modern Psychology and Its Convergence with the Sciences of Culture and Society], Kazan: [Gos. izd-vo].
- Lapitskaya S. M. (1935) *Byt rabochikh Trekhgornoy manufaktury* [Everyday Life of Workers of the Trekhgorny Manufactory] (ed. A. Gusev), Moscow: The History of Factories.

- Latoszek M. (1989) Zastosowanie metody biograficznej w dokumentowaniu faktów i stanów świadomości w okresie Sierpnia 1980 roku. *Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny*, no 2, pp. 277–294.
- Lazareva E. V. (2011) Istparty i ikh vliyaniye na razvitiye ural'skoy istoricheskoy nauki [Istparty and Their Influence on the Development of the Ural Historical Science]. *Istoriya nauki i tekhniki v sovremennoy sisteme znanii* [History of Science and Technology in the Modern Knowledge System], Ekaterinburg: UPI, pp. 73–79.
- Lezhava L., Rusakov G. (1924) Pamiatnik bortsam proletarskoy revolyutsii, pogibshim v 1917–1921 gg. T. 1. Moskva: Gos. ed. 283 s. [Monument to the Fighters of the Proletarian Revolution who Died in 1917–1921, Vol. 1, Moscow: Gos. ed. 283 p.]. *Proletarskaya revolyutsiya*, no 11, pp. 283.
- Litovskaya M. A. (1998) “Belomorsko-Baltiyskiy kanal imeni Stalina” kak etalonnyy tekst sotsialisticheskogo realizma (o knige “Belomorsko-Baltiyskiy kanal” pod red. M. Gor’kogo, L. Averbakha, S. Firina) [“The White Sea-Baltic Canal Named after Stalin” as a Reference Text of Socialist Realism (About the book “The White Sea-Baltic Canal”, eds. M. Gorky, L. Averbakh, S. Firin)]. *Russkaya literatura XX veka: napravleniya i techeniya. Vyp. 4* [Russian Literature of the XX Century: Directions and Movements, Issue 4], Ekaterinburg, pp. 141–157.
- Loginova N. A. (2001) *Psikhobiograficheskiy metod issledovaniya i korrektsii lichnosti* [Psychobiographic Method of Research and Personality Correction], Almaty: Kazak universiteti.
- Loginova N. A. (2006) Nekotoryye itogi razvitiya biograficheskogo metoda v psikhologii v KHKH veke [Some Results of the Development of the Biographical Method in Psychology in the Twentieth Century]. *Methodology and History of Psychology*, vol. 1, no 2, pp. 67–81.
- Lotareva D. D. (2014) Komissiiia po istorii Velikoi Otechestvennoi voiny i ee arkhiiv: Rekonstruktsiiia deiatel’nosti i metodov raboty [The Commission on the History of the Great Patriotic War and Its Archive: Reconstruction of Activities and Working Methods]. *Archaeographic Yearbook for 2011*, Moscow: Nauka, pp. 123–166.
- Malysheva S. (2001) Mif o revolyutsii 1917 goda: Pervyy sovetskiy gosudarstvennyy proyekt [The Myth of the 1917 Revolution: The First Soviet State Project]. *Ab Imperio*, no 1–2, pp. 285–303.
- Mirskaya N. (1930) Krayevedcheskaya rabota na zavodakh i fabrikakh (zametki raz’yezdnogo instruktora) [Local History Work at Factories and Factories (Notes of a Traveling Instructor)]. *Soviet Local History*, no 7–8, pp. 29–32.
- Moskovskaya D. S. (ed.) (2018) *Istoriografiya Grazhdanskoy voyny v Rossii: issledovaniya i publikatsii arkhivnykh materialov* [Historiography of the Civil War in Russia: Research and Publication of Archival Materials], Moscow: Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences.
- Narsky I. V. (2017) Sto let prevrashcheniy russkoy revolyutsii [100 Years of Transformations of the Russian Revolution]. *History Studies*, no 6, pp. 69–83.
- Nevins A. (1938) *The Gateway to History*, New York: D. Appleton-Century Company.

- Novikova L. (2007) Frederick C. Corney, *Telling October: Memory and the Making of the Bolshevik Revolution* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2004). xviii + 301pp. (Review). *Ab Imperio*, no 2, pp. 462–468.
- Orlov I. B. (2010) *Sovetskaya povsednevnost': istoricheskiy i sotsiologicheskiy aspekty stanovleniya* [Soviet Everyday Life: Historical and Sociological Aspects of Formation], Moscow: HSE.
- Panfilova A. M. (1974) The Status and Goals of Research into the History of Factories and Mills. *Soviet Studies in History*, no 4, pp. 62–94.
- Pivovarov N. (2018) Iz zhizni "staroy gvardii": Obshchestvo starykh bol'shevikov kak opty politicheskoy adaptatsii revolyutsionerov (1922–1935 gg.) [From the Life of the "Old Guard": The Society of Old Bolsheviks as an Experience of the Political Adaptation of Revolutionaries (1922–1935)]. *Russia XXI*, no 1, pp. 50–81.
- Pokrovsky M. N. (1924a) Dvadtsatletiye nashey pervoy proletarskoy revolyutsii [Twentieth Anniversary of Our First Proletarian Revolution]. *Proletarskaya revolyutsiya*, no 11, pp. 5–13.
- Pokrovsky M. N. (1924b) Proyekt ankety po revolyutsii pyatogo goda (Prilozheniye k stat'ye M. Pokrovskogo) [Draft Questionnaire on the Fifth Year Revolution (Appendix to the Article by M. Pokrovsky)]. *Proletarskaya revolyutsiya*, no 11, pp. 14–18.
- Postanovleniye TSBK o "krayevedcheskoy pyatidnevke"* (1930) [Decree of the the Central Bureau of Local History on the "Local History Five-Day"]. *Soviet Local History*, no 3–4, pp. 55–56.
- Pravila konkursa na luchsheye sochineniye o fabrike ili zavode (1930) [Competition Rules for the Best Essay about a Factory or Plant]. *Soviet Local History*, no 1–2, pp. 96–97.
- Programma po istorii Oktyabr'skikh zheleznykh dorog* (1933) [Program on the History of the October Railways], Moscow: The History of Factories.
- Promyshlennaya sektsiya (1930) [Industrial section]. *Soviet Local History*, no 6, p. 30.
- Pyatigorskiy krayeved: opty "avtobiografii" kolkhoza (1931) [Pyatigorsk Local Historian: An Attempt of the "Autobiography" of the Collective Farm]. *Soviet Local History*, no 10, pp. 31–33.
- Rudenko N. (2017) Polnotekstovaya baza dannykh «Vospominaniya starykh rabochikh obshchestva mekhanicheskikh zavodov br. Bromley i metallurgicheskogo zavoda Gouzhona»: opty razmetki slabostrukturirovannogo istochnika [Full-Text Database "Society of Mechanical Plants of br. Bromley and Metallurgical Plant Goujon old Workers' Memoirs": Experience of Marking Semi-Structured Source]. ISTORIYA, vol. 8, no 7. Available at: <https://history.jes.su/s207987840001947-0-1/> (accessed 5 April 2020).
- Rabinovich I. (1933) O zapisi vospominaniy: Iz optya raboty t. S. Mirera [On the Record of Memoirs: From the Experience of Comrade S. Mirer]. *The History of Factories*, no 4–5, pp. 205–215.
- Rogachevskaya L. S. (1963) Nekotoryye itogi izucheniya istorii fabrik i zavodov [Some Results of the Study of the History of Factories and Plants]. *Voprosy istorii*, no 3, pp. 109–119.

- Rogozin D. M. (2015) Biograficheskiy metod: obzor literature [Biographical Method: Literature Review]. *Sociological Studies*, no 10, pp. 120–129.
- Rozanov M. D. (ed.) (1958) *Sozdadim istoriyu zavodov Leningrada* [Let's Create the History of the Factories of Leningrad], Leningrad: Lenizdat.
- Rozhkova M. (1930) *Trekhgornaya manufakturnaia vremena revolyutsii 1905 goda* [Trekhgorny Manufactory by the Time of the Revolution of 1905]. *Rabochiye Trekhgornoy manufaktury v 1905 godu* [Workers of Trekhgorny Manufactory in 1905], Moscow: Publishing House of the Communist Academy, pp. 7–26.
- Rozhkova M. (1932) *Kak zapisat' vospominaniya* [How to Record Memories]. *The History of Factories*, no 3.
- Rozhkova M. K. (1933a) *Ob izuchenii truda i byta rabotnits (v kapitalisticheskuyu epokhu)* [On the Study of the Labor and Life of Women Workers (in the Capitalist Era)], Moscow: The History of Factories.
- Rozhkova M. K. (1933b) *Kak izuchat' zarabotnuyu platu i polozheniye rabochikh v epokhu kapitalizma* [How to Study the Wages and Position of Workers in the Era of Capitalism], Moscow: The History of Factories.
- Rybnikov N. A. (1918) *Biograficheskiy institut* [Biographical Institute], Moscow.
- Rybnikov N. A. (1920) *Biografii i ikh izuchenije* [Biographies and Their Study], Moscow.
- Rybnikov N. A. (1926) *Detskiye risunki i ikh izuchenije* [Children's Drawings and Their Study], Moscow: Gosizdat.
- Rybnikov N. A. (1928) *Yunosheskiye dnevники i ikh izuchenije* [Youth Diaries and Their Study]. *Psychology*, vol. 1, no 2, pp. 83–95.
- Rybnikov N. A. (1930) *Avtobiografi i rabochikh i ikh izuchenije: Materialy k istorii avtobiografii kak psichologicheskogo dokumenta* [Workers' Autobiographies and Their Study: Materials for the History of Autobiography as a Psychological Document], Moscow: Gosizdat.
- Rybnikov N. A. (1943) *Iz roda v rod. Iстория сем'и Rybnikovykh (Za dvukhsotletniy period yeye sushchestvovaniya)*. Ch. II: Pyatoye pokoleniye. Avtobiografiya N. A. Rybnikova [From Generation to Generation: History of the Rybnikov Family (Of the Two-Hundred-Year Period of Its Existence). Part II: Fifth generation. Autobiography of N. A. Rybnikov]. The Russian State Library, Department of manuscripts, f. 367, carton 4, item. 2.
- Rybnikov N. A. (1942) *Iz roda v rod. Iстория сем'и Rybnikovykh (Za dvukhsotletniy period yeye sushchestvovaniya)*. Ch. III. Pyatoye pokoleniye. Avtobiografiya N. A. Rybnikova [From Generation to Generation: History of the Rybnikov Family (Of the Two-Hundred-Year Period of Its Existence). Part III: Fifth Generation. Autobiography of N. A. Rybnikov]. The Russian State Library, Department of manuscripts, f. 367, carton 8, item 2.
- Rybnikov N. A. (1994) *Iz avtobiografii N. A. Rybnikova — odnogo iz pervykh sotrudnikov Psichologicheskogo instituta* [From the Autobiography of N. A. Rybnikov, One of the First Employees of the Psychological Institute]. *Voprosy Psychologii*, no 1, pp. 11–16.

- Rybnikov N. A. (2015) *Biografi i ikh izuchenije* [Biographies and Their Study]. *Avant-garde museology* (ed. A. Zhilyaev), Moscow: V-A-C press, pp. 172–180.
- Rybnikova M. A. (1919) *Gorbovskaya khronika po arkhivu sem'i Shchukinykh* [Gorbovsky Chronicle from the Shchukin Family Archive], Moscow.
- Shcheglova T. K. (2019) *Materialy ustnoy istorii kak istoricheskiy istochnik i poiski im mesta v nauchnykh klassifikatsiyakh rossiyskogo istochnikovedeniya v XX-XXI stoletiyakh* [Oral History Materials as a Historical Source and Search for Their Places in Scientific Classifications of Russian Source Study in the 20–21st Centuries]. *Vestnik Altaiskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta*, no 41, pp. 93–101.
- Shcheglova T. K., Drozhetsky D. F. (2014) *Ustnaya istoriya* (Oral history) v rossiyskoy istoricheskoy praktike 1920–1930-kh gg.: k diskussii o ponyatiy i vremeni vozniknoveniya ustnoy istorii [Oral History in the Russian Historic Research of the 1920–1930s: Discussion of the Concept of “Oral History” and Its Time of Origin]. *Izvestiya of Altai State University, Series: History. Political Science*, no 4/2, pp. 254–260.
- Shushkanov N. (1932) *Kak idet rabota po “Istorii zavodov”* [How is the Work on “The History of Factories” Going]. *Krasnaya nov'*, no 8, pp. 177–183.
- Sieca-Kozlowski E. (2019) Soviet & Post-Soviet Wars: An Oral History Project. *The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies*, no 20–21. Available at: <http://journals.openedition.org/pipss/5856> (accessed 5 April 2020).
- Sklyarenko E. M. (1986) *Istoriya fabrik i zavodov Ukrainskoy SSR: IstorioGRAFIYA problemy* [The History of the Factories and Plants of the Ukrainian SSR: Historiography of the Problem], Kiev: Naukova Dumka.
- Smirnova M. A. (2016) *Zhurnal “Krayeved-massovik” (Moskovskaya oblast') i realii krayevedeniya nachala 1930-kh godov* [Magazine “Local Lore-Massik” (Moscow Region) and the Realities of Local History in the Early 1930s]. *RSUH/RGGU Bulletin: Series “Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies”*, no 10, pp. 9–34.
- Sobiraniye avtobiografii i vospominaniy uchastnikov revolyutsii 1917 g. i grazhdanskoy voyny (1931) [Collecting of Autobiographies and Memoirs of the Participants in the 1917 Revolution and Civil War]. *Istoriya proletariata SSSR*, no 8, pp. 185–191.
- Sobolev G. L. (2012) *Blokada Leningrada: postizheniye pravdy* [The Blockade of Leningrad: Comprehension of the Truth]. *Modern History of Russia*, no 2, pp. 72–87.
- Sobolevskaya O. V. (2019) *Pamyat' kak uchastiye: Kak lichnyye arkhivy konstruiruyut novyyu istoriyu* [Memory as Participation: How Personal Archives Design a New History]. *IQ: Research and Education*, 16 January. Available at: <https://iq.hse.ru/news/231962189.html> (accessed 5 April 2020).
- Solov'yev G. E. (2002) *Biograficheskiy metod v deyatel'nosti sotsial'nogo pedagoga i sotsial'nogo rabotnika* [Biographical Method in the Activities of a Social Educator and Social Worker], Izhevsk: Udmurt State University.
- Spiridonova L. (2016) *Golos istorii v tvorchestve Gor'kogo* [Voice of History in Gorky's Work]. *Gorky: Uroki Istorii: Gorkovskie Chtenija 2014* [Gorky: History Lessons: Gorky Readings of 2014], N. Novgorod: BegemotNN, pp. 4–13.

- Surzhikova N. V. (2017) Rossiya 1917 goda v otechestvennykh i zarubezhnykh ego-dokumentakh [Russia in 1917 in Domestic and Foreign Ego-Documents]. *Bulletin of the Russian Foundation for Basic Research Humanitarian and Social Sciences*, no 4, pp. 25–34.
- Surzhikova N.V. (2020) SOSEDI PO PERMI: Lektsiya Natal'i Surzhikovoy [NEIGHBORS OF PERM: Lecture by Natalia Surzhikova]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=va51KFRce5w> (accessed 5 April 2020).
- Thompson P. (1994) Gumanisticheskaya traditsii i zhiznennyye istorii v Pol'she [Humanistic Traditions and Life Stories in Poland]. *Biograficheskiy metod v sotsiologii: istoriya, metodologiya i praktika* [Biographical Method in Sociology: History, Methodology and Practice], Moscow: Institute of Sociology RAS, pp. 51–62.
- Toom L (ed.) (1934) *Kuznetskstroy (Istoriya Kuznetskstroya v vospominaniyakh)* [Kuznetskstroy (History of Kuznetskstroy in Memoirs)], Novosibirsk: Zap.-Sib. krayev. izd-vo.
- Transcript of the meeting of the Bureau and the activ of the sections of prose and essay and scientific and fiction literature of the Moscow Branch of the USSR Writers Union on the resumption of the series “The History of Factories and Plants” (1954) May 13. The Russian State Archive of Literature and Arts, f. 2464, inv. 1, item 342.
- Tretyakov I. N., Lavrov N., Suslova E. (1933) ...O rabote v arkhivakh Leningrada po istorii zavodov [...On the Work in the Archives of Leningrad on the History of Factories], Moscow: The History of Factories.
- Tsvetkova G. A. (2016) O derevenskoy samobytnosti: zabytoye, no ochen' vazhnoye issledovaniye 1920-kh gg. [On Village Identity: A Forgotten, but Very Important Study of the 1920s]. *Sociological Studies*, no 12, pp. 114–122.
- Vasilieva N. F. (2011) Nekotoryye syuzhety deyatel'nosti izdatel'stva Obshchestva politkatorzhan: politicheskiye i organizatsionnyye trudnosti [Some Facts of the Activity of the Publishing Company of the Political Exiled Society: Political and Organizational Difficulties]. *The Bulletin of Irkutsk State University. Series “Political Science and Religion Studies”*, no 1, pp. 247–254.
- Vernyaev I. I. (2005) Lokal'nyye monograficheskiye issledovaniya derevni 1920–1930-kh godov: tseli, metodiki, rezul'taty [Local Monographic Studies of the Village of the 1920–1930s: Goals, Methods, Results]. *Problemy istoricheskogo regionovedeniya* [Problems of Historical Regional Studies] (ed. Y. V. Krivosheyev), Saint Petersburg: SPBU, pp. 29–64.
- Veselkova N., Pryamikova E., Vandyshov M. (2016) *Mesta pamjati v molodyh gorodah* [Sites of Memory in Young Towns], Ekaterinburg: Ural State University.
- Veselkova N. V. (2017) Iстория фабрик и заводов Алексея Мален'кого: портрет и проект [The History of Factories and Plants by Alexey Malenkiy: Portrait and Project]. *Epokha sotsialisticheskoy rekonstruktsii: idei, mify i programmy sotsial'nykh preobrazovaniy* [The Epoch of Socialist Reconstruction: Ideas, Myths and Programs of Social Transformations] (eds. O. V. Gorbachev, L. N. Mazur), Ekaterinburg: Ural State University.

- Veselkova N. V. (2018) “Moi pis’ma ni v koyem sluchaye nel’zya rastsenivat’ kak dokument”: pis’mo kak (pub)lichnyy zhanr [“In no case can my letters be regarded as a document”: A Letter as a Public/Personal Genre]. *Arkhiv v sotsiume — sotsium v arkhive: materialy regional’noy nauchno-prakticheskoy konferentsii* [Archive in Society — Society in the Archive: Proceedings of a Regional Scientific and Practical Conference] (ed. N. A. Antipin), Chelyabinsk: United State Archive of the Chelyabinsk Region, pp. 207–211.
- Zak L. M., Gorodetsky E. N. (1987) Akademik I. I. Mints kak arkheograf (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya) [Academician I. I. Mints as an Archaeographer (On the Occasion of His 90th Birthday)]. *Archaeographic Yearbook for 1986*, Moscow: Nauka, pp. 131–142.
- Zak L. M., Zimina S. S. (eds.) (1959) *A. M. Gorky i sozdaniye istorii fabrik i zavodov: Sbornik dokumentov i materialov v pomoshch’ rabotayushchim nad istoriyey fabrik i zavodov SSSR* [A. M. Gorky and the Creation of the History of Factories and Plants: A Collection of Documents and Materials to Help those Working on the History of Factories and Plants of the USSR], Moscow: Sotsekgiz.
- Zelenov M. V., Brandenberger D. (eds.) (2017) *Istoriya grazhdanskoy voyny v SSSR (1935 g.): istoriya teksta i tekst istorii* [The History of the Civil War in the USSR (1935): The History of the Text and the Text of History], Moscow: ROSSPEN.
- Zhadaeva N. F. (2018) A. M. Gor’kiy “Istoriya fabrik i zavodov”: zamysel i voploscheniye [A. Gorky’s “History of Factories and Plants”: Design and Implementation]. *Nizhny Novgorod Museum*, no 32, pp. 106–121.
- Zhuravlev S. V. (1989) K voprosu o roli TSAU SSSR i RSFSR v vyvaylenii dokumentov po istorii fabrik i zavodov SSSR v 1930-ye gody [On the Role of the CAO of the USSR and the RSFSR in the Identification of Documents on the History of Factories and Plants of the USSR in the 1930s]. *Archaeographic Yearbook for 1988*, Moscow: Nauka, pp. 185–195.
- Zhuravlev S. V. (1997) *Fenomen “Istoriia fabrik i zavodov”: gor’kovskoe nachinanie v kontekste epokhi 1930-kh gg.* [The Phenomenon of “The History of Factories and Plants”: Gorky’s Initiative in the Context of the 1930s], Moscow: Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences.
- Zhuravlev S. V. (ed.) (2015) *Vklad uchenykh-istorikov v sokhraneniye istoricheskoy pamyati o Velikoy Otechestvennoy voynе. Na materialakh Komissii po istorii Velikoy Otechestvennoy voyny AN SSSR, 1941–1945 gg.* [The Contribution of Historians to the Preservation of Historical Memory of the Great Patriotic War. Based on the Materials of the Commission on the History of the Great Patriotic War of the Academy of Sciences of the USSR, 1941–1945], Moscow: Center for Humanitarian Initiatives.

Биографический метод как методологическая традиция в отечественной практике: обзор проектов и публикаций

Наталья Веселкова

Кандидат социологических наук, доцент, Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина

Адрес: пр. Ленина, д. 51, г. Екатеринбург, Российская Федерация 620083

E-mail: vesselkova@yandex.ru

Биографический метод считается прочно укорененным в западной традиции первой половины XX в. (Чикагская школа социологии, начатые Ф. Знанецким польские конкурсы памяти); отечественный опыт не интегрируется и не замечается. Поэтому возникший в 1990-е гг. всплеск интереса к биографическим исследованиям выглядит основанным на вовлечении наработанных исключительно за рубежом методологий. Вместе с тем, в России в тот же период имело место во многом сходное движение. В статье представлен аналитический обзор шести сюжетов этого движения и их современной рецепции:

1) Биографический институт Рыбникова, 2) исторические комиссии и общества — Истпарты и др., 3) Комакадемия, 4) Центральное Бюро Краеведения и др., 5) История гражданской войны и История фабрик и заводов, Кабинеты записей и мемуаров, 6) Комиссия по истории Великой Отечественной войны. Известные специалистам, все эти начинания до сих пор изучались узкодисциплинарно и почти безотносительно к биографическому методу. Рассмотрение развернутого ряда этих сюжетов в контексте биографического метода дает новую оптику, выявляя общие эффекты биографизирования как саморефлексии модерного общества, с участием академической науки и без нее. Обзор построен с учетом исторических реалий и в междисциплинарном поле. В анализируемых проектах прослеживается внутренняя преемственность, к их общим чертам отнесены: артикуляция социальной актуальности, темпоральный режим, особенности организации работы и методологические характеристики, которые детализируются особо на предмет релевантности методологическим установкам современной социально-гуманитарной науки.

Ключевые слова: биографирование, устная история, воспоминания, интервью, условия научности, Николай Рыбников, Александр Бек, историзация на марше, романтический позитивизм

Подлинный реакционер: творчество Николаса Гомеса Давилы

Елена Косилова

Кандидат философских наук, доцент, философский факультет,
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Адрес: Ломоносовский пр-т, д. 27, корп. 4, г. Москва, Российская Федерация 119991
E-mail: implicatio@yandex.ru

В статье рассматривается творчество колумбийского философа и писателя Николаса Гомеса Давилы, прежде всего его пятитомное произведение «Схолии к имплицитному тексту» (*Escolios a un texto implícito*). Это произведение является сборником блестящих афоризмов числом более 10 000. Гомес Давила называл сам себя реакционным мыслителем, в его афоризмах выражается критический настрой к современному миру. Он критиковал недостатки демократических государств, был резко против революций и идеи прогресса, который он видел как постепенное скатывание вниз по наклонной плоскости. Его идеал — традиционное общество, организованное иерархически. Он также резко критиковал современное ему искусство, в котором осталось мало мастерства при очень больших претензиях на оригинальность. Гомес Давила — религиозный мыслитель, который не принял церковные послабления Второго Ватиканского собора. В его схолиях вырисовывается непривлекательный портрет человека наших дней. Он пишет о глупцах и пошлых людях, которые гонятся за модой, привлекающей их поверхностным блеском, в то время как «подлинный реакционер» всегда против моды. Реакционер — одиничка по своей природе, он не терпит толп, живет внутренней жизнью, общением с философией и искусством. В современном мире Гомес находит выражение гностических тенденций, от которых идет идея обожествления человека и забвения Бога. В вопросе о ценностях он выступает против релятивизма, замечая, что каждая эпоха делает видимыми одни ценности и мало внимания уделяет другим. Однако ценности не исчезают, их всегда можно оживить. О роли историка он говорит, что тот должен предоставить конкретный рассказ, отражающий дух эпохи. Он противопоставляет интеллект как нечто сухое и отвлеченное, уму, который должен проживать экзистенциальные конфликты. Некоторые сравнивали Гомеса Давилу с Ницше, но это сравнение не представляется релевантным.

Ключевые слова: Николас Гомес Давила, реакционер, демократия, иерархия, ценности, католицизм, гностицизм, Латинская Америка

Колумбийский философ и писатель Николас Гомес Давила (Nicolás Gómez Dávila; 18 мая 1913 — 17 мая 1994) мало известен российскому читателю, да и вообще в мире. И на это есть причина: он сделал все, чтобы избежать известности. Его книги под общим названием «Схолии к имплицитному тексту» (*Escolios a un texto implícito*) выходили в Боготе крайне малым тиражом. Он не работал ни в одном университете, вел жизнь затворника (Volpi, 2005). Однако в последнее время, в конце XX века к нему пришла известность, причем не только в родной Колумбии и испаноязычных странах. Его работы перевели на польский, немецкий, итальян-

ский (Morgan, 2014; Serrano Ruiz Calderón, 2015), в конце 2020 года вышел перевод на русский в билингве (Гомес Давила, 2021). До этого, насколько я знаю, вышла о нем только одна статья (Руткевич, 2011).

Что такое «схолии» и к какому «имплицитному тексту» они относятся? Схолиями Гомес Давила называет краткие афоризмы, которые он писал всю жизнь, в пяти вышедших книгах их содержится более десяти тысяч. Это как будто примечания к некоторому тексту, который никогда не был создан, но который может выстроиться из этих примечаний. Сюжета в книгах нет, схолии образуют, как выражается сам Гомес, концентрические круги. На всем протяжении пяти книг темы повторяются, все они вращаются вокруг критики современного мира.

Попробуем взглянуть на вещи в этой оптике, рассмотрим картину мира, как она видится человеку, называвшему себя реакционером.

Пошлость, бездуховность, анонимность в толпе, бесконечная погоня за чем-то лучшим, кричащая бевкусность искусства, отсутствие подлинных ценностей — вот симптомы болезни современного мира. Гомес, конечно, не одинок в этих претензиях. Современный мир самодовольно решил, что он стал лучше, чем мир прошлых веков. Но так ли это? Ценности изменились, более того, появился ценностный релятивизм, который стал своего рода новой ценностью. Гомес видит в этом аксиологическую болезнь, неспособность отличить хорошее от плохого, отсутствие ориентиров. Носителями подлинных ценностных ориентиров, по Гомесу, являются потомственные аристократы. Общее образование и всеобщее избирательное право привело к тому, что люди, которым надо еще долго и мучительно учиться овладевать культурой, решили, что они уже достаточно культурны, чтобы диктовать свои вкусы и свою моду. И свои ценности — хотя это и ценностями настоящими назвать нельзя, но невежественная толпа принимает эти недооценности на ура. В результате Гомес видит упадок, деградацию как в искусстве, так и во всем «модусе жизни». «Пресса доставляет гражданину отупение утром, радио — днем, а телевидение — вечером» (Gómez, 1986b: 74).

Мы привыкли считать демократию достижением современного миропорядка — демократию, которая философски укоренена в идеи равенства всех людей, праве каждого быть услышанным. Но каждый ли достоин того, чтобы выбирать власти? Для того чтобы управление осуществлялось хорошо, выборные власти должны быть компетентными, это очевидно. Но и те, кто выбирает, должны быть компетентны, чтобы в свою очередь отличить достойного кандидата от того, кто просто обещает золотые горы, т. е. безответственного и бессовестного политика-на. Гомес уверен, что народ не способен отличить достойного от недостойных. Он критикует демократию за то, что обещания даются, но не выполняются (а если и выполняются, то это приводит к еще более дурным последствиям, поскольку сами обещания нацелены не на процветание страны). Предвыборные речи демократических политиков ориентированы только на успех на выборах, а не на толковое управление государством. Гомес обвиняет демократов в популизме, в игре на низменных чувствах людей (Pachón, 2007; Volpi, 2005). Демократические выборы

он называл «выбором толпой невежд горстки некомпетентных». «Демократическая программа выполняется в три этапа: либеральный этап, на котором основывается буржуазное общество, чей характер передается социалистам; этап равенства, на котором основывается советское общество, характер которого передается новым левым; этап братства, на котором появляются наркоманы, которые совокупляются на коллективных сборищах» (Gómez, 1977a: 391). «Демократ, в поиске равноправия, укладывает человечество в прокрустово ложе, чтобы отрезать то, что выдается: голову. Обезглавливание — это центральный обряд демократической мессы» (Gómez, 1977a: 465).

Хорошее, правильное управление может быть, только если управляет аристократ, человек, который родился чтобы управлять, воспитывался и получил образование для управления. Управление государством — это искусство, которому надо учиться серьезно и долго, изучать философию, историю, быть широко образованным и эрудированным. Все эти качества присущи аристократу-реакционеру, они напрочь утрачены в демократических обществах.

Демократия на первый взгляд предоставляет всем равные возможности, но индивиды не равны по природе. Равные возможности — только иное название для вечной неудовлетворенности и жажды подняться еще выше. «В обществе, в котором все верят, что они равны, неизбежное превосходство немногих приводит к тому, что остальные чувствуют себя неудачниками. Напротив того, в обществах, в которых нормой является неравенство, каждый остается в своем собственном различии, не чувствуя ни настоящей необходимости, ни возможности сравнивать себя с другими. Только иерархическая структура милосердна к посредственным и к низшим» (Gómez, 1977a: 445). Цивилизация, организованная иерархически и традиционно, — его идеал. Он не видит ничего хорошего в современном мире, который требует от человека деятельности. «Истинный аристократ — это тот, кто живет внутренней жизнью. Каково бы ни было его происхождение, его место в обществе или его состояние» (Gómez, 1977a: 36). Естественно, в современном мире умение жить «внутренней жизнью» полностью утрачено (Hurtado, 2000; Pachón, 2007).

Яркий симптом утраты культуры в современном мире — состояние искусства и литературы. Равенство и демократия приводят к господству посредственности, что особенно гибельно именно для настоящего искусства. Везде господствует, как мы сказали бы по-русски, попса. Это касается не только музыки, но и изобразительного искусства, и литературы, и архитектуры — все стало демократичным и попросту некрасивым. «Самое сильное обвинение в адрес современного мира — это его архитектура» (Gómez, 1986a: 64). «У современной живописи больше поклонников, чем у современной литературы, потому что для картины достаточно двух секунд отвращения, а книгу не прочитаешь меньше чем за два часа тоски и скуки». «Рисовать хорошо сегодня так же трудно, как и всегда, а рисовать плохо — намного легче» (Gómez, 1986a: 144). Современное искусство потеряло престиж мастерства, «дошло до детского лепета», потому что у художника есть

эстетическая доктрина, а рисовать согласно доктрине — значит превращать искусство в умствование. Лучше бы художники и поэты оттачивали мастерство. Сейчас каждый хочет быть оригинальным, каждый считает себя гением, но в результате получается неэстетичный и непонятный продукт, а не произведение искусства (Gonzalez, 2015). Проницательный толкователь Гомеса, Тил Кинзел, называет его «учителем чтения», потому что прежде всего для культурного человека важно умение читать, медленно, вдумчиво, перечитывая по нескольку раз, и только потом — писать (Kinzel, 2010).

Реакционер религиозен, и вера для него важна. Гомес не противопоставляет веру и скептицизм. Наоборот, только скептик может быть по-настоящему верующим. Между скептицизмом и верой, говорит он, есть тайный говор: оба они подрывают самоуверенность человека. В одновременной опоре на веру и скептицизм человек должен относиться к миру как к тайне, не подлежащей разгадке.

К современному католицизму он относится критически. Как известно, после Второго Ватиканского собора католическая церковь взяла направление на упрощение обряда, снижение требований к верующим, открыла двери для общения с протестантами. Был взят курс на обновление (*aggiornamento*) христианской жизни, приспособление церковной дисциплины к нуждам и обычаям нашего времени (читай — сильное понижение требований). Гомес высказывается резко: «„*Aggiornamento*“ — это распродажа Церкви с аукциона» (Gómez, 1977b: 126). «Христианин-прогрессист настолько готов вступить в договор с противником, что противник не понимает, с кем вступать в договор» (Gómez, 1986a: 198). Самый главный порок современного мира — его удаленность от трансценденции, от ценности сакрального. Ныне уже не воздвигают соборы, и, в параллель с обмирщением искусства, из жизни ушли высокие цели. Церковь сдала свои позиции хранительницы трансцендентных заповедей и повернулась лицом к миру — многим кажется, что это правильно, но на самом деле это поражение высшего долга. Гомес пишет о католической церкви, но это еще заметнее у протестантов: целый ряд пасторов считает своим долгом помогать бедным, при этом вообще не важно, верят ли они в Бога! Это уже не церковь, а что-то вроде профсоюза или клуба любителей благотворительности. Это посюсторонняя организация, разорвавшая отношения с божественным.

Важная тема в осмыслении современного мира — концепт «прогресса». Это то, вокруг чего незримо устанавливается ценностная шкала современного человека. Под прогрессом понимается движение к чему-то лучшему, все более и более ценному. В переводе с латыни слово «прогресс» означает движение вперед. Однако всегда ли это хорошо — вперед? Это зависит от того, что впереди. Вперед — не обязательно вверх, можно идти вперед по наклонной плоскости, к гибели и упадку. И именно в этом направлении движется наш мир. Прогресс губит традицию, разрушает ценности, губит природу и в конечном счете самого человека. Новое — далеко не обязательно хорошее, вот что надо понимать в смысле прогресса и о чем постоянно говорит Гомес. «Ничто так не раздражает прогрессиста, как упрямство

того, кто отказывается пожертвовать верным в пользу нового» (Gómez, 1986a: 67). Современная ментальность вульгарна, и эта вульгарность — неотъемлемая плата за технический прогресс. «Величайший триумф науки, похоже, состоит в той все возрастающей скорости, с которой какой-нибудь дурак передает свои глупости из одного места в другое место» (Gómez, 1977a: 153) — это убийственное замечание родилось задолго до появления Интернета!

Погоня за новизной — только лишь выражение пустоты, бессмыслинности жизни современного человека. В этом смысле вера в прогресс характеризует глупца, типичного современного человека. Тот же, кто критически относится к так называемому прогрессу, и есть реакционер. Он умеет отстраниться от всеобщего энтузиазма, который гонится за новизной. Реакционер никогда не добивается победы, поскольку он настроен в принципе против того, что вызывает у всех вдохновение. Он готов к тому, что с ним не просто не согласятся — его не будут слушать. Он всегда против того, что в моде, о чем «все говорят».

Реакционер — всегда одиночка. Сам Гомес был затворником, почти все время он проводил в своей огромной библиотеке. Толпа для него — апофеоз пошлости и тупости. К публичности, коллективу, общности Гомес относится крайне отрицательно. «Мы всегда в конце концов испытываем стыд, приняв участие в коллективном энтузиазме» (Gómez, 1977a: 406). «Одинокий человек — посол человечества в страну значительного» (Ibid.: 288).

В чем же видит Гомес корень зла? В том, что человек забыл Бога. Демократия — это предельное выражение забвения Бога, потому что этот строй полагается на собственные силы и возможности человека, он полностью, так сказать, посюсторонен. На самом деле человек — существо грешное, сам, без помощи Бога, он не способен создать ничего хорошего. Человек забыл о своей слабой и падшей природе, он поставил себя на место Бога. Секулярный мир старается удовлетворить наиболее простые и низкие потребности человека, полностью забывая о том, что бывают высшие потребности, которые надо еще воспитывать. И не каждый человек рожден для высших потребностей, многим достаточно простых, но эти люди не должны навязывать свою простоту тем, кто более утончен.

Здесь необходимо рассмотреть философию гностицизма. Может показаться, что гностицизм — маргинальное религиозное течение первых веков нашей эры — не имеет никакого отношения к вопросу о демократии в современном мире. Но Гомес видит связь. По его мнению, именно гностицизм первым заронил в голову человека мысль о том, что человек исключительно богоподобен. Что его душа — это светильник, а не мрачная камера. С гностицизма, по Гомесу, началась адская гордыня: стремление человека устроить жизнь по собственному желанию. Не служить, не быть всегда виноватым, не каяться, а полагаться на свой ум (ну и, конечно, на гностические учения). Первое, в чем видит Гомес проявление гностической гордыни, — это Великая французская революция. Хотя, собственно, он ведет разговор вообще о духе Модерна (Abad, 2010, 2017), который можно начинать с Возрождения. Но Возрождение Гомес не осуждает, поскольку восхищается его искусством.

ством. Модерн для него начинается с Великой французской революции. Именно тогда началась новая, демократическая пора, когда человек стал строить новый мир. XVIII век для него еще близок и понятен, он часто цитирует французских писателей той поры. Он сожалеет о том времени, когда еще даже природа была «окультуренной, но не испорченной», когда человек не сливался с толпой, а был разумным существом с верой в Бога. С тех пор и по сей день идет утрата человеком своей разумности.

Поскольку схолии не предназначались для публикации, а писались для узкого круга доверенных людей, Гомес не стесняется сильных выражений. Очень часто он пишет о глупцах и об уме. Концепт глупца, даже дурака (*bobo*, *tonto*, *imbécil*) складывается у него из всего, что он не одобряет. Глупец гонится за модой, верит в прогресс, увлекается современным искусством, он сторонник демократии и всегда на той стороне, которая кажется правильной всем, кроме реакционера. Глупец не спрашивает себя о той цене, которую приходится платить за прогресс.

Глупец — всегда член толпы. Он верит во все, во что принято верить, ничего не ставит под сомнение сам, а сомневается в том, в чем принято сомневаться в его кругу. Иногда глупец может говорить и правильные вещи, повторяя их за кем-то, но Гомес пишет, что в устах глупца умные вещи опошляются, он отправляет их своим прикосновением. Глупец не мыслит, он бездумно повторяет то, что носится в воздухе — а в современном мире в воздухе носятся пошлые и неглубокие вещи.

Нас окружает тайна, ею полон мир. Это тайна трансценденции, тайна вселенной, тайна самой жизни. Перед этой тайной надо благоговеть, Гомесу совершенно не близко стремление науки «расколдовывать» мир. Глупец, естественно, думает наоборот, тайна ему недоступна. На глупца производит впечатление глубины только неясность, запутанность. Подлинная глубина тайны доступна только умному человеку. Ясность глупец путает с простотой. Для Гомеса хорошие тексты всегда должны быть ясными, написанными хорошим языком. Усложненный язык не нужен, любую мысль можно выразить ясно, а для глупца, наоборот, запутанный язык есть признак большого ума. Глупец стремится к оригинальности (а само это стремление глупо, истинная оригинальность не требует, чтобы к ней стремились, она приходит естественно). Однако на подлинную оригинальность он не способен. «Глупец легко верит в оригинальность мнений, которые он разделяет со всеми» (Gómez, 1986b: 132).

Однако Гомес предупреждает, что склонность быть глупцом спит в каждом человеке. Умный человек всегда должен прилагать усилия, чтобы не дать глупости овладеть им. Искушение поддаться на модные идеи, принять их без критики сильно для любого человека. Надо противостоять моде, что не так-то просто.

Глупец оптимист. Для реакционера оптимизм — синоним глупости. На место оптимизма реакционер ставит надежду, способность полагаться на Бога. «Тяжесть этого мира можно вынести, только стоя на коленях» (Gómez, 1992: 25). Для Гомеса христианская надежда и вера парадоксальны, это не утешение, а вызов. «На антагониях разума, на возмущении духа, на разрывах вселенной — вот на чем я осно-

вал свою надежду и свою веру» (Gómez, 1992: 80). Верующий человек всегда стоит перед выбором, доказать свою веру или сдаться. Вера — это требование, а не исполнение желаний. Это постоянное мысленное обращение к Богу.

Много места в размышлениях Гомеса занимает искусство. Как уже говорилось, современное ему искусство он считает вырождением. Подлинное искусство приближает к религии, само существование прекрасного — это свидетельство высших, трансцендентных законов. Современное искусство потеряло связь с религией, и этот развод оказался гибельным и для него, и для религии. Искусство попало в руки пошлых авторов, каждый из которых стремится быть оригинальным, а является только лишь вульгарным. Сам огромный любитель и знаток культуры, он очень критически относится к культуре современной Испании и особенно Латинской Америки (Saralegui, 2016).

С этим неразрывно связано учение Гомеса о ценностях и об истории.

Историю он очень любит и посвящает ей много размышлений. Уже понятно, что история — это не путь к лучшему миру. История связана с эсхатологией. В истории мы видим письмена Бога, по крайней мере в те периоды, в которых люди не забывали о вере. И в философии Гомесу ближе всего философия истории. Дело историка — выявлять конкретное. Гомес совершенно не согласен с тем, что есть какие-то надисторические законы. Каждая эпоха сугубо индивидуальна.

От историка требуется особое вчувствование, способность понять эпоху и рассказать о ней во всей ее конкретной полноте. «Прогресс историографии заключается в растущей способности выявлять индивидуальность эпох» (Gómez, 1992: 85). История всегда — арена действия индивидуальностей, а не безличных законов. Мастерство историка заключается в умении рассказать об этих индивидуальностях и о той конкретной обстановке, в которой они действуют. Между двумя историческими событиями сходство всегда кажущееся, реальны только различия. Ход истории есть, но он неподвластен законам, которые может открыть человек. Это, конечно, спорное утверждение, но Гомес в этом уверен. Соответственно он критикует марксизм, называя его философию истории наивной.

С историзмом, с понимающим проникновением в дух разных эпох неразрывно связана проблема ценностей и ценностного релятивизма. Если стоять на той точке зрения, что исторические эпохи несопоставимы и несравнимы, из этого должно вытекать, что каждая эпоха имеет свой набор ценностей, и судить ее надо по ее собственным законам. Ценности также будут несопоставимы. Не будет твердых оснований отличать добро от зла. В каждую эпоху, в каждой культуре будут свои критерии, и что является добром в одной культуре, может быть злом в другой.

Однако ценностный релятивизм Гомесу претит. Ценности он сравнивает со светилами. В некоторые эпохи светила поднимаются над горизонтом, в некоторые — не видны. Однако они всегда есть, и основные ценности вечны. Он сравнивает «историзм» и «историцизм». Историзм — это умение разгадать дух эпохи и передать его другим эпохам, сделать одну эпоху понятной для других. Несмотря на то что «дух» эпох различен, такое понимание возможно. В этом и заключается

работа талантливого историка. Наоборот, историцизм — это релятивистское учение о том, что ценности относительны, что каждая эпоха любит и осуждает что-то свое. Стоя на почве дурного историцизма, понять эпоху невозможно¹.

Конечно, он не утверждает категорически, что между историческими эпохами нет совсем ничего общего. «Понимание индивидуального и понимание общего в истории взаимно обуславливают друг друга» (Gómez, 1992: 75). Сопоставляя экзегезу и герменевтику, он пишет, что экзегеза пытается понять, что автор имел в виду сознательно, в то время как герменевтика старается понять опыт автора, его переживания, тот смысл, которое высказывание имеет в контексте эпохи. Историк должен искать не только «причины» исторического факта, но и цели участников этого акта. Эта работа с целями принципиально различает науки о духе и науки о природе. Без принятия принципа цели любое историческое событие непонимаемо.

Так, Гомес не принимает социологию. Для него это наука, оперирующая статистикой, что делает вчувствование и понимание невозможным. Но он пишет, что в современном мире индивиды становятся все более неразличимыми, в них все меньше индивидуальной личности, торжествует анонимность и усреднение. Поэтому для современного мира статистика уже подходит больше. И снова он противопоставляет объяснение и тайну. Тайна принципиально необъяснима. Необъяснима как тайна мира, так и тайна человеческой души и личности. То, что наука бросается объяснять душу, так же нелепо, как и ее стремление объяснить весь мир. Подлинная тайна раскрыта не будет. Поскольку она тайна, про нее нельзя сказать, в чем, собственно, она заключается, — ее можно только почувствовать. «Историческое объяснение обязано своей возможной действительностью не „хватывающим законам“, действительное объяснение является результатом немедленного схватывания конкретного отношения» (Gómez, 1992: 172).

С проблемой релятивизма увязывается понятие иерархии. Подлинная историческая наука должна уметь работать с иерархическими структурами, поскольку ценности имеют иерархию (и возможные закономерности, если таковые обнаруживаются, тоже). Иерархия — это принцип правильного упорядочивания всего. «Систематическое сведение всех ценностей к какой-то одной невозможно. Этому мешает их радикальное различие. Возможно только иерархически упорядочить их в такую систему, в которую они сами спонтанно складываются» (Gómez, 1986b: 87).

Иерархия важна не только в науке, но и в жизни. Как уже говорилось, Гомес принципиальный противник равенства. Всё иерархически делится на высшее и низшее, и люди тоже. «Жизнь — это мастерская иерархий. Только смерть демократична» (Gómez, 1977a: 462). Иерархии, пишет он, сходят с небес, в ад все равны. Здесь, конечно, хочется не согласиться с Гомесом. Современная ментальность

1. Вообще Гомес близок к философии Баденской школы неокантианства и Дильтею. Он так же противопоставляет науки о природе и науки о духе. Так же отвергает возможность найти законы в истории, так же пишет о противопоставлении объяснения и понимания.

отказывается принять, что между людьми есть и должны быть высшие и низшие. Мы по большей части не готовы идти за реакционером настолько далеко. Однако своя логика в этом есть. Каждый человек должен найти тех, кто выше его. Это важная идея — идея служения. Сейчас, когда иерархии разрушились, разрушилась и эта идея. Хотя благородный человек всегда принимает на себя обязанность определенного служения. Это не обязательно служение какому-то человеку, тут можно принять и служение высшим ценностям. Служение требует благородства, это не унижение, а долг человека.

В связи с ценностью служения и долга находится и проблема свободы. Понимание свободы является диалектичным (хотя гегелевскую диалектику Гомес не признавал). Свобода имеет огромную важность. Ценность свободы неразрывно связана с тем, что свободу человеку дал непосредственно Бог, поэтому, по сути, все свободны, хотя часто и не понимают этого. Однако свобода ничто без обязательств, без того же служения, без тех ограничений, которые добровольно накладывает на себя человек. Как ни странно это слышать современному человеку, свобода ассоциируется не с демократическим обществом, а с иерархическим. Именно находясь на собственном месте в иерархии, в ее пределах, человек свободен. Гомес не боится видимости противоречий. К противоречиям у него отношение тоже диалектическое, несмотря на неприязнь к Гегелю: он считает, что реальность соткана из непоследовательностей и противоречий, это и делает ее живой. Поэтому философская система, если она не признает противоречий, определенно ложна. Если говорить в привычных терминах, важна не свобода «от», а свобода «для» — для служения. Демократическое государство не дает свободу, оно становится вездесущим и контролирует своих подданных эффективнее, чем иерархическое. Вслед за освободительной революцией всегда наступает бюрократия и террор. Вчерашние революционеры превращаются в деспотов, это приводит не к построению справедливого общества, а всего лишь к перераспределению материальных благ в пользу нового слоя — бюрократов и управляемцев. Очевидно, Гомес смотрел на Кубинскую революцию, но наверняка и на современный ему СССР. Кстати, к русским авторам XIX века он относится с симпатией и уважением: «Начиная с письма Чадаева Шеллингу и до статьи Леонтьева о речи Достоевского на открытии памятника Пушкину, русский ум предвидел будущее более ясно, чем западный ум» (Gómez, 1986b: 72).

Можно было бы ожидать, что Гомес встанет в оппозицию к романтизму. При том что он обнаруживал след гностических влияний во многих современных течениях, он легко мог увидеть пафос гностицизма и в романтизме. Но это не так. Романтизм для него — явление положительное, он часто ссылается на романтиков. Естественно, он смотрит на романтизм через оптику религиозной идеи. «В противовес вульгарной тенденции сводить религию к этике, романтизм через эстетику обнаружил специфику религиозного» (Gómez, 1992: 153). Как уже упоминалось, искусство, одушевленное религиозной верой, кажется ему высшей ценностью (Mejía

Mosquera, 2018). Поэтому, очевидно, он принимает романтизм и не относит его к модерну.

Эта приверженность романтизму делает его философию религии и церкви двойственной. С одной стороны, он считает себя католиком (дособорным, так сказать, в смысле противника Второго Ватиканского собора), он ни в коем случае не противник церкви и не склоняется к протестантским влияниям. С другой стороны, Бог для него пребывает не в церкви. Бог в мире, общение с Богом происходит только в душе человека. Христианин живет с чувством индивидуального присутствия Бога. Бог для Гомеса является «онтологическим условием» индивидуального существования, человек должен жить не в каком-то религиозном учении, а в постоянном духовном богообщении. Молитва никак не связана с посещением церкви (хотя Гомес иногда пишет, что жизнь наиболее близка к богообщению в монастырях). Церковь, следует из этого — не инструмент связи с Богом, как это часто считается, а что-то другое, она скорее устраивает жизненные обстоятельства, чем влияет на личную веру. Гомесу очень близок Кьеркегор (который в философии религии, конечно, является типичным протестантом), он нередко цитирует его с восхищением. Особенно близко ему кьеркегоровское противопоставление этики и религии. Сам он отзывался об этике как о сухом учении о долженствовании, автономную этику Канта он считал чисто идеологической выдумкой (Gomez, 1992: 29). Подлинно моральное поведение основано для него только на религии (Gomez, 1986b: 206). В этом мы опять видим критику ценностей современного мира. Религию сейчас принято сводить именно к этике. Если современный «тепло-хладный» человек что-то и одобряет в христианстве, то это именно мораль любви к ближним. Мораль без Бога считается чем-то лучшим, чем Бог без морали. Это не религия, это ее вырождение в секулярность. Мораль ничто, если она не основана на любви к Богу, которая выше, чем любовь к ближним и просто вытекает из нее.

При этом он не считал возможным изменять католический культ и обряд. Именно обряд помогает сохранить веру в чистоте, поскольку опирается на живое участие, на эстетическое воображение, затрагивает иррациональные струны в душе человека. Это ему близко. Он с легкостью примиряется с иррациональным, поскольку оно не отрицает тайну трансценденции. Скорее, наоборот, ему внушает неприязнь рациональная теология. Средневековую теологию, например Фомы Аквинского, он обвиняет в сухом аристотелизме. «Христианские догмы — это не умствования религиозного сознания, а каноническая формула загадок опыта» (Gómez, 1992: 20). В любой философии сухость ему претит. Философия, с его точки зрения, — это вид литературы, она должна трогать душу, а не интеллект.

Ум в такой системе противопоставляется интеллектуализму. Это не только не похожие, но и почти противоположные вещи. Ум (*inteligencia*) — понятие жизненное, экзистенциальное, духовное. Интеллект (*intelecto*) и рассудок (*raciocinio*) — это сухие, неодушевленные способности. «Сегодня полно интеллектов без ума» (Gómez, 1986b: 57). Интеллект — это все равно что вычислительная машина, которой недоступна истинная глубокая тайна жизни, которой все равно, какие посту-

латы принимать (и это будут те, что модны в настоящее время). Ум же включает в себя ценностные ориентиры, ум не принимает ложных постулатов, из которых последуют неприемлемые выводы. Ум знает, что надо вовремя остановиться перед трансценденцией.

Но и в религиозной области далеко не все постулаты заслуживают бездумного приятия. Умный человек всегда скептичен. Скептицизм — ценнейшее качество настоящего ума. Он позволяет думать ясно, а не плутать в темных спекуляциях. И в то же время умный человек — верующий, что не может не приводить к внутренним проблемам. И действительно приводит. Эти проблемы решить в принципе невозможно, они и не предназначены, чтобы их решать. Жизненные проблемы надо не решать, а надо с ними жить, переживать их. «Истина — это способ думать и чувствовать» (Gómez, 1992: 15). В этом заключается призвание философии: показывать проблемы, показывать, как они переживаются, но не пытаться разрешить их. С таким пониманием философии нетрудно согласиться, особенно с точки зрения экзистенциализма. И вот ум — это ум экзистенциальный. Это уровень, на котором проживаются проблемы. Он, конечно, не должен зависеть от сиюминутных и модных тем. «Умный человек — это тот, кто поддерживает температуру своего ума независимой от температуры окружающей среды» (Gómez, 1977a: 174).

Ум близок чувству, и это чувство не должно быть совершенным, поскольку в жизни нет ничего совершенного. «Без впадин и пустот ум становится тупо круглым, как булыжник» (Gómez, 1986b: 19). Ум должен чуждаться пошлых толп и глупцов, но и сам к себе относиться критически. Нужно сомнение в самом себе, готовность увидеть у себя ошибку. Ум, как уже было сказано, строго индивидуален, он и действует всегда одиноко, и Гомес настроен даже против дружеских бесед о важных вещах, уже не говоря об институциях. Университеты, говорит он, не дают настоящего образования, там передается лишь сумма знаний, но не ценностные ориентиры, и эти знания по большому счету бесполезны. Он резко пишет о том, что университетское образование ничего не дает уму (можно добавить: и сердцу). Конгрессы философов вызывают у него злую иронию. С этим невозможно полностью согласиться. Проводя всю жизнь в библиотеке, он, думается, не знал о духе коммуникации, который может возникнуть при общении ученых. Но в то же время следует понять и его точку зрения. Когда философы рассуждают друг с другом, зачастую «температура ума» становится ниже, чем была бы в одиночестве. Гомес говорит, что истинная беседа может состояться не за круглым столом, а в письменном общении одиноких умов, которые разделены, может быть, несколькими столетиями. Подлинного умного философа его современники не понимают и не могут понять. «Когда мы целимся высоко, нет публики, которая может сказать, попали ли мы в цель» (Gómez, 1992: 17). Когда философ пишет в расчете на то, чтобы его поняли, он невольно снижает планку своей мысли. Писать надо для себя, для великих собеседников прошлого (а может, и будущего), для Бога. Поэтому Гомес убежден, что по-настоящему ценные мысли не могут быть популярными. Он много раз повторял, что дело реакционера — правое, но заведо-

мо проигрышное. Он, разумеется, призывает не обращать внимания на публику. Нужно привыкнуть к тому, что признания не будет, и довольствоваться чувством внутренней правоты. Выполнимо ли это? Может ли человек вообще не обращать внимания на других, не говорить ни с кем из современников? У меня нет уверенности в этом, но для Гомеса может быть только так.

Дело историка философии, говорит он, состоит в том, чтобы переводить какого-то философа, писавшего на жаргоне своей эпохи, на язык вечной философии, *«philosophia perennis»*. Что это за язык? Даже если предположить, что *philosophia perennis* существует, на каком языке она должна говорить? Ведь у нас нет никаких языков, кроме наших естественных. Гомес не дает ответа на этот вопрос, но, во всяком случае, мы можем сказать, что это язык ясный, простой, чистый.

На таком языке писал и сам Гомес. Его испанский очень красивый, правильный, звучный. В нем нет латиноамериканизмов, не встретить грубости, хотя иногда Гомес позволял себе резкие выражения. Но он всегда оставался в рамках классического испанского. За афористичность, красоту языка, неприязнь к пошлости и некоторые эстетические идеи его иногда сравнивали с Ницше (Kinzel, 2010). Мне думается, общего все-таки мало. Гомес был глубоко религиозным мыслителем. Но сам он Ницше уважал и не осуждал: «Ницше был единственным благородным жителем разбившегося мира. Только его выбор можно было бы без стыда принести воскресению Бога» (Gómez, 1977a: 211).

Такова картина мира реакционера. Что же в остатке? Каков идеал, к которому следует стремиться?

Думаю, я не ошибусь, если на первое место поставлю критическое отношение к моде, к господствующим ценностям. И первой из этих ложных ценностей будет ценность демократического представления о врожденном равенстве людей. Люди, безусловно, равны перед законом. Они равны в том, что ни к кому из них нельзя относиться бесчеловечно, рассматривать, говоря словами Канта, человека как средство — каждый достоин того, чтобы быть целью. Люди братья, но равны ли между собой братья? Нет, поскольку среди братьев есть старшие и младшие (Gómez, 1977a: 451). Именно в этом смысле люди не равны. Каждый хорош на своем месте — не стоит стремиться занять место выше. Не нужна вечная конкуренция, вымывающая силы и не оставляющая место для духовной глубины и душевной утонченности. Если народ не превращается в толпу анонимных жителей большого города, которых «утром отупляют газеты, днем радио, а вечером телевизор», если народ живет в согласии с природой и миром, то такой народ счастлив, ему не нужна демократия. В этом смысле идеально общество сословий, цехов, традиционных и наследуемых профессий. Потомственный ремесленник — подлинная личность, гордая своим мастерством в своем деле. Рабочий на заводе — это не более чем приданок к технике, он отчужден от своего труда, его работа не формирует его личность. У первого труда, а не работа, у него свое дело. У второго работа, а не труд, его дело — не его. Техника разлагает духовные основы жизненного мира, уродует

этот мир и человека. Человек как придаток к технике теряет свободу, настоящую свободу, благодаря которой развивается личность.

Утопия? Безусловно. Гомес знает, что его идеал невоплотим. Его дело лишь быть критиком современного мира, напоминать ему о том, что он потерял на своем пути. Наш мир определенно будет и дальше двигаться по пути технического прогресса. Народы будут постепенно исчезать, личности будут все больше atomизироваться и рвать традиционные связи. Мы пойдем по пути прогресса, но это опасный путь, на котором неуместен принципиальный оптимизм. Не за горами экологическая и демографическая катастрофы. И еще неизвестно, что принесет нам искусственный интеллект. Нужно иметь, так сказать, критику к собственному состоянию. Одно атеистическое, рожденное революцией государство уже развалилось на наших глазах. Не исключено, что грядут и еще большие катастрофы.

Николас Гомес Давила — безусловно, оригинальный и интересный мыслитель. С ним можно не соглашаться, можно верить в то, что в определенной степени в нашем мире наличествуют изменения к лучшему. Все равно он будет напоминать о необходимости критического подхода к общепринятым нормам, о том, что существует другая точка зрения, что надо предъявлять высокие требования к себе и помнить о высшем.

Литература

- Гомес Давила Н. (2021). Схолии к имплицитному тексту / Пер с исп. Е. В. Косиловой. М.: Канон+.
- Руткевич А. М. (2011). Католический реакционер Н. Гомес Давила // Философские науки. № 1. С. 98–110.
- Abad T. A. A. (2010). Nicolás Gómez Dávila y las raíces gnósticas de la modernidad // Ideas y valores. № 142. P. 131–140.
- Abad T. A. A. (compilador). (2017). Entre fragmentos. Interpretaciones gomezdavilianas. Bogota: Casa de Asterión.
- Gómez Dávila N. (1977a). Escholios a un texto implícito. Bogotá: Instituto Colombiano de cultura.
- Gómez Dávila N. (1977b). Escholios a un texto implícito. Tomo II. Bogotá: Instituto Colombiano de cultura.
- Gómez Dávila N. (1986a). Nuevos escholios a un texto implícito. Bogotá: Procultura.
- Gómez Dávila N. (1986b). Nuevos escholios a un texto implícito. Tomo. II. Bogotá: Procultura.
- Gómez Dávila N. (1992). Sucesivos escolios a un texto implícito. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- Гомес Давила Н. (2020). Переводы на русский некоторых схолий Н. Гомеса Давилы. <https://gomez-davila.livejournal.com/> (дата доступа: 16.07.2020).
- Gonzalez P. B. (2015). A South American Conservative Sage // Modern Age. Vol. 57. № 1. P. 77–81.

- Hurtado M. G. (2000). Un pensador Aristocrático en los Andes: Una mirada al pensamiento de Nicolás Gómez Dávila // Historia Crítica. № 19. P. 8–18.*
- Kinzel T. (2010). Nicolás Gómez Dávila als Lehrer des Lesens // Urbanek K. (ed.). Nicolás Gómez Dávila — myśliciel współczesny? Warszawa: Furta Sacra. P. 313–330.*
- Mejía Mosquera J. F. (2018). Facetas del pensamiento estético de Nicolás Gómez Dávila. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.*
- Morgan C. R. (2014). Don Colacho's Epitaphs. Available at: <https://www.theamericanconservative.com/articles/don-colachos-epitaphs/> (дата доступа: 16.07.2020).*
- Pachón Soto D. (2007). Nicolás Gómez Dávila, un exiliado de la modernidad // Cuadernos de Filosofía Latinoamericana. Vol. 28. № 96. P. 23–42.*
- Rodríguez Cuberos E. G. (2009). El romanticismo de Nicolás Gómez Dávila: entre la reacción y la insubordinación // Nómadas. № 31. P. 165–181.*
- Saralegui M. (2016). Nicolás Gómez Dávila como crítico de la cultura hispánica // Ideas y Valores. № 65. P. 315–336.*
- Serrano Ruiz Calderón J. M. (2013). La sombra y la Nada: En torno a un Escolio de Nicolás Gómez Dávila // Pensamiento y Cultura. Vol. 16. № 2. P. 72–99.*
- Serrano Ruiz Calderón J. M. (2015). Democracia y nihilismo: vida y obra de Nicolás Gómez Dávila. Pamplona: Eunsa.*
- Volpi Franco (2005). Nicolás Gómez Dávila, el solitario de Dios. Bogotá: Villegas.*

Genuine Reactionary: The Works of Nicolás Gómez Dávila

Elena Kosilova

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Faculty of Philosophy, Lomonosov Moscow State University

Address: Lomonosovsky Avenue, 27k4, Moscow, Russian Federation 119991

E-mail: implicatio@yandex.ru

The article deals with the work of the Colombian philosopher and writer Nicolás Gómez Dávila, and primarily his five-volume work *Scholia to an Implicit Text (Escolios a un texto implícito)*. This work is a collection of over 10,000 brilliant aphorisms. Gómez Dávila called himself a reactionary thinker. His aphorisms express a critical attitude towards the modern world. He criticized the shortcomings of democracies, and was strongly opposed to revolutions and the idea of progress. He saw progress as a gradual slide down an inclined plane. His ideal is a traditional society that is organized hierarchically. He also sharply criticized contemporary art, in which he believed little skill was left with very large pretensions for originality. He is a religious thinker who did not accept the ecclesiastical relief of the Second Vatican Council. An unattractive portrait of a man of our day looms in his aphorisms. He writes about fools and vulgar people who pursue fashion that attracts them by its superficial brilliance, while the "genuine reactionary" is always opposed to fashion. The reactionary is a loner by nature, does not tolerate crowds, lives an inner life, and communicates with philosophy and art. In the modern world, Gómez Dávila finds expressions of Gnostic tendencies from which comes the idea of the deification of man and the oblivion of God. He contrasts the intellect as something dry and abstract to intelligence which must live through

existential conflicts. Some have compared Gómez Dávila with Nietzsche, but this comparison does not seem relevant.

Keywords: Nicolás Gómez Dávila, reactionary, democracy, hierarchy, values, Catholicism, Gnosticism, Latin America

References

- Abad T. A. A. (2010) Nicolás Gómez Dávila y las raíces gnósticas de la modernidad. *Ideas y valores*, no 142, pp. 131–140.
- Abad T. A. A. (ed.) (2017) *Entre fragmentos: interpretaciones gomezdavilianas*, Bogotá: Casa de Asterión Ediciones.
- Gómez Dávila N. (1977a) *Escholios a un texto implícito*, Bogotá: Instituto Colombiano de cultura.
- Gómez Dávila N. (1977b) *Escholios a un texto implícito. Tomo II*, Bogotá: Instituto Colombiano de cultura.
- Gómez Dávila N. (1986a) *Nuevos escholios a un texto implícito*, Bogotá: Procultura.
- Gómez Dávila N. (1986b) *Nuevos escholios a un texto implícito. Tomo. II*, Bogotá: Procultura.
- Gómez Dávila N. (1992) *Sucesivos escolios a un texto implícito*, Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
- Gómez Dávila N. (2020) Perevody na russkij nekotorykh scholij [Russian Translation of Selected Scholia]. Available at: <https://gomez-davila.livejournal.com/> (accessed 16 July 2020).
- Gómez Dávila N. (2021) *Sholii k implicitnomu tekstu* [Scholia to an Implicit Text], Moscow: Kanon-+.
- Gonzalez P. B. (2015) A South American Conservative Sage. *Modern Age*, vol. 57, no 1, pp. 77–81.
- Hurtado M. G. (2000) Un pensador Aristocrático en los Andes: Una mirada al pensamiento de Nicolás Gómez Dávila. *Historia Crítica*, no 19, pp. 8–18.
- Kinzel T. (2010) Nicolás Gómez Dávila als Lehrer des Lesens. *Nicolás Gómez Dávila — myśliciel współczesny?* (ed. K. Urbanek), Warszawa: Furta Sacra, pp. 313–330.
- Mejía Mosquera J. F. (2018) *Facetas del pensamiento estético de Nicolás Gómez Dávila*, Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Morgan C. R. (2014) Don Colacho's Epitaphs. Available at: <https://www.theamericanconservative.com/articles/don-colachos-epitaphs/> (accessed 16 July 2020).
- Pachón Soto D. (2007) Nicolás Gómez Dávila, un exiliado de la modernidad. *Cuadernos de Filosofía Latinoamericana*, vol. 28, no 96, pp. 23–42.
- Rodríguez Cuberos E. G. (2009) El romanticismo de Nicolás Gómez Dávila: entre la reacción y la insubordinación. *Nómadas*, no 31, pp. 165–181.
- Rutkevich A. (2011) Katolicheskij reakcioner N. Gómez Dávila [Catholic Reactionary N. N. Gómez Dávila]. *Filosofskie nauki*, no 1, pp. 98–110.
- Saralegui M. (2016) Nicolás Gómez Dávila como crítico de la cultura hispánica. *Ideas y Valores*, no 65, pp. 315–336.
- Serrano Ruiz Calderón J. M. (2013) La sombra y la Nada: En torno a un Escolio de Nicolás Gómez Dávila. *Pensamiento y Cultura*, vol. 16, no 2, pp. 72–99.
- Serrano Ruiz Calderón J. M. (2015) *Democracia y nihilismo: vida y obra de Nicolás Gómez Dávila*, Pamplona: Eunsa.
- Volpi Franco (2005) *Nicolás Gómez Dávila, el solitario de Dios*, Bogotá: Villegas.

Семидесятилетняя «Новая наука политики»

ФЁГЕЛИН Э. (2021). НОВАЯ НАУКА ПОЛИТИКИ: ВВЕДЕНИЕ / ПЕР. С АНГЛ. Н. СЕЛИВЕРСТОВА. СПБ.: ВЛАДИМИР ДАЛЬ. 327 С. ISBN 978-5-93615-240-5

Александр Павлов

Доктор философских наук, профессор, Школа философии и культурологии,
факультет гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

Ведущий научный сотрудник, Институт философии РАН
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: apavlov@hse.ru

Статья посвящена книге немецкого и американского политического философа Эрика Фёгелина «Новая наука политики: введение», которая считается классической работой в области политической теории XX столетия. Первое издание книги вышло в 1952 году, но ее русский перевод был осуществлен лишь в 2021 году. Автор статьи отмечает, что хотя мысль Фёгелина и является ясной, чтение работы затрудняет то, что сам Фёгелин переизобретал уже устоявшиеся в научном поле термины — позитивизм, гностицизм, философию истории, философию сознания и т. д. Чтобы прояснить вклад мыслителя в политическую философию, автор статьи прибегает к нескольким исследованиям, в которых этот вклад описывается. После краткого перечисления компонентов этого вклада автор рассуждает, насколько полно названные пункты отражены в «Новой науке политики». Оказывается, что хотя эта работа и написана на основе шести лекций, в ней содержатся все темы политической теории Фёгелина. Далее автор проясняет несколько ключевых терминов философа и переходит к изложению его концепции. Такой подход позволяет прояснить политическую теорию Фёгелина. Наконец, автор статьи обращается к контексту доролзовской политической теории и вкратце рассказывает о том, как на работу Фёгелина отреагировали правовед и впоследствии политический ученый Ганс Кельзен, а также описывает полемику Ханны Арендт и Фёгелина, объясняя, почему реакция Арендт на фёгелиновскую критику могла показаться странной, но на деле таковой не была. Заканчивает автор, обращаясь к некоторым превосходным оценкам философии Фёгелина, и констатирует, что большие надежды на то, что Фёгелин станет самым главным философом XX столетия, не сбылись.

Ключевые слова: практическая философия, политическая философия, социальная теория, Эрик Фёгелин, гностицизм, Лео Штраус, Ханна Арендт, философия истории

Если слегка перефразировать один из текстов с обложки книги Майкла Федери- чи, посвященной Эрику Фёгелину, сам Фёгелин не нуждается в представлении, в то время как его работа нуждается (Federici, 2002). В англоязычной академии имя этого философа хорошо известно, но такого нельзя сказать про российскую науку. До сих пор мы имели несколько случайных публикаций автора и пару статей о нем (Фёгелин, 2011; Павлов, 2011). Что ж, остается надеяться, что выход на русском языке «Новой науки политики: введения» (Фёгелин, 2021) в издательстве

«Владимир Да́ль» в новой серии «Политическая теология» станет поводом к тому, чтобы исследователи обратили свое внимание на творческое наследие Фёгелина. Вместе с тем книга «Новая наука политики: введение» сегодня является скорее источником по истории западной политической мысли и вряд ли жизнеспособной теоретической работой, которую можно использовать в качестве методологической основы для исследований в иных областях. Хотя, вероятно, тем, кто развивает проект «философии истории» или активно занимается цивилизационным анализом, работа покажется более чем важной. Дело в том, что ставка Фёгелина на собственное «теоретизирование», разумеется, оправдалась, но скорее в среднесрочной перспективе и не в тех масштабах, на которые, видимо, рассчитывал сам мыслитель. На сегодняшний день, о чем мы скажем ниже, если не брать в расчет отдельных учеников Фёгелина, иногда делаются отдельные попытки актуализировать тем или иным образом его наследие, но они не выглядят впечатляющими, и фактически авторы, которые к нему обращаются, не столько развиваются философию Фёгелина, сколько используют ее в собственных интересах.

Писать о фёгелиновской «Новой науке политики» в теперешней ситуации сложно по двум причинам. Во-первых, автор предисловия В. В. Прокопенко к работе «Новая наука политики: введение» подробно написал о книге. Его статья условно делится на три части: ученый предлагает подробную биографию Эрика Фёгелина, далее раскрывает ключевые темы книги и затем обращается к условной «полемике» Фёгелина и трех немецкоязычных эмигрантов в США — правоведа и впоследствии политического ученого Ганса Кельзена, а также политических философов Лео Штрауса и Ханны Арендт. Со всеми тремя Фёгелина связывали разные отношения: дружба со Штраусом, латентный конфликт с Кельзеном (который был научным руководителем диссертации Фёгелина, но позже их пути разошлись) и довольно холодная, но регулярная коммуникация с Арендт. Статью определенно стоит прочесть даже тем, кто не собирается освоить «Новую науку политики». К счастью, даже учитывая подробное предисловие Прокопенко, у нас есть что сказать о предмете. Главная же причина того, почему о книге непросто писать — и это во-вторых — политическая философия самого Фёгелина. Прокопенко указывает, что философа сложно читать во многом потому, что тот пытается изобрести собственный язык. Последнее — абсолютная правда: философия Фёгелина была слишком амбициозным проектом: он решил переизобрести всю политическую науку заново и переопределил практически все термины, активно использовавшиеся в академии. Вместе с тем этот язык не так уж и сложен разобрать, если освоить ключевые понятия, используемые автором. В дальнейшем, во-первых, мы попробуем раскрыть содержание книги, попытавшись разъяснить смысл используемой Фёгелином уникальной терминологии, а во-вторых, постараемся вкратце реконструировать контекст американской политической науки середины XX столетия, чтобы показать, на что Фёгелин претендовал и в чем не преуспел.

Стоит сразу оговорить, что перевод текста очень хороший. Этому переводу, как и любому другому, также можно было бы задать некоторые вопросы, но эти

вопросы никак не повлияют на его общее высокое качество. Например, в русском издании слово «modernity» перевели как «модерн», и лично я приветствую этот вариант куда больше, чем вдруг ставшую у нас невероятно популярной «модерность» (именно так некоторые переводчики теперь переводят термины «modernity» и «modern»). Но, вероятно, это можно было бы где-то оговорить, чтобы читатель не лез в оригинал сверять слова. Также автор предисловия отмечает, что по причине уже существующих переводов Фёгелина было принято решение оставить в русском «representation» как «представительство». На мой взгляд, это не слишком удачный выбор. Да, «репрезентация» в гуманитарных науках имеет множество значений — от политического спора между Сартром и Фуко с Делёзом о роли интеллектуала как представителя кого-то, от чьего лица он (не) говорит, и до постколониальных исследований о том, как те или иные «группы» репрезентируются в культуре и не получают права говорить от собственного лица. Однако, как было сказано выше, Фёгелин наделяет существующие научные понятия собственным пониманием, и поэтому ничто не мешает рассуждать о «репрезентации» (а не представительстве) в том узком значении слова, в каком его понимал конкретный мыслитель. Кроме того, иногда переводчик использует термин «эра», хотя лучше было бы называть это «веком» или «эпохой», или же употребляет термин «лидер», хотя определено имеется в виду «вождь» (Фёгелин, 2021: 243, 244). Ниже будет понятно, о чем именно пойдет речь. Все это, однако, не портит впечатления от русского варианта текста.

Писать о «Новой науке политики» можно разными способами. Прокопенко выбирает достаточно простой путь для раскрытия содержания книги, выделяя обширные темы работы и используя ту последовательность, которую выбрал сам Фёгелин (Прокопенко, 2021: 40–46). Этих тем, по мнению Прокопенко, четыре. Две раскрываются во введении: во-первых, это критика актуальной для середины XX века западной политической науки, находящейся в кризисе из-за своей «позитивистской» (в кавычках, потому что этот термин трактуется Фёгелином очень широко) ориентации, и во-вторых, «ретеоретизация» — попытка спасти эту политическую науку путем ее обновления за счет классической политической философии Платона и Аристотеля. В-третьих (разделы 1–3), это идея «представительства». Наконец, в-четвертых (разделы 4–6), это тема гностицизма. Это главный для Фёгелина термин, который философ опять же наделяет очень специфическим значением. В книге всего шесть разделов, и оказывается, что на этом темы, поднимаемые в ней, заканчиваются.

Позвольте нам предложить другой способ раскрыть содержание этой работы. Давайте посмотрим, что про этого философа (я намеренно использую данное слово) говорят современные исследователи. В частности, в свежем ридере, который вышел в рамках работы группы последователей Фёгелина и где представлены отрывки из совершенно разных произведений философа, его составители перечисляют шесть ключевых тем творческого наследия политического теоретика. Редакторы Чарльз Эмбри и Гленн Хьюз называют их также «принципами»

и отмечают, что они были сформулированы в «Новой науке политики» и нашли свое продолжение в более зрелых работах (Embry, Hughes, 2017)¹. Во-первых, это противостояние позитивистским социальным наукам. Во-вторых, это требование восстановить мудрость прошлого (Платона). Вместо того чтобы отбрасывать накопленную мудрость веков как примитивную или нерелевантную, Фёгелин пытался ее вернуть и сделать основой «новой науки политики». В-третьих, это своеобразная «философия сознания» (*philosophy of consciousness*), которая полнее всего представлена в более поздней работе — «Анамнезис» (Voegelin, 2002), но чьи зачатки определенно можно найти и в «Новой науке политики». В-четвертых, это анализ того, что сам Фёгелин назвал исторической «дифференциацией сознания». На самом деле Эмбри и Хьюз уделяют теме «сознания» слишком много внимания, и очевидно четвертый «принцип» является составной частью третьего. В-пятых, это фёгелиновский диагноз «современности» (*modernity*), описываемой как гно-стицизм. Наконец, в-шестых, это понимание «философии» Фёгелином, основанное на античном знании. И вновь мы возвращаемся к забытой мудрости. Адекватно ли это описание «ключевых принципов» философии Фёгелина? Если речь идет именно о философии, то скорее да, хотя и с определенными оговорками. Если же мы говорим о политической теории, то нет. Поэтому давайте попробуем обратиться к другому мнению.

Однако здесь необходимо сделать важный комментарий. Политический теоретик Джордж Кейтиб однажды отметил, что Ханна Арендт и Лео Штраус являются самыми знаменитыми и влиятельными политическими философами из всех тех, кто эмигрировал в США из Германии. Отдельно Кейтиб упоминает Герберта Маркузе, но отмечает, что его влияние было скорее «идеологическим», нежели интеллектуальным и академическим. Это мнение Кейтиб высказал в сборнике, посвященном наследию Арендт и Штрауса (Kateb, 1997: 29). Фёгелин в тексте Кейтиба не упоминается, но изредка возникает на страницах сборника. Означает ли это, что последний уступал Штраусу и Арендт? Да, абсолютно. Но дело не в том, что он многое упустил в Америке, так как часто перемещался из Австрии и Германии во Францию и США, затем снова в Германию и после снова в США. Это как раз, наоборот, должно было повлиять (и повлияло) на связи и тем самым на узнаваемость. Дело именно в философии Фёгелина, которая оказалась менее привлекательной для американской аудитории. В отличие от него Штраус и Арендт смогли найти ключики к умам и сердцам молодых студентов, многие из которых стали их последователями и состоялись как уважаемые исследователи.

Политический ученый Гэбриэл Алмонд в 1990 году констатировал, что в американской политической науке наметился раскол, или, если воспользоваться терминами самого автора — разделение — на «школы» и «секты». Арендт и Штраус

1. При этом политический теоретик Марк Лилла, обсуждая наследие Фёгелина в контексте его значения для консерваторов, отмечает, что более позднее творчество Фёгелина периода «Анамнезиса» (1966) и заключительных томов «Порядка и истории» тематически ощутимо отличается от «Новой науки политики» и первых томов «Порядка и истории» (Lilla, 2016).

ожидаemo появляются на страницах сборника статей Алмонда (Almond, 1990). Фёгелин — нет, что само по себе ярко свидетельствует о том, насколько прижилась его «новая наука политики» в той области знания, которая в США называется *political science*. Но речь (пока) не об этом. Влияние Штрауса и Арендт было разным по своему качеству, но не по широте, и оба создали то, что можно было бы назвать даже не столько «школой» (в случае Штрауса и «школой» тоже), сколько «сектой», конечно, в данном случае без негативных коннотаций данного термина. Влияние Фёгелина оказалось более узким, но не менее сильным. Так что у него тоже есть собственная «секта». Большинство этих ученых находится в Батон-Руж, штат Луизиана, где Фёгелин, кстати, и писал «Новую науку политики». Хотя он в итоге оставил это место, центр имени Фёгелина был открыт в 1987 году именно там². Там же занимались подготовкой полного собрания сочинений философа; там же и постоянно публикуются серии книг, связанных с его именем (например, «Eric Voegelin Institute Series in Political Philosophy»).

Зачем все это было сказано? Мы хотим сказать, что последователи мыслителя пишут про него отличные книги и даже занимаются исторической реконструкцией его повседневного быта в Батон-Руж (Puhl, 2005). Но, будучи «сектантами», они определенно не обладают необходимой для исследователя критической дистанцией. К таким книгам относятся работы Барри Купера и Элиса Сандоза (Cooper, 1999; Sandoz, 1999). Поэтому для первого ознакомления с второисточниками мы рекомендовали бы обратиться к более беспристрастным исследованиям обзорного характера. В частности, к работе Майкла Federici. Книга написана с симпатией, но в ней содержится и раздел с критикой философии Фёгелина, которой, к слову, было немало. Книга — небольшая, написанная доступным языком, но содержательная. Интеллектуальная биография, написанная Federici, вышла в 2002 году в серии «Библиотека современных (modern) мыслителей» (Federici, 2002), в рамках которой также были опубликованы работы о Роберте Нисбете, Людвиге фон Мизесе, Майкле Оукшоте, Бертране де Жювенеле и т. д. — одним словом, жизнеописания знаменитых, но не в самых широких кругах, интеллектуалов. Нельзя не отметить, что по иронии Фёгелин, всю жизнь бунтовавший против современности (modernity), сам оказался вписан в число важных «современных мыслителей».

Итак, мы вернулись к альтернативному мнению относительно наследия Фёгелина. Federici считает, что «вклад Фёгелина» в политическую науку и академические исследования может быть сведен к семи главным компонентам: 1) реставрация политической науки через критику позитивизма; 2) диагноз кризиса Запада; 3) критический анализ тоталитаризма и современных (modern) идеологических движений; 4) переоткрытие символов и возрождение опытов порядка; 5) философия истории; 6) «философия сознания»; 7) философская рамка открытой трансценденции, которая (рамка) может быть использована для реставрации порядка Западной цивилизации (Federici, 2002: 183). К сожалению, читателю, незна-

2. См. официальную страницу: <https://sites01.lsu.edu/faculty/voegelin/>.

комому с философией Фёгелина, мало что говорят четвертый, шестой и седьмой пункты, а если он думает, что догадался, о чем здесь идет речь, то совершенно точно промахнется. Ирония в том, что то же будет и с другими пунктами: если их не прояснить, то философия Фёгелина останется загадкой. Но прежде чем перейти к содержательному комментарию, отметим, что третий пункт описан не вполне корректно, потому что «тоталитаризм» как понятие был изобретением Ханны Арендт, и Фёгелин, хотя и употреблял этот концепт по слуху, никогда не делал на этом акцент, обсуждая скорее «гностических активистов». Опять же все эти пункты могут быть переописаны, а их последовательность может быть изменена. И здесь я прошу читателя запомнить эти компоненты, потому что мы к ним еще вернемся. Однако — и это самое главное — все эти темы присутствуют в «Новой науке политики».

Давайте же проясним ключевые термины, имеющие важное значение для теории Фёгелина. Поэтому мы постараемся раскрыть смысл «Новой науки политики» именно через прояснение терминологии, которая щедро разбросана по страницам работы. Иными словами, мы бы хотели привести некоторый «беспорядок» концепции Фёгелина к более или менее строгому аналитическому виду, то есть к «порядку». Вскоре читатель сможет посудить сам, насколько это у нас получилось. Можно сказать, что для понимания книги Фёгелина достаточно прочитать первые три главки первого раздела, второй, четвертый и шестой разделы. Именно в них сосредоточены главные термины — модерн, гностицизм, репрезентация, символы, порядок, философия истории, «философия сознания», трансценденция и имманенция, природа человека, душа (*psyche*), существование, самоинтерпретация, политическое общество, цивилизация. Остальные разделы и главки — иллюстрация тезисов философа. Введение же — это обоснование того, почему Фёгелин вдруг придумывает «новую науку политики». Ответ здесь простой: позитивизм неадекватен. Дело в том, что позитивисты либо копят бессмысленный материал, либо неадекватно интерпретируют материал уже осмысленный. Макс Вебер, тоже позитивист, с точки зрения Фёгелина, в своей ориентации на научную объективность «шел, да не дошел» к пониманию истины научного знания, упустив в своей социологии религии «дореформенное христианство». Фёгелин собирается это сделать вместо Вебера.

Итак, главный термин Фёгелина — «современность» (*modernity*). Мы называем «современность» его главным термином потому, что он одним из первых ввел это слово как категорию политической теории. Если не считать теорию модернизации 1960-х годов, то «современность» как насущная проблема социальной теории приобрела остроту несколько позже. Так, шведский социолог Йоран Терборн вообще заявляет, что «в английском социальном дискурсе понятие “модерн” (*modernity*) редко использовалось вплоть до появления постмодернизма в 1980 г.» (Терборн, 2015: 86). Мы, конечно, знаем, что это не совсем так, и не придерживаемся столь радикальной точки зрения, но все же следует признать, что с модерном политический философ Фёгелин социальных теоретиков несколько опередил. Фёгелин

и Штраус сделали «современность» одним из главных предметов своих теорий, хотя и в отрицательном значении. «Современность» была мишенью для резкой критики окружающего философов мира. Релятивизм, историцизм, позитивизм (и его форма сциентизм) — все это было «современным» и вытесняло забытую мудрость Платона, некогда понявшего истину и, вероятно, передавшего ее тем или иным способом (зашифровав в тексте, сказав устно или как-то еще). Политический теоретик Тед Ви МакАллистер назвал свою книгу, посвященную этим двум авторам, «Бунт против современности. Лео Штраус и Эрик Фёгелин в поисках постлиберального порядка» (McAllister, 1995). В самой книге МакАллистер сразу отмечает, что термин «современный» «в наши дни приобретает все больше и больше значений» (McAllister, 1995: 13), и, собственно, предлагает различные значения слова, обращаясь затем к тому, что понятие могло означать в контексте рассуждений Штрауса и Фёгелина.

Упоминавшийся выше последователь Фёгелина Эллис Сандоз в конце пересмотренного издания фёгелиновской книги «Автобиографическое размышление» на почти сорока страницах разъясняет используемую им терминологию. Там есть буквально все. Кроме одного: современности. Между «*Miseria humanae conditionis*» (отчаяние человеческого существования) и «*Modus deficiens*» (модус неполноценности) нет ничего (Voegelin, 2011: 168). Отчасти это упощение связано с трудностью, о которой я скажу позже. Пока же можно определить «современность» (модерн) для Фёгелина как современную историю, хронологически начинаяющуюся с 1500 года (Фёгелин, 2021: 277–278). Однако эта история для него начинается раньше (с XII века) и к середине XX столетия приводит всю западную цивилизацию к кризису. В книге Federici, который также предлагает в конце исследования словарь фёгелиновских терминов, к счастью, мы найдем хотя бы понятие «Парадокс современности». Смысл термина заключается в одновременности заката и прогресса цивилизации, когда наука и технология развиваются, что выражается в комфорте, здоровье и образовании, но наступает духовный упадок, отражающийся в деструктивных войнах, идеологически мотивированных материализмом (Фёгелин, 2021: 228). «Несомненно, цивилизация может одновременно и продвигаться вперед, и приходить в упадок, но это не навсегда» (Фёгелин, 2021: 276).

К слову, Штраус возводил «Современность» к политической философии Никколо Макиавелли. Эта современность, двигаясь тремя волнами (Макиавелли — Руссо — Ницше), привела Запад к кризису (Штраус, 2000). Британский философ Майкл Оукшот усматривал истоки актуального для середины XX столетия кризиса современности в рационализме, философски восходящем к Декарту, а политически — к Макиавелли и далее к Марксу (Оукшот, 2002). Фёгелин решил копать гораздо глубже. Для него источники современности лежали в «гностицизме», его можно считать синонимом модерна. Ключевая фигура, ответственная за то, что человечество сбилось с истинного пути, — монах Иоахим Флорский, решивший, что рай, царствие небесное, мир мечты и т. д., к которому политическое общество

стремится по определению, возможно на земле, то есть буквально осуществимо в этой жизни. Достаточно лишь переждать, пережив два этапа истории — царство сына, царство отца — чтобы прийти в царство духа, третий и заключительный этап истории, когда все «люди (безусловно, все христиане, но и, как в одном месте уверяет Иоахим, остальное человечество тоже, включая иудеев, которые к тому времени будут обращены) станут „созерцателями“, проживающими свою жизнь исключительно посредством ума. <...> здесь и птицы, долетающие до самых небес, и яркое солнце, и всеобщее богатство, и радость вкушения пищи на библейских пастбищах, и многое другое» (Нисбет, 2007: 164–165).

Чтобы пойти дальше, необходимо назвать два других понятия, используемых Фёгелином, — трансценденцию и имманенцию. Первое — то, ради чего существует человечество, неописуемый идеал, истина, второе — отрицание этого идеала и утверждение, что идеальный порядок, никоим образом независимый от Бога, можно построить в посюстороннем мире, причем собственными силами. Здесь же можно вернуться к теории презентации, выражаемой в теории символов — это форма, посредством которой политические общества приобретают опыт существования в истории. Иными словами, существует некая реальность, отражающаяся в политическом порядке конкретного общества, и люди (в частности, конкретные мыслители, еретики-харизматики, политические «активисты») стремятся осуществить символическую самоинтерпретацию этого порядка. Приставка «само» означает в данном случае то, что философы описывают «реальность», участниками которой сами и выступают. Задача наиболее прозорливых авторов — разглядеть эти символы и осознать, что они согласуются с реальностью, соответствующей трансцендентной истине, а не являются выдумкой, то есть «теориями», не имеющими никакого отношения к эмпирическому материалу (например, «исторический материализм», регулярно критикуемый Фёгелином, относится к подобным «теориям»).

Фёгелин то и дело использует термин «философская антропология», которая, однако, ожидаемо не имеет ничего общего с авторами, официально известными как «философские антропологии». В молодости философ хотел построить одну работу на философии Макса Шелера, но отказался от этой затеи (Прокопенко, 2021: 21) и впоследствии решил придумать собственную философскую антропологию. Для Фёгелина предмет философской антропологии — неизменная природа человека, которая тождественна душе (*psyche*) (Embry, Hughes, 2017). Благодаря Платону стало известно, что человеческая душа бессмертна, и потому отражает порядок политического общества как таковой. Либо душа стремится к принятию трансцендентной истины, как то было в раннем христианстве, либо истина души вытесняется имманентизмом гностицизма. Это то, что мы находим в «Новой науке политики». В более поздних работах, в частности «Анамнезисе», Фёгелин раскрывает эти положения (Voegelin, 2002). Самый элементарный факт человеческого существования состоит в том, что оно представляет собой воплощенное участие в реальности. Это участие в конкретных проявлениях формируется сознательным поиском смысла существования. Вместе с тем сознание, стремящееся к самоопре-

делению, не является такой же сущностью, как воспринимаемые чувствами внешние объекты. У Фёгелина это, как отмечают Эмбри и Хьюз, «напряжение осознания», ведомое желанием к познанию (Embry, Hughes, 2017: xviii). И здесь Фёгелин обращается к заимствованному у Платона термину «*metaxy*», в русских переводах известному как «между» (Платон, 1993: 112–113 [202b–203a])³. Этим понятием Фёгелин характеризует сознательное существование, а человеческую жизнь — как имеющую «метаксический», или посреднический, характер — между тем миром и этим. Необходимо заметить, что Платона Фёгелин узнал впервые в интерпретации круга Стефана Георге в Вене, что, кажется, определило взгляд философа на его наследие⁴.

По мнению Фёгелина, в правильном, то есть в раннем христианстве не было гностиса. Это правда, что христиане, зная истину души, желали освободиться от посюстороннего мира, то есть жили, смиренно ожидая конца истории и понимая, что церковь — лишь временное сообщество, подготавливающее человечество к великому событию. Гений Августина был в том, что его видение символов соответствовало реальности. То есть Августин отрицал веру в то, что тысячелетнее царство возможно буквально, а Второе пришествие, которое бы изменило историю, отбросил как «нелепое». Целью всех людей, выбравших в своем сердце любовь к Богу, было завершить паломнический путь в этом мире, чтобы возрадоваться вместе с Христом на небесах. «Августинианская концепция церкви, не подвергаясь существенным изменениям, оставалась исторически единственной до конца Средневековья» (Фёгелин, 2021: 240). Если переводить это на язык Фёгелина, то Августин в понимании философии истории стремился к трансценденции.

3. Фёгелин различает термины «*metaxy*» и «*methexis*». Несмотря на то что их объединяет общая приставка, это слова с разными корнями. «*Metaxy*» — онтологическое состояние разорванности между земным и трансцендентным; «*methexis*» — пребывание или участие человеческого рода в состоянии «*metaxy*». В «Пире» у Платона речь идет именно о «*metaxy*». (Я благодарю Максима Фетисова за то, что он обратил на это внимание и предложил сделать примечание.)

4. С этим термином вышел забавный курьез в современной философии культуры и социальной теории. В 2010 году два европейца, решивших упразднить постмодернизм как культурную доминанту, предложили описывать возникающую культуру как «метамодернистскую», что предполагало осцилляцию между иронией и серьезностью, новым романтизмом и новую искренность. Чтобы как-то подкрепить свое заявление, метамодернисты обратились за помощью к теории Эрика Фёгелина и неосторожно заявили, что термин «мета» соотнесен с термином Фёгелина «*metaxis*», при этом в цитате Фёгелина, которую предлагают авторы, используется слово «*metaxy*» (Vermeulen, van den Akker, 2010). В 2017 году авторы вернулись к затеи, но уже ссылались на то, что понятие употребил первым Платон в диалоге «Пир», и упомянули, что Фёгелин тоже использовал слово, чтобы описать состояние человеческой души, но сильно сместили акценты. Теперь Фёгелин упоминался, но между делом, а не как составная часть «теории». Все это авторы сделали лишь для того, чтобы тут же заявить, что прибегают к понятию «не для описания человеческого существования, и уж тем более не для того, чтобы обусловить ту или иную модель процесса творения — мы прибегаем к нему, чтобы постичь воспримчивость эпохи метамодерна, чтобы понять, что означает жить в XXI веке и познавать его на собственном опыте» (ван ден Аkker, Вермюлен, 2019: 62; Павлов, 2019). Иными словами, метамодернисты заявляют буквально, что нашли слово, которое есть у Платона и которое получило теоретическое развитие у Фёгелина, но сами они используют его абсолютно своевольно и, можно добавить, по любым меркам неадекватно. Между тем это основная смысловая приставка в их концепции.

Проблема возникла тогда, когда «Иоахим порвал с августинианской версией христианского общества, когда применил к ходу истории символ Троицы» (Фёгелин, 2021: 243).

Отвергнув реальность и тем самым совершив поворот к имманенции, Иоахим, по мысли Фёгелина, все испортил. Он изобрел целый комплекс символов, ставший самоинтерпретацией политического общества вплоть до середины XX века. Первый символ — концепция истории как последовательного течения трех эр, из которых третья станет последней — Третьим царством. Этот символ мы находим у гуманистов и энциклопедистов, в гегелевской диалектике движения духа, в трех стадиях развития человечества у Конта, в историческом материализме и в национал-социализме Третьего рейха (но это особый случай). Второй символ — символ вождя, обнаруживаемый Фёгелином в параклитических (от греч. *parakletos* — заступник, утешитель) фигурах позднего Средневековья, Ренессанса и Реформации, в государстве Макиавелли, в сверхчеловеке Кондорсе и т. д., пока парадигмические лидеры не воцарились в новых царствах. Третий символ, иногда совпадающий со вторым, — это «пророк новой эры». По мере секуляризации (ухода от трансценденции к имманенции) пророки-гностики (например, сам Иоахим) превращаются в гностиков-интеллектуалов (Гегель). Последние становятся главными действующими лицами актуальной цивилизации. Сам Иоахим рассчитал, что вторая эра закончится к 1260 году. Так, лидером первой эры был Авраам, второй — Христос; а к 1260 году должен был явиться Царь Вавилона (*Dux e Babylone*), «дукс» или «вождь» Третьего царства (Фёгелин, 2021: 243). Четвертый символ — «братство автономных личностей», когда люди будут преображенены в граждан нового царства без опосредования благодатными таинствами вождей (Фёгелин, 2021: 244–247).

Стоит сказать, что гнонис в современности проявляется по-разному: он может принять форму проникновения в тайну творения, как у Гегеля или Шеллинга, форму принятия божественной субстанции человеческой душой, как у сектантских вождей, форму «искупления», как у «активистов» типа Конта, Маркса и Гитлера (Фёгелин, 2021: 265). Последний случай — особенный. С точки зрения Фёгелина, национал-социализм непосредственно восходит к мистицизму Иоахима Флорского через анабаптистское крыло Реформации и через «иоаннитское христианство» Фихте, Гегеля и Шеллинга. На фоне Конта и Маркса осуществление троичной схемы в Первом рейхе (до 1806 г.), Втором рейхе (до 1918 г.) и Третьем рейхе выглядит плоским. Проблема была в том, что в триаде появился случайный националистический элемент. Появился он потому, что символ «Третьего рейха» был рожден не философскими размышлениями, но взят из «сомнительных литературных источников», в частности из работы Мёллера ван ден Брука. От этого, впрочем, Гитлер не перестает быть гностиком-активистом (Фёгелин, 2021: 248).

Необходимо прояснить, что имманенция, хотя и может быть составной частью гностицизма, необязательно идет с ним рука об руку. В частности, Фёгелин, разобрав случай гностической революции пуритан, обращается к политической философии Гоббса, чтобы дать ей, как это кажется самому Фёгелину, единствен-

но верную интерпретацию (все остальные — неправильные, что, конечно, сегодня выглядит наивным и амбициозным утверждением). И здесь мы встречаемся с «философской антропологией», предметом которой является природа человека или его душа (*psyche*). Так, Гоббс, «величайший психолог всех времен», с точки зрения Фёгелина, «диагностировал порочный элемент страсти в религиозности пуританских гностиков» (Фёгелин, 2021: 346). Гоббс был вынужден описать универсальную природу человека через его страсти, и, следовательно, ему ничего не оставалось, кроме как концептуализировать такой социальный порядок, в котором люди, не зная «любви к Богу» (*amor Dei*), руководствовались лишь своими интересами, основанными на страстиах. Тем самым Гоббс, отбросив «*amor Dei*», оставил в своей теории только «любовь к себе» (*amor sui*) как организующее средство человеческой души. Поскольку для Гоббса в душе не было источника трансцендентного порядка, порядок пришлось искать в имманенции: страх как самая сильная страсть послужил причиной заинтересованности каждого индивида в организации общества. Так, Гоббс, хотя и не предсказывал рай на земле (то есть не был гностиком), все же создал комплекс символов, «в котором выразился радикально-имманентный компонент политики модерна», сопоставимый с концепцией Иоахима (Фёгелин, 2021: 353).

Важно, что речь идет именно о модерне/современности, потому что для Фёгелина гностицизм все же мог принимать формы трансценденции, как в случае религиозных движений поздней античности (собственно, скорее традиционное понимание термина [Йонас, 1998]), но начиная с Иоахима Флорского, обретает формы имманенции. Гностицизм модерна претендует на то, что он полностью признал реальность и не принимает никакой критики в свой адрес: законы истории, непременно описываемые гностиками вслед за Иоахимом Флорским в трех стадиях, неумолимо ведут человечество к лучшей реальности — цели развития или прогресса. Слепая уверенность в познании истины — такое понимание термина «гностицизм» предлагает Эллис Сандоз (Voegelin, Sandoz, 2011: 160). Но, возможно, более удачным будет определение Federici, который предлагает такую же дефиницию, с тем лишь исключением, что добавляет к ней слово «идеология» (Federici, 2002: 219).

Это слово важно, потому что мы встречаем у Фёгелина термин «вторичные идеологии», то есть те, что стремятся сохранить существующий порядок, сражаясь с радикальными гностическими идеологиями типа марксизма, — например, консерватизм или традиционализм. Однако Фёгелин отвергает и такие идеологии потому, что они хотя и стремятся сохранить истину, но отделяют символы от реального опыта существования. Первичными идеологиями, ставшими возможными в силу развития гностицизма (в левых и правых формах активистских политических движений), являются позитивизм, сциентизм и т. д. Хотя Фёгелин отверг в итоге «вторичные идеологии» типа консерватизма, сам он некоторые времена заигрывал с американскими правыми в первой половине 1950-х гг. (McAllister, 1995: 270–272). В любом случае главной мишенью для него всегда оставался гностицизм:

«Единственным гностическим активистским движением, добившимся примечательного успеха, было национал-социалистическое движение на ограниченной национальной основе» (Фёгелин, 2021: 341). Реально существовавший «коммунизм» (или «советская угроза») для Фёгелина был связан скорее с не вполне адекватной самоинтерпретацией западной цивилизации (Там же: 342–343).

Таково содержание книги Фёгелина. Давайте же теперь взглянем, удалось ли философу доказать городу и миру, что его «новая наука политики» смогла отодвинуть на второй план американскую (сциентистскую) политическую науку вообще и политическую теорию в частности. То есть, с одной стороны, Фёгелин выступал против «позитивизма», и здесь и он, и упоминаемые выше Лео Штраус и Ханна Арендт были с ним согласны, с другой — он вступал в конкуренцию с другими немецкими эмигрантами. Я бы описывал отношения последних как «споры отсутствующих» в определенном интеллектуальном контексте. Как отмечает британский политический теоретик Бхику Парех, доролзовская политическая философия, считавшаяся «мертвой» или же находящейся в упадке в период 1950–1960-х гг., воспринималась так потому, что между первоклассными мыслителями не было диалога. Каждый считал себя «гуром» и занимался своей темой, как бы не замечая коллег: «Крайне редко кто-то из звезд первой величины того времени вступал в критический обмен мнениями с другими теоретиками или вообще принимал во внимание их позицию» (Парех, 1999: 480). Штраус, Арендт, Фёгелин — все они были такими «гуром».

Что ж, Штраус не опубликовал своих заметок о «Новой науке политики», так что диалог философов носил частный характер. Про содержание писем Штрауса можно прочесть как раз у Прокопенко (Прокопенко, 2021: 54–56). Когда по просьбе редакторов издания «The Review of Politics» Фёгелин писал рецензию на «Истоки тоталитаризма» Арендт (Voegelin, 1953), то он, конечно, соблюдая правила приличия и рецензирования, поступил не слишком честно. После дежурных похвал в адрес Арендт он приступил к изложению своих идей. Одним словом, Фёгелин использовал предоставленную ему возможность и под видом рецензии сделал рекламу своей концепции, которая еще не была облечена в форму книги. Про реакцию Арендт Прокопенко пишет, что «адекватным ответом на критику Фёгелина это трудно назвать» (Прокопенко, 2021: 63). Однако что в таких обстоятельствах можно было ожидать от Арендт? Фёгелин затащивал ее на территорию метафизики, желая обсуждать неизменную природу человека. Арендт вежливо поблагодарила рецензента за текст, но не поддалась на уловку, чтобы начать всерьез обсуждать ранние формулировки концепции Фёгелина. Вместо этого она сделала вид, будто в самой книге не прояснила метод своей работы и решила эксплицировать его на этот раз как можно более ясно. На этом полемика была закончена. Правда, спустя десятилетие Арендт между делом щелкнула Фёгелина по носу, посмеявшись над тем, что тот видел в средневековых ересях истоки всех бед XX столетия, хотя и не дала ссылку на «Новую науку политики» (Павлов, 2018: 22).

Огромная рецензия Ганса Кельзена не была опубликована, хотя Фёгелин получил ее через общих знакомых. Текст вышел лишь в 2005 году (Kelsen, 2005), и можно утверждать, что вся критика Кельзена более чем уместна и адекватна. Он ловит Фёгелина на противоречиях, неточностях, обвиняет в непонимании философии некоторых мыслителей (в частности, Маркса), в подгонке материала под собственную концепцию и т. д. В целом Кельзен утверждает, что концепция несостоятельна, и вместо «новой науки» читателю предлагают всем известные старые истины. Все это сопровождается ссылками и обширными комментариями. Поэтому, если вдруг кому-то не нравится концепция Фёгелина, возможно, он с удовольствием прочитает ее сокрушительную критику. Главное же, что делает Кельзен, так это утверждает, что сам Фёгелин является «идеологом» (предлагая читателям обычную теологию, утверждающую, что политическое общество отражает божественный порядок), а вовсе не объективным самоинтерпретатором политического общества. Добавим к этому, что есть некоторая ирония в том, что сам Фёгелин страдает слабостью к троичным конструкциям, хотя этого не эксплицирует. Ниже я напишу про то, что он мыслит макроцикл цивилизации тремя периодами. В другом месте он утверждает, что обновление политической науки происходит в периоды кризиса. Тремя наиболее масштабными кризисами в истории западного мира были: кризис греческой цивилизации, когда Платон и Аристотель создали политическую науку; кризис римской цивилизации и христианства, в результате чего появился трактат Августина «О граде Божьем»; кризис современной европейской цивилизации, отразившийся в гегелевской философии права и истории. В этот ряд Фёгелин не слишком скромно, но записывает и себя, предлагая новую науку политики.

Итак, «новая политическая наука» Фёгелина оказалась несостоятельной, но, возможно, именно благодаря амбициям автора она важна как веха в истории политической теории XX столетия. Наверное, каждый читатель сам сможет решить для себя, как относиться к столь экстравагантной концепции. Мы же вернемся к «вкладу Фёгелина» в политическую науку, описанному Майклом Федерики. Напомню, что это: 1) реставрация политической науки через критику позитивизма; 2) кризис Запада; 3) критика тоталитаризма; 4) переоткрытие символов; 5) философия истории; 6) «философия сознания»; 7) открытие трансценденций, способной реставрировать Западную цивилизацию. Теперь мы бы перекомпоновали эти элементы так: 2) Западная цивилизация находится в кризисе. Почему? Фёгелин мыслит даже не цивилизационно, а эпохально — циклами всемирно-исторических масштабов. Всю историю он описывает как макроцикл, в котором дохристианские цивилизации образуют восходящую ветвь, затем следует кульминация с появлением Христа, после чего гностическая цивилизация, исказившая христианство, становится нисходящей ветвью (Фёгелин, 2021: 323). Гностицизм распространяется с Запада на Восток в виде «вестернизации», и можно ожидать «взрыв» (поскольку не ясно, как будут реагировать на «гностический погром» китайская, индийская, исламская цивилизации, последствия такого столкновения могут быть катастрофическими), хотя в объективном времени его предсказать нельзя (Фёгелин, 2021:

325). 6) На этом же этапе работает и его «философия сознания», раскрыта в более поздних работах мыслителя, но представленная и в «Новой науке политики»: трансцендентная истина души имманентизируется гностицизмом. 3) Сам же гностицизм в XX веке приводит к разрушительным тоталитарным политическим движениям, наиболее экстремальной формой которых стал национал-социализм. 4) Фёгелин возвращает истинное значение утраченных символов и реставрирует человеческий порядок; 5) посредством собственной философии указывает смысл и верное направление истории (в противовес другим версиям философии истории — в частности, «осевому времени» Ясперса); 7) в сторону трансценденции, которая должна стать основой реставрации порядка Западной цивилизации. 1) Все это он осуществляет, оспаривая американскую политическую науку, построенную на позитивизме, и провозглашая необходимость создания *новой, истинной* политической науки, построенной на принципах Платона (*episteme politike*), Аристотеля и Августина.

Политический теоретик Данте Джермино (впоследствии автор предисловия к переизданию «Новой науки политики») в 1963 году пытался возродить политическую теорию, указывая, что та должна быть очищена от идеологических влияний. В конце текста Джермино называет философов, которые противостоят идеологизации политической теории. Кроме Арендт, Штрауса и некоторых других он называет Фёгелина, не сккупясь на комплименты в адрес последнего: «Хотя было бы преждевременно рассуждать о его месте в истории политической мысли, вполне возможно, что со временем Фёгелин будет оценен как величайший политический теоретик нашего столетия и один из величайших во все времена» (Джермино, 2008: 361). Фёгелин вообще «спас философскую антропологию (или этическую теорию) и теорию правильного политического порядка (*ariste politeia*) Платона и Аристотеля, творчески применяя их прозрения к нынешним условиям; при этом он решительным образом пошел дальше греческих основоположников политической науки в рассуждении о третьем топосе классической „политической науки“, то есть философии истории» (Джермино, 2008: 362). Что ж. Кредит доверия был большой. Но, повторюсь, сама политическая теория Фёгелина не получила широкого влияния именно в контексте политической науки, но была признана скорее историками политической философии: разные исследователи сегодня стараются связать наследие Фёгелина с континентальной философской традицией (Trepanier, McGuire, 2011), или вообще сравнивать его с философией постмодерна (Petrakis, Eubanks, 2004). Не так уж и плохо. Как историки мысли мы счастливы приветствовать «Новую науку политики» на русском языке.

Литература

ван ден Аkker Р., Вермюлен Т. (2019). Метамодернизм. Историчность, Аффект и Глубина после постмодернизма / Под ред. Р. ван ден Аkker; пер. с англ. В.М. Липки. М.: РИПОЛ классик.

- Джермино Д. (2008). Возрождение политической теории // Павлов А. В. (ред.). Политическая теория в XX веке. М.: Территория будущего. С. 336–465.
- Йонас Г. (1998). Гностицизм (гностическая религия). СПб.: Лань.
- Нисбет Р. (2007). Прогресс: история идеи. М.: ИРИСЭН.
- Оукиот М. (2002). Рационализм в политике // Оукиот М. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс. С. 7–37.
- Павлов А. В. (2011). О тирании и искусстве письма // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. С. 115–124.
- Павлов А. В. (2018). Арендт-лиса // Арендт Х. Опыты понимания, 1930–1954. Ставновление, изгнание и тоталитаризм / Пер. с англ. Е. Бондал, А. Васильевой, А. Григорьева, С. Моисеева. М.: Изд-во Института Гайдара. С. 7–24.
- Павлов А. В. (2018). Образы современности в XXI веке: метамодернизм // Логос. Т. 28. № 6. С. 1–19.
- Парех Б. (1999). Политическая теория: политico-философские традиции // Политическая наука: новые направления / Пер. с англ. М. М. Гурвица, А. Л. Демчука, Т. В. Якушевой. М.: Вече.
- Платон (1993). Пир / Пер. с древнегреч. С. К. Апта // Платон. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Мысль. С. 81–134.
- Прокопенко В. В. (2021). Эрик Фёгелин и его манифест новой политической науки // Фёгелин Э. Новая наука политики: введение. СПб.: Владимир Даль. С. 5–66.
- Терборн Й. (2015). Мир: руководство для начинающих / Пер. с англ. Е. М. Горбуновой и Л. Г. Титаренко под ред. С. М. Гавриленко. М.: Издательский дом Высшей школы экономики.
- Фёгелин Э. (2011). «О тирании» Лео Штрауса / Пер. с англ. К. Колкуновой под ред. А. В. Павлова // Социологическое обозрение. Т. 10. № 3. С. 125–130.
- Фёгелин Э. (2021). Новая наука политики: введение / Пер. с англ. Н. Селиверстова. СПб.: Владимир Даль.
- Штраус Л. (2000). Три волны современности // Штраус Л. Введение в политическую философию / Пер. с англ. М. Фетисова. М.: Практис. С. 68–81.
- Almond G. (1990). A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science. L.: Sage.
- Cooper B. (1999). Eric Voegelin and the Foundations of Modern Political Science. Columbia: University of Missouri Press.
- Embry C. R., Hughes G. (2017). The Eric Voegelin Reader: Politics, History, Consciousness. Columbia: University of Missouri Press.
- Federici M. P. (2002). Eric Voegelin: The Restoration of Order. Wilmington: ISI Books.
- Kateb G. (1997). The Questionable Influence of Arendt (and Strauss) // Kielmanseff P. G., Mewes H., Glaser-Schmidt E. (eds.). Hannah Arendt and Leo Strauss: German Émigrés and American Political Thought after World War II. Cambridge: Cambridge University Press. P. 29–44.
- Kelsen H. (2005). A New Science of Politics: Hans Kelsen's Reply to Eric Voegelin's «New Science of Politics». A Contribution to the Critique of Ideology. Berlin: De Gruyter.

- Lilla M.* (2016). *The Shipwrecked Mind: On Political Reaction*. New York: New York Review Books.
- McAllister T. V.* (1995). *Revolt Against Modernity: Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Search for a Postliberal Order*. Kansas: University Press of Kansas.
- Petrakis P. A., Eubanks C. L.* (2004). *Eric Voegelin's Dialogue with the Postmoderns: Searching for Foundations*. Columbia: University of Missouri Press.
- Puhl M.* (2005). *Eric Voegelin in Baton Rouge*. München: W. Fink.
- Sandoz E.* (1999). *The Politics of Truth and Other Untimely Essays: The Crisis of Civic Consciousness*. Columbia: University of Missouri Press.
- Trepanier L., McGuire S. F.* (2011). *Eric Voegelin and the Continental Tradition*. Columbia: University of Missouri Press.
- Vermeulen T., van den Akker R.* (2010). Notes on Metamodernism // *Journal of Aesthetics & Culture*. Vol. 2. P. 1-14.
- Voegelin E.* (1953). The Origins of Totalitarianism // *The Review of Politics*. Vol. 15. № 1. P. 68-76.
- Voegelin E.* (2002). *The Collected Works of Eric Voegelin*. Vol. 6: *Anamnesis: On the Theory of History and Politics*. Columbia: University of Missouri Press.
- Voegelin E., Sandoz E.* (2011). *Autobiographical Reflection*. Columbia: University of Missouri Press.

The 70-Year-Old *The New Science of Politics*

Alexander Pavlov

Doctor of Philosophical Sciences, Professor, National Research University — Higher School of Economics
Leading Research Fellow, RAS Institute of Philosophy
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: apavlov@hse.ru

The paper is a reflection on the book *The New Science of Politics: An Introduction* by the German-American political philosopher Eric Voegelin. The book is considered as a classic work in the field of the political theory of the 20th century. The first edition of the book was published in 1952, but its Russian translation was only completed in 2021. The author notes that although Voegelin's thought is clear, the reading of the work may be difficult because Voegelin re-invents the terms that were already established in the scientific field, such as positivism, Gnosticism, the philosophy of history, the philosophy of consciousness, etc. To clarify the thinker's contribution to political philosophy, the author addresses several studies that describe this contribution. After a brief enumeration of the components of this 'contribution', the author discusses how fully these points are reflected in *The New Science of Politics*. It turns out that although this work is based on six lectures, it contains all the topics of Voegelin's political theory. The author further clarifies several key terms of the philosopher, and proceeds to the presentation of Voegelin's concept. This technique makes Voegelin's political theory crystal clear. Finally, the author turns to the context of "before-Rawls" political theory and briefly describes how the jurist and (later) political scientist Hans Kelsen reacted to Voegelin's work. The author also analyses the polemics between Hannah Arendt and Voegelin, explaining why Arendt's reaction to Voegelin's criticism might seem strange, although

it should not be considered as such. He concludes by referring to some excellent assessments of Voegelin's philosophy, and states that the great hope that Voegelin would become the most important philosopher of the twentieth century did not come true.

Keywords: practical philosophy, political philosophy, social theory, Eric Voegelin, Gnosticism, Leo Strauss, Hannah Arendt, philosophy of history

References

- Almond G. (1990) *A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science*, London: Sage.
- Cooper B. (1999) *Eric Voegelin and the Foundations of Modern Political Science*, Columbia: University of Missouri Press.
- Embry C.R., Hughes G. (2017) *The Eric Voegelin Reader: Politics, History, Consciousness*, Columbia: University of Missouri Press.
- Federici M. P. (2002) *Eric Voegelin: The Restoration of Order*, Wilmington: ISI Books.
- Germino D. (2008) *Vozrozhdenie politicheskoy teorii* [The Revival of Political Theory]. *Politicheskaya teoriya v XX veke* [Political Theory in the 20th Century] (ed. A. Pavlov), Moscow: Territoriya budushchego, pp. 336–465.
- Jonas H. (1998) *Gnostitsizm (gnosticheskaya religiya)* [The Gnostic Religion], Saint Petersburg: Lan.
- Kateb G. (1997) *The Questionable Influence of Arendt (and Strauss)*. *Hannah Arendt and Leo Strauss: German Émigrés and American Political Thought after World War II* (eds. P. G. Kielmanseff, H. Mewes, E. Glaser-Schmidt), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 29–44.
- Kelsen H. (2005) *A New Science of Politics: Hans Kelsen's Reply to Eric Voegelin's "New Science of Politics". A Contribution to the Critique of Ideology*, Berlin: De Gruyter.
- Lilla M. (2016) *The Shipwrecked Mind: On Political Reaction*, New York: New York Review Books.
- McAllister T. V. (1995) *Revolt Against Modernity: Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Search for a Postliberal Order*, Kansas: University Press of Kansas.
- Nisbet R. (2007) *Progress: istoriya idei* [History of the Idea of Progress], Moscow: IRISEN.
- Oakeshott M. (2002) *Ratsionalizm v politike* [Rationalism in Politics]. *Ratsionalizm v politike i drugie stat'i* [Rationalism in Politics and Other Essays], Moscow: Idea Press, pp. 7–37.
- Parekh B. (1999) *Politicheskaya teoriya: politiko-filosofskie traditsii* [Political Theory: Political and Philosophical Traditions], Moscow: Veche.
- Pavlov A. (2011) *O tiranii i iskusstve pis'ma* [On the Tyranny and the Art of Writing]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 115–124.
- Pavlov A. (2018) *Arendt-lisa* [Arendt-Fox]. Arendt H., *Opty ponimaniya, 1930–1954: stanovlenie, izgnanie i totalitarizm* [Essays in Understanding, 1930–1954: Formation, Exile, and Totalitarianism], Moscow: Gaidar Institute Press, pp. 7–24.
- Pavlov A. (2019) *Obrazy sovremennosti v XXI veke: metamodernizm* [Images of Modernity in the 21st Century: Metamodernism]. *Logos*, vol. 28, no 6, pp. 1–19.
- Petrakis P. A., Eubanks C. L. (2004) *Eric Voegelin's Dialogue with the Postmoderns: Searching for Foundations*, Columbia: University of Missouri Press.
- Plato (1993) *Pir* [Symposium]. *Sobranie sochineniy. T. 2* [Collection of Works, Vol. 2], Moscow: Mysl, pp. 81–134.
- Prokopenko V. (2021) *Erik Voegelin i ego manifest novoy politicheskoy nauki* [Eric Voegelin and His Manifest of New Science of Politics]. Voegelin E., *Novaya nauka politiki: vvedenie* [The New Science of Politics: An Introduction], Saint Petersburg: Vladimir Dahl, pp. 5–66.
- Puhl M. (2005) *Eric Voegelin in Baton Rouge*, München: W. Fink.
- Sandoz E. (1999) *The Politics of Truth and Other Untimely Essays: The Crisis of Civic Consciousness*, Columbia: University of Missouri Press.
- Strauss L. (2000) *Tri volny sovremennosti* [Three Waves of Modernity]. *Vvedenie v politicheskuyu filosofiyu* [An Introduction to Political Philosophy], Moscow: Praxis, pp. 68–81.
- Therborn G. (2015) *Mir: rukovodstvo dlya nachinaushchikh* [The World: A Beginner's Guide], Moscow: HSE.
- Trepanier L., McGuire S. F. (2011) *Eric Voegelin and the Continental Tradition*, Columbia: University of Missouri Press.

- Van den Akker R., Vermeulen T. (2019) *Metamodernizm. Istorichnost', Affekt i Glubina posle postmodernizma* [Metamodernism: Historicity, Affect, and Depth After Postmodernism], Moscow: RIPOL classic.
- Vermeulen T., van den Akker R. (2010) Notes on Metamodernism. *Journal of Aesthetics & Culture*, vol. 2, pp. 1–14.
- Voegelin E. (1953) The Origins of Totalitarianism. *The Review of Politics*, vol. 15, no 1, pp. 68–76.
- Voegelin E. (2002) *The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 6: Anamnesis: On the Theory of History and Politics*, Columbia: University of Missouri Press.
- Voegelin E. (2011) "O tiranii" Leo Straussa ["On tyranny" by Leo Strauss]. *Russian Sociological Review*, vol. 10, no 3, pp. 125–130.
- Voegelin E. (2021) *Novaya nauka politiki: vvedenie* [The New Science of Politics: An Introduction], Saint Petersburg: Vladimir Dahl.
- Voegelin E., Sandoz E. (2011) *Autobiographical Reflection*, Columbia: University of Missouri Press.

Пульс недемократии?

ЮДИН Г. Б. (2020). ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, ИЛИ ВЛАСТЬ ЦИФР. СПБ.: ЕУ СПБ. 174 С. ISBN 978-5-94380-294-2 [СЕРИЯ «АЗБУКА ПОНЯТИЙ»]. ВЫП. 11]

Алексей Титков

Кандидат географических наук, доцент, факультет социальных наук,

Московская высшая школа социальных и экономических наук

Адрес: Газетный пер., д. 3-5, стр.1, Москва, Российская Федерация 125009

E-mail: a-titkov@yandex.ru

Статья продолжает дискуссию о книге Г. Юдина «Общественное мнение». Разбираются тезисы автора о «плебисцитарных тенденциях» техники опросов; о связях опросов с руссоистской традицией и «плебисцитарной моделью»; о вкладе Гэллапа, Шумпетера и Вебера в изобретение плебисцитаризма. В связи с предложенной моделью плебисцитаризма обсуждаются спорные моменты в трактовке идей Вебера и Шумпетера и издержки фокусировки автора на случае России 2010-х годов, принятом за образец плебисцитаризма и «воплощение идей Гэллапа». Сравниваются концептуальные модели плебисцитаризма Юдина и Урбинати, обсуждается разница в их принципах, сравниваются предложенные в них критерии аккламации и нормальной демократии. Статья обращает внимание на разное понимание демократии Гэллапом и Шумпетером, Шумпетером и Вебером; на связь между классической доктриной представительной демократии по Шумпетеру и буржуазной публичной сферой по Хабермасу; между публичной сферой и идеей квантификации мнений. Вместо гипотезы Юдина о радикальном переизобретении понятий демократии и общественного мнения в первой половине XX века предлагается схема преемственности опросов с большими проектами Нового времени: представительной демократией, публичной сферой, биополитикой. Реконструируется проблематика социальной и политической онтологии опросов, требующая дальнейшей дискуссии.

Ключевые слова: аккламация, Гэллап, демократия, квантификация, массмедиа, опросы, общественное мнение, плебисцитаризм, политическая онтология, публичная сфера, Урбинати, Шумпетер

«Общественное мнение» Юдина — интеллектуальная провокация в форме популярного введения. Вместо ожидаемого от серии «Азбука понятий» рассказа «всё устроено вот так» читатель получает «всё не так, как вы думаете». Опросы не то, чем кажутся. И общественное мнение. И демократия. Фокус книге задают три стереотипа («мифа»), которые автор разоблачает.

Первый миф: «общественное мнение — это соотношение людей, давших ответы на некий вопрос» (с. 17). Нет, настоящее общественное мнение связано со свободной дискуссией в публичной сфере. Такому общественному мнению опросы противопоказаны: они вырастают из традиции Руссо, враждебной к дискуссиям, и подавляют свободную дискуссию «гипнозом цифр».

Второй миф: «общественное мнение изучает социология» (с. 19). Нет, социологическая реальность сложнее, чем сумма индивидов. «Суммирующая онтология» опросов в социологии неприемлема.

Третий миф: «принятие решений в соответствии с опросами общественного мнения — это демократия» (с. 21). Нет, это плебисцитаризм, его придумали противники демократии, чтобы сохранить власть элит. Настоящая демократия — это коллективные действия и столкновение политических повесток. Плебисцитарная модель делает граждан пассивными, сводя их роль к голосованию. Выборы и опросы — это просто аккламация, одобрение политических лидеров.

Ответы получены. Книга настраивает: их тоже надо проверить. Принять ответы только потому, что они нравятся, — это будет аккламация, плебисцитарное решение. Аккламация — решение эстетическое (Урбинати, 2016: 389–390)¹. Науке и созданной по ее образцу публичной сфере (с. 47) нужны рациональные аргументы.

Начало академической дискуссии о книге положила рецензия А. Магуна; она выделяет в книге два измерения: «критически-полемическое» и «историко-понятийное» (Магун, 2020: 422). Нормативная критика выбрала своим фокусом плебисцитаризм, «авторитарный аспект» либеральных демократий (Там же: 409–410). Юдин подхватывает идею Н. Урбинати: изучать «искажения демократии» (Урбинати, 2016). Объясняя плебисцитаризм и его отличия от популизма, автор тоже отсылает к схеме Урбинати (с. 143).

В историко-понятийной части Юдин предлагает тезис о радикальной смене понятий в межвоенные годы XX века. Выборы и опросы «оказались в центре наших представлений о демократии меньше ста лет назад» (с. 128). Общественное мнение, понимаемое как проценты в данных опросов, «еще 90 лет назад... было бы просто немыслимо» (Хачатуров, Машуков, Юдин, 2020). В фокусе автора три фигуры: Вебер, Шумпетер, Гэллап. Все трое реагировали на межвоенные эксперименты с демократией, когда «массы вышли на сцену политической жизни» (с. 131). Вебер и Шумпетер смогли «радикально ограничить демократию», сведя роль масс к простому одобрению элит (с. 131–135), а Гэллап — «незаметно полностью изменить смысл общественного мнения (с. 97).

Связующим звеном между изобретением идей и политической моделью служит заимствованный из STS (прежде всего у Мишеля Каллона) тезис о перформативности технологий и идей. Технологии перформативно меняют мир, они «вписываются в логику» политических режимов и «кусают ее изнутри» (Хачатуров, Машуков, Юдин, 2020). Гэллап создал технику, которая ему казалась «пульсом демократии» (Гэллап, Рэй, 2017). Теперь выясняется, что «пульс виляет собакой», опросы ведут демократию к плебисцитарной модели.

Характер технологий и их воздействие на мир, в свою очередь, определяется идеями, которыми руководствовались создатели. Как следствие, аргументация

1. Актом аккламации было бы принять ответы Юдина, например, из-за того, что они «блестящие» или «смелые».

книги строится на двух уровнях: анализ текстов Вебера, Шумпетера и Гэллапа и реконструкция политической онтологии, заданной техникой опросов. Свежим ходом, который подсказала такая перспектива, стала предложенная в книге оценка Гэллапа не только как технолога, что общепринято, но и как политического теоретика. Любимый в STS принцип симметрии подсказывает, что рядом должен быть сюжет о Вебере и Шумпетере как технологах. Но — нет, пропуск.

Кроме того, Магун хочет найти в книге «общетеоретический посыл», который «не до конца ясен» (Магун, 2020: 414). Магун предлагает свою интерпретацию, но без уверенности, что угадал. Моя задача — реконструировать этот посыл, следуя за аргументами автора. Первое следствие из нее: внимание к общей теории, а не к отдельным случаям. В книге заметен акцент на России 2010-х годов: по сравнению с ней, считает Юдин, «нигде опросы пока... не играют такой системообразующей роли» (с. 8). Оговорка «пока» не случайна: «плебисцитарные тенденции» заложены в самой технологии опросов (с. 152–154), в России они лишь доведены до предела (Хачатуров, Машуков, Юдин, 2020). Россия сегодня «воплощение системы, которую хотел построить Гэллап» (Юдин, 2018: 345; Yudin, 2019), и предупреждение другим. Нам в этой схеме важна не «теория России», а общая часть.

Координаты для анализа дают «три мифа» Юдина (пока ограничимся двумя) и выделенные Магуном измерения: нормативная критика и история понятий.

Опросы — это не демократия?

Опросы мешают подлинным формам демократии — доказывает Юдин. Подлинные формы — это дебаты и коллективное действие (с. 22), опросы — плебисцитарный инструмент, ограничивающий активность граждан.

Вопрос, который возникает сразу: опросы разве не одна из форм коллективного действия? Ответ автора можно предположить: настоящее коллективное действие организуют простые граждане, опросы — инструмент элиты и «воспроизводят картину мира, которая комфортна элитам» (с. 167). Такой гипотетический аргумент, как и реальные, надо будет учесть и проверить. Аргументы предлагаются тройки: 1) предполагаемая опросной техникой онтология; 2) опросы в их отношениях с политическим режимом; 3) идеология Гэллапа в увязке с другими теоретиками плебисцитарной модели.

Опросы как техника. Плебисцитарные тенденции опросной техники Юдин обнаруживает в двух направлениях: опросы не сопровождаются дискуссией; опросы ставят граждан в пассивное положение. Аргумент о дискуссиях будет разобран в следующем разделе; аргумент о пассивности основан на двух наблюдениях: «граждане только отвечают на заданные вопросы» (с. 146); граждане не могут попасть в выборку по своей инициативе и вероятность попасть в нее обычно слишком мала (с. 103–104).

Наблюдение «граждане только отвечают на вопросы» переходит в широкое обобщение: «...в то время как элиты определяют, какие вопросы будут задаваться. У масс в этой модели не может быть никакой инициативы, они не имеют возможности ни поставить вопрос, ни переформулировать его» (с. 146). Проверяем. Технология опросов задает три главных роли: инициатор, исполнитель, респондент. Аргумент Юдина предполагает, что тему задают обязательно «элиты» («лидер»), а «граждане» («массы») мыслимы только в роли опрашиваемых. Тезис настолько спорный, что Юдин сам дает контраргументы. Вопросы не всегда «плебисцитарные»: «Мы можем даже на российском примере представить себе контргегемонный вопрос» (Напреенко, Юдин, 2020). Инициатор не обязательно «лидер (элиты)»: возможны опросы, «заказываемые самим „общественным мнением“», где заказчиком выступают независимые медиа или инициативные группы, собравшие деньги по подписке (Юдин, 2020: 62).

Вопрос о случайной выборке, в которую нельзя войти добровольно, прояснит ее «донаучное» название: жеребьевка. Выборы Юдин называет «олигархическим институтом» (Сысоев, Юдин, 2020). Жребий как демократическая альтернатива — тема, популярная в античности и в Новое время (см.: Манен, 2008), она до сих пор предлагается как противоядие (см., напр.: Рейбрюк, 2018).

Подход «от техники» перспективный, но в книге раскрыт лишь фрагментарно. Может быть, помешала фокусировка автора на «плебисцитарности», исключившая из поля зрения противоречащие ей характеристики. Приведу один пример. Важное отличие плебисцитаризма от демократии Юдин видит в том, что в первой «принципиально наличие в обществе одного взгляда на политику» (с. 152); в последней сталкиваются повестки разных политических сил, способных «ставить собственные вопросы» (с. 152–154). Опросы представляют собой технологию «с открытым кодом», доступную для копирования всеми, кто намерен «задавать свои вопросы».

Политическую роль опросов Юдин определяет, цитируя Гэллапа: это «перманентный референдум» (с. 135; Юдин, 2018: 348–349)². Если референдум окажется плебисцитарным по своей природе, опросы надо признать такими же. Выясним, какие референдумы имел в виду Гэллап. Он решает задачу, намеченную Дж. Брайсом: можно ли измерять мнение народа в постоянном режиме (с. 100–101; Юдин, 2018: 346–348). Брайс считал хорошим образцом референдумы в кантонах Швейцарии, но в этом режиме «хлопотно и затратно получить голоса миллионов» (Гэллап, Рэй, 2017: 51). Для Гэллапа и Рэя задачу решает «референдум с использованием выборки» (Там же: 52). Образцом, получается, служат референдумы в швейцарских кантонах. Такие референдумы не всегда в интересах «элиты», инициаторами нередко становятся рядовые граждане.

Американская практика референдумов, на которую ориентировался Гэллап, похожа на швейцарский образец. К примеру, в Калифорнии в 2016 году референ-

2. В одном из текстов Гэллапа нашлось даже слово «плебисцит» (Юдин, 2018: 348).

думом решались вопросы о легализации марихуаны (57,1% «за»), запрете пластиковых пакетов в супермаркетах (53,2% «за»), запрете оружия с магазинами большой вместимости (63,1% «за»), обязательном использовании презервативов в порнофильмах (53,7% «против»), повышении налога на сигареты (64,4% «за») и др., всего полтора десятка инициатив (данные сайта Ballotpedia.org).

Возможен ли «не плебисцитарный» референдум, подсказывает критерий Юдина: плебисцитаризм — это политика «элит», демократия — это коллективное самоуправление (с. 22; Сысоев, Юдин, 2020; Напреенко, Юдин, 2020). Референдумы по повседневным вопросам, которые граждане способны компетентно разрешить, явно такой случай. Второй критерий Юдина: «контргегемонные» вопросы. Референдум, повседневный по проблеме и «контргегемонный» по постановке, должен быть демократическим. Пример такой инициативы мы обнаруживаем даже в России 2010-х годов: кампании за референдум против повышения пенсионного возраста в июне — октябре 2018 года. Заметим на будущее, что «плебисцитарная модель» политического режима в стране не предопределяет, что все инициативы, возникающие в нем, будут неизбежно «плебисцитарными». Точно так же возможны «плебисцитарные» механизмы в «не плебисцитарном» политическом режиме.

В референдумах нет предзаданной «плебисцитарности», в опросах, следовательно, тоже. Можно вернуться к вопросу: считать ли опросы коллективным действием? Аргумент, что опросы обязательно «инструмент элит», себя не оправдал, других возражений пока не видно. Книга задает проблему: люди не хотят участвовать в выборах и опросах. Причиной, почему это происходит, Юдин называет кризис «доктрины электоральной демократии» (с. 129). В некоторых ситуациях — возможно, да. В общем случае это часть проблемы коллективных действий. Митинги, петиции, любые формы коллективного действия, создающие «мнение народа» (Шампань, 1997), предполагают такую же, по сути, проблему участия.

Гэллап vs Шумпетер. «Плебисцитарность» опросов обосновывается также параллелями между Гэллапом и «отцами плебисцитаризма» Вебером и Шумпетером. Одним из связующих звеньев между ними Юдин видит «суммирующую онтологию»: «Вы складываете индивидов и получаете волю народа. С этого начинали многие пионеры общественного мнения... По своей сути эта модель экономическая... Собственно, Шумпетер и предложил аддитивно-агрегативную модель, где... политический выбор отдельных индивидов суммируется» (Напреенко, Юдин, 2020).

В аргументации Юдина о Шумпетере и Гэллапе есть пробел. Из книги мы узнаем, что Шумпетер изменил понимание демократии, связав ее с электоральной политикой (с. 128), а Гэллап следовал «совершенно особому взгляду на природу демократии» (с. 23). Отсюда неизбежны вопросы: каким было старое понимание демократии, от которого отказался Шумпетер? как с ним соотносится «особый взгляд» Гэллапа? Отвечая на них, мы обнаруживаем радикально разные позиции Гэллапа и Шумпетера.

Юдин подсказывает исходную точку: Шумпетер (Шумпетер, 2008) порывает с классической доктриной демократии и связывает демократию с борьбой на выборах. Ключевой момент: в чем разница между Шумпетером и классическими предшественниками. Шумпетер не изобрел выборы, они уже были обязательной частью представительной демократии. Отличие в том, что классическая доктрина считала процедуру второстепенной: главное — определить общее благо, которому должны следовать представители народа (Шумпетер, 2008: 647, 667). Критика Шумпетера направлена против веры в способность «народа» сформулировать «общее благо» (Там же: 648–663). Шумпетер считает такую веру нереалистичной и предлагает поменять приоритеты: «сделаем решение проблем избирателями вторичным по отношению к избранию тех, кто будет принимать решения» (Там же: 667).

Иначе говоря, «суммирующую онтологию» общего мнения, которую Юдин приписывает Шумпетеру, тот отвергает и критикует³. Критика Шумпетера похожа на аргументы Бурдье (Бурдье, 1993а) три десятилетия спустя по поводу опросов (с. 109–112)⁴. Доказывая, что «общественное мнение не существует», Бурдье замечает: не у всех индивидов есть мнение (с. 111; ср.: Бурдье, 1993а: 161). Шумпетер предлагает сходный тезис: по вопросам большой политики у граждан, как правило, нет «воли» в смысле устойчивого практического интереса (Шумпетер, 2008: 659–660). Мнения о политике формируются под влиянием аффектов, предрассудков и рекламы (Там же: 660–662). Складывать такие мнения, чтобы выяснить «общее благо», бесполезно.

Шумпетер отвергает классическую доктрину, основанную на идее общего мнения. Гэллап возвращает нас к ней. Общественное мнение можно измерить опросами. Они станут ориентиром для политиков и экспертов, будут влиять на них.

В изложении Юдина позиция Гэллапа и Рэя выглядит «откровенно непоследовательной» (Юдин, 2018: 350–351). Юдин удивляется: как можно на протяжении нескольких страниц переходить от идеи, что общественное мнение должно быть «решающей силой в политике», к идеи, что опросы будут «незаменимыми помощниками правительства» (Там же: 351). В итоге Юдин все-таки решает, что Гэллап и Рэй за «расширение власти экспертов» и предлагают модель, в которой «именно технократ, а вовсе не общество, является главным адресатом опросов» (Юдин, 2018: 351–352). Гэллап, заключает Юдин, за модель, в которой «элиты» реально правят и всего лишь «используют опросы как важный источник информации» (Юдин, 2018: 351).

3. Юдин верно называет «суммарную онтологию» общего мнения «экономической по сути» (Нарпенко, 2020). Утилитаристская философия XVIII века, с которой Шумпетер связывает классическую доктрину демократии, стала основой экономической науки. Пример Шумпетера показывает, что можно быть экономистом и не соглашаться с этой моделью.

4. Теория полей и капиталов Бурдье, определяющая главный аргумент «Общественного мнения не существует» (граждане различаются по степени компетентности и включенности в политику), сложилась тоже под заметным влиянием экономической науки.

Как соотносятся «власть экспертов» и мнение граждан — ключевая проблема. Юдин задает ее координаты, обращаясь к полемике Липпмана и Дьюи. Липпман представляет элитистскую альтернативу (с. 60–65), Дьюи — демократическую: «в качестве обуви лучше разбирается тот, кто ее носит», проблему лучше чувствует тот, кто с ней сталкивается (с. 65–66). Ответ Гэллапа и Рэя склоняется к демократической альтернативе: граждане могут быть некомпетентны в выборе средств, но способны задать политикам большие цели (Гэллап, Рэй, 2017: 194). Повседневный опыт граждан нужен, чтобы сформулировать общее благо, специалисты должны предложить решение, как их можно достичь (Там же). Оснований считать Гэллапа «технократом» и сторонником «власти элит» нет.

Воля vs мнение. Важно понять, откуда ошибка в ясном, казалось бы, пункте. Юдин ставит Гэллапа и Рэя в ситуацию выбора между представительным правлением и прямой демократией. «Классическое представительное правление» предполагает, что представитель «полностью свободен» в рамках закона; «прямая демократия руссоистского типа» требует, чтобы представитель «просто претворял в жизнь волю народа» (Юдин, 2018: 351). Гэллапа «настигает конфликт между двумя концепциями» (с. 105)⁵. Выяснив, что «непрерывные опросы общественного мнения будут всего лишь дополнять, а не нарушать работу выборных представителей» (Гэллап, Рэй, 2017: 195), Юдин заключает: Гэллап на стороне «элит».

Предложенная схема требует важной поправки. «Привить репрезентацию к демократии» — задача, поставленная в конце XVIII века; в американской традиции ее заявил Томас Пейн⁶. «Дошумпетеровская» доктрина представительной демократии решала эту задачу. Гэллап не выбирал между ней и «элитистской» моделью⁷. «Элитистскую» позицию Мэдисона, как отмечает Юдин, Гэллап отвергает (Юдин, 2018: 351).

Дело не в том, что Юдин «потерял» демократическую модель представительства: он упоминает демократические идеи Джейфферсона и указывает, что Гэллапу они близки (Юдин, 2018: 351). Проблема обнаруживается на уровне концептуальных различий. Оценка взглядов Гэллапа будет зависеть от того, как мы учтем неизбежную в представительной демократии асимметрию между представителями и избирателями: у одних есть право принимать политические решения, у других (помимо референдумов) нет. Урбинати выражает такую асимметрию клю-

5. В этом месте книги Юдин говорит о конфликте между двумя концепциями общественного мнения: «демократической» (Руссо) и «буржуазной» по Хабермасу. «Концепция общественного мнения» Руссо — просто другое название теории общей воли. Связь между буржуазной публичной сферой и классической доктриной (по Шумпетеру) согласованно отмечают Хабермас (Хабермас, 2016: 290) и Шумпетер (Шумпетер, 2008: 649).

6. Ключевую цитату можно найти, не закапываясь в первоисточники, в «Демократии» А. Магуна (Магун, 2016: 96) в той же серии «Азбука понятий».

7. В теории представительства альтернатива «свободны или выполняют волю народа» описывается как выбор между моделями представительства: доверенное лицо (trustee) или делегат (Dovi, 2018). Заметим разницу в терминах: Юдин и консерваторы говорят о «представительном правлении», Гэллап (Гэллап, Рэй, 2017: 189–198) — о «представительной демократии», более частном случае.

чевой парой терминов: «воля» и «мнение»⁸. Воля проявляется в политических процедурах, мнение создается в публичном общении на «форуме» (Урбинати, 2016: 10). В схеме Юдина подобного различия нет. Вследствие этой разницы логика, заданная Урбинати, и решение, предложенное Юдина, приводят к разной оценке взглядов Гэллапа.

Схема Урбинати дает решение, схожее с позицией Гэллапа: выборы — реализация политической воли; опросы — высказывание политического мнения. Между ними: «критически важное разделение, сохранение которого необходимо... — барьер между... форумом общественного мнения и правительственные институтами, проводящими в жизнь волю народа» (главный тезис книги Урбинати, вынесенный на обложку русского издания). Для Юдина выборы и опросы это два типа «голосования» (с. 122); и в такой логике неизбежен вопрос: какой из двух весомее. Ответ, что опросы «всего лишь дополняют» парламентскую процедуру, в координатах Юдина означает, что Гэллап за «элиты». В схеме Урбинати Гэллап дает правильное демократическое решение. Урбинати важно, учитывают ли политики мнение избирателей: если учитывают (без «всего лишь») — нормальная демократия; если мнение не влияет на политику — плебисцитаризм. Достоинства и недостатки схемы Урбинати — отдельная тема. Сейчас достаточно, что в ней возможна ясная трактовка позиции Гэллапа. Он перестает быть «непоследовательным», если уточнить координаты.

Вебер vs Шумпетер. Вебер и Шумпетер в трактовке Юдина идут tandemом. Юдин начинает с исторического анекдота, как они спорили в кафе (с. 130–131), но по-мешает обоих в одном лагере: оба «преследовали антидемократические цели», Шумпетер лишь «хладнокровнее и циничнее» (с. 133–135). В момент, когда «массы вышли на политическую сцену», Вебер и Шумпетер предложили плебисцитарную модель, которая свела активность масс к участию в голосованиях (с. 131–135). Урбинати в своей критике плебисцитаризма тоже подчеркивает роль Вебера и Шумпетера, но по-другому. Вебер для нее отец плебисцитаризма, Шумпетер — нет.

Логика Урбинати задана тезисом, который она защищает: «демократия — это ее процедуры» (Урбинати, 2016: 430). Искажение демократии — это искажение процедуры, «умаление процедурной формы демократии» (Там же: 343)⁹. Когда, например, политики-популисты используют власть для ослабления контроля над правительством, для преференций своим избирателям (Там же: 426–427) — это искажение, покушение на процедуру.

Критика Урбинати в адрес Вебера прямо противоположна претензиям Юдина¹⁰. Урбинати отмечает, что Вебер в политике различает «форму» и «материю»,

8. В похожем значении Б. Манен вводит различие между «высшей волей» (парламент) и «низшей волей» (митинги, петиции, газеты) (Манен, 2008: 254).

9. Название книги в оригинале («Democracy Disfigured») подчеркивает, что имеется в виду искажение формы.

10. Вебер для Урбинати прежде всего автор текста «Парламент и правительство в новой Германии». Вебер в нем сразу оговаривается, что выступает как политик, а не ученый, и с самого начала

парламентские процедуры и политическое движение масс. Урбинати важно, что в этой дилемме Вебер выбирает «материю»: для него энергия массовых действий позволяет обновить демократию, несмотря на процедурные препятствия (Там же: 337–340). Веберовский дуализм «демократии в действии» и косной «формы» Урбинати считает основой классической плебисцитарной модели (Там же: 341–343)¹¹. Шумпетер для Урбинати, наоборот, вынужденный союзник; правда, нежелательный, испортивший репутацию процедурализма (Там же: 38–41). Изъян позиции Шумпетера она видит не в определении демократии через процедуру, а в нежелании признать нормативную ценность процедуры (Там же: 431–432). Отсюда для Урбинати всего шаг до искажений демократии: не ценить процедуру — значит не защищать ее от покушений.

Анализ Урбинати позволяет увидеть контраст не только между Вебером и Шумпетером, но и между трактовками Урбинати и Юдина. Плебисцитаризм Урбинати это одно из искажений демократической процедуры, в плебисцитаризме Юдина процедура, наоборот, источник проблемы: ее использует «лидер (элита)», чтобы держать «массы» в пассивности.

Классическая доктрина и ее кризис. Проверка позиций трех предполагаемых отцов плебисцитаризма, Гэллапа, Шумпетера и Вебера, выяснила, что они контрастно разные, как «камень — ножницы — бумага». Взамен мы получили точку отсчета: «классическую доктрину демократии» по Шумпетеру. По отношению к ней становятся понятными взгляды трех главных фигур.

Юдин наметил интригу: Гэллап, Шумпетер и Вебер отвечают на кризис демократии. Теперь можно уточнить, что кризис переживала описанная Шумпетером классическая доктрина, основанная на убеждении, что на выборах можно определить «общее благо». Расширение избирательного права и «выход масс на политическую сцену» становятся проблемой для классической модели. Она предполагала компетентного участящего гражданина. Новые избиратели («массы») были далеки от такого идеала, поэтому понятен скептицизм Шумпетера относительно способностей рядовых граждан сформировать рациональное политическое мнение.

Решение Гэллапа сохраняет классическую доктрину и предлагает решать главную задачу («общее благо») не только выборами, но и опросами¹². Выборы для Гэллапа по-прежнему значимы: они не только определяют волю народа, но и служат «школой» гражданского общества (Гэллап, Рэй, 2017: 201; Юдин, 2018: 349).

разделяет «исторические задачи немецкой нации» и «вопросы государственной формы», отдавая приоритет первым (Вебер, 2017: 61).

11. Урбинати отличает классическую плебисцитарную модель, основанную на голосованиях, от современной плебисцитарной «демократии зрителей» (Там же: 324–325).

12. Юдин связывает взгляды Гэллапа с «опытом исследований рекламы и потребительского поведения» (с. 105). Маркетинговый опыт здесь хорошо согласуется с классической доктриной. Последняя, в частности, понимала партии как группы, предлагающие избирателям свои принципы общего блага. Выбор между партиями в таком случае оказывается выбором между видами общего блага (Шумпетер, 2008: 682).

Шумпетер, в отличие от Гэллапа, не верит, что выборы способны определить «общее благо», и считает, что демократическая процедура нужна для другой задачи: отбор политических лидеров¹³. Вебер предлагает выбор, противоположный решению Шумпетера: «воля народа» может быть выражена харизматическим вождем во главе массового движения, а если процедура будет мешать, ее можно преодолеть плебисцитарными механизмами.

Позиция Юдина дальше всего от классической доктрины: она соединяет неприязнь Вебера к процедуре (форме), ограничивающей народное движение, и недоверие Шумпетера (и Бурдье) к идее «общего блага», выясняемого на выборах (и в опросах).

Опросы — это не общественное мнение?

Опросы, по книге, мешают общественному мнению. Хорошее общественное мнение — «буржуазная» публичная сфера (Хабермас, 2016), в которой идет свободная дискуссия. Гэллап предложил плохое общественное мнение, где место дискуссии заняли цифры опросов. Опросы мешают дискуссии двояко: 1) не предусматривают дискуссию; 2) подавляют дискуссию авторитетом науки.

Гэллап vs Руссо. Опросы, по Юдину, противоположны дискуссиям, потому что принадлежат к руссоистской традиции, в которой дискуссий нет. «Руссоистский подход... является предпосылкой... современных опросов общественного мнения» (с. 41) — этот пункт надо проверить. Из перечисленных Юдина различий между «буржуазной» и «руссоистской» моделями нам достаточно двух: общая воля и дискуссия. В модели Руссо общественное мнение «выражает в себе общественное единство»; буржуазная публичная сфера «вовсе не требует единства» (с. 51). Руссо «против дебатов, потому что опасается искажения изначально имеющегося мнения»; «буржуазное» общественное мнение без дискуссии невозможно (с. 50).

По первому критерию («воля народа») Юдин относит к руссоистам Брайса, идеального предшественника Гэллапа (с. 100–101). Гэллап ввел технологию, реализующую идеи Брайса (с. 101), значит, тоже руссоист. Тут же выясняется: не совсем. Брайс и Гэллап «отчетливо оппонируют» Руссо в понимании общей воли (Юдин, 2018: 349). Для Руссо «за общественным мнением стоит единая народная воля», Гэллап понимает общественное мнение по аналогии с предпочтениями на рынке: они не обязательно совпадают (с. 104–105). Расхождение ключевое: опросы — квантификация мнений, а квантификацию Юдин выводит из идеи Руссо о единой воле. Руссо верит в общую волю и «именно поэтому считает голосование лучшим способом» (с. 51). «Буржуазная» концепция предполагает разнообразие взглядов

13. Урбинати, как и Шумпетер, не уверена, что демократическая процедура приводит к оптимальным решениям, но подчеркивает, как и Гэллап, что участие в выборах полезно как опыт, делает граждан компетентнее. Юдин описывает решение Урбинати как важный довод сторонников демократии (с. 32).

и для нее, считает Юдин, «простое суммирование голосов не покажет общественного мнения» (с. 51). Гэллап здесь «третий лишний»: верит в разнообразие мнений и одновременно в их квантификацию.

Ключ к ответу мы знаем: Гэллап продолжает классическую доктрину. Вера в волю народа, которая может быть выявлена, характерна и для Руссо, и для классической доктрины¹⁴. Различия — в понимании ее природы. Классическая доктрина идет за утилитаристами XVIII века, которые «прямодушно выводили волю народа из суммы воль индивидов» (Шумпетер, 2008: 649). Для Руссо суммирование индивидуальных представлений о благе обосновано только для «простых скоплений», в настоящем обществе (ассоциации) общая воля «превышает эту сумму» (Руссо, 1998: 230). Модель Руссо не «суммирующая», а «интегральная»¹⁵. Брайс, Гэллап и Рэй на стороне классической доктрины: для них общественное мнение не «сверхсущность», а всего лишь «совокупность взглядов» (Юдин, 2018: 349).

Если Гэллап и Рэй не руссоисты по отношению к общей воле, остается второй критерий: отношение к дискуссии. Юдин не приводит высказываний Гэллапа против дискуссий (наверно, не нашлись). Взамен выдвинут аргумент «от технологии»: опросы «исключают агитацию, распространение информации, дискуссии, которые обычно сопровождают выборы и референдумы» (Yudin, 2019: 5; Юдин, 2018: 349). Юдин противопоставляет «руссоистские» опросы фокус-группам, в которых, за счет дискуссий между участниками, «сильнее элемент буржуазной теории общественного мнения» (с. 114)¹⁶.

Предположим, что отношение Гэллапа к дискуссиям тоже определяется классической доктриной. Шумпетер замечает в ней разрыв между исходной данностью (отдельные индивиды) и желаемым результатом: общей волей народа (Шумпетер, 2008: 649)¹⁷. Решение, которое находит классическая доктрина: она «объединяет индивидуальные воли и пытается слить их с помощью рациональной дискуссии в волю народа» (Там же: 649). Гэллап разделяет это решение: «Выборы... по сути являются школой... Когда миллионы людей слушают выступления кандидатов, обсуждают проблему и голосуют, они получают подлинный опыт... гражданского общества» (Гэллап, Рэй, 2017: 201; Юдин, 2018: 349).

Остается вопрос: почему с опросами по-другому? Ответ можно вывести, зная, что для Гэллапа опросы дополняют, а не замещают выборы (Гэллап, Рэй, 2017: 45; Юдин, 2018: 349). Если выборы «школа», то опросы — «продленка», закрепляющая

14. Такая вера, следовательно, не служит достаточным отличительным признаком руссоизма. Юдин, относя Брайса к руссоистам, применяет именно такой (ненадежный) критерий (с. 100–101). То же Юдин делает по отношению к Гэллапу и Рэю (Юдин, 2018: 349).

15. «Интегральная» включает прямой алгебраический смысл: «общая воля» есть интеграл от множества частных волй, в отличие от простой суммы, «воли всех» (Dobrescu, 2009).

16. Важная для Юдина альтернатива опросам — предложенный Дж. Фишером проект делиберативных групп (с. 114–115, 163–164).

17. Ср. с аргументом Юдина: «Отдельные суждения множества произвольно взятых граждан не составляют никакого „общественного мнения“» (Юдин, 2018: 348).

уроки. Лучше, конечно, показать собственное решение Гэллапа. По пути к нему надо сначала выяснить отношения между дебатами, опросами и медиа.

Опросы и медиа. Связь между дебатами в публичной сфере и голосованием на выборах отмечает Хабермас: «голосование на выборах было... лишь заключительным актом непрерывно проводимого спора аргументов и контрагументов» (Хабермас, 2016: 290). Такая же связь обнаруживается между опросами и обсуждениями в массмедиа. Опросы Гэллапа — наследники «соломенных опросов» среди подписчиков газет и журналов (с. 82–83) и практики середины XIX века, когда «журналисты ходили по вагонам поездов и спрашивали пассажиров, за кого они собираются голосовать» (с. 99). Связь между публичными дебатами и опросами понятна логически: участникам дебатов важна оценка, насколько успешны их аргументы, насколько влиятельна их позиция. Факт, что в публичной сфере мнение динамично и «под влиянием рациональных аргументов может измениться» (с. 51), только увеличивает спрос на регулярные замеры¹⁸.

Связку «опросы и медиа» Юдин раскрывает сам, объясняя, как «с помощью опросов общественного мнения элитам удается манипулировать политической повесткой» (с. 146). Когда результаты опросов по какой-то проблеме резко меняются, «это обычно можно объяснить мощным воздействием медиа» (с. 147). Механизм влияния медиа состоит в том, что «получая вопрос, мы... начинаем сканировать информационное поле, чтобы понять, как на него ответить» (с. 146). Идея Э. Ноэль-Нойман об опросе как инструменте, оценивающем эффективность пропаганды (с. 119), следует той же интуиции: опросы — продолжение медиасреды¹⁹.

Брайс и Гэллап тоже считали, что опросы должны быть связаны с медиийными дискуссиями. Брайс до появления опросной техники предлагал свой «наилучший способ»: «непринужденно общаться с людьми... и отмечать их реакцию на новости и доводы, ежедневно попадающие в поле их зрения» (Гэллап, Рэй, 2017: 51). Гэллап и Рэй видели «убедительную параллель» между таким предложением Брайса и новой техникой опросов (Там же: 52). Последующая практика опросов выстраивается в логике Брайса и Гэллапа. Когда ВЦИОМ спрашивает: «С каким из следующих утверждений о бандеровцах Вы в большей степени согласны?» и предлагает выбрать одну из альтернатив, такая форма если не воспроизводит, то хотя бы имитирует столкновение позиций в медиийном поле. «Язык, которым сегодня говорят опросы с человеком в России, — это язык вечерних новостей Первого канала» (Напреенко, Юдин, 2020) — та же тенденция в другой формулировке.

18. Юдин отмечает историческую связь между публичной сферой и научными дискуссиями (с. 47). В научном сообществе ни измерение как аргумент в полемике, ни измерение влиятельности аргументов (библиометрия) не выглядят чем-то чуждым.

19. Пример «Индекса результативности российской пропаганды» Киевского международного института социологии (Паниото, Грушецкий, 2015) подтверждает, что «измерение пропаганды» практически не отличается от обычного опроса в случае, когда другие медиа предлагают публике позицию, альтернативную «пропаганде».

Газеты — порождение «буржуазного» общественного мнения, важнейшая его часть. Гэллап, как утверждает Юдин, изобрел что-то радикально новое. Можно оценить, что именно. Запрос на количественную оценку мнений в логике публичной сферы неизбежен и возник задолго до Гэллапа. Раньше опросами занимались журналисты, Гэллап изобрел опросные компании и сделал их относительно автономными. При этом тематика опросов по-прежнему привязана к медийной повестке, их результаты предназначены для медиасреды²⁰. Деятельность опросных компаний в медиасреде проще всего объяснить, определив их как одну из специальных разновидностей медиа, которая решает своими методами типичные медийные задачи: определение повестки, объяснение (фреймирование) и оценка событий (с. 146–150).

«Аура научной объективности» (с. 137) вокруг опросов — важная характеристика. Вопрос в том, действительно ли «гипноз цифр» (с. 171) подавляет дискуссию. Люди не имеют дела с «цифрами опросов» напрямую, их поставляют массмедиа, которые дают «цифрам» свою трактовку, обсуждают, оспаривают (Душакова, 2020а). Данные опросов могут включаться в дискуссии как аргументы сторон, «аура научной объективности» делает их более весомыми — но не превращает в чудо-оружие, заставляющее оппонентов замолчать. Случаев, когда с появлением опросных данных дискуссия вдруг прекращалась, кажется, не было²¹.

Аргумент Юдина становится правдоподобным в случае, когда медиасреда и опросные компании контролируются автократом, а у оппонентов недостаточно ресурсов, чтобы донести свою позицию. Такие ситуации возможны, но винить в них технологию опросов — кажется, ложное решение. Случай России 2010-х годов показывает обратное: «плебисцитарная» технология опросов стала применяться уже после того, как сложилась монополия на медиа (см.: Юдин, 2014).

Признав, что «опросы — это (общественное) мнение», придется учесть предупреждение Урбинати (Урбинати, 2016): мнение для демократии — и необходимая часть, и скрытая угроза. Преувеличенная власть «зрительского» мнения в ущерб правам избирателей создает плебисцитаризм. Опросы как часть медиасреды и инструмент для замера реакций в этом смысле несут «плебисцитарные тенденции». Такой плебисцитаризм противоположен диагнозу Юдина: для Урбинати опасность не в том, что «голосования» заменят собой публичную дискуссию, а в том, что выборы потеряют свое значение из-за преувеличенной роли зрительских дискуссий. Можно ли обсуждать такую проблему в схеме Юдина — вопрос, который лучше адресовать автору.

20. Юдин тоже называет важным заказчиком опросов СМИ, которые «работают в интересах своей публики» и формулируют «важные для нее вопросы» (Хачатуров, Машуков, Юдин, 2020).

21. Можно вспомнить обратные ситуации, когда результаты опросов провоцируют дискуссию: «70% россиян одобряют Сталина» (Душакова, 2020б; Магун, 2020: 411–414).

Нормативная критика: опросы — плебисцитарные?

Вернемся к измерениям, предложенным в рецензии А. Магуна. Первое: нормативная критика плебисцитаризма. Критика Юдина выстроена на двух уровнях: «плебисцитарные тенденции» техники опросов и «плебисцитарная модель» в целом. И там, и там в аргументации видны серьезные проблемы.

«Плебисцитарные тенденции» опросов Юдин определяет двумя параметрами: опросы не предполагают дискуссий («русскоистская традиция»), они помогают оболванивать массы («гипноз цифр»). Оба только мешают автору, когда нужно обосновать действительно актуальные проблемы опросов.

Элиты с помощью опросов и массмедиа манипулируют политической повесткой (с. 146–148) — реальная проблема; но как ее объяснить, если «повестка» по определению относится к дискуссии, а опросы, если верить книге, с дискуссиями не связаны? Другое важное замечание: «Опрос общественного мнения — элемент публичной сферы, а значит, вся информация [о нем] должна быть... доступной и открытой» (с. 169). Да, большая проблема, но как она согласуется с предложенной теорией? Почему опросы «элемент публичной сферы», если публичная сфера — это дискуссии, а опросы нет? Зачем элиты закрывают опросы, нужные для «гипноза» публики? Зачем гражданам «цифры», которые их зомбируют? Проблема существует, но вопреки модели «плебисцитарности».

Аккламация и опросы. Урбинати дает более последовательную трактовку плебисцитарности. Современный плебисцитаризм она понимает как «демократию зрителей», в которой ведущую роль играют массмедиа (Урбинати, 2016: 374–386, 427–429). В такой версии понятно, что опросы как часть медиасреды могут оказаться в фокусе плебисцитарной политики. Плебисцитарное искажение Урбинати определяет по контрасту с нормальной демократией, где «мнение» граждан воздействует на «волю» политиков (Урбинати, 2016: 10). Современная плебисцитарная «демократия зрителей» налагает на политиков обязательство быть «на виду» граждан, но мнение зрителей не влияет на политический курс. В обоих случаях граждане оценивают политиков, но оценка устроена по-разному: избиратели в нормальном случае дают рациональную оценку, плебисцитарная зрительская оценка (аккламация) носит аффективный эстетический характер (Урбинати, 2016: 389). Эстетическое «нравится»/«нет» отличается от рационального «поддерживаю»/«нет» тем, что не предполагает ответных действий: «о вкусах не спорят» (Там же: 389–390). Таким образом, решающее различие проводится между рациональным выбором избирателя и аффективной реакцией зрителя²². Подобный подход предполагает, что на практике мы вряд ли обнаружим выбор или аккламацию в чистом виде, но позволяет делать относительные оценки: «больше/меньше».

22. Такая перспектива по-новому объясняет, почему Урбинати считает «отцом плебисцитаризма» Вебера, для которого власть харизматического вождя основана на аффективной связи между ним и последователями (Вебер, 2016: 279–283).

Критерий Урбинати важен еще и тем, что определяет аккламацию (и плебисцит как форму ее выражения) без отсылки к политическому режиму в целом. Разделив акт аккламации и контекст политического режима, мы избежим порочного круга: «выборы (опросы) носят характер аккламации», потому что они в рамках «плебисцитарной модели»; модель плебисцитарная, потому что в ней «выборы (опросы) носят характер аккламации».

Применим критерий Урбинати к принципиальным для Юдина случаям: Крымский опрос 2014 года и голосование по конституционному проекту 2020 года. Юдин определяет плебисцит (аккламацию) по двум признакам: 1) на плебисцит выносится уже принятное решение (Хачатуров, Машуков, Юдин, 2020; Напреенко, Юдин, 2020); 2) результат плебисцита гарантирован благодаря полному контролю «лидера (элиты)»²³. В такой логике опрос 2014 года и голосование 2020 года оказываются плебисцитами.

Применив критерий Урбинати, мы получим другой ответ: Крымский опрос похож на аккламацию, а голосование 2020 года — на гражданский выбор. Крымский опрос выстроен как «сократический диалог». Решающему вопросу «Вы согласны или не согласны с присоединением Крыма к нашей стране в качестве субъекта Российской Федерации?» предшествуют два аргумента в пользу ответа «да». Рациональный аргумент (первые два вопроса) предлагает сделать ценностный выбор с учетом возможных последствий: надо ли «защищать интересы русских и представителей других национальностей» в случае, если это «осложнит отношения с другими странами». Третий вопрос предлагает аккламацию: «Крым это Россия». Чтобы принять такое утверждение, нужен акт поэтического воображения, аффективный выбор. Повлиять могли оба аргумента, однако в рациональной логике между выбором «защищать жителей Крыма» и присоединением к России остается зазор: есть другие способы защиты. Эмоциональный выбор «Крым это Россия», наоборот, уже означает итоговое «да». В воображении отвечающего Крым уже Россия, надо только оформить законом.

Конституционное голосование 2020 года было устроено по-другому. К этому моменту уже несколько лет был в обороте поэтический лозунг «Путин — это Россия. Россия — это Путин». Кампания с таким девизом была бы однозначным призывом к аккламации, но мы видели другую, подчеркнуто рациональную по своим аргументам. Избирателям напоминали о ценностях и публичных благах (здравье,

23. Отметим проблемность этих критериев. Критерий «гарантированный результат», как и его знаменитый аналог «мятеж не может кончиться удачей (в противном случае его зовут иначе)», говорит лишь о силе/слабости лидера. По такому критерию мы не найдем аккламации на митинге декабря 1989 года в поддержку Чаушеску, завершившемся не «одобрением народа», как планировалось, а массовыми беспорядками и, вскоре, падением режима. По критерию «после принятого решения» в аккламацию попадают, сомнительным образом, публичные опросы осени 2004 года, когда Путин объявил об отмене прямых выборов глав регионов. Опросы тогда показали порядка 60% сторонников прямых выборов (Титков, 2007). Из-за того, что в опросах следующих лет сторонники прямых выборов тоже составляли большинство, прямые выборы стали общим лозунгом оппозиции; а в ходе протестов 2011–2012 годов возвращение прямых выборов в регионах стало одной из немногих уступок протестующим. В логике Урбинати это образцовый пример, как «мнение» влияет на «волю».

культура и др.) и доказывали, что поправки позволяют их защитить и реализовать. Контраст между критериями Юдина и Урбинати станет нагляднее, если добавить для сравнения кампанию «Голосуй сердцем!» в поддержку Ельцина на президентских выборах 1996 года: результат (переизбрание) был не гарантирован, но предлагалась, по критерию Урбинати, явная аккламация.

Критерий Урбинати позволяет перенести акцент с «опросов вообще» на оценку конкретных случаев. Мой анализ вопросов, которые ВЦИОМ и «Левада-центр» задавали по тематике Украинского конфликта в 2014–2015 годах (Титков, 2016), обнаружил заметные различия в стиле формулировок. Вопросы типа «Как Вы считаете, России следует или не следует дальше поставлять Украине гуманитарную помощь?» и вопросы типа «Какие чувства у Вас вызывает политика России в отношении Украины?» представляют два полюса: роль ответственного гражданина или эмоционального зрителя. Эти крайние варианты вместе составляют порядка 20–25% от всех вопросов. Доля вопросов «гражданского участия», предлагающих принять решение за правительство или другие политические силы, выше у ВЦИОМ (24% против 13%). Доля вопросов «плебисцита зрителей», наоборот, выше у «Левада-центра» (9% против 4%). Плебисцитарность оказывается результатом конкретных действий «производителей мнения».

Закрытые опросы. Проблемы, связанные с непубличными опросами, задают новый взгляд на тезис о «плебисцитарных тенденциях». Плебисцитарность по Юдину подразумевает, что граждане видят результаты опросов, попадают под «гипноз цифр» и сохраняют пассивность. Как с таким механизмом соотносятся закрытые опросы — вопрос не очевидный.

Вопрос кажется несложным в масштабе «онтологии техники». Опросная техника не ограничивает количество замеров и не обязывает публиковать результаты. Можно совмещать манипулятивные вопросы для публики и серьезные вопросы «для служебного пользования». Юдин обращает внимание на технику «ротации альтернатив»: по одной теме задавать альтернативные вопросы с разными формулировками и публиковать только варианты, удобные для заказчика (Хачатуров, Юдин, 2019).

Вопрос усложняется в масштабе политического режима страны. Возьмем Россию, которую Юдин называет образцом плебисцитаризма. Здесь «плебисцитарная модель» опросов обнаруживается в промежутке между протестами 2011–2012 годов (Юдин, 2014: 55) и 2020 годом (Юдин, 2020). До и после этого периода власть использует опросы преимущественно в закрытом режиме (Там же). Получается отрезок чуть больше трети всего «путинского периода». Сравнение точек начала (после 2012 года) и заката (2020 год) «плебисцитарных» опросов с рейтингом Путина обнаруживает, что соотношение между ними неоднозначное. Данные «Левада-центра» показывают пилообразную динамику «одобрения деятельности»: максимумы (~88%) в 2008 и 2014 годах и снижение до уровня ~60% к 2013 и 2020

годам²⁴. Почему после сходного вызова (снижение рейтинга лидера) режим в 2013 году перешел к «плебисцитарной» модели опросов, а в 2020 году, наоборот, к закрытой «полицейской», пока непонятно; объяснения (Юдин, 2014, 2020) здесь скорее ситуативные.

Вопрос становится принципиальным в масштабе исторической генеалогии. Юдин связывает опросы не только с плебисцитарным проектом XX века, но также с полицией и статистикой раннего Нового времени. Опираясь на лекции Фуко (Фуко, 2011), Юдин выводит силлогизм: опросы — инструмент статистики; статистика — инструмент полицейского государства; следовательно, опросы — инструмент полиции (с. 150). Сродство между полицейским государством и опросами обнаруживается на уровне «суммирующей онтологии». Для полиции типично «стремление преобразовать „народ“... в „население“, состоящее из отдельных индивидов, ведь по отдельности за индивидами проще наблюдать» (с. 150); опросы «также построены на идее суммирования индивидов» (с. 150). Поскольку плебисцитарная политика «на публику» и техники тайной полиции контрастно непохожи, мы сталкиваемся с загадкой: непонятно, как получилось, что техника опросов идеально подходит для обоих.

Лекции Фуко (Фуко, 2011) дают подсказку, но требуют отказаться от прямолинейной схемы «опросы — инструмент надзора» (Юдин, 2014: 55; Сысоев, Юдин, 2020; Напреенко, Юдин, 2020). Фуко подчеркивает столкновения между техниками власти и способами сопротивления им. Истории фуколдианского «управленчества» и встречных «антиповодырских» движений «неразрывно сплетены», между ними возникают «обмены, взаимные опоры» (Фуко, 2011: 457, 459). Так возникает, в частности, «антиповодырская» идея нации, обладающей знанием о себе самой: «что она есть, чего она хочет и что ей нужно делать» (Там же: 459). Идея нации появилась, по Фуко, в противовес понятию государственного интереса (XVI век), предполагавшему, что именно государство и его агенты обладают истинным знанием о стране и ее жителях²⁵. В такой перспективе двойственный режим опросов, закрытый «полицейский» и открытый для общества, оказывается продолжением старой коллизии между техниками государственного интереса и проектом гражданской нации.

Нормативная критика: Шумпетер — плебисцитарный?

Плебисцитарную модель Юдин наделяет следующими чертами: 1) в ней преобладают отношения «лидер (элиты) — масса»; 2) активность «масс» сводится к участию в выборах; 3) выборы поддерживают статус-кво в пользу «элит (лидера)»; 4) такую модель предусматривают теории Вебера и Шумпетера. Каждый из этих пунктов можно оспорить.

24. См.: Левада-центр. Индикаторы: Одобрение органов власти. URL: <https://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/>.

25. Понятие *ratio status* (*raison d'Etat*, *Staatsräson*), переводимое как «государственный интерес», буквально означает «разум (или разумность) государства».

«Лидер» vs «элита». В плебисцитарной модели Юдина соединились разные типы «недемократий»: не случайно в книге речь поочередно идет то о «власти плебисцитарного лидера» (как у Вебера), то о «власти элит» («по Шумпетеру»).

Проблема становится наглядной, если сопоставить критерии демократии, предложенные Юдина, с близкими по смыслу измерениями демократии в типологии политических режимов Р. Даля (Даль, 2010). По Юдину, демократию определяют плюрализм повесток (с. 152–154) и коллективное действие (с. 22), по Даля — политическая конкуренция (contestation) и возможности гражданского участия (inclusiveness) (Даль, 2010: 9–14). Демократия Юдина примерно соответствует политархии Даля: высокая степень участия, высокая конкуренция (Там же: 12–14). С плебисцитаризмом по Юдину сложнее, ему соответствуют сразу два типа «недемократий» по Даля: гегемония участия (inclusive hegemony)²⁶ и соревновательная олигархия (competitive oligarchy) (Там же: 10–13). Первый из них предполагает высокую включенность в политику при минимальной конкуренции («единение в аккламации» Юдина); второй — высокую конкуренцию при барьерах на участие для большинства («конкуренция между элитами» Юдина)²⁷. Различия между ними, как можно предположить, не менее важны, чем подчеркиваемая Юдина разница между плебисцитаризмом и популизмом.

Лидеры и народные движения. В изложении Юдина «лидер» делает «массы» пассивными и поддерживает статус-кво в пользу «элит», а идеологами такого порядка выступают Вебер и Шумпетер. Последнее утверждение по меньшей мере неточно.

Теории лидерства Вебера и Шумпетера не о том, как сделать массы пассивными, они решают проблему едва ли не противоположную: как возможно коллективное действие. Мобилизация за счет аффективного следования за вождем (Вебер) и обращение кандидата на лидерство к рациональным интересам группы (Шумпетер) — решения этой проблемы, сохраняющие актуальность до сих пор²⁸.

Харизма плебисцитарного вождя по Веберу — не инструмент статус-кво, а революционная сила, меняющая традиционный порядок (Вебер, 2016: 281–282). Типичные вожди плебисцитарной демократии — это предводители протеста: Гракх, Кромвель, Робеспьер, античные демагоги (Там же: 304–305). Вебер-плебисцитарист в анализе Урбинати (Урбинати, 2016: 337–343) — прежде всего сторонник народного движения, ломающего парламентскую форму.

Шумпетер тоже не предполагает «пассивность масс» и не «сводит демократию к выборам». Выборы — частный случай более общего феномена: борьба за политическое лидерство. Выборы в демократии занимают особое место, потому что формируют правительство, но они не исключают другие виды борьбы. Дебаты

26. В опубликованном русском переводе (Даль, 2010): «открытая гегемония».

27. Отличие «соревновательной олигархии» Даля от формулы «конкуренция между элитами» в том, что Даля имел в виду случай, когда «массы» лишены избирательных прав.

28. Краткое сравнение веберианской и утилитаристской (к ней относится Шумпетер) традиций анализа коллективных движений см.: Тилли, 2019: 42–67.

в прессе, экономические требования, внутрипартийная борьба, «лозунги и марши» — элементы демократической политики, которые Шумпетер прямо упоминает в своей модели²⁹. Борьба за политическое лидерство идет не только на выборах, а всегда и везде; похожим образом никогда не прекращается экономическая конкуренция (Шумпетер, 2008: 669). Лидер — это выразитель групповых интересов, не обязательно «элитных». Представитель безработных, претендующих на пособие (собственный пример Шумпетера), может быть из их среды (Там же: 668–669). В мире Шумпетера нет жесткой границы между «вождем» и «массами»: «в принципе каждый волен бороться за политическое лидерство» (Там же: 670) и «теоретически каждый сторонник может сместить лидера» (Там же: 679).

Шумпетер показывает, как связаны между собой «феномен лидерства» и проблема «общего мнения». Его критический аргумент против «общего мнения» основан на том, что обычный гражданин склонен заниматься повседневными делами, а не политикой: «На политические проблемы он тратит меньше целенаправленных усилий, чем на партию в бридж» (Там же: 659). Если мы все-таки видим вовлеченность граждан в политику, надо объяснить, как она возникает. Ответ Шумпетера — «феномен лидерства»: кто-то убеждает граждан следовать за своей программой. Классическая концепция демократии, с которой спорит Шумпетер, игнорировала «феномен лидерства» только потому, что приписывала гражданам «совершенно нереальную» инициативу (Там же: 668).

Книга Юдина следует похожему аргументу Бурдье, который тоже подчеркивает, что граждане недостаточно компетентны и включены в политику. Это значит, что следующим шагом надо объяснить, почему коллективное действие все-таки существует. Бурдье в этой ситуации приходит к объяснению «по Шумпетеру»: политические профессионалы, конкурируя друг с другом, предлагают гражданам свои программы действия (Бурдье, 1993б). Юдин в конечном счете предлагает похожее решение. В книге Юдина граждане, уставшие от «плебисцитарных» элит, готовы поддержать протестные лозунги (с. 129–130, 143–144), но для этого нужны политики- популисты, которые их выдвинут; только тогда нашедшие своего лидера массы «ведут себя непредсказуемо и вызывающе» (с. 130, 144–145).

Выборы vs элиты. Предположения, что выборы поддерживают статус-кво в пользу «элит» и что модель Шумпетера имеет в виду именно такое устройство, в общем случае неверны ни в отношении выборов, ни в отношении модели Шумпетера.

«Критерий Шумпетера» в политической науке определяет демократию как систему, которая предоставляет «регулярные... возможности для смены... управляющих лиц» (Липсет, 2015: 27), при которой «партии проигрывают выборы» (Пшеворский, 1999: 28–29)³⁰. Такое определение не означает, что соперничают обя-

29. Из демократии Шумпетер исключает только насилиственное свержение власти (Шумпетер, 2008: 669).

30. Несовпадение собственной формулировки Шумпетера с более поздними интерпретациями связано с тем, что Шумпетер хотел подчеркнуть отличие демократий от конституционных монархий,

зательно «элиты», а «массы» только наблюдают (с. 133)³¹. Критерий безразличен к разнице между «плебисцитаризмом» (в смысле Юдина) и «популизмом», между статус-кво в пользу «элит» и его поломкой. Случай, когда на выборах побеждают антисистемные движения (с. 129–130), тоже удовлетворяет критерию Шумпетера.

Тезис Юдина о выборах как механизме статус-кво отсылает в конечном счете к асимметрии между избирателями и представителями. Делать из нее вывод, что правят всегда «элиты», а «массы» обречены на роль зрителей, — решение, которое Урбинати считает характерным для сторонников плебисцитаризма (Урбинати, 2016: 427–428). Юдин в плебисцитарной модели меняет знак с одобрения на критику, но сохраняет ее онтологию: «политика — дело меньшинства, даже если последнее выбирается большинством» (Там же: 427–428). Урбинати предлагает альтернативу, подчеркивая в этой же асимметрии ответственность политиков перед избирателями: право выбирать и требовать отчета — ядро демократического гражданства (Урбинати, 2016: 429–430).

Акцентированная Юдина проблема — «выборы закрепляют неравенство в обществе» (Сысоев, Юдин, 2020) — в логике Урбинати определяется иначе. Юдин видит причину в процедуре: «выборы — это олигархический механизм» (Сысоев, Юдин, 2020); Урбинати локализует проблему в «форуме мнений» (Урбинати, 2016: 436). Когда выборы воспроизводят неравенство, для Урбинати, в отличие от Юдина, это не сущностная характеристика выборов, а проблема общества, опасная для демократии-как-процедуры.

Обсуждая идеи Гэллапа и механизмы аккламации, мы уже сталкивались с различиями между Урбинати и Юдина в понимании плебисцитаризма. Ситуацию, в которой «решают политики, мнение граждан служит информацией», Юдин считает плебисцитарной; Урбинати — правильной демократией, если мнение влияет на политический курс. Урбинати ясно задает, где для нее граница между нормальной демократией и плебисцитарным искажением. Относительно схемы Юдина пока не очевидно, допускает ли она вообще нормальную, не «плебисцитарную», представительную демократию на основе выборов. Не исключено, что нет. В ситуации, когда люди перестают ходить на выборы и участвовать в опросах, Юдин усматривает кризис «доктрины электоральной демократии» (с. 129), и потерю интереса людей к «плебисцитарным системам» (с. 166). «Плебисцитарная модель», таким образом, превращается в лишний синоним «электоральной».

где выборы проводятся, но правительство назначает монарх (Шумпетер, 2008: 668). Сегодня важнее отличать демократии от однопартийных систем и моделей электорального авторитаризма, где выборы проводятся, но правящая партия их гарантированно выигрывает.

31. Юдин неточен, говоря, что «Шумпетер назвал такое определение „минимальным“, потому что оно отводит массам минимальное место в политической системе» (с. 133). Шумпетер не предлагал понятие «минимальный». Современные учебники, в которых так написано, не имеют в виду «минимальную роль масс». «Минимальное» подразумевает только единственный критерий (выборы), в отличие от «широких» определений, учитывающих больше параметров (см., напр.: Харпфер и др., 2015: 48–51, 71–73).

Модель из книги Юдина подходит, кажется, лишь для одного случая: персоналистского режима электорального авторитаризма, специфическими чертами которого будут как раз объединение «элиты» вокруг «лидера» и роль выборов как инструмента статус-кво³². В общем же случае такие допущения перестают быть верными.

История понятий: все-таки преемственность?

В «историко-понятийной» части фокус задает межвоенный кризис демократии, вызванный «выходом масс на политическую сцену» (с. 131). Задача интригующая, но предложенная в связи с ней гипотеза радикальной замены понятий требует если не пересмотра, то дополнительных аргументов в свою поддержку. Для начала важно понять, как она соотносится с историческими тезисами Шумпетера (Шумпетер, 2008) и Хабермаса (Хабермас, 2016). Обе книги играют ключевую роль в нормативной критике Юдина, но их историческая составляющая осталась в тени. Как следствие, незамеченной оказалась классическая доктрина демократии, реконструированная Шумпетером, и ее «избирательное сродство» с буржуазной публичной сферой Хабермаса: «буржуазный» характер классической доктрины³³ и тесная связь выборов и дискуссий, которую отмечают и Шумпетер (Шумпетер, 2008: 649), и Хабермас (Хабермас, 2016: 290). Вызовы для этих моделей тоже взаимно увязаны: всеобщее избирательное право, массмедиа XX века (Хабермас), социалистические проекты (Шумпетер).

Пример Гэллапа и связь между опросами и дискуссиями в медиа показывают преемственность между моделями демократии до и после межвоенного кризиса. Координаты, заданные в книге, позволяют наметить ее исторические контуры: опросы это продолжение проектов XVIII века — представительной демократии с идеей общего мнения (Шумпетер, 2008); гражданской публичной сферы (Хабермас, 2016); биополитики с механизмами безопасности (Фуко, 2011).

Следующим шагом можно будет точнее определить, как появление опросов было обусловлено перекрестным влиянием этих трех больших проектов. Юдин делает об этом несколько замечаний, например, о возможной связи между опросами и идеей «населения» в логике управлеченства (с. 150). В чем могла состоять эта связь — один из вопросов для будущих дискуссий. По Юдину, полицию и опросы объединяют «стремление преобразовать „народ“ в „население“, состоящее из отдельных индивидов» (с. 150), однако Фуко в лекциях 1977/78 года (Фуко, 2011) делает акцент на совершенно другом смысле «населения» в XVIII веке. Возникшая в тот период идеология физиократов понимала под «населением» сложную реальность, подчиненную прежде всего собственным естественным законам (биологи-

32. Заметим, что это случай, не отвечающий критерию Шумпетера в современной версии: здесь выборы не приводят к фактической смене власти.

33. По Шумпетеру, «отцы демократической доктрины» создали ее «в условиях буржуазного общества» и «недалеко ушли от понимания мелкого лавочника XVIII столетия» (Шумпетер, 2008: 649).

ческим, рыночным и др.)³⁴. Обнаружить связь между опросами и «населением» в таком значении — на мой взгляд, более вероятно. Доводом в пользу такой связи служит близкая преемственность между идеями физиократов, которые описывает Фуко, и философией утилитаризма, с которой Шумпетер связывает классическую доктрину демократии.

Что дальше?

Вернемся к общему замыслу книги и ее теоретическому посылу. Замысел привлекательный: понять современную демократию и ее искажения в перспективе идей, заложенных в межвоенный период XX века. Фокус на Гэллапе и опросах придал этому замыслу драматизм.

Сбои в реализации идеи обусловлены несколькими неудачными решениями, которые можно исправить. В истории понятий решающим оказался пропуск реконструированной Шумпетером классической доктрины представительной демократии. В нормативной критике сказалась слишком сильная, для общей теории, направленность на частный случай «путинской России». Действительно ли Россия представляет собой детище Гэллапа и урок всему миру — пусть пока будет вопрос, а не аксиома. Теоретический словарь автора запутали двусмысленные отношения с концепцией Урбинати, тоже критикующей «плебисцитаризм», но в другом смысле и с других позиций. «Воля/мнение» и «форма/материя» — координаты Урбинати, по отношению к которым надо определиться и прямо сказать о разногласиях, если они неизбежны.

Ответы о «мифах» теперь можно скорректировать.

Опросы — это демократия. Определяя демократию через «любые виды организованного коллективного действия» (с. 22), мы делаем неотъемлемой частью демократии опросы как один из важных типов коллективного действия. Определяя демократию через «принципы множественности и плодотворной конфликтности», соперничество политических повесток и «общественных мнений» (с. 164), мы вслед за участниками публичных дебатов должны прийти к задаче, как замерить эту множественность, и к опросам как одному из решений этой задачи.

Опросы — это общественное мнение. Связывая общественное мнение с публичной сферой, с дискуссиями в массмедиа, мы неизбежно должны включить

34. В книге приводится цитата из лекции Фуко за 25 января 1978 года: «Публика, главное понятие XVIII века — это население, рассмотренное с точки зрения его мнений... Это то, на что можно повлиять с помощью образования, кампаний, убеждения» (с. 153; Фуко, 2011: 113–114). Для Юдина эта цитата иллюстрирует «манипуляции общественным мнением со стороны элит» (с. 152). Для Фуко в этой части лекции принципиально важно другое: «Население, следовательно, представляет собой во-все не собрание... подданных, которые... испытывают на себе воздействие воли суверена. Нет, это комплекс элементов, живущих очень своеобразной жизнью... Поэтому тот, кто сосредотачивается на динамике населения..., неизбежно открывает для себя... пространство «природы»... Действительно разумные управленческие решения должны быть ориентированы именно на эту естественность и осуществляться не иначе, как в ее границах» (Фуко, 2011: 112–113).

в такое понимание опросы — не только как инструмент, замеряющий важность новостей и влиятельность аргументов в дискуссии, но и как элемент медиасреды, помогающий другим медиа решать общую задачу: определение повестки, объяснение, оценка. «Аура научной объективности» делает опросы сильным аргументом и тем самым стимулирует дискуссию, помогает расширить политическую повестку. Опросы — оружие общества в борьбе с «закрытым» стилем политики и одновременно инструмент бюрократии для контроля над обществом. Такой парадокс делает сами опросы проблемой, требующей дискуссии.

Опросы — это (не) социология? Именно этот «миф» важен для общего теоретического посыла, который хотел выяснить Магун в своей рецензии. Юдин облегчает задачу, называя ключевое слово — «политическая онтология»: «За опросами общественного мнения стоит определенная политическая онтология — собственно, об этом и книга» (Напреенко, Юдин, 2020). Ключ к политической онтологии опросов дают нормативная теория демократии и социологическая онтология «науки, технологии и общества» (STS). Вместе они позволяют сказать, действительно ли опросы — «пульс демократии», как обещали Гэллап и Рэй. Политическая критика дает автору аргументы (как мы видели, спорные), почему опросы ведут к «недемократии». Социологические доводы должны обосновать более фундаментальное: почему опросы «не пульс» общества.

За критикой «плебисцитарных тенденций» опросов стоят более серьезные претензии онтологического порядка: «С одной стороны, общественное мнение отсылает к народу. С другой стороны, если за «народом» не стоит никакой самостоятельной силы и он сводится к агрегату, простой сумме индивидов, почему вообще следует ориентироваться на большинство?» (с. 105). «„Общественному мнению“ в версии Гэллапа явно недостает социальной реальности — его онтологический статус непонятен» (Юдин, 2018: 350).

Логика рациональной дискуссии требует, чтобы рядом с позицией Юдина был обоснован альтернативный ответ: демократия, социология, пульс.

Литература

- Бурдье П. (1993а). Общественное мнение не существует / Пер. с фр. Г. А. Чередниченко // Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos. С. 159–177.
- Бурдье П. (1993б). Политическое представление: элементы теории политического поля / Пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos. С. 179–230.
- Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. I: Социология / Пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионина. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Вебер М. (2017). Парламент и правительство в новой Германии: к политической критике чиновничества и партийной жизни / Пер. с нем. Б. М. Скуратова // Вебер М. Власть и политика. М.: РИПОЛ Классик. С. 61–251.

- Гэллап Дж., Рэй С. (2017). Пульс демократии: как работает общественное мнение / Пер. с англ. В. Л. Силаевой. М.: ВЦИОМ.
- Даль Р. (2010). Полиархия: участие и оппозиция / Пер. с англ. С. Деникиной и В. Баранова под науч. ред. А. Смирнова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Душакова И. (2020а). Почему не верят опросам, или Как фреймируются результаты опросов общественного мнения в современных российских СМИ // Мониторинг общественного мнения. № 6. С. 30–52.
- Душакова И. (2020б). Медиафреймирование результатов опроса об отношении россиян к Сталину // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкоизнание. Культурология». 2020. № 4. С. 111–126.
- Липсет С. (2015). Политический человек: социальные основания политики / Пер. с англ. Е. Г. Генделя, В. П. Гайдамака, А. В. Матешук. М.: Мысль.
- Магун А. (2016). Демократия: демон и гегемон. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Магун А. (2020). Зондаж богоносца // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 409–425.
- Манен Б. (2008). Принципы представительного правления / Пер. с англ. Е. Н. Рощина под ред. О. В. Хархордина. СПб.: Изд-во ЕУСПб.
- Напреенко И., Юдин Г. (2020). Почему предсказуемость убивает политику. Интервью с социологом Григорием Юдиным // Горький. 25 июня. URL: <https://gorky.media/context/pochemu-predskazuemost-ubivaet-politiku/> (дата доступа: 13.01.21).
- Паниотто В., Грушецкий А. (2015). Индекс результативности российской пропаганды // Вестник общественного мнения. № 1. С. 106–115.
- Пшеворский А. (1999). Демократия и рынок: политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке / Пер. с англ. под ред. В. А. Бажанова. М.: РОССПЭН.
- Рейбрук Д. (2018). Против выборов / Пер. с англ. И. Бассиной и Е. Торицкой. М.: Ad Marginem.
- Руссо Ж.-Ж. (1998). Об общественном договоре, или Принципы политического права / Пер. с фр. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле. С. 195–322.
- Сысоев Т., Юдин Г. (2020). «Опросы общественного мнения — это про контроль, а не про демократию». Социолог Григорий Юдин — о том, почему опросы общественного мнения стали препятствием для демократии и почему важно вернуть в Россию подлинную «публичную сферу» // Эксперт. № 24. 8 июня.
- Тилли Ч. (2019). От мобилизации к революции / Пер. с англ. Д. Карасева под ред. С. Моисеева. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Титков А. (2007). Кризис назначений // Pro et Contra. Т. 11. № 4–5. С. 90–103.
- Титков А. (2016). Украина 2014–2015 годов: война и революция глазами российских опросных фабрик / VI Грушинская социологическая конференция. 16 марта 2016. URL: <https://profi.wciom.ru/index.php?id=672> (дата доступа: 13.01.21).
- Урбинати Н. (2016). Искаженная демократия: мнение, истина и народ / Пер. с англ. Д. Кралечкина. М.: Изд-во Института Гайдара.

- Фуко М. (2011). Безопасность, территория, население: курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1977–1978 учебном году / Пер. с фр. В. Ю. Быстрова, Н. В. Суслова, А. В. Шестакова. СПб.: Наука.
- Хабермас Ю. (2016). Структурное изменение публичной сферы: исследование относительно категории буржуазного общества / Пер. с нем. В. В. Иванова. М.: Весь Мир.
- Харпфер К., Бернхаген П., Инглхарт Р., Вельцель К. (ред.). (2015). Демократизация. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Хачатуров А., Юдин Г. (2019). Как хакнуть народ. В чем состоит реальная задача ВЦИОМа при проведении опроса о строительстве храма — объясняет социолог Григорий Юдин // Новая газета. № 53. 20 мая.
- Хачатуров А., Машуков С., Юдин Г. (2020). «Праздник урожая в лепрозории»: социолог Григорий Юдин — о поправках в Конституции и культе общественного мнения // Новая газета. № 60. 10 июня.
- Шампань П. (1997). Делать мнение: новая политическая игра / Пер. с фр. Н. Г. Осиповой, Е. Д. Вознесенской, Г. А. Чередниченко, Н. П. Щенковой. М.: Socio-Logos.
- Шумпетер Й. (2008). Капитализм, социализм и демократия // Шумпетер Й. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия. М.: ЭКСМО. С. 362–824.
- Юдин Г. (2014). Эксперимент под внешним управлением: риторика и презентация крымского мегаопроса // Мониторинг общественного мнения. № 2. С. 53–56.
- Юдин Г. (2018). Теория и технология перманентного референдума. Рец. на кн.: Гэллап Дж., Рэй С. Пульс демократии: Как работают опросы общественного мнения. М.: ВЦИОМ, 2017 // Мониторинг общественного мнения. № 3. С. 344–354.
- Юдин Г. (2020). Вопрос опросов: общественное мнение в условиях политического раскола // Рогов К. (ред.). Новая (не)легитимность: как проходило и что принесло России переписывание Конституции. М.: Фонд «Либеральная миссия». С. 53–62.
- Dobrescu R. (2009). La distinction rousseauiste entre volonté de tous et volonté générale: une reconstruction mathématique et ses implications pour la théorie démocratique // Canadian Journal of Political Science. Vol. 42. № 2. P. 467–490.
- Dovi S. (2018) Political Representation // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/political-representation/> (дата доступа: 13.01.21).
- Yudin G. (2019). Governing Through Polls: Politics of Representation and Presidential Support in Putin's Russia // Javnost — The Public. Vol. 27. № 1. P. 1–16.

The Pulse of Non-Democracy?

Alexey Titkov

Associate Professor, Faculty for Social Sciences, The Moscow School of Social and Economic Sciences

Address: Gazetny Pereulok, 3-5, Moscow, Russian Federation 125009

E-mail: a-titkov@yandex.ru

The article continues the discussion of Grigory Yudin's book *Public Opinion*. The review considers Yudin's arguments on the "plebiscitarian bias" in opinion-poll technology, on the linkages between opinion-polls, Rousseauist tradition and the "plebiscitarian model", and on Gallup's, Schumpeter's, and Weber's contributions to plebiscitarianism. In the context of the proposed conceptual model, controversial issues in the interpretation of Weber's and Schumpeter's ideas, as well as an estimation of the Russian political regime in the 2010s are debated. Models of plebiscitarianism (including their principles and criteria) as proposed by Yudin, and by Urbinati in Democracy Disfigured are compared. The article highlights the differences between Gallup and Schumpeter, as well as between Schumpeter and Weber, in their insights into democracy and public opinion. The reviewer pays attention to the relationship between the classical doctrine of representative democracy by Schumpeter and the bourgeois public sphere by Habermas, and between public debates and the quantification of public opinion. We examine the argument about the continuity between public-opinion polls and the big projects of Modernity, such as representative democracy, public sphere, and biopolitics. Continuity argument is proposed as an alternative to Yudin's hypothesis about the radical reinvention of 'democracy' and 'public opinion' during the inter-war period of the 20th century. Yudin's insights on the social and political ontology of opinion-polls are preliminary, and are reconstructed for further discussion.

Keywords: acclamation, democracy, Gallup, mass-media, polls, public opinion, plebiscitarianism, political ontology, public sphere, quantification, Schumpeter, Urbinati

References

- Bourdieu P. (1993) *Obschestvennoe mnenie ne sushestvuet* [Public Opinion Does Not Exist]. *Sotsiologija politiki* [Sociology of Politics], Moscow: Socio-Logos, pp. 159–177.
- Bourdieu P. (1993) *Politicheskoe predstavlenie: elementy teorii polja* [Political Representation: Elements for a Theory of Political Field]. *Sotsiologija politiki* [Sociology of Politics], Moscow: Socio-Logos, pp 179–230.
- Champagne P. (1997) *Delat' mnenie: novaja politicheskaja igra* [The Making of Public Opinion: New Political Game], Moscow: Socio-Logos.
- Dahl R. (2010) *Poliarhija: uchastie i oppozitsija* [Polyarchy: Participation and Opposition], Moscow: HSE.
- Dobrescu R. (2009) La distinction rousseauiste entre volonté de tous et volonté générale: une reconstruction mathématique et ses implications pour la théorie démocratique. *Canadian Journal of Political Science*, vol. 42, no 2, pp. 467–490.
- Dovi S. (2018) Political Representation. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Available at: <https://plato.stanford.edu/entries/political-representation/> (accessed 13 January 2021).
- Dushakova I. (2020) Pochemu ljudi ne veryat oprosam, ili Kak frejmirujutsia rezul'taty oprosov obschestvennogo mnenija v sovremennyh rossijskih SMI [Why People Don't Believe Polls, or How the Results of Opinion Polls are Framed in Contemporary Russian Media]. *Monitoring of Public Opinion*, no 6, pp. 30–52.
- Dushakova I. (2020) Mediafrejmirovaniye rezul'tatov oprosa ob otnoshenii rossijan k Stalinu [Media Framing of the Survey Results on the Attitude of Russians towards Stalin]. *RSUH/RGGU Bulletin. Series "Literary Theory. Linguistics. Cultural Studies"*, no 4, pp. 111–126.
- Foucault M. (2011) *Bezopasnost', territorija, naselenie: Kurs lektsij, prochitannyh v Collège de France v 1977–1978 uchebnom godu* [Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–78], Saint Petersburg: Nauka.

- Gallup G., Rae S. (2017) *Pul's demokratii: kak rabotaet obschestvennoe mnenie* [The Pulse of Democracy: The Public-Opinion Poll and How it Works], Moscow: VCIOM.
- Habermas J. (2016) *Strukturnoe izmenenie publichnoj sfery: issledovanija otnositel'no kategorii burzhaznogo obschestva* [The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society], Moscow: Ves Mir.
- Haerpfer C., Bernhagen P., Inglehart R., Welzel C. (eds.) (2015) *Demokratizatsija* [Democratization], Moscow: HSE.
- Khachaturov A., Yudin G. (2019) Kak haknut' narod. V chem sostoit real'naja zadacha VCIOM pri provedenii oprosa po stroitel'stve hrama — objasniaet sotsiolog Grigorij Yudin [How to "Hack" the People. What is VCIOM's Real Task in Opinion-Poll on Temple Construction, Explains Sociologist Gregory Yudin]. *Novaya Gazeta*, no 53, May 20.
- Khachaturov A., Mashukov S., Yudin G. (2020) "Prazdnik urozhaja v leprozorii". Sotsiolog Grigorij Yudin — o poravkakh v Konstitutsii i kulte obschestvennogo mnenija ["Harvest Festival in Leprosarium". Sociologist Gregory Yudin about Amendments to the Constitution and Public Opinion Cult]. *Novaya Gazeta*, no 60, June 10.
- Lipset S. (2015) *Politicheskij chelovek: Sotsial'nije osnovanija politiki* [Political Man: The Social Bases of Politics], Moscow: Mysl.
- Magun A. (2016) *Demokratija: demon i gegemon* [Democracy: Demon and Hegemon], Saint Petersburg: EU Press.
- Magun A. (2020) Zondazh bogonostsa [The Probing of God-Bearer]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 409–425.
- Manin B. (2008) *Printsipy predstavitelet'nogo pravlenija* [The Principles of Representative Government], Saint Petersburg: EU Press.
- Napreenko I., Yudin G. (2020) Pochemu predskazuemost' ubivaet politiku. Intervju s sotsiologom Grigoriem Yudinym [Why Predictability Kills Politics. Interview with Sociologist Gregory Yudin]. Gorky.media, June 25. Available at: <https://gorky.media/context/pochemu-predskazuemost-ubivaet-politiku/> (accessed 13 January 2021).
- Paniotto V., Grushetsky A. (2015) Indeks rezul'tativnosti rossijskoj propagandy [Russian Propaganda Efficiency Index]. *The Russian Public Opinion Herald*, no 1, pp. 106–115.
- Przeworski A. (1999) *Demokratija i rynok: Politicheskie i ekonomicheskie reformy v Vostochnoj Evrope i Latinskoj Amerike* [Democracy and market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America], Moscow: ROSSPEN.
- Reybrouck D. (2018) *Protiv vyborov* [Against Elections], Moscow: Ad Marginem Press.
- Rousseau J.-J. (1998) Ob obshhestvennom dogovore, ili Principy politicheskogo prava [On the Social Contract; or, Principles of Political Right]. *Ob obshhestvennom dogovore. Traktaty* [On the Social Contract. Treatises], Moscow: KANON-press, Kuchkovo pole, pp. 195–322.
- Schumpeter J. (2008) Kapitalizm, sotsializm i demokratija [Capitalism, Socialism, and Democracy]. *Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratija* [The Theory of Economic Development. Capitalism, Socialism, and Democracy], Moscow: EKSMO, pp. 362–824.
- Sysoyev T., Yudin G. (2020) "Oprosy obschestvennogo mnenija — eto pro kontrol', a ne pro demokratiju". Sotsiolog Grigorij Yudin — o tom, pochemu oprosy obschestvennogo mnenija stali prepjatstviem dlja demokratii I pochemu vazhno vernut' v Rossiju podlinnuju "publichnuju sfetu" ['Public-Opinion Polls is About Control, Not About Democracy'. Sociologist Gregory Yudin Says, Why Public-Opinion Polls Became an Obstacle for Democracy and Why it is Important to Recover Authentic "Public Sphere" in Russia]. *Expert*, no 24, June 8.
- Tilly C. (2019) *Ot mobilizatsii k revoljutsii* [From Mobilization to Revolution], Moscow: HSE.
- Titkov A. (2007) *Krizis naznachenij* [The Crisis of Gubernatorial Appointments]. *Pro et Contra*, vol. 11, no 4–5, pp. 90–103.
- Titkov A. (2016) *Ukraina 2014–2015 godov: vojna i revoljutsija glazami rossijskih oprosnyh fabrik* [Ukraine in 2014–2015: War and Revolution through Eyes of Russian Polling Companies]. VI Sociology Grushin Conference, Moscow. March 16. Available at: <https://profi.wciom.ru/index.php?id=672> (accessed 13 January 2021).
- Urbinati N. (2016) *Iskazhennaja demokratija: mnenie, istina i narod* [Democracy Disfigured: Opinion, Truth and the People], Moscow: Gaidar Institute Press.

- Weber M. (2016) *Hoziastvo i obschestvo: ocherki ponimajuschej sotsiologii. T. 1: Sotsiologija* [Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, Vol. 1: Sociology], Moscow: HSE.
- Weber M. (2017) *Parlament i pravitel'stvo v novoj Germanii: r politicheskoy kritike chinovnichestva i partijnoj zhizni* [Parliament and Government in Germany under a New Political Order: Towards a Political Critique of Officialdom and the Party System]. *Vlast' i politika* [Power and Politics], Moscow: RIPOL-Kassik, pp. 61–251.
- Yudin G. (2014) Experiment pod vneshnim upravleniem: ritorika i reprezentatsija krymskogo megaoprosa [Externally-Guided Experiment: Rhetoric and Representation of the Crimea Mega-Poll]. *Monitoring of Public Opinion*, no 2, pp. 53–56.
- Yudin G. (2018) Theory and Technology of Permanent Referendum: A Book Review on “The Pulse of Democracy: The Opinion Poll and How it Works” by G. Gallup, S. Rae. *Monitoring of Public Opinion*, no 3, pp. 344–354.
- Yudin G. (2019) Governing Through Polls: Politics of Representation and Presidential Support in Putin's Russia. *Javnost — The Public*, vol. 27, no 1, pp. 1–16.
- Yudin G. (2020) *Vopros oprosov: obschestvennoe mnenie v usloviyah politicheskogo raskola* [Issue of Polls: Public Opinion in the Context of Political Divide]. *Novaja (ne)legitimnost': Kak prohodilo i chto prineslo Rossii perepisyvanie konstitutsii* [New (Il)legitimacy: How the Constitution Rewriting Had Been Running and What it Brought to Russia] (ed. K. Rogov), Moscow: Liberal Mission Foundation, pp. 53–62.

All Power to the Experts? Contradictions of the Information Society as Both Depending on and Devaluating Expertise*

NICHOLS T. (2017). THE DEATH OF EXPERTISE: THE CAMPAIGN AGAINST ESTABLISHED KNOWLEDGE AND WHY IT MATTERS. NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. 272 P. ISBN 978-0-19-046941-2¹

Irina Trotsuk

DSc (Sociology), Professor, Sociology Chair, RUDN University
Leading Research Fellow, Center for Fundamental Sociology,
National Research University — Higher School of Economics
Address: Miklukho-Maklaya str., 6, Moscow, Russian Federation 117198
E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Strange things did happen here
No stranger would it be...
Mockingjay's Haunting Song

Today, we live in a very unpredictable and uncomfortable world, which would have seemed almost impossible a year ago when the lack of travel and total social distancing were unimaginable. There are tons of preprints, articles and even books (already!) on the different phenomena and issues of the notorious 2020.² This is normal for the expert community to question and discuss prerequisites, courses, and consequences of current events. It is just as understandable for ordinary people to either lash out between the con-

* Статья опубликована в рамках исследовательского проекта «Этика солидарности и биополитика карантина: теоретические проблемы культурно-политических трансформаций в эпоху пандемий», реализуемого ЦФС в 2021 году в соответствии с Программой фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

1. I have not read the Russian translation published in 2019. According to some readers' reviews on the Internet bookshops' web-sites, the book is considered too simple and trivial even for a non-fiction edition. I am not sure if such a perception is determined by the translation style or the author's clear argumentation that was mistaken for a lack of scientific rigor. However, if the reader accepts the author's idea of "enlightening" the public of the true and ever-lasting value of authoritative knowledge with convincing illustrative cases and clear arguments, and if the reader uses a bit of sociological imagination, the book's "as-if" simplicity would seem a hard-won fabric for explaining contradictory realities. Such books definitely improve one's sociological "optics" and support the argument that science (and sociology in particular) must not be defined as art, despite the imagination needed. Moreover, the notorious 2020, especially the pandemic, might have changed the readers' first perception of the book, for it shows the essence of the general distrust in expertise, the consequences of which we all watch and experience.

2. My author's privilege will be used so as not to make huge references for every statement. For instance, in this case, I would need a huge space to mention only the Russian sociological surveys of university teachers on the advantages and disadvantages of online education under the pandemic restrictions, not to mention other issues or other countries or global challenges of a medical, economic, or social nature.

tradictory expert opinions provided by TV shows and social media or, on the contrary, to hold on to their chosen perspective regardless of other arguments.

The chaotic nature of contemporary life with some (not always predictable and rational) exaggerated forms of as-if-based-on-science state control (or rather attempts to control) were in one way or another predicted and described many times. Just a second-long Google search would provide many famous scientists' quotes on the disappointment in science for not ensuring the level of knowledge, the accuracy of predictions, and the scope of security we so much strive for.³ Albert Einstein believed that "for the most part we humans live with the false impression of security and a feeling of being at home in a seemingly trustworthy physical and human environment. But when the expected course of everyday life is interrupted, we are like shipwrecked people on a miserable plank in the open sea, having forgotten where they came from and not knowing whether they are drifting. But once we fully accept this, life becomes easier and there is no longer any disappointment".⁴

Unfortunately, such acceptance is accessible primarily (and perhaps, exclusively) to scientists who understand both the limits of our mental weapons and the self-correcting nature of science (lost favored hypotheses and proven inadequate, chagrined theories), and find positive lessons in refutation (according to Karl Popper).⁵ For scientists as literal experts — "dangerous people who actually know what they are talking about",⁶ the correction of certain errors is a more proper operation of science providing a deeper insight into a methodology than the as-if-final establishment of truth (and is actually just as probable). However, the public prefers clear instructions on what to do and (at least until very recently) trusts scientists and the government as relying on expert opinions. The notorious 2020 puts us not only in an objectively new social-economic-geographical-political situation, but also cuts the ground out from our trust in expertise which became too various, diverse, and contradictory on almost all socially-urgent issues. We were made personally responsible for difficult choices in the spheres we are not competent in by definition, and not capable of controlling the outcomes of our decisions (such as health protection, medical treatment, emergency calls and hospitalization, social distancing and security, and so on).⁷

3. See, e.g., https://todayinsci.com/QuotationsCategories/D_Cat/Disappointment-Quotations.htm.

4. Einstein A. (2014) *The Human Side: Glimpses from His Archives* (eds. H. Dukas, B. Hoffmann), Princeton: Princeton University Press, p. 72.

5. See, e.g.: Popper K. R., Miller D. W. (1984) *Popper Selections, 1902–1994*, Princeton: Princeton University Press.

6. Lawrence Freedman's words on the second page of the reviewed book.

7. See such features of the contemporary society in more detail: "...manipulation is at its most vicious when it turns the blame for the imperfections of the culturally produced life formulae and the socially produced inequality of their distribution on the self-same men and women for whose use the formulae are produced and resources needed to deploy them are supplied. It is then one of those cases when (to use Ulrich Beck's expression) institutions 'for *overcoming* problems' are transformed into 'institutions for *causing* problems'; you are, on the one hand, made responsible for yourself, but on the other hand are 'dependent on conditions that completely elude your grasp' (and in most cases also your knowledge); under such conditions, 'how one lives becomes the *biographical solution of systemic contradiction*'. Turning the blame away from the institutions and onto the inadequacy of the self helps either to defuse the resulting potentially disruptive anger,

Until quite recently, we had a confident gut feeling that the natural sciences (including medicine) indeed did explain some things due to revealing the systemic manifestations of natural laws with the help of scientific methodology:

The modern world, of course, has long been shaped by the influence of science and scientific discovery. As the pace of innovation hots up, however, new technologies penetrate more and more to the core of our lives; and more and more of what we feel and experience comes under the scientific spotlight. The situation does not lead to increasing certainty about, or security in, the world — in some ways the opposite is true . . . The founders of modern science believed it would produce knowledge built on firm foundations. Popper supposes that science by contrast is built on shifting sands. The first principle of scientific advance is that even one's most cherished theories and beliefs are always open to revision. Science is thus an inherently skeptical endeavor, involving a process of that constant revision of claims to knowledge. The skeptical, mutable nature of science was for a long time insulated from the wider public domain . . .⁸

It has been a completely different matter with the social sciences. They were accused of many ills such as relying on concepts (power, tolerance, norm, freedom, happiness, etc.) that carry a set of differing perceptions for groups, countries and historical eras; researching either too-macro-problems that cannot be studied empirically and would essentially stay philosophical, or too-micro-problems in a too controlled and artificially designed environment; producing rather tautological assertions and pseudo explanations than critical reflections and practical recommendations necessary for a better understanding of social world and changing it for the better; and, in the first place, for losing its predictive ability (especially sociology, when political choices are concerned).⁹

or to recast it into the passions of self-censure and self-disparagement or even rechannel it into violence and torture aimed against one's own body" (Bauman Z. [2000] *The Individualized Society*, Malden: Polity Press, p. 5). Thus, we witness "the abandonment of the individual to the lonely struggle with a task with which most individuals lack the resources to perform alone" (Ibid.: 6). See also: Flint J., Powell R. (2013) Individualization and Social Dis/integration in Contemporary Society: A Comparative Note on Zygmunt Bauman and Norbert Elias. *Norbert Elias and Social Theory* (eds. F. Dépelteau, T. S. Landini), New York: Palgrave Macmillan, pp. 261–274.

8. Giddens A. (1999) Risk and Responsibility. *Modern Law Review*, vol. 62, no 1, p. 1.

9. See, e.g., Dropp K. (2016) How We Conducted Our "Shy Trumper" Study. Available at: <https://morningconsult.com/2016/11/03/shy-trump-social-desirability-undercover-voter-study>; Kennedy C., Keeter S., Hatley N., Lau A. (2017) Are Telephone Polls Understating Support for Trump? Available at: <https://www.pewresearch.org/methods/2017/03/31/are-telephone-polls-understating-support-for-trump>; Vavreck L. (2015) Survey Mode Effects: A Randomized Experiment. Available at: http://www.aapor.org/AAPOR_Main/media/AnnualMeetingProceedings/2015/C1-2-Vavreck.pdf; McQuarrie M. (2016) Sociology has a Trump Problem. Available at: <https://blogs.lse.ac.uk/researchingsociology/2016/11/17/sociology-has-a-trump-problem>; Silver N. (2016) The State of the Polls. Available at: <https://fivethirtyeight.com/features/the-state-of-the-polls-2016>; Cox D. A. (2020) Could Social Alienation among Some Trump Supporters Help Explain Why Polls Underestimated Trump Again? Available at: <https://www.americansurveycenter.org/commentary/could-social-alienation-among-some-trump-supporters-help-explain-why-polls-underestimated-trump-again>; Matthews D. (2020) One Pollster's Explanation for Why the Polls Got It Wrong. Available at: <https://www.vox.com/policy-and-politics/2020/11/10/21551766/election-polls-results-wrong-david-shor>; Lavrakas P. J. (2013) Presidential Address: Applying a Total Error Perspective for Improving Research Quality in the So-

To conclude this protracted introduction to the review, let us summarize some features of the obvious public discontent and distrust in science which were widely discussed long before the pandemic; (1) science did not manage to explain everything and equip us with precise instructions and technologies to live a wealthy and secure life, which cannot but upset; (2) we still (at least before the pandemic) had more trust in natural sciences than in social ones due to various reasons, in particular to the latter's greater floor for politically-biased interpretations and fake data; (3) there have been established intra-disciplinary discourse and debates on the explanatory limits of science and a rather outer-scientific critique of sociological research and social technologies, i.e., there was not a general line for discussing the possibilities and limitations of scientific expertise and factors affecting its reliability and credibility. Despite these features of the science-society relationship having been admitted, it was quite impossible to predict the social, political, and economic events and the pandemic of 2020. To understand the situation in its objective and interpretational dimensions, we need both the insights made before the current global crisis and the insights not only confined to the scientific debates but having the social grounds to explain more than their authors would claim (concerning cases considered). The book by Tom Nichols is an example of such an insight applicable to a wider context than the threats to social trust and democracy in the United States.

According to the reviewers, with whom one cannot disagree, the book is a “compelling, and often witty polemic”, showing that in our “post-fact age”, “the digital revolution, social media, and the Internet have helped to foster a cult of ignorance”. Therefore, the author considers “what might be done to get authoritative knowledge taken more seriously”, how to return “reason and rationality in our public and political discourse”, and how to “balance our skepticism with trust going forward” (p. ii). Certainly, these are not issues specific to the American society, which makes the book interesting for a much wider audience that would see similarities in the challenges and prospects described. The general framework of the author's narrative is the death of expertise as a result of the de-

cial, Behavioral, and Marketing Sciences. *Public Opinion Quarterly*, vol. 77, no 3, pp. 831–850; Baidakova A., Komin M., Almamatov A., Alexeev A. (2015) Faktory nedostovernosti rezul'tatov sociologicheskikh oprossov [Factors of Unreliability of the Sociological Surveys Results]. Available at: <http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/andrei-alekseev-1/faktory-nedostovernosti-rezul'tatov-sociologicheskikh-oprossov>; Meduza (2016) Za chto my nenavidim socoprosy: chetyre glavnnyh pretenzii k russuzhdenijam o “bol'shinstve rossijan” [Why We Hate Opinion Polls: Four Main Complaints about the “Majority of Russians”]. Available at: <https://meduza.io/feature/2016/01/14/za-chto-my-nenavidim-oprosy-obschestvennogo-mneniya>; Filina O. (2015) Sociologicheskaja pogreshnost': pochemu oprosy obshhestvennogo mnenija vyzyvajut stol'ko voprosov [Sociological Error: Why Opinion Polls Raise So Many Questions]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/2800149>; etc.

velopment of the expert¹⁰-laypeople relationship¹¹ in recent decades: the book describes the factors and consequences of such a development in higher education, social communication (primarily electronic), and journalism, and finishes with the political dimension of the death of expertise.

There is no point in reconstructing the logic of the author's argumentation by sections, so let us summarize the main book's ideas, or rather, its implicit questions. The first question is *what is going on with the social functioning of knowledge?* The author argues that the United States is obsessed with the worship of its own ignorance (certainly, not only the U.S.), and the problem is not the ignorance itself since people have never known much and will never know much about science or politics, which is an old and eternal social problem. Nothing much has changed since Emile Durkheim described the social division of labor¹² as the essence of social organization: "We live in a society that works because of a division of labor, a system designed to relieve each of us of having to know about everything . . . None of us is a Da Vinci, painting Mona Lisa in the morning and designing helicopter at night [there are such people but they are exceptions]" (p. x). Nichols misses the personal responsibility for the decisions we make in the spheres we are not competent in (due to the as-if-relieving social division of labor), but in general the picture is true.

I am not sure that people are really "proud of not knowing things", consider "ignorance, especially of anything related to public policy, an actual virtue", and "reject the advice of experts to assert autonomy" — these are exaggerations summarized in the metaphor of a new Declaration of Independence and similar to the accusation of Americans in the "traditional distaste for intellectuals and know-it-alls" — "most people do not like professors" (p. x). However, while the description is exaggerated, the underlying diagnosis is correct: expertise as a combination of scientific authoritative knowledge and principled, informed arguments is in danger. The problem is not questioning expertise and its grounds since this is absolutely normal for the development of knowledge. The problem is people's aggressive protection of their ignorance and their refusal to learn anything that contradicts their groundless beliefs. One cannot disagree that we all have had such an ex-

10. The author does not divide the terms "experts", "professionals", and "intellectuals" (p. 14), which does not seem to be a correct decision but does comply with the aims of the book. Later, on page 29, he emphasizes the interchangeability of three words as defining people who "have mastered particular skills or bodies of knowledge and who practice those skills or use that knowledge as their main occupation in life" (specialization is necessarily exclusive and talent is indispensable). He continues: "Another mark of true experts is their acceptance of evaluation and correction by other experts" (self-policing, peer-run institutions to maintain standards and to enhance social trust) (p. 35).

11. The author does not clarify his interpretation of "experts" and "laypeople", although the relationship of these two terms has long been the focus of scientific searches and debates. See, e.g., Kangas I. (2002) "Lay" and "Expert": Illness Knowledge Constructions in the Sociology of Health and Illness. *Health*, vol. 6, no 3, pp. 301–304; Maranta A., Guggenheim M., Gisler P., Pohl C. (2003) The Reality of Experts and the Imagined Lay Person. *Acta Sociologica*, vol. 46, no 2, pp. 150–165; McClean S., Shaw A. (2005) From Schism to Continuum? The Problematic Relationship between Expert and Lay Knowledge — An Exploratory Conceptual Synthesis of Two Qualitative Studies. *Qualitative Health Research*, vol. 15, no 6, pp. 729–749.

12. See, e.g., Durkheim E. (1984) *The Division of Labor in Society*, New York: The Free Press; Merton R. K. (1934) Durkheim's *Division of Labor in Society*. *American Journal of Sociology*, vol. 40, no 3, pp. 319–328.

perience when people without the first clue about the subject at hand would confidently direct you on how to do something (the easiest way to check it is to post something on a social network).

In general, having discussions is understandable and desirable in public policy and social communication, and laypeople are often asked for their opinions. However, the scope of laypeople's "expertise" today has widened tremendously. Instead of asking doctors, lawyers, teachers, etc., sensible questions, clients, patients, students, etc., tell professionals why their advice is wrong and dismiss the very idea of the expert's better knowing almost out of hand too often, on too many issues, and with too much anger. It is very difficult "for experts to push back and to insist that people come to their senses . . . Instead of arguing, experts today are supposed to accept disagreements [with incompetent but stubborn laypeople] as, at worst, an honest difference of opinion . . . to 'agree to disagree'" (p. xi). It is difficult to agree with the author's explanation of the situation that the reason is either "narcissism coupled to a disdain for expertise as some sort of exercise in self-actualization" or "merely a symptom of generational change" (*Ibid.*). Undoubtedly, both matters, in particular, the generational differences in the degree of respect and trust in science and politics. However, on the one hand, as Nichols rightly notes, this trust "was not only misplaced but abused" for decades. On the other hand, which he rather ignores, there is a factor of the socially-imposed personal responsibility for decisions people are not competent enough to make. This makes them wonder why their opinion matters in elections and vaccination but not in other spheres, since they are as "competent" in them as in the ones they are asked to make choices in.

The second implicit question of the book is *what are manifestations of the death of expertise?* The author quotes Isaac Asimov's words on anti-intellectualism as "a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge'" (p. 1). "AIDS denialists" are mentioned as an example of anti-intellectualism that argued against virtually the entire medical establishment's consensus and had tragic consequences. The model of such a principal and practical denial was reproduced by "COVID-19 denialists" (or "COVID-19-pandemic denialists"). The author provides many examples of people being too confident in their abilities to judge and make decisions while being absolutely ignorant of the matter, such as on their country's military intervention in a conflict while not being able to identify the geographic location of the proposed mission (their enthusiasm for military intervention was in direct proportion to their lack of knowledge), on the nature of gluten while avoiding it, on the functions and structure of vaccines while acting as anti-vaccine crusaders, and so on.

The author accepts some "skepticism towards experts" due to "a Google-fueled, Wikipedia-based, blog-sodden collapse of any division between professionals and laypeople", but not the whole situation when "increasing numbers of laypeople lack basic knowledge, reject fundamental rules of evidence and refuse to learn how to make a logical argument", thus, risking of "throwing away centuries of accumulated knowledge" (p. 3). The picture is threatening to the level of sometimes turning into the amusing and even the hilarious;

in many countries, “comedians have made a cottage industry of asking people questions that reveal their ignorance about their own strongly held ideas, their attachment to fads, and their unwillingness to admit their own cluelessness about current events” (Ibid.). However, when life and death are involved, there is no space for fun, but uninformed celebrities and public figures propagate myths and misinformation.

We still trust doctors, lawyers, consular officials and many others when we run into trouble, but only as technicians, that is, to use their “established knowledge as an off-the-shelf convenience as needed and only so far as desired” (p. 4), i.e., without a proper dialogue between experts and the larger community. Nichols does not blame only the ignorant public, although the emphasis of the book is definitely on the rejection of existing knowledge, science, and dispassionate rationality by laypeople who believe themselves to be “experts on everything”. They “immediately complain that any assertion of expertise from an actual expert is nothing more than fallacious ‘appeals to authority’, sure signs of dreadful ‘elitism’, and an obvious effort to use credentials to stifle the dialogue required by a ‘real’ democracy . . . It is a flat assertion of actual equality that is always illogical, sometimes funny, and often dangerous” (p. 5). However, there are things to blame experts for: many of them, especially in academia, prefer to stay in “ivory towers”, retreating into scientific terminology and interact only with their “equals” in knowledge and rigor, while public intellectuals are becoming as frustrated and polarized as the rest of society (which is proved by the tons of junk non-fiction books).

In Russia, there is an additional explanation for laypeople’s political apathy and intellectual ignorance, which might be less applicable to the United States. This is the strong general belief that ordinary people cannot change anything, so why bother and try: if I cannot affect the social situation and make myself heard by those “on the top”, then I would focus on my own life (close social circle or local community) and would not allow experts to tell me how to live my life.¹³ There are probably manifestations of the same phenomenon in American society, but the author does not mention any. Nichols admits the global problem by quoting Robert Hofstadter: “the complexity of modern life (legislation, taxes, healthcare, etc.) has steadily whittled away the functions the ordinary citizen can intelligently and competently perform for himself . . . Once the intellectual was gentry ridiculed because he was not needed; now he is fiercely resented because he is needed too much” (p. 18–19). In particular, in America (and globally), this has made it extremely difficult for voters to monitor and evaluate the government’s activities: “the low level of political knowledge . . . is still one of the best-established findings in social science” (Ibid.), although in Russia, it is accompanied by the low level of political interest and activity.

13. See, e.g., Pozanenko A. (2019) Prostranstvennaja izoljacija i ustojchivost’ lokal’nyh soobshhestv: k razvitiyu sushhestvujushhih podhodov [Spatial Isolation and Sustainability of Local Communities: Development of Existing Approaches]. *Puti Rossii: granitsy politiki* [Paths of Russia: Boundaries of Politics] (ed. M. Pugacheva), Moscow: New Literary Observer, pp. 139–153; Zubarevich N. (2011) Chetyre Rossii [Four Russias]. Available at: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2011/12/30/chetyre_rossii.

The third question of the book is why “so many people having so much access to so much knowledge are yet so resistant to learning anything, . . . why otherwise intelligent (adept, successful) people denigrate intellectual achievement and reject the advice of experts” (p. 3), that is, *what are the factors of the death of expertise?* As seen in the Introduction, the author refuses to blame the Internet because this is not the only explanation; the Internet is the most recent tool which has substituted other media in a recurring problem. Although the author suggests dividing the sources of the death of expertise into three groups — rooted in human nature, unique to America, and unavoidable for modernity and affluence — these sources have become so global and so similar in different nations that there is no point in identifying their national specifics.

(1) The age-old problem of the relationship between experts and laypeople has transferred its basic contradictions to social communication in general, despite the “status” of interlocutors. For instance, confirmation bias — the tendency¹⁴ to accept evidence that confirms our principal beliefs — and the lack of knowledge prevents us from recognizing the gaps in our worldview, and from understanding and admitting our inability to construct a logical argument. Confirmation bias is common for all people, regardless of their knowledge and competence: we tend to “look for information that only confirms what we believe, accept facts that only strengthen our preferred explanation, and dismiss data that challenge what we already accept as truth” (p. 47). Concerning science, “even though every researcher is told that ‘a negative result is still a result’, no one really wants to discover that their initial assumptions went up in smoke” (p. 51).

We all know people who believe they are troves of knowledge and are more than happy to enlighten the rest of us about everything. In our everyday life, we even have a certain affection for them (if they are our relatives). However, the problem is that “the public sphere is increasingly dominated by a loose assortment of poorly informed people, many of them autodidacts who are disdainful of formal education and dismissive of experience . . . We now live in an age where misinformation pushes aside knowledge” (p. 14). The fatal redundancy of information is an essential feature of the information age, which determines the low levels of knowledge among laypeople (a historical fact). The problem is not indifference but a positive hostility to established knowledge, and its replacement by the principles of “every opinion matters” or “every opinion is as good as every other” (proclaimed anti-intellectualism).

The author believes that such a devaluation of expert knowledge undermines the very foundations of social order based on a social division of labor and a reliance on experts: society “cannot function [properly or normally] without admitting the limits of our knowledge and trusting in the expertise of others” (p. 15). The current situation is different from the traditional intellectuals’ complaints about the denseness and distrust of their fellow citizens, amplified by the Internet and social media which gather factoids and half-baked ideas and spread misinformation and poor reasoning, and from traditional persistent attachments to both harmless and dangerous folk wisdom, superstitions, urban leg-

14. The definition “natural tendency” seems unacceptable; there is nothing “natural” in it since this is a socially acquired pattern of interaction. Therefore, the term “natural” is omitted.

ends, and intricate conspiracy theories. The author touches upon the issue of populism when arguing that “in the original American populistic dream, the omnipotence of the common man was fundamental and indispensable; it was believed that he could, without much special preparation, pursue the professions and run the government” (p. 18). This is a very difficult topic regaining popularity,¹⁵ which was simply mentioned in passing but could have been used as a basis for explaining the political “dimension” of the death of expertise.

Another problem is that “experts are not infallible and have made terrible mistakes with ghastly consequences” (p. 10) as a result of outright fraud, well-intentioned but arrogant overconfidence, and the usual mistakes we all make. However, experts monitor their work and themselves, and should not be attacked by laypeople for being incompetent. Laypeople mistake the occasional experts’ failures in certain issues (with catastrophic consequences) for the fact that experts are consistently wrong on everything, thus disregarding any expert advice they do not like. Nichols writes: “It rarely occurs to skeptics that for every terrible mistake, there are countless successes” (p. 24). Laypeople tend to forget that (a) experts make far fewer mistakes than a layperson, because they know the pitfalls of their profession better; (b) knowing a little bit does not mean “expertise” (comprehension) — it requires education, training, practice, experience, and acknowledgement by others in the field; (c) we are social animals who want acceptance and affection, and we might mistake the support of those closest to us for our amazing competency and trustworthiness; (d) formal education is not a sufficient indicator of expertise or of becoming smarter and more intelligent; (e) most of the time, in day-to-day matters, we do not need scientific methods and data because common sense serves us well (therefore, we dwell in the illusion that the tools of common sense are sufficient and will not betray us in untangling complicated issues); (f) resisting generalization, because we all want to believe that we are unique, does not cancel generalization as the root of science (by the way, resistance to scientific generalization as probabilistic explanation happily coexists with the ugly social habit of stereotyping and stigmatization); (g) the “Dunning-Kruger Effect” cannot be ignored or underestimated — “people spool off on subjects about which they know very little and with completely unfounded confidence” (p. 43), i.e., “the dumber (unskilled or incompetent) you are, the more confident you are

15. See., e.g., Badiou A. (2016) Twenty-Four Notes on the Uses of the Word “People”. Badiou A., Bourdieu P., Butler J., Didi-Huberman G., Khiari S., Rancière J., *What is a People?*, New York: Columbia University Press, pp. 21–31; Edelman M. (2020) From “Populist Moment” to Authoritarian Era: Challenges, Dangers, Possibilities. *Journal of Peasant Studies*. Available at: <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1802250>; Pain E., Fedyunin S. (2019) Populizm i jelitizm v sovremennoj Rossii: analiz vzaimosvjazi [Populism and Elitism in Contemporary Russia: Analysis of the Relationship]. *Political Studies*, no 1, pp. 33–38; Gudkov L. (2017) Osnobnosti rossijskogo populizma [Peculiarities of the Russian Populism]. *Bulletin of Public Opinion*, no 1–2, pp. 91–105; Moffitt B. (2016) *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*, Stanford: Stanford University Press; Roman-Alcalá A. (2020) Agrarian Anarchism and Authoritarian Populism: Towards a More (State-)Critical “Critical Agrarian Studies”. *Journal of Peasant Studies*. Available at: <https://doi.org/10.1080/03066150.2020.1755840>; Scoones I., Edelman M., Borras S. M., Hall R., Wolford W., White B. (2018) Emancipatory Rural Politics: Confronting Authoritarian Populism. *Journal of Peasant Studies*, vol. 45, no 1, pp. 1–20; etc.

that you are not actually dumb; we all overestimate ourselves, but the less competent do it more than the rest of us" (p. 44); (h) "social pressure has always tempted even intelligent, well-informed people to pretend to know more than they do, but this impulse is magnified in the Information Age" (66); moreover, "we can take being wrong about the kind of bird we just saw in our backyard, or who the first person was to circumnavigate the globe, but we cannot tolerate being wrong about the concepts and facts that we rely upon to govern how we live our lives" (p. 67).

Although, in general, the "Dunning-Kruger Effect" is considered to be specific for laypeople, experts often make a similar mistake: when people "have no idea what they are talking about, it does not deter them from talking anyway" (p. 45). Experts sometimes cannot resist giving an opinion, and try to stretch their expertise from one area to another so as to answer a need in the public square. According to Nichols: "This is not only a recipe for error, but is maddening to other experts as well. In some cases, the cross-expertise poaching is obvious, as when entertainers — experts in their own fields, to be sure — confuse art with life and start issuing explanations of complicated matters" (p. 177). He continues: "Yet another problem is when experts stay in their lane but then try to move from explanations to prediction" to satisfy the society's demand in predictions of discrete events, the failures in which this very society regards as "indications of the worthlessness of expertise" (p. 178). "The goal of expert advice and prediction is not to win a coin toss, it is to help guide decisions about possible futures" (p. 203). The author then provides good examples of sociological polls and market research that can get something very wrong.

In addition, especially in difficult conversations on the most controversial issues, experts forget about the requirement to remain dispassionate (in the Weberian sense)¹⁶: "Experts must treat everything from cancer to nuclear war as problems to be solved with detachment and objectivity. Their distance from the subject enables open debate and consideration of alternatives, in ways meant to defeat emotional temptations, including fear, that led to bias" (p. 64). Unfortunately, such a level of emotional detachment is not always accessible to experts.

Still another problem is that people tend to confuse experts (advisers) and policymakers (deciders), which corrodes trust among the public, experts, and officials. Policymakers engage experts to advise them, and knowers sometimes do give wrong advice. However, more often, experts cannot make the decider follow their advice, or cannot control how leaders implement them or how much of their advice is taken, i.e., "experts can advise policymakers on what to do, but they may find their advice taken in ways that were never intended" (p. 223).

(2) There is an obvious transformation of education in general and of higher education in particular, from an enlightening institution into a service sector and a generic commodity. Despite the widespread assumption that the broad availability of a college/

16. See, e.g., Weber M. (1946) *Science as a Vocation*. From *Max Weber: Essays in Sociology* (eds. H. H. Gerth, C. W. Mills), New York: Oxford University Press, pp. 129–156; Goddard D. (1973) Max Weber and the Objectivity of Social Science. *History and Theory*, vol. 12, no 1, pp. 1–22.

higher education would make many people smarter, students (and their parents) have become “valued clients” which determined a market competition of colleges and universities as “producers” of educational services. Thus, students “gain only an illusory intelligence bolstered by a degree of dubious worth, . . . a great deal of self-esteem, but precious little knowledge; worse, they do not develop the habits of critical thinking that would allow them to continue to learn and to evaluate the kinds of complex issues on which they will have to deliberate and vote as citizens” (p. 9). Nichols identifies himself as a beneficiary of a wider access to higher education and the social mobility it provides, and the one who continues to have faith in the ability of postsecondary schools to produce both knowledge and knowledgeable people. However, universities fail to fulfill their main function of developing critical thinking as “the ability to examine new information and competing ideas dispassionately, logically, and without emotional or personal misconceptions” (p. 72).

The reason here is that colleges and universities provide a “full-service experience of going to college” and a feeling of being “educated” rather than knowledge, critical thinking, reasonable background in a subject, and a willingness to continue learning which is due to the increasing commodification of education: students are treated as clients and get the right to evaluate educators, i.e., the layperson becomes accustomed to judging the expert (Ibid.). “In the worst cases, degrees affirm neither education nor training, but attendance . . . to an expensive educational buffet laden mostly with intellectual junk food, with very little adult supervision to ensure that the students choose nutrition over nonsense” (p. 74). The situation is the same in many countries: “The emergence of faux universities is in part a response to an insatiable demand for degree in a culture where everyone thinks they should go to college, . . . which created a destructive spiral of credential inflation” (grade inflation, degree inflation, collapsing standards, low-quality doctorates, so many PhDs that the academic job market cannot absorb them, etc.) (p. 75). Not only Americans, but Russians, too, “are burying themselves in a blizzard of degrees, certificates, and other affirmations of varying value” (p. 89). The author blames the “industrial model”¹⁷ of education that “reduces college to a commercial transaction, where students are taught to be picky consumers rather than critical thinkers” (p. 98).

Probably, Nichols misses another important feature of the contemporary youth in that they have become more infantile than previous generations, which affects their demands, expectations, emotions and behavior patterns¹⁸ for the worse when the independency of learning, argumentation, making decisions and even the search for knowledge is concerned. However, the author emphasizes the role of parents and college in such

17. There is a trend of questioning the efficiency and credibility of the ‘industrial’ form of organization in general. See, e.g., such questioning in agriculture: Wegren S., Trotsuk I. (2020) Ustojchivo li promyshlennoe sel’skoe hozjajstvo v uslovijah klimaticeskikh izmenenij i jekologicheskikh ugroz? [Is Industrial Agriculture Sustainable during Climate Change and Ecological Threats?]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 21, no 5, pp. 12–38.

18. See, e.g., Twenge J. M. (2018) *iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy — and Completely Unprepared for Adulthood — and What That Means for the Rest of Us*, New York: Atria Books.

infantilization. Nichols writes that college “is no longer a passage to educated maturity and instead is only a delaying tactic against the onset of adulthood — in some cases, for the faculty as well as for the students” (pp. 73–74); and parents choose the best client-centered college for their child, i.e., “not escorting him/her away from adolescence” (over-protective and over-helping “helicopter parenting”).¹⁹

(3) At the same time, the Internet (and electronic media in general) as a “source and enabler of a spreading epidemic of misinformation” and a “platform for attacks on established knowledge” (myths and rumors are turned into “facts” and stay online for years), and despite being a “defense against them” and a “magnificent repository of knowledge”, contributes to the death of expertise and to the eroding respect for experts. However, “the Internet is not the primary cause of challenges to expertise, but rather has accelerated the collapse of communication between experts and laypeople by offering an apparent shortcut to erudition. It allows people to mimic intellectual accomplishment by indulging in an illusion of expertise provided by a limitless supply of facts” (p. 106). The problem is that access to torrents of information weakens the ability of both laypeople and scholars to do basic research and navigate this “wilderness” of big data: “plugging words into a browser window is not research” (p. 109), and “seeing words on a screen is not the same as reading or understanding them”. However, “the very act of searching for information makes people think they have learned something, when in fact they are more likely to be immersed in yet more data they do not understand” (p. 119).

Virtual communication makes people more self-assured (the author prefers words “meaner” and “shorter-fused”). When anonymous or inaccessible in real life, people prefer insults to discussion and listening. Moreover, social media make us less social and more confrontational: we prefer to talk only to those with whom we already agree, and we easily “unfriend”, that is, break ties with everyone we are not associating with. In addition, social media are a “great equalizer”: for instance, students communicate with teachers as with a customer-service department that is reachable with only a few keystrokes. In general, “in the age of social media, people using Internet assume that everyone is equally intelligent or informed merely by virtue of being online” (p. 129). What is more dangerous is that “the Internet is changing the way we read, the way we reason, even the way we think, and all for the worse” (p. 109). The author makes the pessimistic conclusion that “there is no way to enlighten people who believe they have gained a decade’s worth of knowledge because they have spent a morning with a search engine” (120), albeit gravitating toward and believing whichever results of a search come up first in the rankings.²⁰

(4) In the contemporary hyper-competitive environment that affected all social institutions, including previously conservative higher education, the media’s priority has changed from informing to entertaining. Instead of developing expertise or deep

19. For decades, such parenting (in Russia) was considered the principal difference between the U.S. and Russia; this is truly amazing that today the two societies converge in overprotective parenting.

20. This is a new manifestation of the “spiral of silence”. See Noelle-Neumann E. (1974) The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion. *Journal of Communication*, vol. 24, no 2, pp. 43–51. A list of recent citing literature based on the concept can be found at: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1974.tb00367.x>.

knowledge of a subject, journalists and experts are “often reduced to sound bites or ‘pull quotes’” (p. 10). The author argues that, for decades, we used to consider reporters as capable of digging out the truth, as “arbiters of all this chaos”, equipped with tools of investigation, sourcing, and fact-checking. Today, “in a world of constant information, delivered at high speed and available twenty-four hours a day, journalism is sometimes as much a contributor to the death of expertise as it is a defense against it” (p. 137). There are good and bad journalists: the former help people make sense of the complicated world, while the latter do not, thus, increasing threats to expertise and established knowledge. Anyway, the “banquet of information, served up with various kinds of garnish on any number of platters”, accessed easily and shared electronically, is just too much and too closely fused with entertainment. Therefore, being drowned in data, suffering from information overload, and being tired of listening to would-be experts speaking on anything and everything on all platforms, “people remain resolutely ignorant and uninformed, and reject news, even when it is all delivered to them almost without effort” (p. 139).

The last question of the book is *what to do in the situation of the death of expertise?* Although the experts’ fault is not the basis of the author’s argumentation but a peripheral storyline, Nichols calls experts to action to change the situation for the better. The author insists that the experts’ duty is to make important issues understandable to laypeople, and to serve society by educating and enlightening it, regardless of how their fellow citizens behave. However, society’s responsibility is to learn, to develop critical thinking and, when approaching the news, to be humbler (accept others being more competent), ecumenical (use different sources of information), less cynical, and more discriminating (search for answers and raise questions) (p. 167). Metaphorically, this is a model of an “expertise-positive” (instead of “ignorance-positive”) society demanding an experts’ rebel to reassert their authority. Thus, university teachers should resist the entire notion of education as a client service; experts should learn to say “no” when asked to give an opinion on anything beyond their field, and remember their responsibility to demur; public intellectuals should shoulder more responsibility in bridging the gap between experts and laypeople, and laypeople should take more responsibility for their own knowledge. Nichols writes that “it is no excuse to claim that the world is too complicated and there are too many sources of information, and then to lament that policy is in the hands of faceless experts who disdain the public’s views” (p. 207). He also writes: “Both experts and laypeople have responsibilities when it comes to expert failures. Professionals must own their mistakes, air them publicly, and show the steps they are taking to correct them. Laypeople, for their part, must exercise more caution in asking experts to prognosticate, and they must educate themselves about the difference between failure and fraud” (p. 205).

Perhaps, the main feature of the book that would both upset and inspire its non-American reader is its over-exaggerated emphasis on the American democratic culture as contributing to the death of expertise. All societies pass through the same processes of becoming (virtual) noisy public places full of misinformation and challenges to established knowledge. This is not an American privilege. For instance, the author’s estimate

that the death of expertise threatens the material and civil well-being of people does not need a clarification “in a democracy”, because the public’s aggressive ignorance is a threat to every social system. It is probable that the American “intense focus on the liberties of the individual enshrines resistance to intellectual authority even more” (p. 16), but online anti-intellectualism strengthens its position worldwide.

In addition to the already-mentioned clearness of the author’s argumentation, the book has other distinctive features: convincing examples from both science (in particular, sociological research) and personal experience, clarifying and supporting quotes from both academic writings and media discourse which remind the reader from any country of one’s national analogues of the described manifestations of the death of expertise; a skillful choice of metaphors;²¹ and inspiring optimism manifested in calls to action. These features allow Nichols not so much to scare or blame laypeople (for ignorance, anti-intellectualism, etc.) as to make them look at and see what is really going on. Concerning experts, the author is, on the one hand, pessimistic for they are defeated by the public’s resolute ignorance, while on the other hand, he sees signs of experts rebelling against attacks on their expertise.

While reading the book, an expert-reader would constantly think of theories, concepts, examples, and issues that the author could have but did not consider or mention. For instance, the issue of experts’ mistakes corresponds to Ulrich Beck’s version of risk society, in which risks can only be understood and managed through science (expertise), yet they increasingly call science into doubt.²² According to Anthony Giddens, issues of trust, especially in experts and expert systems, are central for a risk society to manage risks; however, expert knowledge is never final, perfect, or reliable, which makes people lose trust in experts. In other words, contemporary risk societies depend both on experts and the decline of trust in expertise and in major social institutions based on expert knowledge.²³

21. For instance, the author admits that the chosen wording — “the death of expertise” — “grandly announces its self-importance” though expertise actually “is not dead but in trouble”; believes that “a fair number of people, regardless of political affiliation, will shoot the messenger rather than hear something they don’t like”; “the great number of people who have been in or near (!) a college think of themselves as the educated peers of even the most accomplished scholars and experts”; “in response to aggressive marketing from tuition-driven institutions, teenagers from almost all of America’s social classes now shop for colleges the way the rest of us shop for cars”; “the only thing more disheartening than finding out these folks [saying they have graduate education and are therefore to be taken seriously] are lying about possessing multiple degrees is to find out that they are telling the truth”; “when education is about making sure clients are happy, college’s reliance on evaluations forces weaker or less secure teachers to become dancing bears, striving to be loved or at least liked”; “nothing excuses colleges for allowing their campuses to turn into circuses” due to “increasingly surrendering their intellectual authority not only to children, but also to activists”; “the Internet is like artillery support: a constant bombardment of random, disconnected information”; “the Internet lets a billion flowers bloom, and most of them stink”, etc. I am not sure the book would have been published in the U.S. in 2020 due to the author’s perception of contemporary activism as based on the idea of leaving no thought unexpressed, no feeling invalidated, and no intellectual exploration needed.

22. See, e.g., Beck U. (1992) *Risk Society: Towards A New Modernity*, London: Sage; Doyle A. (2015) *Introduction: Trust, Citizenship and Exclusion in the Risk Society. Risk and Trust: Including or Excluding Citizens* (ed. Law Commission of Canada), Halifax: Fernwood, pp. 7–22.

23. See, e.g., Giddens A. (1990) *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity.

When Nichols calls experts to resist the death of expertise and to continue their enlightening efforts, one can remember John Polanyi's argument that “[intellectual courage is] the quality that allows one to believe in one's judgement in the face of disappointment and widespread skepticism; intellectual courage is even rarer than physical courage”²⁴, or Zygmunt Bauman's calls for sociological enlightenment under the postmodern risky plurality of norms and values, in a polycentric world, in an “age of noise”, that is, to spot the general in the particular, to construct a larger system in which each ‘makes sense’ to the other, and to learn the “art of dialogue”²⁵.

I believe that such a thought-provoking text is an indicator of a good book, and I cannot help but quote the author: “That, at least, is my expert opinion, but I could be wrong” (p. 238).

Вся власть экспертам? Противоречия информационного общества, зависящего от экспертного знания, но девальвирующего его

Ирина Троцук

Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, Российский университет дружбы народов
Ведущий научный сотрудник, Центр фундаментальной социологии, национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Адрес: ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Москва, Российская Федерация 117198
E-mail: irina.trotsuk@yandex.ru

Рецензия на: *Tom Nichols, The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why It Matters* (New York: Oxford University Press, 2017).

24. Polanyi J. C. (1987) A Scientist and the World He Lives In: Speech to the Empire Club of Canada (November 27, 1986). *The Empire Club of Canada Speeches 1986–1987* (eds. C. F. Turner, T. Dickson), Toronto: Empire Club of Canada, pp. 149–161.

25. See, e.g., Bauman Z. (2000) Sociological Enlightenment — for Whom, about What? *Theory, Culture & Society*, vol. 17, no 2, pp. 71–82; Tabet S. (2017) From the Modern Project to the Liquid World: Interview with Zygmunt Bauman. *Theory, Culture & Society*, vol. 34, no 7–8, pp. 131–146.

Прощание с иллюзиями: анализ общества позднего модерна Андреаса Реквица^{*}

RECKWITZ A. (2019). DAS ENDE DER ILLUSIONEN: POLITIK, ÖKONOMIE UND KULTUR IN DER SPÄTMODERNE. BERLIN: SUHRKAMP. 305 S. ISBN 978-3-518-12735-3

Александр Сувалко

Научный сотрудник Лаборатории исследований культуры,

Институт исследований культуры, факультет городского и регионального развития;
преподаватель Школы философии и культурологии, факультет гуманитарных наук,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: asuvalko@hse.ru

Современным немецким исследователям в нашей стране последнее время изрядно не везет. Только этим можно объяснить отсутствие перевода на русский язык хотя бы одной книги видного немецкого культурсоциолога Андреаса Реквица. Ведь за последние несколько лет ученому удалось стать одной из наиболее заметных фигур в интеллектуальном ландшафте Германии.

Андреас Реквиц учился в Бонне, Гамбурге и Кембридже. В Кембриджском университете в 1994 году он получил степень магистра под руководством Энтони Гидденса, а спустя пять лет уже под руководством Макса Миллера в Гамбургском университете защитил диссертацию «Трансформация культурных теорий». В этой работе им был заложен прочный фундамент для его последующих исследовательских разработок. В настоящее время Андреас Реквиц занимает позицию профессора общей социологии и культурсоциологии Берлинского университета имени Гумбольдта. За последний год не было месяца, когда СМИ не публиковали бы интервью с ученым или его авторскую колонку¹.

За активную работу Реквиц в 2019 году был удостоен премии Готфрида Вильгельма Лейбница. Полученные деньги пойдут на создание исследовательского центра и на гранты молодым ученым. Петер Штрошнайдер, президент Немецкого исследовательского фонда, в поздравительной речи отметил серьезный вклад Реквица в развитие социологии, эстетики и искусствоведения: «Вряд ли кто-нибудь мог бы проанализировать (сложные структурные изменения современных западных обществ) более глубоко, чем социолог культуры и теоретик социальных наук Андреас Реквиц. В течение двух десятилетий он увлекал и обогащал экспертов

* В данной научной работе использованы результаты проекта «Охрана исторических памятников и охрана природы в России: когнитивная моделей, история становления и современность», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 году.

1. Персональная страница Андреаса Реквица. URL: <https://www.sowi.hu-berlin.de/de/lehrbereiche/allgemeine-soziologie/professur/medien> (дата доступа: 07.03.21).

и публику серией влиятельных исследований»². В истории премии профессор Реквиц стал четвертым социологом среди 385 лауреатов, получивших ее с 1986 года.

Прежде чем начать разговор о книге, позволим себе краткий обзор его наиболее известных работ. «Трансформация теорий культуры: к развитию одной теоретической программы» (2000) — расширенная версия диссертации Реквица, доработанная им в книгу. В ней он последовательно разъясняет, что делает культурные теории самостоятельными и привлекательными для исследователей по сравнению с традиционными версиями социальной теории. В книге «Гибридный субъект: теория культур субъективности от буржуазного модерна к постмодерну» (2006) автор обращается к культурной и социальной истории Запада с XVIII века до наших дней. В ней он повествует о том, как модернному субъекту приходится сталкиваться с противоречивыми требованиями самодисциплины, саморепрезентации и самореализации, выдвигаемыми новым социальным порядком. В работе «Изобретение креативности: к процессу общественной эстетизации» (2012) рассматривается ответ на вопрос о том, как творчество может стать важной частью общества позднего модерна в условиях постоянного производства новых форм³. В 2017 году вышла работа «Общество сингулярностей: к структурным изменениям модерна», в которой Реквиц подробно разрабатывает простую мысль — социальная логика всеобщего меняется на логику сингулярного, то есть особенного (или исключительного). Если в послевоенное время вплоть до конца 1970-х люди жили, опираясь на общие представления о браке, профессиональной занятости, политических взглядах, и в повседневной жизни опирались на понятные образцы в выборе одежды, еды или путешествий, то благодаря различным культурным и социально-экономическим изменениям стала доминировать установка на то, что универсальное больше не выступает в качестве ориентира, напротив, ценится акцент на особенности, на чем-то нетипичном и не подвергающемся макдоナルдизации.

В 2010 году, спустя 10 лет после выхода «Трансформации теорий культуры», на русском языке появилось первое упоминание работы Реквица — Людмилой Гирко был подготовлен реферат книги для Социологического ежегодника ИНИОН РАН⁴. В прошлом году в «Logos Review of Books» вышла рецензия Виталия

2. Strohschneider P. (2019). Leibniz-Laudationes 2019. URL: https://www.dfg.de/download/pdf/geförderte_projekte/preistraeger/gwl-preis/2019/laudatio_reckwitz.pdf (дата доступа: 07.03.21).

3. За подробным объяснением обратимся к Ричарду Флориде, на которого ссылается Реквиц: «Ядро креативного класса составляют люди, занятые в научной и технической сфере, архитектуре, дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая функция заключается в создании новых идей, новых технологий и нового креативного содержания. <...> Эти люди занимаются решением сложных задач, для чего требуется значительная независимость мышления и высокий уровень образования и человеческого капитала» (Флорида Р. [2007]. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Пер. с англ. А. Константинова. М.: Классика-XXI. С. 23).

4. Гирко Л. (2010). А. Реквиц. Актуальные тенденции теорий культуры // Социологический ежегодник. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/a-rekvitts-aktualnye-tendentsii-teoriy-kultury> (дата доступа: 07.03.21).

Куренного на «Общество сингулярностей»⁵. В русскоязычном интернете также можно найти переводы интервью Андреаса Реквица, в одном из которых он говорит об обострении эмоциональной реакции на последние политические события в Германии в 2020-м⁶, а в другом обращает внимание на рост влияния популистов в западном мире⁷. Также на онлайн-платформе *dekoder* опубликована переводная рецензия на книгу «Конец иллюзий»⁸. Последние работы Реквица хорошо известны широкой публике в Германии, англоязычном мире и даже в Китае. В 2017 году на английский была переведена работа «Изобретение креативности», в 2020 году вышло «Общество сингулярностей», а годом ранее этот интеллектуальный бестселлер был переведен на китайский язык.

Часто на социальные изменения самыми первыми реагируют современные художники. Так, например, уральский художник Тимофей Радя подготовил внушильную инсталляцию *FUTURE*, буквы которой были подожжены, чтобы усилить эффект отказа от будущего, отказа от иллюзий позитивных изменений. В этом отношении чрезвычайно актуальной выглядит последняя книга Реквица — «Конец иллюзий: политика, экономика и культура в эпоху позднего модерна», вышедшая в 2019 году в издательстве *Suhrkamp*. Главная тема книги — уточнение ряда позиций из «Общества сингулярностей» и «Изобретения креативности», углубление в историческую перспективу политических парадигм и попытка выяснить, как могут вместе сосуществовать непримиримые враги, которых сегодня с большим трудом можно разделить на «левых» и «правых». Под «концом иллюзий» Реквиц понимает окончательное завершение либерального нарратива, который на протяжении тридцати предыдущих лет доминировал в описаниях модернизации. Название книги частично заимствовано у Леопольда Шварцшильда, немецкого публициста и социолога, который написал книгу «Конец иллюзий» (1934), уехав из Германии в 1933 году. В своем исследовании Шварцшильд, объясняя популистский характер политики национал-социалистов, так сформулировал свой скептицизм в отношении материалистической теории истории: «Воля к власти — не менее материальный факт, чем воля к прибыли»⁹. Таким образом, Реквиц обращается к давней традиции публицистов, раскрывающих суть популистских идей.

Книга состоит из пяти эссе, в которых Реквиц подробно останавливается на современных культурных конфликтах, классовой трансформации и выделяет три класса (новый средний класс, старый средний класс и прекариат), описывает

5. Куренной В. (2020). Общество сингулярностей и новые классы: культурно-социология Андреаса Реквица // *Logos Review of Books*. 2020. № 1.

6. Реквиц А. (2020). «Одна из особенностей „Я“ позднего модерна — крайнее обострение чувствительности». URL: <https://www.colta.ru/articles/society/23715-andreas-rekvits-ob-emokratii> (дата доступа: 07.03.21).

7. Реквиц А. (2020). Популизм и глобальная «война культур». URL: <https://vzagranke.ru/nauka/populizm-i-globalnaya-vojna-kultur.html> (дата доступа: 07.03.21)

8. Реквиц А. (2020). «Больше ни правых, ни левых». URL: <https://www.dekoder.org/ru/article/bolshe-ni-pravyh-ni-levyh> (дата доступа: 07.03.21).

9. Schwarzschild L. (1934). Das Ende der Illusionen. Amsterdam: Querido. S. 251.

устройство поляризованного в классовом отношении постиндустриализма и когнитивно-культурного капитализма, парадоксы измученной самореализации современной культуры и т. д. Последнее эссе посвящено кризису современного либерализма, в нем автор подробно останавливается на том, что вера в грандиозный либеральный нарратив социального прогресса все больше сменяется разочарованием в нынешних структурных изменениях современности. Это разочарование выражается, например, в подъеме популистских партий правого толка, вызванном финансовыми кризисами и террористическими атаками. Реквиц считает, что настало время в равной степени попрощаться и с эйфорией, и с катастрофическим настроением от происходящего и трезво взглянуть на то, что произошло за последние десятилетия.

В настоящей рецензии мы попробуем очертить круг основных идей Реквица, оценить влияние на него исследователей, занимающихся схожей проблематикой, а также обратимся к другим текстам немецкого ученого.

Гиперкультура и культурный эссециализм: возможны ли стратегии сосуществования?

В начале книги Реквиц формулирует фундаментальное различие двух противоположных взглядов на культуру и их устройство в обществе позднего модерна. Наряду с модернизацией, рационализацией и т. п. немецкий ученый описывает процессы, которые он называет культурализацией (*Kulturalisierung*). Понимание культуры за время существования человека претерпевало различные изменения¹⁰. Ранний модерн характеризовался ее пониманием через сопререживание образу жизни немногих — дворян, аристократии и т. п. С другой стороны, вопрос понимания культуры всегда был сопряжен с вопросом ценностей, когда одним вещам приписывается ценность, другие же объявляются никчемными¹¹. У сферы культуры, продолжает Реквиц, всегда был важный оппонент — это сфера рационального, для которой важно достижение конечного результата самым эффективным образом посредством нейтральных процедур в новом «расколдованном мире». Культура до 1970-х гг. всегда существовала в своеобразных убежищах — театрах, концертных залах и музеях, где образованные классы могли спастись от предельной рациональности логики. Критика этих культурных форм и ее понимание также были доступны немногим по той причине, что эти тексты еще нужно было уметь расшифровать.

В обществе позднего модерна сфера культуры значительно расширяется по отношению к сфере рациональности. Как и прежде, особую роль в современной

10. Elias N. (1978). *The Civilizing Process: The History of Manners*. New York: Urizen Books.

11. В теории различий Бурдье для характеристик классового общества классифицируемые практики и их результаты объединяются в систему отличительных знаков, подробнее см.: Бурдье П. (1979). Различие: социальная критика суждения / Пер. с фр. О. И. Кирчик // Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 27.

культуре занимает логика атрибуции ценностей и идентичности, однако и она претерпевает свои изменения, реализуясь в двух направлениях — в культурализации I (гиперкультуре) либо в культурализации II (культурном эсценциализме) (S. 35).

Культурализация I подразумевает образ жизни, в рамках которого индивидуум стремится к саморазвитию, «собирая совокупность фрагментов культуры на глобальном рынке культурных благ» (s. 30), где собственный культурный капитал можно пополнять до конца жизни, выбирая между японским минимализмом, занятиями бразильским джиу-джитсу, увлечением американским барбекю, фотографией редких видов насекомых, покупками в секонд-хэндах или ежедневным походом в кофейню, владельцы которой лично знают своих фермеров в Эфиопии. Такой космополитический подход Реквиц называет гиперкультурой (Hyperkultur), где помимо разнообразия услуг и товаров, перемешивающихся между собой, с ними сталкиваются индивиды в поисках личного развития (S. 36–37). В этом смысле вещи у Реквица не наделяются агентностью, но могут выступать в качестве эстетического объекта и источника вдохновения. В одном из интервью Реквиц дает пояснение, что культура в настоящее время означает плюрализм культурных благ, которые циркулируют на глобальных рынках и предоставляют людям ресурсы для саморазвития¹².

Важнейшую роль на рынках гиперкультуры играют креативные индустрии: IT-сфера, дизайн, архитектура, туризм и т. п. Основу этой экономики составляют крупные города, центры сосредоточения нового среднего класса, составленного из высококвалифицированных специалистов. Неоднократно подвергнутая критике теория креативного класса Ричарда Флориды вновь оживает в книге Реквица.

Культурализация II представляет собой оппозицию гиперкультуре и характеризуется мобилизацией индивидов в формирующиеся «новые сообщества» (Neo-Gemeinschaften) нравственной идентичности. Подходящим способом существования этой формы является модель культурного эсценциализма (Kulturredessenzialismus). Реквиц даже называет это формирование новых сообществ «интернационалом культурного эсценциализма» (S. 42). Представителями этого направления являются фундаменталистские течения в рамках трех монотеистических религий, радикальные националисты, наиболее заметные лидеры которых представлены в России, Китае или Индии, а также правые популистские движения в Европе и Северной Америке. Действия сторонников модели культурного эсценциализма направлены на укрепление собственной культурной идентичности через конфликт с глобальной и более гибкой гиперкультурой. Основное отличие, которое разделяет оба лагеря, относится именно к вопросу о ценностях. Для гиперкультуры главная установка — это ставка на самореализацию, тогда как для культурного эсценциализма роль стержневой основы играют ценность сообще-

12. Reckwitz A. (2018). Globale Konflikte: Der Kampf um das Kulturverständnis // Deutschlandfunk. 2017.30.04. URL: https://www.deutschlandfunk.de/globale-konflikte-der-kampf-um-das-kulturverstaendnis.1184.de.html?dram:article_id=418700 (дата доступа: 07.03.21).

ства и собственная культура с глубокой историей и пониманием ее генезиса. Немецкий социолог предлагает называть радикальные фундаменталистские и правые движения неосообществами (Neo-gemeinschaften), потому что, в отличие от традиционных сообществ, представители этих групп не были рождены внутри этих коллективов. Параллельно с неосообществами существует гиперкультура («Конец иллюзий») и рынок сингулярностей («Общество сингулярностей»)¹³.

Одним из ярких примеров формирования неосообщества может служить националистическая байкерская группировка «Османская Германия» (Osmanen Germania). Она была основана в Германии в 2015 году и получила широкое распространение по всей стране за счет привлечения на свою сторону радикально настроенной молодежи. Группировка под видом борьбы за «защиту от растущей ненависти к исламу» занималась продажей наркотиков, оружия и т. д. По большей части организация состояла из турок, многие из которых родились в Германии. За криминальный характер своей деятельности была запрещена в 2018 году¹⁴. При этом Реквиц деликатно обходит вниманием различные феминистские движения, кампанию Me Too и движение Black Lives Matter, хотя среди них также можно найти опору на собственную историю, борьбу за самые высокие цели и т. д.

Могут ли существовать гиперкультура и культурный эссециализм? Реквиц отвечает, что тут есть две стратегии: 1) стратегия существования на основе признания сходных черт; 2) стратегия отторжения неприемлемого оппонента. Первую стратегию можно назвать интегративной, в ее рамках один культурный режим включает феномены другой культуры таким образом, что обе могут мирно существовать (с. 47–49). Вторая стратегия подразумевает восприятие другого как врага. В схеме, представленной Реквицем, нетрудно представить себе Россию как страну, приверженную модели культурного эссециализма¹⁵. Риторические формы стратегии российской внутренней и внешней политики сохраняют такое клишированное противопоставление, как «духовные скрепы» и «семейные ценности» vs. «загнивающий Запад», что вполне описывается теоретическими построениями Реквица.

13. Reckwitz A. (2019). *Die Gesellschaft der Singularitäten: Zum Strukturwandel der Moderne*. Berlin: Suhrkamp. S. 262.

14. В массовой немецкой культуре противостояние криминальных кланов показано в сериале «4 квартала» (4 Blocks, Netflix, 2017–2019), где турецкая и арабская банды делят территории влияния в берлинском Нойкельне.

15. В 2012 г. в послании к Федеральному Собранию Владимир Путин обозначил актуальную, по его мнению, проблему в современном российском обществе — «дефицит духовных скреп». См.: Путин В. (2012). Послание Президента Федеральному Собранию. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/17118> (дата доступа: 07.03.21)

Отношения между культурализацией I и культурализацией II (S. 49)

	Культурализация ¹⁶ I в связи с культурализацией II	Культурализация II в связи с культурализацией I
Сосуществование (Koexistenz)	Мультикультурализм	Исследования других культур
Анtagонизм	«Открытое общество и его враги»	«Упадок Запада»

Трехклассовая дилемма позднего модерна: академический класс, традиционный класс и прекариат

Вторая глава «Конца иллюзий» посвящена описанию новой классовой проблематики, которая, казалось бы, осталась в далеком прошлом. Вместо того чтобы обращаться к классическому вопросу «как сегодня распределяются доходы и богатство?», немецкий культурсоциолог предлагает обратить внимание на изменение досуговых практик. Анализ ценностей новых классов, интерпретация изменений их стиля жизни — именно это скажет больше о трансформации больших социальных групп, чем даже самый увлекательный анализ статистических выкладок о социальном неравенстве¹⁷. Реквиц определяет класс как группу людей, разделяющих общий образ жизни, жизненные установки и повседневные практики. Сегодня образ жизни предстает как нечто, что обязательно должно быть особым и разнообразным, универсальные же стандарты становятся малопривлекательными. Помимо обеспечивающих отличие потребительских практик, нового отношения к гендерному порядку и семейной жизни по сравнению с установками западного общества середины XX века, важными являются полученное образование и место проживания, возможность структурировать свою жизнь, исходя из способности к мобильности, выбор потребляемых СМИ и политические предпочтения (S. 66–68). Во многом образ жизни объясняется наличием того, что Бурдье называл «культурным капиталом» — формализованными или приобретенными навыками, включая внешность, которая находится в распоряжении индивида. Понятие «социального капитала» может иметь и расширительное значение в том смысле, что большую роль играет его перформативная составляющая — образ жизни одного класса может быть желательным, а образ жизни другого — наполненным стыдом и жалостью.

За многими положениями Реквица узнается влияние Герхарда Шульце, на которого первый, конечно же, ссылается. Анализ «Общества переживаний» Шульце сделан на основе количественного исследования культурных практик в г. Нюрн-

16. Понятие имеет негативные коннотации в антропологии, философии и социальных науках, связанные прежде всего с культурным расизмом. Здесь как раз используется для того, чтобы подчеркнуть сильные различия. См.: Kulturalisierung Definition // IKUD Seminare. URL: <https://www.ikud.de/glossar/kulturalisierung-definition.html> (дата доступа: 07.03.21).

17. Пикетти Т. (2016). Капитал в XXI веке / Пер. с фр. А. Л. Дунаева под ред. А. Ю. Володина. М.: Ad Marginem.

берге в конце 1980-х гг. в рамках исследования «Культура в большом городе». Вопросы к этой анкете во многом напоминают те же блоки, которые интересуют Реквица, — образование, место проживания, политические взгляды, выбор предпочтаемых СМИ и т. п. Но в отличие от Реквица, в основе работы Шульце лежит впечатительное количественное исследование, тогда как первый предлагает описательную теорию общества позднего модерна.

До 1980-х гг. теоретические описания западного общества предполагали общую однородную структуру среднего класса. В обществах позднего модерна, согласно анализу Реквица, средний класс делится на троих — восходящий высококвалифицированный (или академический) средний класс, старый (или традиционный) средний класс и нисходящий новый опасный подкласс — прекариат (S. 72). На самом верху этой новой классовой структуры, которую Реквиц называет «заклятием трехклассового общества», находится недосягаемая элита. Это тот один процент, которому мы практически не будем уделять внимание, охарактеризовав его как группу людей, которая может жить за счет извлекаемой ренты, ценных бумаг и увеличивающегося с каждым годом богатства.

Основой классического среднего класса была опора на патриархальную нуклеарную семью с «нормальными» формами предсказуемого досуга. Для «одноэтажной» Америки подобный образ жизни успел получить подробное описание в академической среде¹⁸ и критику «обычного человека» в популярной культуре (см., например, фильм «Шоу Трумана» режиссера Питера Уира, 1998). Старый средний класс никуда не ушел, как пишет Реквиц, сохранив свой экономический капитал, однако утратил понимание расширяющегося либерального поля культурных практик. Реквиц предлагает забыть старое представление о среднем классе, который давно отошел в прошлое, разделившись на два класса — новый (высший и академический) средний класс и старый (низший и традиционный) средний класс.

Новый средний класс меняет социальные стандарты, задавая новое понимание «среднего» образа жизни. Не случайно новый средний класс называется академическим. Наличие большого процента людей с высшим образованием — одна из наиболее важных характеристик общества позднего модерна, которое претерпело существенные изменения за последние 60 лет. Значительно, на несколько порядков, выросло количество желающих получить университетское образование (S. 81). В связи с этим Реквиц называет представителей высшего среднего класса «академиками» (Akademiker), определяя их как людей с высшим (университетским) образованием и носителей определенных характеристик. Для этой группы характерен «нематериальный труд», связанный с экономикой знаний, где важную роль также играет эмоциональная вовлеченность¹⁹. Новый стиль жизни предпо-

18. Сеннет Р. (2002). Падение публичного человека / Пер. с англ. О. Исаевой, Е. Рудницкой, Вл. Софонова, К. Чухрукидзе. М.: Логос.

19. Сувалко А. (2015). Трудовые отношения, образование и деньги в сериале Girls (НВО) // Логос. Т. 25. № 3. С. 162–176.

лагает культивирование здорового образа жизни, разнообразный досуг и приверженность космополитическим взглядам. Например, представителями этого класса, в отличие от членов других страт, признается стремление к гендерному равенству.

Жизненная установка нового класса описывается в понятиях «самосовершенствования» и «успешного развития». Такая жизнь сопровождается высоким социальным статусом и профессиональным признанием со стороны коллег²⁰. Образ жизни нового класса становится привлекательным, потому что воспринимается как настоящий, что сегодня активно культивируется в литературе жанра «помоги себе сам» (self-help literature), в блогах, а также в растущем интересе к психологии и психотерапии²¹. Представитель академического класса поздней современности похож на романтического героя с картин Каспара Давида Фридриха, затерявшегося на территории ландшафтного экоотеля на Алтае. Он ценит уединение и аутентичность своего опыта, фиксируя пережитый опыт для того, чтобы рассказать о нем миру позже, но для начала ему придется уйти в «цифровой детокс», отказавшись от шума социальных сетей в своем номере с видом на горы, листая последний роман Джулиана Барнса. Как пишет Реквиц, ценности стиля жизни нового среднего класса смешиваются с «романтическим самовыражением и буржуазным интересом к образованию и самореализации» (S. 92).

Общество сингулярностей — это общество нового среднего класса, для которого важно отрицание жизненных стандартов, показанных в мыльных операх по кабльному телевидению, в пользу занятий по выстраиванию собственного проекта счастливой жизни. Реквиц предлагает более широкое понимание культуры. В нем новый средний класс присваивает себе не только ее высокие образцы, опирающиеся на триумвират симфонического оркестра, оперы и балета, но ориентируется на целый спектр переживаний исключительного опыта, интерпретируемого самим субъектом как уникальный и невоспроизводимый. Если обратиться к «Обществу сингулярностей» Реквица, то переживания представляют собой психофизический процесс присвоения мира, когда объекты внимания воспринимаются чувственно²². Любое вовлечение в переживание, будь то посещение театральной постановки, финала футбольной Лиги чемпионов или созерцание природы Приморского края, могут быть сопряжены с практикой интерпретации, если у человека есть общее знание классических литературных произведений, понимание стратегии конкурирующих составов спортивных команд или умение распознавать различные природные ландшафты, знание художественной литературы и актуальных наработок акторно-сетевой теории.

20. Флорида. Указ. соч. С. 109.

21. Известия (2020). Россияне стали вдвое больше обращаться к психологам // Известия. 2020.09.11. URL: <https://iz.ru/1084248/2020-11-09/rossiiane-stali-vdvoe-bolshe-obrashchatsia-k-psikhologam> (дата доступа: 07.03.21)

22. Reckwitz. Die Gesellschaft der Singularitäten. S. 70.

Старый средний класс характеризуется более низким уровнем образования (средне-специальное образование или школьный аттестат с профессиональным дипломом специалиста в определенной сфере), большей привязанностью к одному месту проживания по сравнению с мобильным высшим классом. Для него важно представление о традиционной трудовой этике («хорошей» и «тяжелой» работе) фермерского, индустриального или даже офисного характера, что имеет мало общего с современным креативным трудом, подразумевающим постоянное производство новых форм. Старый средний класс особое внимание уделяет локальной идентичности, привязанности к конкретной местности. Эстетическая схема повседневной жизни этого класса была бы наверняка описана Герхардом Шульце как тривиальная, ее жизненной философией является гармония, а удовольствие доставляет домашний уют. Семейные обязанности этого класса строго разделены между полами и опираются на привычное представление о традиционных ценностях²³. Традиционный средний класс, сохранившийся в небольших поселениях с устойчивыми рабочими коллективами и фермерскими хозяйствами, не поспевает за ускоряющимся новым классом и либеральными культурными веяниями, компенсаторным образом реагируя на нацистическую культуру нового среднего класса, аккумулированного в мегаполисах.

Описание нового опасного класса (прекариата, или нового низшего класса) можно встретить у Гая Стэндинга, который внятно артикулировал его основные характеристики: негарантированный труд, отсутствие социальной защищенности и перспективного будущего²⁴. В целом Реквиц во многом следует этим же положениям, дополняя его значимыми культурными характеристиками. Во многом становлению нового класса могла способствовать демократизация отношений между полами, в рамках которых мужчина потерял свою идентичность «кормильца», позволявшую выживать в индустриальном обществе, имея понятный горизонт жизненных ожиданий (S. 103). Как правило, представители прекариата получили среднее образование и относят себя к низкоквалифицированным рабочим. Долгосрочная перспектива в форме саморазвития, характерная для нового среднего класса, практически не рассматривается представителями прекариата как достижимая или может привести к разочарованию в случае ее неудачной попытки. Ключевым кредо этого класса является установка «жизнь — борьба». Новый низший класс претерпевает и культурную девальвацию. Сегодня во многих развитых странах значительно упал интерес к рабочим специальностям, которые подразумевают тяжелый физический труд.

Другая важная черта прекариата — его социальная оторванность от современных установок в развитом западном обществе. Во-первых, это приверженность устаревшим представлениям о гендерном порядке, в котором мужчина и женщина играют строго отведенные им роли, как это было характерно для классического

23. Schulze G. (2005). Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. 2. Aufl. Frankfurt: Campus. S. 97.

24. Стэндинг Г. (2011). Прекариат: новый опасный класс / Пер. с англ. Н. Усовой. М.: Ad Marginem.

среднего класса. Во-вторых, в отличие от классического среднего класса, который смог создать позитивный образ рабочего, современный низший класс больше похож на социально изолированное большинство, кумирами которого становятся селебрити из мира шоу-бизнеса или спортсмены. Третья важная характеристика — попытка представителей низшего класса «укрыться» в левых социалистических движениях, либо перейти на правые популистские позиции. Момент, на который не обращает никакого внимания Реквиц, это платформенная экономика — сервисы доставки, такси, услуг по уходу за домом и т. п., которые сегодня разрушают низший средний класс, превращая его в прекариат. В Германии платформенная экономика не получает своего развития в силу исторически сильных профсоюзов, однако в крупных мегаполисах наподобие Москвы такие сервисы, как Uber, Delivery Club, YouDo, приводят к все большей прекаризации низшего среднего класса. Интересно, как на эту растущую прекаризацию реагирует масовая культура, изображая ее возможные последствия с точки зрения отдельно взятого отчаявшегося «маленького человека»²⁵.

В одном из своих последних интервью Андреас Реквиц указывает на то, что кризис, случившийся из-за коронавируса, не обозначил какие-то новые изменения в обществе, а только усилил намеченный ранее раскол между новым академическим классом, старым средним классом и прекариатом. Люди, занятые в экономике знаний или имеющие отношение к креативным индустриям, получили, с одной стороны, привилегию работать из дома, с другой стороны, обязаны демонстрировать результат своего труда независимо от места, где этот результат обеспечивается, что приводит к тому, что значительных успехов сложнее добиться в одиночку. Хороший качественный продукт в креативной экономике получается только при участии целого творческого коллектива, общающегося в неформальной обстановке. Ценным является проведенное вместе «качественное время», а не мучительные Zoom-конференции, следующие одна за другой в течение рабочего дня. С другой стороны, работники, занятые тяжелым физическим трудом или в сфере обслуживания, лишний раз получили подтверждение тому, что их работа является социально значимой, без нее существование других индустрий остается невозможным²⁶. Вместе с тем она по-прежнему остается малопривлекательной

25. Один из последних сериалов Netflix, и в том числе один из немногих французских сериалов на международной платформе — *Dérapages (Inhuman Resources, 2020)*, вышедший по следам движения «желтых жилетов». Это история о злом среднестатистическом человеке, который сражается с эйд-жистским обществом в надежде сохранить свою жизнь на плаву. Герою сериала 50 лет, и уже 6 из них он без работы перебивается нестабильным заработком. В надежде расправиться с долгами он ввязывается в организацию нестандартного собеседования, сотрудничая с крупной корпорацией, которую хочет ограбить, инсценируя захват заложников.

26. Одним из последних ярких случаев стал эпизод с кузнецом Иваном Высочанским, который с помощью социальных сетей очень доходчиво ответил всем, кто называет простых рабочих нищими («нищебродами» — ориг.), сославшись на то, что именно благодаря их работе возможно существование других отраслей экономики (Телеканал 360 [2021]. «Хватит! Накипело!»: кузнец из Челябинска обратился к тем, кто считает работяг нищебродами // Телеканал 360. 2021.20.02. URL: <https://youtu.be/MUqgzWYQlIY> (дата доступа: 07.03.21).

с точки зрения социального престижа, несмотря на дополнительные выплаты во время карантина²⁷.

Кризис либерализма и поиски новой политической парадигмы

Последняя глава дает название всей книге, а также возможность посмотреть на последнее десятилетие в целом как на апогей фундаментального политического кризиса. В последние годы, начиная с 2010-х, набирают популярность популистские движения «против либеральных элит и их экономической и культурной гегемонии во имя воображаемого „народа“» (S. 239). Как правило, большую популярность, чем прежде, завоевывают «правые» политические круги. Наиболее яркие события на политической арене последних лет являются лишним тому подтверждением: избрание Трампа, Брексит, рост популярности таких партий, как Альтернатива для Германии и Национальный фронт во Франции. События последних лет при этом трудно поместить в классические рамки политического разделения на «правых» и «левых». Конец первого десятилетия XXI века ознаменовался рубежом смены политической парадигмы старого социал-корпоративизма на регулятивный либерализм, стремящийся к социально-экономическому и культурному регулированию.

Но сначала разберемся с предложенными Реквицем понятиями. Политическую парадигму он понимает как состояние, предлагающее образы мышления, которые могут успешно работать в политической сфере и доминировать в дискурсивной борьбе с оппонентами. Политическая парадигма выражает «единственно верный взгляд на вещи», становясь гегемонией.

В своем исследовании Реквиц заимствует понятие «парадигмы» у классика философии науки Томаса Куна, согласно идеям которого, научная парадигма — общепринятый среди ученых метод принятия решений, применяемый в случае появления проблем. Кризис научной парадигмы возникает тогда, когда количество возникших аномалий превышает объяснительные возможности парадигмы. Реквиц предлагает произвести перенос понятия парадигмы из философии науки на изучение позднего современного общества Запада. Таким образом, он предлагает рассмотреть, как политические парадигмы возникают в историческом кризисном контексте, разрабатывают собственные методы управления, для которых мобилизуют поддержку и воплощают конкретные политические решения (S. 244).

В отличие от классического понимания научной парадигмы, заданной Куном, политические парадигмы содержат в себе ценностные антагонизмы, утопии желаемого и внушительный потенциал эмоциональной самоидентификации. Более того, характер политической парадигмы крайне неоднороден, в ней могут быть свои «правые» и «левые», которые могут находиться в состоянии противостояния,

27. Reckwitz A. (2020). «Prämiert wird Arbeit, die einen Unterschied macht» // Philosophie Magazine. URL: <https://www.philomag.de/artikel/andreas-reckwitz-praemiert-wird-arbeit-die-einen-unterschied-macht> (дата доступа: 07.03.21)

но обладают потенциалом к общему пониманию в решении общественно значимых проблем (S. 244–245). В качестве наиболее яркого примера такой ситуации лучше всего представить себе социально-корпоративную парадигму в сочетании с устойчивой и предсказуемой поздней индустриальной моделью, которая существовала вместе с социальной поддержкой государства всеобщего благосостояния. Эта модель успешно просуществовала в период с 1945 по 1970-е гг.

Реквиц указывает, что каждая политическая парадигма должна иметь дело со следующими проблемными составляющими. Первая — социально-экономические проблемы, возникающие при финансовых кризисах и высокой безработице; вторая составляющая — такие социокультурные проблемы, как социальное отчуждение и кризисы мотивации, и третья — практические проблемы демократии, которые ставят под вопрос легитимность конкретной политической системы.

Различия «правых» и «левых» в условиях политических парадигм (S. 251)

	Парадигма регулирования	Парадигма динамизации
Левые	Этатистская социал-демократия	Левый либерализм
Правые	Консерватизм	Экономический либерализм

Оригинальность анализа Реквица заключается в том, что он предлагает обратить внимание на государство с точки зрения трансформаций парадигмы регулирования (*Regulierungsparadigma*) и парадигмы динамизации (*Dynamisierungsparadigma*) в исторической перспективе (см. таблицы 2 и 3). В парадигме регулирования внимание акцентировано на политику формирования порядка в целях фиксации строго очерченных границ и общепринятых норм, не обязательно зафиксированных в законах. Тем не менее они подвергаются культурной кодификации на таком уровне, когда каждый агент знает, как стоит поступать в тех или иных случаях с опорой на традицию и мнение «центра»²⁸. Парадигма динамизации сосредоточена на децентрализации и максимальной открытости в пользу индивидуальных свобод. Этап, следующий за социально-корпоративной парадигмой периода 1940–1970-х в условном западном мире, Реквиц определяет как динамическую парадигму апертистического (т. е. открытого) либерализма (*apertistischen Liberalismus*), «как в его неолиберальной, так и в леволиберальной формах, обе из которых, безусловно, имеют глобальный характер» (S. 250).

28. В качестве «центра», как нам кажется, у Реквица выступают государственные институты и think tanks, которые задают политическую повестку.

Политические парадигмы и социальные проблемы в историческом развитии (S. 253)

	Реагирование на социально-экономическую проблему	Реагирование на социокультурную проблему
1945 Социально-корпоративная парадигма	Кейнсианство/Вельфаризм	«Народный дом» (Volksheim)/ «Сформированное общество»
1970 Кризис чрезмерного регулирования		
1980 Парадигма апертистического либерализма/парадигма динамизации	Неолиберализм	Левый (социальный) либерализм
2010 Кризис чрезмерной динамизации		
2020 Воплощение либерализма?	Новое экономическое регулирование?	Формирование нового культурного порядка?

Основной вопрос, который беспокоит Реквица, касается того, почему парадигма либерального регулирования и либеральной динамизации оказалась в кризисе и что это может означать для текущих событий.

Кризис чрезмерного регулирования характеризуется первым и вторым нефтяными кризисами, последствиями студенческих протестов 1968 года в виде последовавшего за ними «альтернативного» движения молодых ученых, недовольных сложившейся системой регулирования, стремящейся к производству предсказуемого единобразия и конформизма. В это же время происходит развал классической фордистской системы. Он включает в себя изменения, связанные с развитием экономики знаний, которая подразумевает трансформацию привычной маскулинной корпоративной культуры, направленную на внедрение на предприятиях практик, связанных с психоанализом, ранее использовавшихся для нормализации семейных отношений, а также различных феминных атрибутов: внимания к эмоциям, способности к эмпатии, контроля за гневом и т. п. В это же время начинают формироваться «низовые» движения, ориентированные на привлечение внимания к феминистской проблематике, экологии и многие другие, которые предъявляют не решавшиеся ранее проблемы, связанные с перепроизводством, недостаточной репрезентацией женщин в публичной политике и т. п.

Структурные изменения напрямую затронули повседневные практики среднего класса, который, с развитием контркультурных движений, выступавших против ценностей массовой культуры, больше не вписывался в актуальную для того времени культурную модель. Именно на этом этапе были заложены основы общества сингулярностей.

Парадигма апертистического либерализма характеризуется общим дерегулированием, динаминацией ранее устоявшихся форм, а также интенсификацией мобильности. Параллельно с освоением новых рынков левый либерализм подразумевает создание особых институтов в виде открытых дискуссионных площадок (или фондов по поддержке культурных инициатив), нацеленных на открытие идентичностей отдельных культурных групп, ранее исключенных из публичного поля. Этот период характеризуется становлением политики различий, где, с одной стороны, культивируется рыночная мобилизация, с другой стороны, происходит мобилизация различий между культурными идентичностями (S. 263–264).

Первый симптом кризиса апертистического либерализма, фиксируемый Реквицем, это увеличение социального неравенства как следствие кризиса 2008 года, который закрепил демонтаж механизмов государственного контроля в сфере регулирования финансов и налоговых сборов. Второй беспокоящий Реквица симптом связан с культурным изменением — политикой мультикультурализма и политической идентичности. Начиная с 1990-х гг. либеральная политика мультикультурализма, выстроенная вокруг интеграции мигрантов, привела к тому, что многие культурные общины оказались самосегрегированными или закрепились в представлении коренных жителей как дискриминируемые по таким критериям, как этническая принадлежность и религия. Третий симптом связан с недоверием к либеральным институтам — все меньше людей голосует на избирательных участках. Голосование по Brexit было скорее попыткой населения «вернуть контроль» над реальной политикой. В этом же направлении с 2010 года развивается общее недоверие людей к классическим демократическим институтам, что выражается в высоковоэмоциональной форме производства мнений и воли людей в цифровых медиа (S. 271–276).

Рост популистской политики правого толка — одно из главных беспокойств Реквица. Верховенство закона и система сдержек и противовесов как важнейшие достижения послевоенных западных обществ находятся под угрозой популизма, который представляет собой модель антилиберальной демократии, в рамках которой «воля народа должна выражаться прямо и непрерывно в политике» (S. 278). Поэтому такие политические фигуры, как Трамп, заявляют о том, что именно они знают, чего хочет народ на самом деле, основываясь на представлении о «настоящих» американцах. Подобная политика подразумевает глобальную закрытость — попытки перенесения производств в собственную страну из желания подыграть униженному старому среднему классу, ограничить миграционные потоки и, наконец, просто «сделать Америку снова великой» за счет активизации ресурсов национальной идентичности²⁹. Заканчивая свои размышления о росте популизма правового толка, Реквиц приходит к выводу, что попытка вернуть суверенное национальное государство, регламентированное индустриальное общество и культурную однородность наверняка приведет к изменениям политического ландшафта

29. В России существуют свои популистские движения, которые выступают со схожими позициями под лозунгом «Прекрасной России Будущего».

та, но для этого необходимо признать существующий кризис либерализма, а не становиться на путь популизма.

Апертистический либерализм переживает кризис. Основное предположение Реквица строится на том, что необходимо подготовиться к тому, что новая политическая парадигма формируется как регулируемый или укорененный либерализм (*einbettender Liberalismus*)³⁰. В основе укорененного либерализма лежат три элемента. Первый — это общественный порядок, похожий на парадигму регулирования, но не идентичный старому социальному корпоративизму. Второй — это выработка ответа на социальный и культурный запрос, в рамках которого обеспечивается гарантия сохранения институциональных рамок либеральной демократии с переносом некоторых представлений апертистического либерализма о позднесовременной динамике культуры и экономики. Третий элемент подразумевает разработку переходных механизмов смены одной политической парадигмы на другую путем встраивания во вновь созданные рамочные условия. Например, как это удалось реализовать в Германии в 1980-е гг., где вместе с переходом к парадигме динамизации были сохранены основные достижения социально-корпоративной парадигмы (S. 285–286).

В какой-то момент стиль Реквица начинает напоминать манифест. В обществе поздней современности в новой либеральной парадигме не должно быть двух вещей: становления неосообществ, а также фантазий о «новом обществе», созданном с помощью государства. Современное общество плюралистично, имеет четко выраженные классовые контуры и многонациональный характер. Влияния медиа, технологий и экологической повестки слабо подвергаются государственному планированию. Один из последних, наиболее близких примеров — это протесты против результатов выборов в Республике Беларусь, где буквально при поддержке одного телеграм-канала состоялись самые массовые волнения в истории страны. Реквиц предостерегает от излишних злоупотреблений свободой, по его словам, «собственная динамика общества нуждается в обрамлении» (S. 292).

Как «починить» позднее современное общество: рецепт Andreas Reckwitz

Последний раздел «Конца иллюзий» можно назвать программным. В этой части своего исследования Реквиц обращается к пяти проблемным областям, понимание которых поможет в преодолении существующего кризиса апертистического либерализма.

За пределами меритократии. Современная культура устроена таким образом, что любое действие подразумевает оценку после его завершения. Социальный успех имеет свои квантифицируемые показатели и систему оценивания при реализации любого жизненного проекта — обучения в университете, похода в ресто-

30. Reckwitz A. (2019). Ein Ordnungsruf // Die Zeit. URL: <https://www.zeit.de/2019/47/liberalismus-regulierungen-dynamisierung-demokratie-nationaloekonomie/komplettansicht> (дата доступа: 07.03.21).

ран, выбора места для путешествия или даже программы пенсионного страхования. Нынешняя культура ранжирования, которая делит людей на «победителей» и «неудачников», приводит к формированию целой группы тех, кто не получает должного социального одобрения. Реквиц предлагает выработать новый общественный договор, который бы позволил признать в принципе все виды деятельности как равные для смягчения социальных различий между ними.

Различие между городом и сельской местностью. Современные мегаполисы страдают от перенаселения, тогда как сельские районы переживают кризис нехватки рабочей силы из-за оттока перспективной молодежи, которая выбирает более перспективные места для проживания и работы. В крупных городах, по мнению Реквица, необходимо развивать социальное жилье, а на малых территориях — образовательную систему и демонстрировать привлекательность работы на региональных производствах. Первое предложение Реквица выглядит спорным, потому что проблему перенаселения оно не решит. Люди будут чаще стремиться в города, где можно позволить себе жилье с привлекательными условиями кредитования по доступной цене. Развитие образовательных учреждений на малых территориях, способных аккумулировать вокруг себя абитуриентов из других регионов, — единственный шаг для их оживления. В этом отношении интересен опыт Германии, где небольшие университетские города остаются живыми именно благодаря студентам.

Базовое обеспечение инфраструктуры. Приватизация социальной среды стала причиной того, что многие инфраструктурные элементы, ранее доступные многим, были переведены в частный сектор — транспорт, образование и медицинское обслуживание. Реквиц не предлагает каких-то конкретных мер. Пример развала базового медицинского обслуживания в США, о котором можно говорить в связи с пандемией коронавируса, привел к тому, что крупные города этой финансово успешной страны оказались под наибольшей угрозой.

Поиск основных правил. Современная экономика привела к культурной плюрализации и противоречиям между представителями старого и нового среднего класса; между модниками из больших городов и людьми, занятыми тяжелым трудом в малых городах; между мигрантами и местным населением. Реквиц говорит о необходимости выработки консенсуса для редукции существующего антагонизма, потому что на сегодняшний момент «культура» является частным и/или экономическим вопросом. Строго говоря, успешному мирному сосуществованию в обществе сингулярностей требуется новая культурная политика.

Культура взаимности. Отсутствие культуры взаимности стало возможным по двум причинам. С одной стороны, в позднем современном обществе неолиберальный актор перемещается по различным рынкам, преследуя свои интересы, а левый либерал занимает позицию, исходя из которой он претендует на свои субъективные права по отношению к другим (S. 301). Проблема заключается в том, что в этих моделях отсутствует фигура гражданина, который бы чувствовал свою ответственность за общество в целом, более того, исчезает идея социальной взаимо-

помощи. Выход для новой версии либерализма Реквиц видит в создании социальных структур, открытых для всех.

В завершении своей работы Реквиц предупреждает о тех потерях, которые ждут нас в XXI веке и которые могли бы сыграть роль объединяющего начала для новой либеральной парадигмы. Первая потеря — утрата мира физического и индустриального труда из-за перехода от индустриального общества к постиндустриальному. Вторая — утрата гегемонии западными странами и сильное экономическое и политическое влияние стран Азии. Третья потеря — пересмотр устоявшейся в XX веке модели повышения материального благосостояния из-за климатических изменений.

Farewell to Illusions: An Analysis of Late Modern Society by Andreas Reckwitz

Alexander Suvalko

Research Fellow, Institute for Cultural Research, Faculty of Urban and Regional Development; Lecturer, School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics

Address: 20 Myasnitskaya Street, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: asuvalko@hse.ru

Book Review: *Andreas Reckwitz. Das Ende der Illusionen: Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne* (Berlin: Suhrkamp, 2019).



Фото: Сергей Щедрин

Анатолий Вишневский — ученый, созидатель, человек твердых убеждений*

Ален Блюм

Institut National d'Études Démographiques (INED),
École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Paris

Анатолий Вишневский ушел от нас 15 января 2021 года. Несмотря на всю энергию, с которой он сражался с болезнью, COVID-19 победил. Анатолию Григорьевичу было 85 лет. До последнего он не прекращал заниматься демографическими исследованиями во главе всемирно известного Института демографии Высшей школы экономики, безусловно, лучшего демографического научного центра России. Его уход — огромная потеря для российской демографической науки, и нам, ученым-демографам из других стран, будет очень не хватать его идей и его влияния, которое распространялось поверх границ и всяческих барьеров.

Важные встречи

Анатолий Вишневский родился 1 апреля 1935 года в Харькове, в УССР. Во время войны его эвакуировали в Новосибирск (и это неожиданно отозвалось в дальнейшем в его научных интересах), но уже в 1944-м он вернулся в свой родной город. После окончания Харьковского университета он начал заниматься урбанистикой, и именно к этому времени относятся его первые контакты с демографией — чтобы создавать планы преобразования города ему, как урбанисту, надо было уметь предсказать, как будет увеличиваться население города.

С самого начала ему посчастливилось общаться с великими демографами, и это оказало решающее влияние на всю его последующую научную деятельность и карьеру, благодаря им он стал именно тем, кем стал, — не только известным ученым, но и создателем одного из лучших институтов демографии в мире. Они же заложили в нем нравственный стержень — он избегал прямой конфронтации с властью, но последовательно отказывался от недопустимых с его точки зрения компромиссов с ней. Ведь демография — это не только наука, но еще и политика, это постоянно возникающие — и иногда яростные — общественные дискуссии.

* Некоторые абзацы этого текста воспроизводят выражения признательности Анатолию Вишневскому от Алена Блюма, Маите Эли, Франса Месле, Владимира Школьникова, Жака Валленома, Сергея Захарова, опубликованные на сайте INED (<https://www.ined.fr/fr/hommage-a-anatole-vichnevski>).

Пер. с франц. Натальи Морозовой.

Если посмотреть на биографию Анатолия Вишневского, становятся понятны те трудности, с которыми сталкиваются ученые-демографы — как в СССР, так и в современной России. Но его жизнь демонстрирует нам и то, как, не отрицая политической составляющей, сохраняя верность этическим принципам, можно жить и заниматься наукой, обходя политику стороной.

Жизнь Анатолия Вишневского была богата на встречи с выдающимися коллегами, и именно они во многом определили его научные и человеческие интересы. Он работал в Отделе демографии Института экономики АН УССР в Киеве, основанном академиком М. В. Птухой в 1922 году, — по сути, в первом в мире демографическом научном центре и колыбели советской демографии. Через несколько лет, в 1971 году, Андрей Гаврилович Волков, заведующий Отделом демографии НИИ по проектированию вычислительных центров и систем экономической информации (НИИ ЦСУ СССР), при поддержке директора этого института А. Я. Боярского, пригласил Анатолия Вишневского на работу, где тот проведет 13 лет. Так Вишневскому выпал шанс близко познакомиться с великими демографами и статистиками своего времени: Аароном Боярским, Борисом Урланисом, Розой Сифман. Многих из этих ученых тоже затронули репрессии, кого-то непосредственно, иные ощутили на себе лишь их холодное дыхание, в разговорах с ними Вишневский открывал для себя весь ужас сталинского террора. Эти беседы оставили неизгладимый след. Михаил Курман, во время Большого террора получивший 10 лет лагерей, и только в 1955 году освободившийся и позднее реабилитированный, рассказывал ему про свой трагический опыт, и Вишневский записал их долгие разговоры на один из редких по тем временам магнитофонов. Эти записи он сохранил до эпохи Перестройки и полностью опубликовал¹ в 1993 году. Именно благодаря таким судьбоносным знакомствам он параллельно осваивал профессию историка. А с начала Перестройки стал работать над созданием истории русской и советской демографии, продолжая труд своих коллег Леонида Дарского, Татьяны Харьковой и Андрея Волкова.

Научные концепции

Я начал свой текст с этих «преданий старины глубокой» потому, что именно эти встречи определили научную и институциональную судьбу Анатолия Вишневского. Работы Анатолия Вишневского относятся к трем направлениям — очевидно разным, даже несмотря на то что все они переплетаются друг с другом. Первое, это, конечно же, научная работа, которую можно отсчитывать с выхода «Демографической революции», ставшей отправной точкой для его стиля научного мышления. Второе — это институциональная работа: с начала Перестройки он твердо намеревался создать то, чего так не хватало России — сильный научный центр

1. Mémoires de M. V. Kurman // Cahiers du Monde russe et soviétique. 1993. Т. 34. № 4. Р. 589–629. Частично они были изданы и раньше, однако в первый раз цензура не пропустила некоторые особенно страшные фрагменты.

без каких-либо политических ограничений, со своими научными публикациями, журналами и инструментами для их распространения. И, наконец, третья — общественная деятельность: с конца 1980-х годов Анатолий Вишневский активно участвует в публичных дискуссиях. Несмотря на то что эти три направления взаимосвязаны, мы тем не менее попробуем рассмотреть их каждый по отдельности.

Опубликованная в 1976-м «Демографическая революция» (ее первые концептуальные наброски появились в «Вопросах философии» в 1973-м) стала, несомненно, первой демонстрацией тех убеждений, которые пронизывают все научные труды Анатолия Вишневского. Он обращает внимание прежде всего на объективные процессы социально-демографических изменений, которые не могут быть прерваны политическими решениями. Разумеется, он во многом вдохновлялся концепцией «демографической революции» Адольфа Ландри, которой и наследуют его «социально-демографические преобразования», и теорией «демографического перехода», однако в своих работах Вишневский последовательно отстаивает именно термин «революция», а не «переход», считая, что эта глубокая трансформация не только затрагивает демографические тенденции, но и неизбежно ведет к глобальным социальным изменениям:

Современное состояние теории демографического перехода затрудняет его видение как целостного автономного процесса, имеющего свою внутреннюю детерминацию и активно воздействующего на все социальные процессы, в том числе и на глобальном уровне. Глобальная логика теории демографического перехода часто подменяется локальной логикой, согласно которой эта теория должна подтверждаться опытом каждой отдельной страны. В статье предпринята попытка преодолеть нынешнюю фрагментированность описания демографического перехода, распадающегося на множество «переходов» и «революций», и рассмотреть его как последовательность неизбежных крупных этапов единой глобальной «цепной реакции», запущенной снижением смертности. (Вишневский, 2014: 1)

Таким образом, возвращаясь к этой, такой важной для него, теме в 2014 году, он подчеркивает комплексный характер, которым наделена демография как выражение коллективного социального поведения, эволюционирующего вне границ и политических систем. Эта идея лежала в основе его работ на протяжении всей его научной карьеры и привела, после долгих лет исследований и размышлений, к концепции «консервативной модернизации», которая, по его мнению, является отличительной чертой российского общества и общества других постсоветских республик.

И эта же концепция консервативной модернизации развивается на протяжении второго этапа его долгого интеллектуального пути, размеченного, как верстовыми столбами, тремя монографиями, четко очерчивающими рамки размышлений Вишневского: «Воспроизводство населения и общества. История, современность,

взгляд в будущее» (1982), «Серп и рубль» (1998)², которую прочли далеко за пределами России, и коллективный труд, подготовленный под его руководством, — «Демографическая модернизация России. 1900–2000» (2006). В этих трех работах формулируется ядро теории, связывающей индивидуальное демографическое поведение с коллективным, подверженным консервативной модернизации. В результате он приходит к выводу о недальновидности демографической политики, не учитывающей глубину происходящих перемен, не сводящихся к демографическим преобразованиям, но коренящихся в социальных потрясениях.

По мнению Анатолия Вишневского, Россия (СССР) пережила неудачную модернизацию, отмеченную разрывом между ускоренной модернизацией экономики и отставанием изменений в социальной, культурной и политической жизни, что привело к сильному напряжению, пронизывающему российское общество и поныне. Различные формы модернизации не соответствовали друг другу, и это привело к тяжелым демографическим последствиям. В России наблюдались те же тенденции, что и в других странах Европы, но для России были характерны более сильные разрывы между экономическими и социальными преобразованиями. В определенные моменты истории XX века политические решения демонстрируют консервативный возврат, который происходит на фоне глубоких трансформаций семьи и общества в целом. Как мы видим, эта идея остается очень актуальной и сегодня, в то время когда демографическая политика властей явно ориентирована на консервативную модель, далекую от практики.

По мнению Вишневского, консервативная модернизация была неизбежна для России. В одной из своих работ он в духе альтернативной истории (ставшей модной много позднее) предполагает, что победа большевиков в Гражданской войне не имела решающего значения для хода социально-экономических преобразований и что победа белых вряд ли изменила бы ход истории:

Но если предположить, что восемьдесят лет назад события повернулись бы по-иному и какой-нибудь антипод Маяковского написал бы «Правый марш» с призывом распрыгать «клячу историю» и вернуться к закону, «данному Адамом и Евой», то он тоже наверняка был бы разочарован. Окажись у власти в России открытые защитники прошлого и противники перемен, они быстро расправились бы с носителями слишком революционных идей в политике, экономике или культуре (в основном с теми же, с кем и расправились большевики сталинского розлива), а затем начали бы «леветь», втягиваясь в столь необходимую России модернизацию, и в конце концов пришли бы — двигаясь с другой стороны, к тому же консервативно-модернизационному компромиссу. Внешний рисунок российской истории XX века был бы иным, но лишь в деталях. При всей невероятности масштабов долговременного «красного террора», нельзя поручиться, что «белый террор» был бы более умеренным. Предреволюционный раскол общества был очень глубоким, былым победителям пришлось бы опираться на те же социальные слои, на которые опирались и красные, а параноики были не только у большевиков.

2. По-французски она вышла в престижной серии *Bibliothèque des histoires* издательства Gallimard.

Глубинные же экономические и социальные перемены оказались бы, скорее всего, очень сходными с теми, что и имели место на самом деле. Россия могла продвинуться по пути модернизации немного больше или немного меньше. Зная условия старта в начале столетия, при самом большом разгуле фантазии, трудно представить себе Россию конца XX века опередившей США или Западную Европу по уровню развития промышленности, науки или либеральных институтов. Возможно было лишь сокращение разрыва, оно и произошло. (Вишневский, 1998: 417)

Частные судьбы

Анатолий Вишневский был очень чувствителен к подходам, связанным с коллективным поведением, и поэтому, чтобы писать об индивидуальных судьбах людей, он искал литературную форму. И здесь возникало неожиданное и интересное напряжение — которое он, возможно, не смог выразить до конца — в его восприятии большой истории как малоподатливой и малочувствительной к политическим разрывам. Как бы то ни было, эссе, написанное им как роман-коллаж, «Перехваченные письма — Борис, Дина, Кот и их мир, с 1917 года по настоящее время» (Вишневский, 2008), а затем второй роман «Жизнеописание Петра Степановича К.»³ — это путешествия по жизням, которые либо пришли на весь XX век, либо, напротив, были жестоко прерваны политическим насилием, на которое был так щедр «советский век». Эти работы, основанные на чрезвычайно богатом личном материале (в частности, на переписке), могли бы быть микроисториями этого столетия, стать иллюстрацией того, как человек становится историческим актором. Но Вишневский предпочел превратить их в романы, где персонажи подчиняются истории, которая властвует над ними и подчиняет их. В каком-то смысле он через творчество выходит из этого напряжения между большой историей и историей судеб — что во многом стало возможно благодаря его литературному дару и удивительному стилю.

Создатель институтов

Анатолий Вишневский был не только ученым, но и создателем институтов, которые сегодня занимают важное место в международной представленности русской демографии. После нескольких лет в НИИ ЦСУ, он в 1984 году перешел на работу в отдел демографии московского Института социологии, где стал наставником нескольких молодых исследователей, которые позже внесли свой вклад в развитие российской науки. Вскоре Вишневский воспользовался возможностями Перестройки, чтобы принять участие в организации различных демографических центров. Институт демографии Высшей школы экономики, открытый в 2007 году, стал его последним детищем, кульминацией многочисленных усилий по созданию международно признанного института. Здесь он продолжает плодотворное со-

3. В 2014 году он вошел в шорт-лист Букеровской премии.

трудничество с наиболее важными демографическими институтами и центрами Европы и США, в частности, с Национальным институтом демографии во Франции (INED), Институтом демографических исследований имени Макса Планка в Ростоке (Германия) и Лондонской школой гигиены и тропической медицины в Великобритании.

Он также принимал активное участие в распространении научных знаний — как с помощью своих международных публикаций, так и создавая новые российские журналы. В сотрудничестве с INED в 1994 году на основе публикации INED *Population & sociétés* он издал информационный бюллетень «Население и общество». Этот бюллетень представлял собой научно обоснованные аналитические материалы, ориентированные на широкую публику, но написанные не журналистами — популяризаторами науки, а профессиональными учеными. Из него позднее выросло более амбициозное и чрезвычайно насыщенное издание — электронный журнал «Demoscope Weekly», статьи которого сочетают в себе глубокий анализ и понимание общественно-политического использования демографии. В нем же присутствуют разделы, материалы которых реагируют непосредственно на публичные заявления, в частности, раздел «Что мы знаем о лисе», где научная строгость перемежается с юмором. Ссылки на этот журнал стали обязательными практически в любом современном труде по демографии. В 2014 году был запущен еще один научный журнал «Демографическое обозрение», который также занял авторитетное место в кругу крупных научных демографических журналов.

Открытость миру

Институциональные свершения Вишневского были глубоко связаны с открытостью международной науке, которую он всегда отстаивал и претворял в жизнь. Он был увлечен французской демографией — и здесь в очередной раз его личная биография переплетается с научными интересами. Он встретил свою жену Марину вскоре после 1955 года, когда она приехала в СССР. Марина Вишневская родилась во Франции и училась в Ангье-ле-Бен, но ее отец, бежавший из России, так тосковал по родине, что откликнулся на призывы Сталина вернуться, обращенные к «соотечественникам». К счастью для семьи Мариной, процесс затянулся, и они оказались на родине уже после смерти Сталина, вероятно, избежав репрессий, которым подвергались многие реэмигранты. После знакомства с Мариной Анатолий Вишневский выучил французский язык (и этим языком он овладел в совершенстве), а выбрав карьеру демографа, обратился к работам французских ученых, которые тогда доминировали в этой науке. Еще до Перестройки он общался с французскими демографами, как бы это ни было трудно в те времена. И мне очень лестно, что я был одним из тех молодых тогда ученых, кого Анатолий Вишневский удостоил своей дружбой. Он сопровождал меня в моем «советском и русском путешествии», помог мне выбрать направление исследований, связанное с историей населения СССР.

В самом начале 1980-х годов Жерар Кало, тогдашний директор Национального института демографических исследований, придал новый импульс отношениям между INED и исследователями-демографами в СССР, продолжая дело основателя института Альфреда Сови с его интересом к России. Жерар Кало стремился поддерживать контакты с учеными из восточноевропейских стран, сознавая, что, несмотря на различные политические контексты, у него с ними общие интересы с точки зрения демографической политики и интерпретации демографических тенденций. Научные обмены сопровождались более или менее продолжительными визитами ученых, стажировками, коллоквиумами и совместными конференциями. Анатолий Вишневский тогда работал в отделе демографии Института социологии АН СССР и, естественно, стал связующим звеном в научной коммуникации с французскими коллегами. Здесь я и познакомился с ним в 1984 году. Этот отдел возглавлял Леонид Рыбаковский, который в то время также активно поддерживал международные отношения и инициировал несколько конференций и обменов с Францией. Анатолий Вишневский отвечал за научную поддержку моего визита. Он представил меня команде ученых, некоторые из них потом стали выдающимися российскими исследователями в области демографии⁴. Я помню то внимание, которое он мне уделял, его всегда очень точные и дальние советы. Но наше общение сопровождали также и ограничения, например, он не мог предоставить мне статистику смертности, а приглашения в гости были исключительно тайными. Он советовал мне заняться анализом демографической политики и познакомил меня с известными демографами того времени, в основном теми, кто работал в ЦСУ до того, как он стал Госкомстатом, а затем Росстатом⁵.

Однако вскоре, уже на фоне Перестройки, произошло столкновение двух сильных личностей — Леонида Рыбаковского и Анатолия Вишневского: их научные концепции были совершенно разными, а затем разошлись еще больше. Стремление Вишневского к научной строгости противостояло идеологизированности российской науки. Покидая институт, Анатолий Вишневский успел еще воспользоваться открытостью тех лет для дальнейшего укрепления многочисленных совместных франко-российских исследовательских проектов: отправлял своих молодых коллег, в некотором роде учеников, во Францию для организации исследований, в частности, по динамике рождаемости⁶ и смертности⁷, и в меньшей степени по миграции⁸. Эти франко-советские, а потом и франко-российские проекты продолжаются и по сей день. Получив сильный международный резонанс, они положили начало долгосрочному сотрудничеству по вопросам смертности,

4. Тогда я общался с Сергеем Захаровым и Александром Авдеевым. Хочу упомянуть еще Александра Аничкина и Светлану Куприянову, которые впоследствии отошли от демографии.

5. Мне посчастливилось общаться с группой ученых, которые собирались вокруг Андрея Волкова, Леонида Дарского, Евгения Андреева, Татьяны Харьковой.

6. Сергей Захаров и Елена Долгих, которая впоследствии отошла от демографии.

7. Владимир Школьников, а также Евгений Андреев, который позднее стал коллегой Вишневского по Институту демографии НИУ ВШЭ.

8. Юлия Флоринская.

демографической истории СССР и России⁹, а также по многим другим проблемам. Команда, собранная Вишневским (а он умел окружать себя талантливыми профессионалами из разных поколений¹⁰), всегда оставалась приверженной науке без границ, что сегодня порой, увы, вызывает проблемы.

Общественное служение

Во всех своих демографических работах, посвященных эволюции российского и советского обществ, Анатолий Вишневский всегда сохранял научную строгость, преданность фактам и выверенной аналитике. Этой страстью к анализу демографического будущего, влияния политики на поведение и неизбежности определенных тенденций во многом обусловлено его участие в общественных дискуссиях. Концепция, разработанная им в «Демографической революции», увидела свет в СССР не в самое удачное время: незадолго до начала дебатов о демографической политике, которая призвана была, по мнению властей, остановить снижение рождаемости в СССР и выразилась в политических решениях 1981 года. Подчеркивая неизбежность трансформации демографического поведения, Вишневскийставил под сомнение успешность краткосрочной политики, направленной на поощрение устойчивого подъема рождаемости. Его участие в общественных дискуссиях особенно заметно в эпоху Перестройки и в начале 2000-х годов, когда эти дебаты о демографии стали беспрецедентными по своим масштабам. Вишневский без колебаний отстаивал свои идеи в популярных газетах, в радио- и телепередачах, но, естественно, и в экспертных группах, создававших аналитические материалы для политических деятелей. Он всегда отстаивал свою позицию без компромиссов, придерживаясь прежде всего научной точности, за что порой подвергался нападкам, подчас очень резким и грубым.

Вишневский не рассматривал снижение численности населения само по себе как катастрофу, важным, по его мнению, являются социальный статус, образование, формы происходящих в обществе изменений, позволяющие лучше реагировать на глобальные преобразования современного мира. Цифры ни о чем не говорят, если нет анализа глубоких преобразований. Более того, энергичная демографическая политика может дать лишь краткосрочный ожидаемый эффект, но не в долгосрочной перспективе, именно из-за отсутствия учета и поддержки глубинных трансформаций. Современное демографическое поведение населения России может отличаться от поведения в некоторых европейских странах, но схожесть долговременных тенденций очевидна. Вишневский не выступает против политики, делающей акцент на поддержке семьи, но подчеркивает, что она не сможет противодействовать длительным и достаточно общим тенденциям. Так, он весьма скептически относился к последствиям демографической политики 2006–2020 го-

9. Ирина Троицкая и Александр Авдеев (отделение демографии экономического факультета МГУ) активно участвуют во французско-российских проектах на эту тему.

10. В этой команде была, например, его ровесница Жанна Зайончковская.

дов, влияние которой, как было подтверждено, по большей части сказалось в изменениях календаря рождений, а не в существенных изменениях в моделях семьи. Эти выводы были основаны на глубоком изучении международного опыта в области демографической политики.

* * *

Анатолий Вишневский был не просто демографом, но человеком широкой культуры, «интеллектуалом» во французском смысле этого слова, представителем «интеллигенции» в русском смысле. Это подтверждают его труды. Достаточно обратить внимание на мастерство, объединяющее его строго научные и литературные произведения. Анатолий Вишневский был великим гуманистом, и этот дар он передал своим ученикам и коллегам, которые были с ним рядом во время создания Института демографии. Он передал его и всем своим французским коллегам, с которыми встречался каждый год в Париже и Москве. От него исходила удивительная энергия, страсть к познанию, приверженность своим убеждениям. До конца своих дней он пользовался огромным уважением не только как ученый, но и как общественный деятель.

Несколько самых важных публикаций А. Г. Вишневского

- Демографическая революция // Вопросы философии. 1973. № 2. С. 633–645.
- Демографическая политика и демографический оптимум // Демографическая политика / Под. ред. В. С. Стешенко и В. П. Пискунова. М.: Статистика, 1974. С. 69–80.
- Демографическая революция. М.: Статистика, 1976.
- Ранние этапы становления современного типа рождаемости в России // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР / Под ред. А. Г. Вишневского. М., 1977. С. 105–134.
- Воспроизводство населения и общество: история, современность, взгляд в будущее. М.: Финансы и статистика, 1982.
- Révolution démographique et fécondité en URSS du XIXe siècle à la période contemporaine // Population. Т. 43. № 4–5. Р. 799–814.
- Идеологизированная демография // Вестник Академии наук СССР. 1991. № 10. (Ред.)
- Эволюция семьи и семейная политика в СССР. М.: Наука, 1992.
- Évaluation du nombre de naissances dans la Russie prérévolutionnaires (1840–1913) // Modèles de la démographie historique. Congrès et colloques n° 11. Paris: Ined, 1992. Р. 61–74.
- L'émigration de l'ex-Union soviétique: prémices et inconnues // Revue Européenne des Migrations Internationales. 1992. Т. 8. № 1. Р. 41–65. (Соавтор Ж. Зайончковская)

- Демографические изменения и национализм // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 22–35.
- L'Asie centrale post-soviétique: entre le colonialisme et la modernité // Revue d'études comparatives Est-Ouest. 1995. Т. 26. № 4. Р. 101–123.
- Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998, 2010. Перевод на французский язык: La faucille et le rouble: la modernisation conservatrice en U.R.S.S. Paris: Gallimard, 2000.
- Подъем смертности в 90-е годы: факт или артефакт? // Население и общество. 2000. № 45; Мир России. 2000. № 3.
- La modernisation de la Russie: un long chemin // Le Débat. 2001. № 113.
- Избранные демографические труды в 2 т. М.: Наука, 2005.
- Русский или прусский? Размышления переходного времени. М.: ГУ ВШЭ, 2005.
- Демографическая модернизация России. 1900–2000. М.: Новое издательство, 2006. (Ред.)
- Сбережение народа или депопуляция России? Доклад на XI Международной конференции ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. М.: ГУ ВШЭ, 2010.
- Возраст выхода на пенсию и продолжительность жизни // Вопросы экономики. 2012. № 9. С. 88–109.
- Жизнеописание Петра Степановича К. М.: Znak, 2013.
- Перехваченные письма: роман-коллаж. М.: ОГИ, 2008. Перевод на французский язык: Lettres interceptées. Boris Pavlovski et les autres. Roman-montage. Paris: Gallimard (Témoins), 2005.
- Смертность в России: несостоявшаяся вторая эпидемиологическая революция // Демографическое обозрение. 2014. № 4. С. 6–40.
- Время демографических перемен: Избранные статьи. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015.
- Смертность от внешних причин в России с середины XX века. 2017. (Ред.)
- Нерешенные вопросы теории демографической революции // Население и экономика. 2017. № 1. С. 3–21.
- Демографическая история и демографическая теория. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.
- Эпидемиологический переход и его интерпретации // Демографическое обозрение. 2020. № 3. С. 6–50.



Памяти Натальи Самутиной

Борис Степанов

Центр исследований современной культуры, Институт гуманитарных историко-теоретических исследований им. А. В. Полетаева,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Не стало Натальи Самутиной, друга и соучастника. Человека, редким образом сочетающего безупречный вкус со вкусом к жизни во всех ее проявлениях. Ее разговоры и остроумные посты, в которых она открывала «фантастический мир каждого дня» и щедро делилась им, теперь остаются достоянием благодарной памяти. Тяжелая болезнь, с которой Наталья мужественно боролась почти 10 лет, не только не убила, но обострила это жизнелюбие. В долгой шахматной партии Рыцаря со Смертью силы были неравны, но за Рыцарем были стойкость и присутствие духа.

Почти всю свою жизнь в науке Наталья посвятила созданному в Высшей школе экономики Ириной Савельевой и Андреем Полетаевым Институту гуманитарных историко-теоретических исследований, в котором работала со дня его основания. Она высоко ценила и культивировала дух «единства непохожих», атмосферу дружбы, взаимного уважения и интереса, существовавшие в этом программно-междисциплинарном сообществе. Ее организаторским способностям во многом обязаны своим успехом семинары, бывшие в 2000-е годы визитной карточкой ИГИТИ и заметным явлением в интеллектуальной жизни Москвы. Со временем по инициативе Натальи в институте был создан Центр исследований современной культуры, ставший заметной точкой не только на российской, но и международной карте культурных исследований. Благодаря ее курсам о современной культуре, кинематографе и музыке, фанатах и аудиториях, проектам, посвященным московским публичным пространствам, граффити и стрит-арту, культурам соучастия, вокруг современных исследований культуры создавалось поле притяжения как в университете, так и за его пределами, формировались ориентиры для новых поколений исследователей.

К сожалению, Наталья не оставила после себя книги, сколько-нибудь полноценно представлявшей ее как исследователя. Однако для тех, кто ее знал, несомненно — при всем разнообразии ее интересов — цельность интеллектуального проекта, трагически оборвавшегося на взлете. Научное творчество Натальи Самутиной стало заметным вкладом в формирование культурных исследований в России. Его отправная точка — дискуссии о возможности культурологии/науки о культуре как исследовательского направления, которые были инициированы в Институте Европейских культур с легкой руки Бориса Дубина, Льва Гудкова и Галины Зверевой. Становление культурологии как учебной дисциплины, которая, как и другие постсоветские дисциплины, несла на себе печать идеологии и элек-

тики, оказалось во второй половине 1990-х годов вызовом для молодых культурологов, искавших свой путь в науке. Ценностный выбор Натальи здесь был неоднозначным: тема ее диссертации — образ Европы в современном авторском интеллектуальном кинематографе. За этим выбором просматривается страстное стремление к поиску альтернативы тем процессам продолжения и мутаций советского образа жизни и «человека советского», ранние стадии которых мы наблюдали в это время¹. Однако в этом горизонте европейского авторского кино находилось место и культурному Другому: не случайно одна из первых ее статей была посвящена «западно-восточному синтезу» в «японском» фильме Питера Гринуэя «Интимный дневник». Выбор авторского кино можно было бы счесть элитистским, если бы не поддержанное Борисом Дубиным стремление вписывать анализ кинотекстов в широкую культурную перспективу становления объединенной Европы и рассматривать авторский кинематограф в рамках кино как социального института. Это отличало работы Натальи от множества кинокритических текстов этого времени. «Движущаяся точка современности» была тем, что определяло для Натальи и объект ее исследования, и ее научные ориентиры.

Следуя интересу к кино как к феномену современности, Наталья Самутинова ориентировалась на актуальные дискуссии в западной кинотеории², в центре которых в конце 1990-х — 2000-е годы оказался кризис кинематографа как ключевого медиа для культуры XX века, его судьба в новом медийном окружении. Все меньший интерес для нее представляли конкретные тексты, все больший — разнообразие кинематографического опыта, связанных с кино эмоций, практик его потребления. Наряду с ее собственными статьями этого периода по теории кино квинтэссенцией этого взгляда стал вышедший под ее редакцией сборник «Фантастическое кино: эпизод первый». Став местом встречи классиков киноисследований и российских авторов, увлеченных редактором в поле исследований кинофантастики, книга представляла фильмы этого жанра в разных аналитических перспективах, вскрывала не только значение фантастики в развитии кино, но и ее роль как одного из важнейших пространств социального воображения. Следующим шагом в освоении маргинальных для классической кинотеории пространств должен был стать проект по изучению культового кино, статус которого определялся не художественными достоинствами фильмов, но был преимущественно результатом рецептивной активности зрителей. Этот проект так и не был завершен, однако обозначил один из путей, которые вели Наталью Самутину от изучения кинотеории к сюжету, ставшему центральным для нее в последние годы — исследованиям популярной культуры и культур соучастия.

1. В этом неприятии она была весьма последовательна. В одном из наших последних разговоров Наталья искренне удивлялась сегодняшней востребованности постсоветской тематики, которая, как ей казалось, происходит в ущерб интересу к актуальной современной культуре.

2. В нашей традиции для Натальи важным ориентиром стала концепция коммуникативного образа Олега Аронсона, сборник статей которого вышел под ее редакцией в серии «Кинотексты» издательства «Новое литературное обозрение».

Важную роль в повороте к этим исследованиям сыграли два биографических обстоятельства, которые впоследствии оказались конвертированы в исследовательский опыт. Прежде всего это опыт путешествий в города «прекрасной Европы», который стал импульсом интереса к теме визуальной организации и антропологии городских публичных пространств. Так возник проект исследования парка и музея Царицыно, предвосхитивший всплеск интереса к урбанистике, случившийся в России на рубеже 2010-х годов. Следом за ним был реализован новаторский для культурных исследований в России проект по изучению граффити и стрит-арта как явлений современной городской культуры. Важной опорой для анализа и в том, и в другом случае стал опыт осмыслиения кино как «точки сборки» городского опыта. Вторым важным фактором стал опыт общения в «Живом журнале» — он оказался для нее не только средством создания собственной среды, но и отправной точкой на пути к изучению сообществ, складывающихся вокруг культурных пристрастий самого разного порядка, — от групп поклонниц звезды фильма «Сумерки» Роберта Паттисона до «великих читательниц» фанфикшн, от собирателей манги до любителей барочной музыки.

Оставляя позади и кино как основной объект интереса, и теорию как тип исследовательского письма³, она погрузилась в эмпирическое исследование фансообществ. Подобно классическим проектам Генри Дженкинса, Мэтта Хиллса и других создателей fan-studies, этот этнографический проект приоткрывал новые пласти социальной жизни, складывавшиеся во многом поверх социальных и возрастных стратификаций, институциональных рамок и культурных иерархий, национальных границ. Часто избегая внимания массмедиа и формируя альтернативные системы коммуникации, эти сообщества производят гигантских масштабов интерпретации, поддерживают и развиваются воображаемые миры, которые оказывают все большее влияние на текущую культурную повестку. Эта работа оказалась оченьозвучной российской ситуации 2010-х годов, когда экспансия новых культурных платформ и социальных сетей обозначила разрыв между официальными медиа и альтернативными публичными площадками, вдохнула жизнь в призрак «семиотической герильи»⁴, всплеском которой столь обеспокоены сегодня российские власти. Однако в центре внимания Натальи были не политические, но именно культурные аспекты творческой активности этих сообществ, осуществляющейся в ситуации конвергенции различных медиа. Внимание к этим моментам позволяло поставить под вопрос шаблонные представления о бытовании культуры, лучше понимать источники солидарности представителей этих новых общностей и значение разнообразных неклассических артефактов, которые волны времени оставляют на отмели сегодняшнего дня.

3. Свои работы 2000-х Наталья в последние годы снисходительно считала несколько тяжеловесными, притом что ее тексты всегда были профессионально сделаны — как содержательно, так и литературно.

4. В статье о «великих читательницах», посвященной феномену многочисленных сообществ фанфикшн, Наталья писала о «демократии чтения».

Традиция исследований популярной культуры, которую разрабатывала Наталья, по-прежнему имеет проблематичный статус как для гуманитариев, так и для социальных исследователей. В то время как первые считают его маргинальным с точки зрения тех канонов, которые производятся культурными институциями, для вторых неочевиден социальный вес этих явлений, их место в публичном пространстве, их влияние на развитие общества, а их эфемерность ускользает от надежных методов. Такого рода вопросы правомерны, они продолжают дискуссии о культурном популизме и «декоративной социологии», ведущиеся с тех пор, как культурные исследования стали претендовать на статус альтернативного проекта изучения современного общества — как между социологами и культурологами, так и между представителями разных течений в исследованиях культуры. Однако кажется несомненным, что работы Натальи Самутиной могут рассматриваться в контексте этих дискуссий как образцовые — как с точки зрения чувствительности к культурному перву современности и внимания к ее непроявленным, проблемным зонам, так и с точки зрения демонстрации возможности изучать социальные процессы не просто качественными методами, но сквозь призму культурных текстов, рассматриваемых с учетом всех особенностей их социального бытования. Не случайно ее работы, посвященные культурам соучастия, написанные преимущественно на российском материале, но в транснациональной перспективе, получили признание у исследователей популярной культуры по всему миру⁵.

В последние два года у Натальи было запланировано несколько путешествий с лекциями и выступлениями — в Токио, Торонто и Беркли, которые она была вынуждена отменить из-за болезни и пандемии. Теперь она отправилась в свою космическую Одиссею — к вратам Тангейзера, за пределы бесконечности, оставив нам космос как предчувствие.

Мемориальная страница Натальи Самутиной: <https://igit.hse.ru/NVSamutina>.

Наиболее значимые публикации Натальи Самутиной

- Фантастическое кино. Эпизод первый: Сборник статей / Под ред. Н. В. Самутиной. Серия «Кинотексты». М.: Новое литературное обозрение, 2006.
- Царицыно: аттракцион с историей / Отв. ред. Н. В. Самутина, Б. Е. Степанов. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Ускользающие читатели: трансформации популярной культуры на русском языке как вызов исследователям литературных практик // Russian Literature. 2020. Vol. 118. № 4. С. 1–24.
- Японские комиксы манга в России: введение в проблематику чтения // Новое литературное обозрение. 2019. № 6. С. 307–321.

5. Важно и то, что работы Натальи получили свой отклик у представителей тех сообществ, которые выступали предметом ее изучения.

- Пружинки Гамбурга: граффити-райтер Oz и невидимое сообщество видящих // Микроурбанизм. Город в деталях / Отв. ред. О. Н. Запорожец, О. Е. Бредникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 316–345.
- An Eighteenth-Century Theme Park: Museum-Reserve Tsaritsyno (Moscow) and the Public Culture of the Post-Soviet Metropolis // Urban history. 2018. Vol. 45. № 1. P. 74–99. (With B. Stepanov)
- Emotional Landscapes of Reading: Fan Fiction in the Context of Contemporary Reading Practices // International Journal of Cultural Studies. 2017. Vol. 20. № 3. P. 253–269.
- Fan Fiction as World-Building: Transformative Reception in Crossover Writing // Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. 2016. Vol. 30. № 4. P. 433–450.
- Berlin, the City of Saturated Walls // Laboratorium: Russian Review of Social Research. 2015. № 2. P. 36–61. (With O. Zaporozhets)
- Великие читательницы: фанфикшн как форма литературного опыта // Социологическое обозрение. 2013. № 3. С. 137–194.
- Трансформация объекта как вызов науке о кино // Новое литературное обозрение. 2011. № 109. С. 62–81.
- Раннее кино как теория настоящего // Киноведческие записки. 2010. № 94. С. 5–34.
- «Cult camp classics»: специфика нормативности и стратегии зрительского восприятия в кинематографе // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 490–536.
- За процветание Швеции! Культовое кино и его нестандартный зритель // Неприкосновенный запас. 2008. № 6. С. 108–123.
- Идеология ностальгии: проблема прошлого в современном европейском кино / Высшая школа экономики. Серия WP6 «Гуманитарные исследования». 2007. № 01.
- Авторский европейский интеллектуальный кинематограф как европейская идея // Киноведческие записки. 2002. № 62. С. 60–72.